ISSN 0130-6545

11.1994

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ИТАЛО КАЛЬВИНО
Паломар

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ
Орландо

ЭРИК ЛАКС
Вуди Аллен

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Стремясь к укреплению литературных связей России с внешним миром, развитию международного культурного диалога, сохранению и преумножению лучших традиций русского художественного перевода и русской литературоведческой школы, редакция журнала объявляет об учреждении института ЕЖЕГОДНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ, присуждаемых по результатам завершившегося литературного года.

Первое присуждение состоится в феврале 1995 года, когда будут названы лауреаты трех учрежденных премий.

Премия ИЛЮМИНАТОР-95

присуждается за самое яркое и талантливое произведение 1994 года в области исследования и перевода современной зарубежной литературы, опубликованное в России. Премии может быть удостоен перевод романа, повести, поэмы, стихотворного или прозаического сборника, а также литературоведческое или критическое произведение.

Премия учреждена журналом «Иностранная литература» совместно с Акционерным банком конверсии (Конверсбанк А. О.). Жюри состоит из членов Редакционного совета и Редакционной коллегии журнала. Лауреату вручается диплом и денежный приз в размере 2000 долларов.

Премия ИНОЛИТ-95

присуждается за лучший перевод или статью, напечатанные в 1994 году на страницах журнала «Иностранная литература».

Премия учреждена журналом «Иностранная литература» совместно с Акционерным банком конверсии (Конверсбанк А. О.). Жюри состоит из членов Редакционного совета и Редакционной коллегии журнала. Лауреату вручается диплом и денежный приз в размере 1000 долларов.

Премия имени А. КАРЕЛЬСКОГО

присуждается за лучшую публикацию в российской периодической печати за 1994 год в области российско-немецких культурных связей.

Премия учреждена журналом «Иностранная литература» совместно с «Альманахом немецкой литературы». Лауреату вручается денежный приз в размере 1000 немецких марок.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А. О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Главный редактор

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Я. КАЗАРЦЕВА — заведующая отделом критики и публицистики
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

О. Г. БАСИНСКАЯ — и. о. ответственного секретаря

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, С. К. АПТ, П. Л. ВАЙЛЬ,
Е. Ю. ГЕНИЕВА, А. А. ГЕНИС, В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА,
А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, А. М. ЗВЕРЕВ, Вяч. Вс. ИВАНОВ,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, А. С. МУЛЯРЧИК,
Д. Б. РЮРИКОВ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ,
М. А. ФЕДОТОВ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

11 ноябрь 1994

СОДЕРЖАНИЕ

Образы Америки *(Рассказы из антологии. Перевод с английского Л. Мотылева)* 5

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ — Стихи из последних книг *(Перевод с польского и вступление Натальи Астафьевой)* 39

ПАВЕЛ ХЮЛЛЕ — Рассказы *(Перевод с польского К. Старосельской)* . 46

ИТАЛО КАЛЬВИНО — Паломар *(Повесть. Перевод с итальянского Наталии Ставровской)* 64

Э. Э. КАММИНГС — Баллада об интеллектуале *(Перевод с английского и вступление Андрея Сергеева)* 106

Из классики XX века

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ — Орландо. *(Биография. Перевод с английского и вступление Е. Суриц)* 109

Публицистика

ЭРИК ЛАКС — Вуди Аллен *(Главы из книги. Перевод с английского А. Казанской)* 214

Полемические заметки

С. ФАЙБИСОВИЧ — Слово о «больших» и «малых» художниках, или Некоторые размышления об историко-культурологических аспектах бытования изобразительного искусства . . . 232

Критика

КАРЕН ХЬЮИТТ — «Любовник леди Чаттерли» в московском метро *(Перевод с английского А. Кабалкина)* 239

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ — 1994: юбилей неслучившегося года (К десятилетию «года Оруэлла») 244

К нашим иллюстрациям

О. ХЛЕБНИКОВА — «Не чувство — а система» . 249

У книжной витрины 251

Курьер «ИЛ» 253

Авторы этого номера . 255

© «Иностранная литература», 1994

В следующем номере «ИЛ»

Роман лауреата Нобелевской премии за 1993 год ТОНИ МОРРИСОН **«Возлюбленная»**, самое значительное произведение американской писательницы, долгое время бывшее в списках бестселлеров и отмеченное Пулицеровской премией.

В поэтической рубрике журнал представляет «дерзкий эксперимент» пяти французских поэтов (литературный союз **Дом Поэзии**), поставивших перед собой задачу возвратить поэзии музыкальность.

Знаменитому французскому романисту РОМЕНУ ГАРИ удалось прожить несколько жизней. Документальная книга **«Ночь будет спокойной»** знакомит читателя с Роменом Гари — дипломатом, летчиком, писателем и просто человеком.

Цветные иллюстрации номера — работы немецкого художника А. Р. Пенка:
На 1-й стр. обложки — «Случай в Н.-Й. 3» (1983).
На 2-й стр. обложки — «Переход» (1963), «Standart» (1971).
На 3-й стр. обложки — «Нью-Йорк, Нью-Йорк», фрагмент (1984).

По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103791, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Доме книги на Новом Арбате и в киоске Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**

Технический редактор **С. В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47, факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 18.08.94. Подписано в печать 13.10.94. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная. Бумага типографская. Усл. печ. л. 22,40. Усл. кр.-отт. 23,80. Уч.-изд. л. 27,36. Заказ № 4745

Тираж 34 000 экз. Цена по подписке 1700 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

Образы Америки

РАССКАЗЫ ИЗ АНТОЛОГИИ

Перевод с английского Л. МОТЫЛЕВА

Имена авторов, чьи рассказы мы представляем читателю,— новые для нас, да вряд ли они широко известны и у себя на родине. Исключение составляет, пожалуй, Ричард Бауш, уже успевший опубликовать четыре романа и два сборника рассказов. Женщины же молоды, только завоевывают себе место в американской литературе. Гиш Чжэн — писательница китайского происхождения, родившаяся в Нью-Йорке,— недавно написала свой первый роман, Тахира Накви — иммигрантка из Пакистана, переводчица с урду; Лесли Мармон Силко родилась в штате Нью-Мексико в семье индейцев, пишет стихи. Их объединил под одной обложкой сборник «Образы Америки. Рассказы о земле обетованной», изданный в Нью-Йорке в 1991 г.

Столкновение мифологизированного образа Америки («рая для иммигрантов») и реальности; социальные, этнические конфликты и взаимопроникновение разных культур — вот темы этой «мультикультурной антологии американской литературы», вобравшей в себя произведения, созданные на протяжении нашего столетия иммигрантами или детьми иммигрантов; многие из ее авторов — недавние выходцы из стран Азии и Латинской Америки, включены в антологию и совсем новые имена негритянских и индейских писателей. По мысли ее составителей Уэсли Брауна и Эми Линь, это многоголосье культур разных рас и народов, все увереннее заявляющее о себе в конце XX века, представляет новый феномен американской литературы наших дней.

Мы отобрали из этой книги произведения последних лет. (Рассказы таких известных прозаиков, как Бернард Маламуд и Элис Уокер, тоже вошедшие в антологию, уже опубликованы на русском языке — в Библиотеке «ИЛ».)

ГИШ ЧЖЭН

В АМЕРИКАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

1. Его собственное общество

Когда папа решил открыть ресторан «Блинчики», цель его была — накопить денег на колледж для меня и моей младшей сестры Моны. Мы еще даже не перешли в старшие классы, но папа считал, что хороший прыжок требует хорошего разбега. «Американец как говорит? — рассуждал он.— Умный голова думает вперед». «Бизнес надо вы́носить, как ребенка,— подхватывала мать.— Годы могут понадобиться, чтобы встать на ноги, годы».

Но мы-то встали на ноги в один миг. Через два месяца наши доходы сравнялись с расходами, а еще через два те самые блинчики, которые едва не рвались под тяжестью масла и сиропа, уже с легкостью поддерживали существование целой семьи. Мама купила большой многоместный драндулет с кондиционером, папа — непомерной величины красное откид-

© 1986 by Gish Jen

ное виниловое кресло для задней комнаты, и, по мере того как дела шли в гору, он все чаще стал поминать своего деда и китайскую деревню, над которой тот владычествовал. Пока папа горбатился на чужого дядю, он не заговаривал об этом никогда, а теперь вот пустился в рассказы о мешках риса, которые его семья под Новый год раздавала беднякам, о соседях, которые на коленях умоляли деда вмешаться и приструнить какого-нибудь непутевого родственника. «Прямо Крестный отец какой-то»,— говорил он о себе в день получки, когда, сев и задрав ноги кверху, раздавал сотрудникам чеки. Иногда кто-то получал не один, а сразу два зеленых конверта — это могло означать, к примеру, что Джимми надо вырвать зуб или что у Тиффани в очередной раз посадили мужа.

— А, да хватит, вы,— морщился он, откидываясь в своем кресле.— Кто про вас, люди, будет думать, если не я?

Мама только вздыхала. «Ваш отец вообразил, что он в Китае»,— говорила она и вновь бралась за шитье или штопку. Но порой, когда папа бывал уж совсем неприлично щедр, она возмущенно кричала: «Тут тебе не что-нибудь, тут Эс-Ша-А!» — нечто подобное она, видимо, привыкла говорить складским рабочим-иммигрантам, когда те опаздывали на работу.

К тому времени она уже уволилась из супермаркета, дослужившись до заведующей, что обогатило ее не только новыми словами и фразами, но и новыми представлениями о себе самой, об Америке и вообще о жизни. Она, скажем, имела собственное мнение о том, как лучше районировать городской центр; дай ей волю, она и газ бы качала по-своему, и нефть разведывала; и хотя она частенько, досадуя на нашу переимчивость, называла меня и Мону обезьянами, теперь она стала проявлять интерес и к модной обуви, и к красивым обоям, а в самое последнее время — и к загородному клубу.

— Так давай вступай,— сказала раз Мона, смахивая с колена муху.

Мама резала арбуз, с каждым новым куском называя новую препону. Во-первых — членские взносы. Во-вторых — лист ожидания. В-третьих — тот факт, что никто в семье не играет ни в теннис, ни в гольф.

— Ну и что? — спросила Мона.

— То, что ничего не выйдет,— ответила мама.

— Мы с Калли можем в бассейне плавать.

— Плюс нужна рекомендация от члена.

— Тоже дело большое,— сказала Мона.— У Анни там мама, она накатает тебе в два счета.

Нож в маминой руке блестел под июньским солнцем. Я расстелила на садовом столике еще один газетный лист.

— *Плюс* там надо обедать два раза в месяц. Вы понимаете, что из этого следует.— Мама отрезала еще один кусище арбуза.

— Нет, я *не понимаю,* что из этого следует,— упорствовала Мона.

— Из этого следует, глупышка, что папе придется купить костюм,— сказала я.

— Ой-ой-ой! — залилась Мона смехом, стуча себя кулаком в грудь.— Ой-ой-ой-ой-ой!

Мы с мамой тоже рассмеялись: папа терпеть не мог наряжаться, он носил рубашки, купленные десять лет назад, и брюки в масляных пятнах — плевал я, дескать, на ваши церемонии.

— Ваш отец не желает присоединяться к американскому обществу,— сказала мама.— Ему его собственного общества хватает вполне.

— Так езди туда обедать без него.— Мона затеяла стрельбу семечками, и они летели через лужайку, описывая длинные дуги.— Какая разница, что он там себе думает.

Но разница, конечно, была, и большая; мы знали, что мама не может просто махнуть на него рукой и делать что ей захочется. Ибо, по мнению отца, дань верности, которую любая семья обязана платить своему главе, не оставляла места для своеволия. Любить мужа означает думать так же, как думает он, а инакомыслие равно измене.

Такой же преданности он требовал и от наемных работников — он

обращался с ними скорее не как со служащими, а как со слугами. Не сразу, конечно. Поначалу он человека почти не беспокоил, довольствуясь тем, что он работает, как работал всегда. Но шли месяцы, и возникали все новые и новые требования — в результате при всей своей щедрости отец начал испытывать трудности с подбором людей. Повара и помощники официантов жаловались, что он заставляет их подстригать живую изгородь и чинить отопление, причем не только в ресторане, но и у нас дома тоже; официантки возмущались тем, что он гоняет их туда-сюда с поручениями и принуждает возить его по делам на машине. По словам старшей официантки Гертруды, однажды он потребовал, чтобы она почесала ему спину.

— Не только черные выступают против рабства,— заявила она увольняясь.

На отца, впрочем, ее жалоба совершенно не подействовала, как и другие подобные протесты. Ушла Элеонора, потом Тиффани, потом Джеральд, потом Джимми, наконец, наша лучшая повариха Юрика Энди, которой он купил новые очки,— а он по-прежнему свято верил, что виноваты они сами.

— Им нравится конвейер у Форда,— вздыхал он.— Роботы, роботы и есть. И другое никакое знать не желают.

Бывали, правда, минуты, когда в плавном потоке истины возникали завихрения; тогда он щипал виниловую обивку своего кресла, устраивая маленькие горные хребты, и мучился сомнениями. Но в конце концов он эти хребты всегда разглаживал; весной, когда дела пошли неважно, он продолжал вести свою линию с лошадиным упорством.

К лету парнишка, работавший на мойке, взвыл от количества отходов. Люди оставляли на тарелках отнюдь не только подгорелые крошки, и обслуживание сделалось таким же скверным, как и еда. Официантки приносили вместо немецких блинчиков французские, вместо апельсинового сока яблочный, пачкали людям одежду. Четвертого июля, в День независимости, одна новенькая растяпа отправила целое блюдо жаркого в головокружительный слаломный спуск по могучей груди посетительницы. Тем временем папа в задней комнате штудировал статьи по экономике.

— Что такое «объекты, начатые строительством»? — недоумевал он.— Что такое «валовой национальный продукт»?

Мы с Моной старались как могли — подменяли помощников официантов, вели бухгалтерию, а однажды вечером до отказа наполнили ящик для жалоб и предложений, который висел у кассы. Это Монина идея была. Мы набрали много разных карандашей и ручек, завладели ящиком на час, наставили на карточках кофейных и жирных пятен — и стали ждать. Лишь через несколько дней папа заметил, что ящик полнёхонек, и еще несколько дней он об этом молчал. Потом начал жаловаться на усталость; наконец он признал, что персонал мог быть и получше. Мы всячески укрепляли его в этой мысли — указывали, например, на неимоверное количество выщербленных тарелок,— но добились только того, что в первый раз с тех пор, как мы открыли ресторан, папа надумал уволить человека. Скип, тощий помощник официанта, который зарабатывал себе на спортивную машину, на бормотанье отца о стоимости тарелок не ответил ничего. Когда папа выписывал выходное пособие, руки его дрожали; покончив с тягостным делом, он рухнул в свое кресло и провел в нем весь остаток дня.

А дело было в середине лета, пойди найди еще замену. Мы повесили в окне плакат и дали объявление в газету, но в первую неделю никто не позвонил, а человек, который позвонил во вторую неделю, так и не объявился. На третью неделю папа позвонил Скипу и спросил, не хочет ли он вернуться, но оказалось, что он уже купил по дешевке «корвет» у приятеля.

Потом возник китаец по имени Букер. Ему не могло быть больше тридцати, и он носил легкомысленный полосатый индийский костюмчик, но выглядел он так, словно жизнь его вконец достала: глаза налиты кровью, грудь впалая, голова, казалось, еле держится на тощей жилистой шее. На одном сухом свистящем выдохе он сообщил нам, что никогда в жизни не убирал грязной посуды, но жаждет научиться и что ему угрожает депортация.

— Я не хочу вам солгать,— повторял он раз за разом. Он приехал в Штаты по студенческой визе, потратил все деньги и теперь не знал, как быть. Возвращаться на Тайвань он не хотел категорически — при этих словах он взглянул на отца, желая убедиться, что не нарвался на ярого сторонника Гоминьдана,— но в наличии у него была только сомнительная карточка социальной защиты плюс готовность в случае чего взять всю вину на себя.

— Закон говорит, нанимать меня можно, нельзя только мной быть,— сказал он со слабой улыбкой.

Любой работодатель проверил бы это сначала, но мой отец понимал законы скорее как ухабы на дороге, нежели как ограничительные столбики. Он вытер стойку рукавом и велел Букеру приступать со следующего утра.

— Я буду хороший работник,— заверил его Букер.

— Вот и ладно,— ответил папа.

— Что скажут, то и буду делать.

Папа кивнул.

На секунду-другую Букер словно отключился.

— Спасибо,— вымолвил он наконец.— Я очень благодарю за помощь. Я очень, очень благодарю за все.

Он протянул папе руку. Тот посмотрел на него еще раз.

— Ел сегодня? — спросил он по-китайски.

Букер теребил край своей курточки.

— Сядь-ка здесь,— сказал папа.— Сядь, будь добр.

Папа не сказал маме про Букера, а мама не сказала ему про загородный клуб. Она в жизни не подала бы заявления, если бы Мона, придя в гости к Анни, не сболтнула, что мама хочет вступить. На другой день к нам явилась миссис Ларднер.

— Милые вы мои, я буду рада и счастлива дать вам рекомендацию,— сказала она. Вокруг ее ног колыхалась широкая юбка.

— Спасибо вам большое,— лепетала мама,— но я не хотела вас затруднять, и, кроме того, мой муж...

— Боже мой, да о чем вы говорите. Я вам вот что скажу.— Она наклонилась, демонстрируя веснушки под ключицами.— Я по себе знаю, как все непросто. Это не для разглашения, конечно; но ведь мой родной отец был еврей. Только взгляните на мою кожу. Видите?

— Мой муж...— вновь начала мама.

— Я буду рада и счастлива,— повторила миссис Ларднер, отмахнувшись от нее легким движением обеих рук.— Просто рада и счастлива.

Мона ликовала.— Видишь теперь, мама? — кричала она после ухода миссис Ларднер, весело кружась по кухне.— Что я тебе говорила? «Я просто рада и счастлива, просто рада и счастлива».— Она взмахнула руками.

— Помнишь китайскую пословицу? — спросила мама.— Лучше ленивый, чем суетливый. Я знаю, ты хотела как лучше, но кто теперь все будет расхлебывать?

— Ничего, я папу уговорю,— сказала Мона, все еще кружась.— А еще лучше пусть Калли. Для нее он что хочешь сделает.

— А что, попробую,— согласилась я.

— Вы слышали, что я сказала? — прикрикнула мама. Мона с разбегу влетела в дверь чулана, где стояли метлы и веники.— Посмейте хоть пикнуть; вы и так уже наделали дел.— Она яростно взялась за посуду.

Мона вяло раскачивала швабру.

Я вытерла стойку.

— Да какая разница,— подала я голос.— Наверняка до нас очередь и не дойдет никогда.

— Хорошо, если так;— сказала мама.

— Сколько народу ждет.

— Да.— Мама начала мыть кастрюлю.

Я взглянула на Мону, которая все не выходила из чулана.— Одна черная семья ждала, ждала и теперь в суд на них подает,— сказала я.

Мама выключила воду.— Где ты это слышала?

— Патти сказала.

Она снова пустила воду, стала мыть тарелку, потом положила ее и закрутила кран.

— Извини, мама,— сказала Мона.

— Ничего,— ответила мама.— Не бери в голову.

Букер оказался образцовым работником — его бесконечная благодарность выразилась в стремлении делать абсолютно все. Будучи вдобавок смекалистым малым, он быстро научился не только собирать грязную посуду, но и готовить, подавать еду, вести счета. Он починил входную дверь так, что она перестала сама собой открываться, обил порванные сиденья в столовой и разработал систему бухгалтерского учета. Одно было плохо — он часто болел; но, даже больной, он пекся о деле и всегда присылал товарища себе на замену. Так мы познакомились с Рональдом, Линном, Дирком и Седриком — все они, как Букер, испытывали трудности с легализацией и всячески старались угодить хозяину. Правда, они не были такими расторопными, как Букер,— за исключением, пожалуй, Седрика, которого папа часто приглашал, даже когда Букер был здоров. Этот пузатый весельчак, который дразнил нас с Моной *шоу хоу* — тощими обезьянами,— вечно клянчил у кого-нибудь сигарету на одну затяжечку, хотя клятвенно утверждал, что не курит. Эта его привычка приводила в бешенство нашего старшего повара Фернандо — особенно, когда, получив отказ, Седрик брал свое тайком. Заговорщически подмигнув нам с Моной, он подкрадывался к пепельнице, хватал лежащую на краю сигарету, быстро подносил к губам и разражался громким смехом, выпуская изо рта большое преступное облако дыма. Фернандо обвинял его даже в том, что он таскает непочатые сигареты, иногда пачками.

— Иначе с какой такой стати он крутится тут на кухне целыми днями? — кричал Фернандо. От гнева его лицо пошло пятнами.— Вор отъявленный!

Прочие разделяли его мнение и провели операцию «Распознавание», в ходе которой сигареты нумеровались и помечались инициалами; впрочем, боялись они скорее не за сигареты, а за свои рабочие места. Вскоре один из поваров уволился, и, вместо того чтобы повысить кого-нибудь в должности, папа взял на его место Седрика.

Поползли слухи, что новенький довольствуется половинным жалованьем, что Алекс ушел не добровольно, что мой отец готовит теплое местечко и для Букера, с которым пока приходится повременить из-за его слабого здоровья.

В итоге Фернандо категорически отказался работать с Седриком.

— Не потерплю эту сволочь у себя на кухне! — кричал он, потрясая огромным татуированным кулаком.— Разве что задница его попадет ко мне на гриль.

Папа долго и безуспешно пытался их помирить и в конце концов просто начал ставить их в разные смены.

На следующей неделе Фернандо попался на краже мясных полуфабрикатов. Как папа узнал, когда устроить засаду у задней двери, осталось загадкой, он не рассказал об этом даже нам с Моной — но все подозревали Букера. Все, кроме Фернандо, который был уверен, что стукнул Седрик. Папа созвал собрание, на котором убеждал всех, что Алекс ушел по собственной воле и что он никого не собирается выгонять. И хотя он всячески избегал упоминания о Фернандо, изумление тем, что он позволил ему остаться, так ясно читалось на лицах, что Фернандо не выдержал.

— Что вы на меня вылупились! — заорал он.— *Вот* кто отпетый ворюга.— Он схватил Седрика за шиворот.

Седрик поднял одну бровь.

— Ты хотел сказать, отличный поварюга,— произнес он.

На что Фернандо ответил ударом в зубы; и, несмотря на свое обещание, папа тут же его уволил.

Тем временем мы с Моной дорабатывали в ресторане последние дни. Лето кончалось; днем было по-прежнему душно, но вечерами занавески в открытых окнах трепетали и хлопали, словно рвались в полет. В том году постоянно дули соленые атлантические ветры, и сквозь мое воображение, как перекати-поле, неслись якоря и гавани, и сны мои были полны шлюпок, крабов и людей с обветренными лицами, постоянно косящих глаза на небо.

Пора было встряхнуться, сменить обстановку; но блинчики были все те же. В последний день каникул папа пришел домой с плохими новостями.

— Фернандо в полицию сообщил,— сказал он, вытирая руки о штаны.

Мама, естественно, поинтересовалась, при чем тут полиция; так что папе пришлось, смущенно кашляя и запинаясь, рассказать всю историю, которая завершилась тем, что из полиции позвонили в Иммиграционную службу, а та направила к нам сотрудника. Мама сидела прямая как палка, слушая о том, как агент решительно отверг приглашение пообедать и как папа под его давлением признал, что кое-какие «факты» о работниках ресторана ему были известны.

— И что теперь будет?

Папа этого не знал.

— Букера и Седрика он в тюрьму взял,— сообщил он.— Я пока тут еще.— Он невесело усмехнулся.

На другой день папа внес за «своих людей» залог и стал напряженно ждать развития событий. Прождав этот и следующий день, он обратился к соседскому сыну, который изучал право, и тот посоветовал самому позвонить в Иммиграционную службу, назвавшись другим именем. Папа так и сделал; выяснилось, что Букер не соврал: устраиваясь на работу, иностранец нарушает закон, но наниматель ответственности не несет.

В последовавшие за этим безоблачные дни папа попросил у мамы прощения, а она призналась ему насчет загородного клуба, и ему ничего не оставалось делать, как в свой черед ее простить. Потом он вновь озаботился судьбой «своих людей».

Мама считала, что помочь им ничем нельзя.

— К судье пойду поговорю,— сказал папа.

— Это тебе не Китай,— возразила мама.

— Только поговорю. Денег давать не буду, если не попросит.

— Ох, смотри, сам в тюрьму сядешь.

— А по-твоему, что надо делать? — Папа взмахнул руками.— Это же мои люди.

— Твои люди? — взорвалась мама.— А про семью, значит, забыл? Про жену?

Папа поднес к губам чашку с чаем, сделал большой глоток.

— Вот что я скажу,— промолвил он наконец.— Во время войны мой отец повара своего сам отдал в армию. Он всегда так говорил: сперва провинция, потом город; сперва город, потом семья.

— Ресторан — это не город,— сказала мама.

Папа отхлебнул еще чаю.

— Ты ведь знаешь, когда я только приехал в Штаты, я еще как от депортации бегал. Если б люди меня не помогали, где бы я был сейчас?

Мама рассматривала свой фартук.

Выждав немного, я высказала мысль, что прежде, чем идти к судье, надо посоветоваться с адвокатом.

Папа повернулся ко мне.

— С каких пор ты стала такая пуганая, как твоя мать?

Я заикнулась было, что испуг тут ни при чем, но он оборвал меня.

— Кого я нуждаюсь сегодня,— сказал он,— это сына.

На следующий день мы с отцом много часов простояли в очереди на прием в Иммиграционной службе. Поговорить с судьей ему так и не удалось, но ценой больших усилий он добился встречи с его секретаршей, которая пыталась ему втолковать, что у нее не та должность, чтобы давать советы в подобных делах. Несмотря на это, папа продолжал беззастенчиво рассыпать ей комплименты и соблазнять ее бесплатными блинчиками, пока

она наконец не сказала, что ей лично кажется, что с Букером и Седриком ничего плохого не случится.

— Особенно если они попадут в категорию «полезных работников»,— добавила она, потирая красный след на переносице от дужки очков. Зевнула.— А вы не хотите оплатить им вид на жительство?

А разве это можно? Папа просиял. Да он готов хоть сейчас. Может, она замолвит судье словечко?

Она снова зевнула; переносица ее так и пылала.

— Не волнуйтесь,— сказала она.— Их дело разберут по справедливости.

Папа вернулся окрыленный. Букер и Седрик встретили его как своего спасителя, как воплощенного Будду. Вы для нас как отец родной, сказали они; смеясь и хлопая в ладоши, они снова и снова просили его рассказать всю историю, смакуя каждую подробность. А она молодая, эта помощница судьи? Ну и что она сказала?

В тот вечер папа дал доллар на чай мальчишке-газетчику и купил маме горшок с хризантемами, который та нехотя поставила на обеденный стол. Следующим вечером он повел нас всех ужинать в ресторан. А в субботу Мона обнаружила на его кресле письмо.

Дорогой мистер Чжан!

Вы замичателный хазяин. Но мы не хатим иметь суд и паэтому мы уехали. Пажалуста простите нас. Люди гаварили што судья в Америке страшный как дракон. Сдесь только $140. Кагда нибуть абизателно вернем осталной залок. С працентами как палагаица веть вы такой замичателный хазяин. Спасиба за фсе. В другой жизни вы абизателно радитесь багатым и не будете вазица с блинами.

Фсегда ваши
Букер + Седрик.

В последующие несколько недель папа приходил в ресторан только в случае аврала, а большей частью сидел дома, вяло ковыряясь с бойлером и системой канализации,— говорил, к зиме готовится. Вроде как ушел на покой, но если другие в таком случае переезжают на юг, он переместился в подвал. Он даже принялся осыпать маму маленькими знаками внимания, стал называть ее «моя старушка», а когда мы наконец узнали, что клуб уже исчерпал годовой лимит по приему новых членов, он проникся к маме таким сочувствием, что выглядел даже более разочарованным, чем она.

2. В американском обществе

Миссис Ларднер подсластила пилюлю приглашением на прощальную вечеринку, которую она давала для своего друга, отправлявшегося на полгода в Грецию.

— Непременно приходите,— настаивала она.— Будут все-все-все, и весной, как знать...— Она сделала рукой неопределенный жест.

Мама колебалась: ведь человек, ради которого затевается вечеринка, совсем нас не знает; но миссис Ларднер заверила ее, что это, по существу, ежегодное мероприятие.

— То в Грецию, то в Антиб едет,— вздохнула она.— Дело в том, что от него ушла жена, а дочь с ним не разговаривает, так что бедный Джереми чувствует себя таким *нелюбимым*.

Нас с Моной она тоже пригласила на правах «младших гостей» и поручила нам следить, чтобы Анни не увлекалась шампанским. Я не была в восторге от этого приглашения, но, прежде чем я успела раскрыть рот, она уже благодарила нас за любезное согласие почтить ее дом нашим присутствием.

— Ну прямо две принцессы! — умилялась она.— Две маленькие принцессы!

Вечеринку назначили на воскресенье. В субботу мама повела отца в магазин покупать костюм. Так как уже кончался сентябрь, она настояла, чтобы он купил не льняной, а шерстяной, хотя на него скидка была всего десять процентов, а на тот — пятьдесят. Папа возражал, говоря, что жара какая была, такая и есть, и это была правда — душное бабье лето щедро дарило нам свои убийственные ласки,— но переубедить маму было невозможно. После Дня труда [1], заявила она, летнюю одежду не носят.

Костюм, к сожалению, был столь же внушительным по длине, как и по цене, что вызвало дополнительные затруднения, поскольку портной должен был выйти на работу только в понедельник. Но продавщица ухитрилась кое-как убавить костюм на живую нитку.

— Разве как надо она сидит? — волновался папа.

— Вы только пиджак не снимайте,— уговаривала его продавщица.

Уходя, он дал ей на чай, но дома отказался срезать ценник.

— Потом буду узнать у портного про размер,— не сдавался он.

— Ты что, хочешь *поносить* его и потом вернуть? — округлила глаза Мона.

— Я не сказал «вернуть»,— ответил папа желчно.— Просто спрошу у портного вопрос, вот и все.

Вечеринка началась бодро — правда, гости явились большей частью в шортах-бермудах и пляжных юбках, но как бы то ни было, родители мои старались вовсю и внесли свой прочувствованный вклад во всеобщие жалобы на жару. Разумеется, папа по ошибке набил себе рот острой приправой, а потом обжегся, взявшись помочь мистеру Ларднеру поворошить угли под вертелами; однако в целом он молодцом держался. Ну, до мамы ему, конечно, было далеко — она выпила целый бокал приготовленного миссис Ларднер «колдовского пунша» и действительно была как заколдованная. Пока Мона и Анни спорили насчет одноклассника — одна говорила, что он затягивается, когда курит, другая, что нет,— я поглядывала за мамой, которая, сидя у бассейна в обществе какого-то бородача и сбросив туфли, со звонким смехом слушала его флотские байки. Поскольку он служил в свое время на Востоке, он сумел ввернуть несколько слов по-китайски, чем рассмешил маму еще больше. Папа, извинившись, вышел в туалет, потом появился снова, и наконец его прибило к столу закусок, где он и бросил якорь; мама тем временем, поймав ветер, взяла курс на группу женщин, которые наперебой принялись восхищаться ее цветом лица. Я вытащила принесенную с собой книжку.

Только открыла — подходит миссис Ларднер с жалобами на нехватку раздатчиков. Не фирма, а настоящие разбойники, согласилась я; и не успела я опомниться, как начала обходить всех по кругу, раздавая крабов и прочую морскую живность и растягивая рот в улыбке.

— Как дела, папа? — спросила я, проходя мимо стола закусок.

— Лучше не бывает,— ответил он.

Мне жалко было оставлять его неприкаянным; но вскоре его взял в оборот тот самый бородач, и хотя он говорил исключительно о моей маме, я решила, что можно продолжать обход. Тут-то на нас и налетел пьяный Джереми Бразерс с пустой, хотя и закупоренной, бутылкой в руке. Это был худощавый, хорошо сложенный человек с римским носом, маленькими глазками и квадратной мужественной челюстью, хоть и малость отвисшей в ту минуту.

— Привет,— сказал он заплетающимся языком.— Какая встреча.

— И я рад встречать вас,— ответил папа.

— Отлично,— сказал Джереми.— Отлично. Слышьте-ка. Вот у меня бутылка тут, очень упрямая, по правде говоря. Не желает слушаться — и все дела. Я ей говорю наполнись, а ей хоть бы хны.— Он вытащил пробку зубами и перевернул бутылку вверх дном.

Папа кивнул.

[1] День труда празднуют в первый понедельник сентября. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

— Может, вы́ ее уговорите? — спросил Джереми. Бородач извинился и отошел.— Может, вы́ эту суку уговорите?

Папа принужденно засмеялся.

— А! — Джереми отвесил легкий поклон.— Извините, извините, извините. Вы не тот, кто мне нужен, совсем не тот.— Он снова поклонился и пошел было прочь, но вернулся.— Виноделие — не ваш конек, да, я теперь это вижу, ясно вижу. Но нельзя ли вас побеспокоить по другому вопросу? А про эту чертову бутылку забудьте.— Он швырнул ее в бассейн и подмигнул гостям, которых обдало брызгами.— У меня к вам будет еще одно дельце. Вы по-китайски говорите?

Папа сказал, что нет, но Джереми все равно вытащил из кармана носовой платок с какими-то иероглифами и сказал, что его прислала ему из Гонконга дочь и что он подозревает, что иероглифами записано какое-то тайное послание.

— Долгих лет жизни,— сказал папа.

— Да ведь вы не видели их еще.

— А я и так знаю.— Папа подмигнул мне.

— Правда?

— Правда.

— Сдается мне, вы надо мной издеваетесь.

— Да нет, что вы,— сказал папа, снова подмигивая.

— А кто вы такой вообще-то? — спросил Джереми.

Папа перестал улыбаться и пожал плечами.

— *Кто вы такой?*

Папа снова пожал плечами.

Джереми взревел: — Это моя вечеринка, *моя вечеринка,* а вас я вижу первый раз в жизни.— Он наступал на отца, тот пятился назад.— *Кто вы такой?* КТО ВЫ ТАКОЙ?

Когда папа уже стоял на самом краю бассейна, на выручку подоспела миссис Ларднер. Джереми сообщил ей, что на вечеринку явился незваный гость.

— Глупости,— сказала миссис Ларднер.— Это Ральф Чжан, я его пригласила особо, потому что очень хотела тебя с ним познакомить.— Она поправила воротник его спортивной рубашки персикового цвета.

— А мы тут уже болтаем вовсю,— сказал Джереми.

Она что-то шепнула ему на ухо; он пробормотал нечто невнятное; она зашептала снова.

— Примите мои извинения,— сказал он наконец.

Папа молчал.

— Да не дуйтесь вы,— Джереми охватило искреннее раскаяние.— Ну не первый же раз вы видите алкаша. Неужто в Китае такие типы не водятся?

— Все в порядке,— сказал папа.

Когда миссис Ларднер отчалила, Джереми положил руку отцу на плечо.

— Мне очень жаль, дружище, очень, очень жаль.

Папа кивнул.

— Что мне для вас сделать, как мне вину загладить?

— Ничего не надо, спасибо.

— Нет, не стесняйтесь, скажите,— настаивал Джереми.— Билет в казино? — Папа покачал головой.— Понимаю, вы не играете. Тогда ужин у Бартоломью? — Папа вновь покачал головой.— Понимаю, вы не едите.— Джереми поскреб затылок.— Вы прямо как моя бывшая жена. Старушка Эннабел никогда не позволяла мне ничего загладить — никогда, никогда, никогда, никогда, никогда.

Папа вывернулся из-под его руки.

— А как насчет спортивной одежды? Вы слегка переборщили с костюмом, простите за откровенность. Секундочку.— Он снял с себя спортивную рубашку и аккуратно сложил.— Примите вкупе с моими глубочайшими извинениями.— Свободной рукой он почесал волосатую грудь.

— Нет, спасибо, не надо,— сказал папа.

— Нет уж, возьмите. Примите мои извинения.— Он насильно сунул рубашку отцу в руки.— Я глубоко, глубоко раскаиваюсь. Примерьте-ка ее.

Папа беспомощно стоял с рубашкой в руках и озирался в поисках мамы.

— Разрешите, я вам пиджак снять помогу.

Папа замер.

Джереми наклонился и стащил с него пиджак.

— Так, фирма «Милтонз», цена — сто двадцать пять долларов, снижена до ста двенадцати пятидесяти,— прочел он.— Какая удача, какая удача!

— Отдайте, пожалуйста,— просил папа.— Пожалуйста.

— Снимем-ка теперь рубашку,— не унимался Джереми.

Люди начали оборачиваться.

— Давайте ее сюда.

— Я вам не слуга, не командовать! — повысил голос папа.

— Снимайте рубашку, а то я пиджак ваш в бассейн брошу, прямо в этот бассейн.— Джереми занес пиджак над водой.

— Бросайте.

— Сто двенадцать пятьдесят,— дразнил его Джереми.— Сто двенадцать...

Папа швырнул спортивную рубашку в бассейн с такой силой, что она отскочила от поверхности воды, словно забил подсвеченный фонтан. Намокнув, рубашка бесформенной массой опустилась на дно. К нам уже торопилась мать.

— А вы молодец! — Джереми внезапно расплылся в улыбке и хлопнул отца по плечу.— Ай, какой молодец! Уважаю. Парень не промах, с огоньком парень. Позвольте мне вернуть вам пиджак.— Он протянул его отцу.— Не прогадали вы с ним, нет, не прогадали.

Папа кинул пиджак в воду вслед за рубашкой.

— Мы уходим,— сказал он отрывисто.— Уходим!

— Ральф, ну что вы,— всполошилась миссис Ларднер; но папа уже шагал к воротам.

— Бери свою сестру,— это он мне. Маме: — Бери свои туфли.

— Это было *великолепно,* папа,— говорила Мона по пути к машине.— Ты вел себя *непревзойденно.*

— Показал им всем,— добавила я.

— Что? — спросил папа рассеянно.

Еще только смеркалось, но дом миссис Ларднер стоял в низине, и трудно было разглядеть что-либо, кроме белого пятна отцовской рубашки, маячившего чуть впереди.

— Это я виновата,— начала мама.

— Ничего страшного,— сказал папа великодушно. Потом добавил: — Только плохо, что в кармане пиджака были ключи.

— Ой! — воскликнула Мона.

— Вот уж действительно «ой»,— сказала мама.

— Значит, отправимся домой пешком,— предложила я.

— Но как мы в *дом* войдем? — спросила Мона.

В тишине хорошо был слышен галдеж вечеринки.

— Кто-нибудь вернись,— сказал папа.

— Давайте сначала дойдем до нашего ресторана,— предложила мама.— Там подождем, пока у них кончится, а потом позвоним миссис Ларднер.

Мы все согласились, что это разумный план, и пошли дальше.

— Подумать только,— сказала Мона.— Нам придется за ними *нырять.*

Папа остановился. Мы молча ждали.

— Вы-то плаваете как рыбки,— сказал он наконец.— Не то что я.

Пятно его рубашки вновь двинулось во тьму вверх по склону, мы — за ним.

ЛЕСЛИ МАРМОН СИЛКО

КОМУ ПОДВЛАСТНЫ ДОЖДЕВЫЕ ОБЛАКА

Они нашли его под большим тополем. На нем были голубые джинсы и куртка из джинсовой ткани, так что увидеть его не составило труда. Развесистый тополь стоял поодаль от небольшой рощицы таких же позимнему голых тополей, выросшей в широком песчаном арройо — сухом русле реки. Он лежал мертвый по меньшей мере сутки, и овцы далеко разбрелись по арройо в обе стороны. Леон и его свояк Кен собрали овец и, оставив их в загоне, вернулись к тополю. Леон ждал под деревом, пока Кен подгонял машину по рыхлому песку к краю арройо. Леон прищурился от солнца и расстегнул молнию куртки — для зимы было необычно тепло. Но вершины синеватых гор на северо-западе были еще в снегу. Кен спустился с пятидесятиярдовой высоты по осыпающемуся пологому склону, держа в руках красное одеяло.

Перед тем как они завернули старика, Леон вынул из кармана кусок бечевки и привязал к его длинным седым волосам маленькое серое перышко. Кен дал ему краску. Леон провел белую полосу по смуглому морщинистому лбу и синюю полосу по выступающим скулам. Помедлил, глядя, как Кен разбрасывает щепотки кукурузной муки и пыльцы по ветру, треплющему серое перышко. Потом Леон провел желтым под широким носом старика и наконец, покрасив его подбородок в зеленый цвет, улыбнулся.

— Пошли нам дождевые облака, дедушка.— Спеленутое тело они положили в кузов пикапа, накрыли его плотным брезентом и поехали обратно в пуэбло.

Они свернули с шоссе на грунтовую дорогу. Проехав магазин и почту, они увидели приближающуюся машину отца Пола. Он узнал их, сбавил скорость и помахал, прося остановиться. Молодой священник опустил стекло.

— Нашли старого Теофило? — прокричал он.

Леон остановил машину.— Доброе утро, святой отец. Мы как раз ездили на пастбище. Теперь все в порядке.

— Ну, слава Богу. Теофило — глубокий старик. Никогда больше не отпускайте его на пастбище одного.

— Нет, больше он туда ни ногой.

— Очень хорошо, что вы поняли. Надеюсь, на этот раз вы не пропустите мессу — в прошлое воскресенье я вас в церкви не видел. И старого Теофило прихватите с собой.— Священник улыбнулся и махнул рукой на прощание.

Луиза и Тереза ждали. Стол был накрыт для обеда, на черной чугунной плите закипал кофейник. Леон взглянул сначала на одну, потом на другую.

— Мы его нашли под тополем в большом арройо, что около пастбища. Видать, сел передохнуть в теньке и так и не встал.

Леон подошел к постели старика. Красное клетчатое покрывало вытрясли и ровно постелили на кровати, около подушки были аккуратно положены новая коричневая фланелевая рубашка и жесткие на ощупь новые джинсы. Луиза придержала сетчатую дверь, пока Леон и Кен вносили в дом красное одеяло с ношей. Старик выглядел очень маленьким и сморщенным, а когда они переодели его в новую рубашку и брюки, он показался им еще более усохшим. На звоннице ударил полуденный колокол. Они поели фасоли с горячим хлебом, и пока Тереза не разлила кофе, никто не раскрыл рта.

Кен встал и натянул куртку.— Пойду разыщу могильщиков. Земля неглубоко промерзла. Думаю, засветло управятся.

© 1981 by Leslie Marmon Silko

Леон кивнул и допил кофе. Вскоре после ухода Кена к дому тихо потянулись соседи и родичи сказать семье Теофило доброе слово и оставить на столе немного еды, чтобы могильщикам было чем подкрепиться, когда они кончат.

На западе разгоралось бледно-желтое сияние. Луиза стояла около дома, держа руки в карманах зеленой армейской куртки Леона, которая была ей велика. Прощальная церемония кончилась, и старики разошлись, забрав свои свечи и амулеты. Она дождалась, пока тело погрузили в пикап, и только потом обратилась к Леону. Она дотронулась до его руки, и он почувствовал, что ее ладонь все еще пыльная от кукурузной муки, которую она рассыпала вокруг покойника. Когда она заговорила, Леон ее не расслышал.

— Что ты сказала? Я не понял.

— Я сказала, что думаю кое о чем.

— О чем?

— Чтобы священник побрызгал на дедушку святой водой. А то его там жажда будет мучить.

Леон смотрел на новые мокасины, которые Теофило сделал себе летом для ритуальных танцев. Их подошвы были видны из-под красного одеяла. Холодало, и ветер гнал по узкой дороге серую пыль. Солнце опускалось за длинный пологий холм, куда оно всегда садилось зимой. Луиза дрожала от холода и вглядывалась ему в лицо. Наконец он застегнул куртку и открыл дверь машины.

— Я посмотрю, там он или нет.

У церкви Кен притормозил, и Леон вышел из машины; Кен поехал дальше вниз по склону — там, на кладбище, уже ждали люди. Леон постучал в старую резную дверь с изображением Агнца. Ожидая, он взглянул вверх, на два колокола, подаренные испанским королем,— верхушку звонницы еще золотили последние солнечные лучи.

Священник открыл дверь и, увидев, кто пришел, улыбнулся.

— Входите, входите. Ну и какое же дело у вас ко мне сегодня?

Священник пошел на кухню; Леон тем временем мял в руках шапку, теребя наушники, и разглядывал гостиную — там стояли коричневая софа и зеленое кресло, с потолка на цепях свисала латунная люстра. Священник принес из кухни стул и предложил Леону сесть.

— Нет, спасибо, святой отец. Я только хотел вас спросить, не принесете ли вы на кладбище святой воды.

Священник повернул голову и посмотрел в окно, выходящее в сумрачный дворик; напротив виднелись окна трапезной женского монастыря. Окна были плотно занавешены и еле светились — не видно было даже силуэтов ужинающих монахинь.

— Почему вы мне не сказали, что он умер? Я бы отслужил заупокойную мессу.

Леон улыбнулся.

— Неважно, святой отец.

Священник опустил глаза на свои поношенные коричневые ботинки и истрепанные полы сутаны.

— Для христианского погребения это очень важно.

Его голос прозвучал глухо, и Леон увидел, что в его голубых глазах сквозит усталость.

— Ничего, святой отец, просто мы хотим, чтобы у него воды было вдоволь.

Священник опустился в зеленое кресло и взял миссионерский журнал в глянцевой обложке. Принялся рассеянно листать страницы, полные цветных фотографий язычников и прокаженных.

— Вы знаете, что я не могу этого сделать, Леон. Тут нужен был заупокойный обряд по всем правилам.

Леон надел свою зеленую шапку и опустил наушники.

— Время позднее, святой отец. Мне пора.

Когда Леон открывал дверь, отец Пол вдруг встал и сказал: «Подождите». Он вышел из комнаты и вернулся в длинном коричневом балахоне. Вслед за Леоном он прошел в дверь, пересек темнеющий двор и поднялся по глинобитным церковным ступеням. Обоим пришлось нагнуться, чтобы пройти в низкий дверной проем. Когда они двинулись вниз по склону в направлении кладбища, над холмом уже виднелась только верхняя половинка солнца.

Священник приближался к могиле медленными шагами, удивляясь, как они успели разрыть мерзлую землю; но потом он вспомнил, что это Нью-Мексико, и увидел яму и холмик рыхлого холодного песка. Люди жались друг к другу и выдыхали маленькие облачка пара. Священник взглянул на них, потом на куртки, перчатки и шарфы, сложенные кучей на желтой сухой траве. Он посмотрел на красное одеяло, сомневаясь, что Теофило мог быть таким маленьким, и подозревая какой-нибудь темный индейский ритуал вроде мартовского, который творится ради хорошего урожая; а старый Теофило, может быть, сейчас на пастбище, закрывает за овцами загон на ночь. Но он-то сам тут, стоит лицом к холодному сухому ветру, глядит на заходящее солнце и готовится похоронить красное шерстяное одеяло, а обращенные к нему лица прихожан уже плохо видны, закатные лучи скользят по их спинам.

Пальцы у него окоченели, и ему не сразу удалось отвинтить крышку сосуда со святой водой. Капли воды оставляли на красном одеяле темные льдистые пятна. Он окропил могилу, и влага исчезла чуть ли не раньше, чем коснулась холодного серого песка; это ему что-то напомнило, и он силился понять, что же именно,— ему казалось, что если он поймет, то сможет разобраться в происходящем. Он брызнул еще; перевернул сосуд и вытряс оставшиеся капли, которые, сверкая в последних лучах, вызвали в памяти августовский дождь, дождь при свете солнца, когда влага испаряется, едва достигнув поникших цветов тыквы.

Ветер трепал полы его францисканского балахона и уносил прочь с одеяла кукурузную муку и пыльцу. Они опустили сверток в землю, не развязывая трудно гнущихся кусков нового каната, которые стягивали одеяло с обоих концов. Солнце уже село, и по дальнему шоссе в восточном направлении цепочкой двигались огни. Священник медленно шел восвояси. Леон смотрел, как он поднимается по склону, и когда он наконец исчез за высокими толстыми стенами, Леон перевел взгляд на громадные синие горы, покрытые шапками снега, на которых играл красноватый отсвет заката. Он радовался удаче, был доволен тем, что священник принес святую воду: теперь старик наверняка пошлет им большие грозовые тучи.

ТАХИРА НАКВИ

СЛАВА БОГУ, ЧТО У НАС ЕВРЕИ ЕСТЬ

Обычным августовским утром с его многообещающе ярким солнцем и зыбким колыханием капризного тепла, столь не похожим на упорную, изнуряющую жару августовских утр в Лахоре, Али сказал:

— Камал и его мать придут к нам обедать.

— Тетя Сакина? Когда? — спросила Фатима, пытаясь вспомнить, сколько чайных пакетиков она положила в маленький белый чайник из корнингского фарфора. Пять будет слишком много, три — мало.

© 1991 by Tahira Naqvi

Она заглянула в чайник. Три пакетика были ясно различимы, а четвертый она, видно, только подумала кинуть и не кинула. Она оторвала конец ниточки с биркой фирмы «Тетли» и добавила пакетик. Уютно зажурчал кипяток, и ее лицо слегка обдало теплом.

— Но она же говорила, что еще неделю пробудет в Нью-Джерси.

— Значит, передумала. Камал звонил мне в больницу, и я сказал, что воскресенье нас устраивает.

Али обращался к ней из спальни. Что за привычка — затевать серьезный разговор, находясь в другой комнате.

Фатима не знала, то ли ей радоваться, предвкушая встречу с троюродным братом, который хорошо ладит с Али, то ли волноваться из-за предстоящего разговора с тетей Сакиной, которая наверняка сообщит массу новостей о родне в Лахоре, то ли огорчаться из-за того, что Али не посоветовался с ней, прежде чем соглашаться на воскресный обед. Ведь подготовиться надо.

Немытые тарелки в мойке и две фарберовские кастрюли с пригоревшими остатками вчерашнего ужина радости не добавляли. Беспорядок на маленьком разделочном столике — все эти баночки с детскими пюре, бутылочки с соками, коробки с сухими молочными смесями, испуганно сбившиеся в кучу,— также не улучшал ее настроения. Вчера около одиннадцати вечера Али уехал в больницу оказать больному срочную помощь, а она устроилась поудобнее на диване в гостиной и стала смотреть «Одиннадцатичасовой сеанс» по девятому каналу. «Снега Килиманджаро». Грегори Пек. Мужчина ее мечты в девические годы. Даже теперь, увидев его улыбку, она поймала себя на желании превратиться в Аву Гарднер. Кому какое дело до моей кухни так поздно вечером? И она выкинула из головы грязную посуду.

Оставив чай завариваться под единственным чехлом для чайника, какой у нее был, Фатима пошла в спальню обсудить все с мужем. Он рылся в шкафу в поисках чистого белья.

— Но ведь воскресенье уже послезавтра,— сказала она, одной рукой поднимая с пола его белую хлопчатобумажную курта-пайджама [1], другой — грязные носки.

— Да,— подтвердил Али. Теперь он искал чистую пару носков.

Сомнений нет — он весь уже там, у постели пациента. Щупает пульс. Загнутые концы фонендоскопа уютно угнездились в маленьких ушах. Играет роль божества так небрежно, с таким беззаботным видом. Лицо, которого она не знает, не понимает. Уже вышел на кухню, пока она застилала постель.

— И она будет есть только мясо халаль! — Фатима устремилась за ним. Он наливал себе чай.

— А у нас что, в морозильнике нет? — спросил он, никак не реагируя на звенящую в ее голосе панику. Ох! Залпом глотает чай. Точно манговый сок. Нет чтобы медленно прихлебывать, смаковать. Вот уже вторую чашку наливает. Когда он громко захрустел ломтиком поджаренного хлеба, его длинные черные брови несимметрично выгнулись над переносицей.

— Конечно нет. Мы купили пару фунтов месяц назад в «Халаль-мясопродуктах», когда ездили в Куинс поглядеть на мечеть «Великий Могол». Помнишь? Уже давно все съели.

Иногда Фатима и Али покупали мясо халаль, то есть мясо животных, забитых и разделанных по правилам ислама, в одном из пакистанских магазинчиков, какими изобилует Джексон-бульвар в Куинсе. Порой они наведывались в маленькое и всегда набитое до отказа заведение под названием «Халаль-мясопродукты» на Лексингтон авеню в Манхэттене. Но чаще всего довольствовались обычной говядиной, бараниной и курятиной из супермаркета «Гранд-юнион». Аккуратно упакованное в блестящий целлофан, не оставляющее никаких сомнений в том, что кто-то ночей не спит, лишь бы поставить в магазин самое-самое, мясо всегда выглядело таким

[1] Курта-пайджама — широкие брюки и свободная рубаха до колен *(урду)*.

свежим, таким чистым, пакеты так приятно было брать и кидать в магазинную тележку. Когда Фатима промывала мясо холодной водой, она говорила: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — пророк Его», если только не забывала. Исполняя этот маленький обряд, она чувствовала себя благочестивой и зрелой женщиной.

— Послушай, ведь это же не свинину подать на стол,— пустилась она в рассуждения.— Надо только сказать калиму, когда моешь мясо,— и все в порядке. Аба [1] говорит, что Коран большего и не требует. И я ничего помимо этого не делаю. Вся эта чепуха насчет того, чтобы слить кровь, чтобы произнести имя Аллаха, когда бедное животное идет под нож,— смешно просто! — Смятение повисло в ее голове, предвещая начало мигрени, и вдобавок она вспомнила, что не пила еще чай; конечно, она выбрала не лучшее время, чтобы дискутировать с мужем о разумности мусульманских традиций приготовления мяса.

Он допил вторую чашку чая и энергично вытер кончики усов бумажной салфеткой.

— Твой отец рационалист, Фатима. Но мы-то оба знаем, что ислам — это не только то, что в Коране написано. Впрочем, я о другом хочу сказать. В Пакистане ты ведь ела только халаль, правда?

— Да, но там другое дело...— Вопрос ее не смутил. Она могла бы ответить, будь у нее побольше времени.

Он продолжал:

— Пойми, есть более консервативные люди, чем ты, и они не хотят идти на компромиссы. Где бы они ни были, они едят только халаль.

— Я знаю,— сказала Фатима вздохнув.

— Кстати, а как насчет рыбы? — спросил он. Они уже стояли в прихожей, он взялся за дверную ручку. Поцелует или забудет?

— Насчет рыбы? — Она протянула руку, чтобы смахнуть крошку с его густых черных усов.

Действительно, в отношении рыбы таких строгих запретов нет. Наверно, все дело в крови — в чем же еще? Но Фатиме всегда так не везло с рыбой. Когда бы она ни пыталась приготовить рыбное филе в тесте, каждый раз тесто расползалось, едва соприкоснувшись со сковородкой. Еще хуже обстояло дело с карри: не успевала она перевернуть рыбные кубики, как они уже разваливались, превращались в кашу. Обычно дело кончалось тем, что она выбрасывала все в мешок для мусора и начинала стряпню сызнова — уже что-нибудь другое. Увидела бы мама, убила бы ее, такую безрукую.

— Насчет рыбы? — Она посмотрела на Али. Издевается, что ли? — Во-первых, рыба у меня не очень хорошо получается, а во-вторых, сколько сортов рыбы прикажешь готовить? Может быть, тетя Сакина рыбу и вовсе не любит.

— А может быть, любит. Попробуй сделать. Ничего страшного.— Спорить с ним бесполезно. Боится огорчить тетю Сакину. Чего доброго, она наговорит про них всякого, когда вернется домой. Мол, забыли уже обычаи отцов. Представляете: едят такое же мясо, как неверные. А в следующий раз небось свининой будут потчевать.

— Хорошо,— сказала Фатима.— Попробую сделать рыбу. Но если выйдет гадость, с меня взятки гладки. Куплю макрель в «Гранд-юнион», карри только из нее прилично выходит. Жарить и пытаться не буду.

— Ладно, ладно. И орегано [2] не забудь добавить.— Он бросил взгляд на часы, висящие на стене гостиной, и ушел, ущипнув ее за щеку, одарив улыбкой и сказав «пока» прежде, чем она успела спросить: «Но почему орегано?» Наверно, орегано напоминает ему какую-нибудь травку из тех, какими приправляла рыбу его мать, скажем, аджвайн. Поцеловать ее он забыл.

Оставшись одна, Фатима немного побродила по прихожей, как чужая в собственном доме. Посмотрев себе под ноги, увидела царапины на желто-бежевом линолеуме, которые Хайдар сделал своими ходунками;

[1] Аба — отец *(уруду)*.

[2] Орегано — популярная в Америке приправа.

взглянув наверх, оглядела роскошную шелковистую паутину, заткавшую два из четырех углов белого потолка. Надо сегодня уборкой заняться. Ее сын Хайдар, безразличный к нарушению искони заведенного порядка, происходящему в округе Уэстчестер близ Нью-Йорка, еще спал. Свежий чай манил ее из кухни, как соблазнительная реклама. Все прочее подождет, сначала — чашка чая «Тетли», на котором она остановила выбор после долгих заигрываний с «Эрл Грей» и прочими «индийскими» чаями; с чаем, что ни говори, американцы делают то, что надо.

Держа чашку на ладони, она перешла в гостиную, задернула шторы по старой привычке защищаться от жаркого утреннего солнца, включила телевизор и уселась на диван. Тепло от первого глотка разлилось в груди, и она сразу почувствовала себя лучше, увереннее. Отпила еще и положила ногу на ногу. Как раз начались восьмичасовые новости. На Ближнем Востоке опять столкновения между евреями и мусульманами. Высокий красавец репортер, который, с лихо поднятым воротником куртки и ветром в соломенных волосах, казалось, сошел с рекламы фирменной одежды «Барберри» в «Нью-Йоркере», мечтательным голосом рассказывал о «последних террористических актах». В еврейский школьный автобус была подложена бомба. Показали его обгорелый остов, лежащий на склоне холма; одни дети погибли, другие были ранены, девочка года на четыре постарше Хайдара в ужасе бежала от солдата, который хотел оказать ей помощь. Прежде чем он догнал ее, картинка сменилась. Разрушенная арабская деревня. Почти все дома лежат в руинах, уцелевшие после бомбежки люди передвигаются медленно, как заколдованные. Старуха, чье лицо кажется знакомым, сидит на корточках перед голыми руинами и кричит без умолку, раскрыв рот в нелепом подобии улыбки.

Во время рекламной паузы Фатима решила составить список покупок, чтобы ничего не забыть, когда Али сегодня вечером повезет ее в «Гранд-юнион». Она написала: «орегано». Вдруг она поняла, кого ей напомнила старуха в новостях. Та, обезумевшая от горя. Она напомнила ей тетю Сакину. Видимо, все старые женщины чем-то друг с другом схожи.

Тетя Сакина приходилась отцу Фатимы двоюродной сестрой. Прошлым летом, когда Фатима приезжала к ней в Пакистан, тетя Сакина призналась ей по секрету, что смертельно тоскует по Камалу, особенно теперь, когда она потеряла мужа и выдала замуж дочь. «Невестка вдохнула бы в этот дом новую жизнь»,— сказала она дрожащим голосом. Она поведала ей, что Камал настойчиво приглашает ее погостить у него в Америке. Ее глубоко запавшие глаза со старческой поволокой легко наполнялись слезами. «Но не говори ему, пожалуйста, ничего»,— просила она Фатиму, вытирая уголком белой дупатты [1] влагу, обильно струившуюся по ее морщинистым, словно выдубленным щекам. «Да приезжай, конечно, тетушка,— сказала ей Фатима.— Почему ты не хочешь приехать?» Фатима знала, что тетя Сакина тянет время, хочет, чтобы Камал умолял ее. Ее мать вела бы себя так же. Матери любят, чтобы взрослые дети упрашивали их, ползали перед ними на коленях. Потому что те обычно не обращают на них внимания. Живут своей жизнью.

Все еще сомневаясь насчет рыбы, Фатима поставила на списке покупок рядом с «бостонской макрелью» жирный вопросительный знак. По телевизору шел фрагмент об Иерусалиме. Все тот же красивый разъездной корреспондент, точно так же одетый и точно так же отстраненный от всего окружающего, говорил с отчетливой артикуляцией, какой она никогда не слышала на улицах Нью-Йорка и Уэствилла: «Иерусалим, называемый евреями Иерушалаим, а мусульманами аль-Бейт аль-Мугаддас, представляет собой город, на который мусульмане претендуют так же настойчиво, как евреи и христиане». Еврейские паломники стояли в благоговейных позах у Стены Плача, которую арабы, как она помнила из школьного учебника истории, называют Стеной Сулеймана. Внезапно она ощутила укол совести из-за того, что очень долго не молилась и не читала Коран. Узнала бы тетя

[1] Дупатта́ — тонкий шарф *(урду)*.

Сакина о такой лености, нашла бы, что ей сказать. В этот миг поверх бормотания молящихся евреев и гомона базаров раздался манящий, как пение сирены, азан — призыв муэдзина к молитве. Ох, бедный король Хусейн. Такой обходительный, такой мягкий. Несчастный монарх, который выпустил из рук Иерусалим.

«Фаб — тобой стирать я рад! Фаб — лимонный аромат!» Вспомнив, что у нее кончился стиральный порошок, она добавила к списку: «Ст. порошок — Фаб». А почему бы все же не обратиться к Корану? Ведь это источник всех законов ислама. Живой родник.

Она принялась листать перевод Пиктхолла. Сура 2, «Корова». Стихи 167, 168: «О вы, которые уверовали! Ешьте блага, которыми Мы вас наделили... Он ведь запретил вам только мертвечину, и кровь, и мясо свиньи, и то, что заколото не для Аллаха».

Итак, проблемы нет. Все расписано черным по белому. Но согласится ли тетя Сакина? Нет. Все мы дети обычая и привычки.

Фатима позавидовала женщинам из Лахора, которым не приходится изводить себя всякими нелепыми сомнениями, затевая обед в честь матери мужнина приятеля. Их забота была бы о меню, о том, чтобы хватило молока и сахара для кхира, о том, чтобы пойти на базар пораньше и перехватить лучшие куски баранины и говядины, чтобы найти мясистую курицу за приемлемую цену, чтобы заготовить побольше льда для прохладительных напитков. Как смеялась бы ее двоюродная сестра Зейнаб, если бы была тут сейчас! Как хихикала бы, узнав, что обеду у Фатимы предшествуют теоретические изыскания по вопросу о мясе халаль! Фатима залилась краской стыда. Но, к счастью, Зейнаб не видела ее в минуту слабости. Она одна, если не считать маленького несмышленого Хайдара.

Она еще полистала Коран в мягком переплете. На странице 357 прочитала: «Женщины да пользуются правами, сходными с теми, что даны мужчинам, хотя мужчины главенствуют над женщинами. Истинно, могущ и мудр Аллах». Адиба, подумала она. Как это она раньше о ней не вспомнила?

Адиба знала едва ли не все, что следует знать в Америке. Они с мужем, два года назад получившим статус постоянно проживающего, провели в Штатах побольше времени, чем Фатима с Али и многие другие. Фатима часто слышала от Самины или еще кого-нибудь из пакистанских женщин одни и те же слова, исполненные абсолютного доверия: «Спроси Адибу, уж она-то знает». Кстати, Самина уже и сама прилично пообтерлась. Зорким глазом следит, где какая распродажа, где лучше купить электроприборы и электронику на 220 вольт для подарков родственникам в Пакистане, и приглядывает молодых невест для холостых пакистанцев, посещающих Уэствиллскую больницу.

Но Адибы дома уже не было, что Фатиму ничуть не удивило: ее вообще редко удавалось застать дома. Иначе как бы она могла так много знать? Рано поутру надо обойти все магазины и высмотреть, где снижены цены, прежде чем набегут покупатели. Фатима решила попытать счастья у Самины и набрала ее номер. После нескольких звонков раздалось вялое «Алло». У Самины не было детей, и у женщин существовало молчаливое соглашение о том, что ей можно поспать подольше. Фатима извинилась за ранний звонок.

— Да не дури ты,— сказала Самина сонно.— Я уже проснулась, просто еще не вставала.— Минуту-другую они поболтали о распродаже тканей у Зингера.— Не забудь подойти к прилавку «Ярд за доллар» в дальнем конце,— посоветовала Самина.

— Нет, не забуду,— торопливо согласилась Фатима. Экая важность, и к тому же ей не нужны пока ткани. Ну, к делу.

— Кстати, ты не знаешь, продается здесь где-нибудь мясо халаль? — Фатима чувствовала, что этим вопросом она выносит себе приговор: все теперь узнают о ее невежестве.

— Халаль? Шутишь, что ли? Мы всегда берем в Куинсе. У тебя что, кончилось?

— Да,— сказала Фатима, теребя свое обручальное кольцо.— И мне, кровь из носу, нужно достать. В воскресенье у нас гости, и нет уже времени в Нью-Йорк ехать.— Может, из своего предложит? Вряд ли, если я прямо не попрошу. Лучше бы сама предложила. Одна упаковка — и проблема решена.

— А возьми кошерное.— В голосе Самины прозвучала непоколебимая уверенность.

— Кошерное? — тупо переспросила Фатима. Слово вроде знакомое, как лицо человека, которого раньше где-то встречала. А-а, ну конечно. В «Гранд-юнион» на упаковках с сосисками. Что-то еврейское. Но что хочет сказать Самина? Боясь опять продемонстрировать полное невежество, Фатима молчала. Самина болтушка, сама все выложит.

— Ну да, например, цыплят кошерных,— тараторила Самина, не обращая никакого внимания на замешательство Фатимы.— Бывают и кошерные сосиски, и мясо — совсем как наше. Когда животное забивают, они произносят имя Бога, а потом сливают кровь.

Они? Фатиму передернуло от сознания собственной глупости.

— В общем, кошерное нам вполне подходит.— Эти слова Самина произнесла еще более уверенным тоном. Фатима живо представила ее себе на другом конце провода: глазки-бусинки сверкают, лицо зарумянилось, вся так и пышет гордостью из-за того, что смогла дать полезный совет, что вот-вот уже с Адибой сравняется.

— А Адиба тоже берет кошерное? — Надо убедиться наверняка. На все сто процентов. Что, если тетя Сакина начнет допытываться?

— Конечно. Все мы берем, и она тоже.

Все? О Господи...

— Особенно зимой. В плохую погоду в Нью-Йорк не наездишься. Слава Богу, что у нас евреи есть.

— Да,— согласилась Фатима упавшим голосом.

— В «Патмарке» его всегда полным-полно.— Самина торопилась выдать все, что знает.

Можно ли целиком положиться на слова Самины? Ведь ей все-таки еще учиться и учиться. Может быть, еврейская молитва не такая, как мусульманская?

Чеймберсовский словарь двадцатого столетия в числе немногих книг прибыл с ней из Пакистана. На первой чистой странице стояло имя брата, ниже — ее имя, а между ними беззаконно вклинился детский росчерк сестренки. Замусоленные ветхие листы загибались на концах. Она осторожно ухватывала страницу двумя пальцами за верхний угол и, не торопясь, аккуратно переворачивала. Так она дважды проскочила «К», натыкаясь после «J» сразу на «L». Она обслюнявила палец, стала листать страницу за страницей и, наконец, ведя пальцем вниз, нашла «кошерный» в левой колонке. Почти сразу же после слова «Коран». Словарь разъяснял: «чистый, съедобный, согласно еврейским религиозным правилам — напр., мясо животных, забитых и разделанных евреями. [От древнеевр. яшар — быть правым.]».

Фатима вычеркнула из списка бостонскую макрель и написала вместо нее: «кошерные цыплята — Патмарк». Сюжет о столкновениях на Ближнем Востоке заканчивался. На Иерусалим опустился туман. Молитвенные покрывала казались пятнами белой краски на темном холсте. Красавец репортер куда-то исчез. Фатима переключила телевизор на другой канал, чтобы Хайдар, который как раз проснулся и захныкал, мог посмотреть «Улицу открытий».

День потянулся как обычно. В одиннадцать она посмотрела «Поймать вора» Хичкока по девятому каналу. Около двух, когда Хайдар уснул, она тоже задремала, и ей приснилось, что она с тетей Сакиной рыщет по арабской деревне в поисках орегано. Она вела тетю за руку через лабиринт пыльных улочек, нещадно палимых солнцем, и вдруг увидела своего маленького сына, который побежал от нее прочь, как от чужой женщины. Проснулась вся в поту, горло пересохло. Она собиралась встать и пойти напиться — и тут услышала, как Али открывает ключом входную дверь.

Задыхаясь от волнения, она вскочила с постели и бросилась к нему. И крикнула мужу, еще стоящему в дверях:

— Али, все в порядке! Слава Богу, что у нас евреи есть!

РИЧАРД БАУШ

СТАРЫЙ ЗАПАД

1950

Пусть не обманывают вас мой возраст и мое платье. Уж я поездил по свету. Я прочел все книги и изведал все искушения плоти. Я познал и успех, и невзгоды, и я дожил до того времени, когда события моего детства на Старом Западе стали, если хотите, всеобщим достоянием [1]. Уже в не столь молодые годы я одно время рассказывал о них с эстрадных подмостков. Знаю, знаю, сейчас я для вас всего лишь жалкий старикашка. Но тогда я, поверьте, смотрелся неплохо. Темой моей был Старый Запад, а лучшим номером — эта вот история, история о том, как Шейн приехал в нашу неспокойную горную долину. Вы ее, конечно, знаете. Так вот, я — тот самый мальчик, свидетель происшедшего. Я приехал оттуда, из-под огромных небес, из этих необъятных просторов, и я видел все своими глазами. И все же потому я так преуспел со своей историей на сцене, что уже тогда не верил в нее до конца.

Это-то странное обстоятельство я и хочу разъяснить.

Того, о чем пойдет речь дальше, я никогда никому не рассказывал. Вначале потому, что не хотел лишиться заработка, затем потому — ну, просто потому.

Но факт тот, что он вернулся в нашу долину — двенадцать или тринадцать лет спустя. Джо Старретт уже умер от холеры, и хотя мы с матерью все еще жили на старом месте, радости в такой жизни было мало. Ни кукурузы толком не вырастишь, ни иного чего. Там действительно скотоводческий край, и поселенцам-гомстедерам, после всех героических усилий, пришлось в конце концов это признать.

Мы похоронили Джо Старретта за нашим амбаром, и мама не хотела оставлять его там одного, не хотела переезжать в поселок. Поселок, кстати говоря, к тому времени почти не изменился; главной его достопримечательностью оставалось универсальное заведение Графтона — хотя, поскольку там-то и случилась большая стрельба, дом приобрел черты музея. Графтон, к примеру, оставил незаделанной дырку от пули в стене и отметил кровавые пятна на пыльном полу. Но там по-прежнему было средоточие всего и вся — и салун, и магазин на все случаи жизни, а с некоторых пор, по воскресным дням, и место молитвы.

Это последнее требует объяснения, поскольку важно для понимания случившегося в ту осень, когда мне стукнуло двадцать один. В один прекрасный день предшествовавшей тем событиям зимы в нашу долину въехал верхом на осле плюгавый пожилой тип, назвавшийся преподобным Багли, и мы глазом не успели моргнуть, как его воскресные проповеди с верхней галереи салуна стали для нас привычным явлением. Подъехав к заведению Графтона, он вошел внутрь, заказал себе виски, выпил, потом повернулся и оглядел публику — пять-шесть пастухов из бывших людей

[1] Предысторией этого рассказа являются события знаменитого фильма-вестерна «Шейн», вышедшего на экран в 1953 г.

© 1990 by Richard Bausch

скотоводческого магната и шлюху, которую Графтон полгода назад приволок с востока. (Все было тихо-мирно. Вечер только начинался. Солнце еще не зашло за гору.) Как бы то ни было, Багли повернулся спиной к стойке, всех осмотрел и дружелюбным, но непреклонным тоном объявил, что является носителем веры и что поселок, по его мнению, нуждается в самом серьезном очищении от грехов. Меня там в это время не было, но потом мне рассказывали, что после того, как Графтон спросил его из-за стойки, что он имеет в виду, Багли начал растолковывать свою мысль с таким красноречием, что присутствующих как громом поразило. (Шлюха вскоре отправилась обратно на восток, но никто не набрался смелости — или подлости — спросить Графтона, связан ли ее отъезд с появлением Багли.)

Как вы уже поняли, поселок наш был не ахти, и будущее ничего хорошего не сулило. К тому времени это осознали уже все. Жизнь шла своим чередом, дети вырастали и уезжали, и даже некоторые из старшего поколения, из первопоселенцев, которые боролись и терпели лишения плечом к плечу с Джо Старреттом, которые выдержали натиск скотоводов, теперь находили веские причины, чтобы покидать родные места. Да и чего их долго искать, эти причины: долгая и суровая зима; неплодородная, как я уже сказал, почва; слухи о всяких диковинках за пределами долины (говорили, например, что в Сан-Франциско люди ездят на верхние этажи в электрических вагончиках; Графтон хвастался, что сам такое видел на выставке в Нью-Йорке).

Я места себе не находил. Мы с мамой жили в нашей хибарке вдвоем и не очень-то друг с другом ладили. После смерти Джо Старретта она слегка тронулась умом; ей не было еще и пятидесяти, а выглядела она на все шестьдесят пять. Она требовала, чтобы по вечерам я оставался с ней, а меня тянуло к Графтону. Почти все мужчины в нашей долине проводили там вечера. Что и говорить, закладывали мы тогда крепко. Многие всю неделю не просыхали. По утрам ребята подымались тяжело. Но каждое воскресенье, как ни мутило и как ни раскалывалась голова, все как один вновь тащились к Графтону, в обитель наших грехопадений, послушать проповедь старого Багли. И мама тоже шла. От запаха, стоявшего там по воскресеньям — смесь духов, пота и виски, да еще густое амбре от плевательниц,— перехватывало дыхание.

Жизнь становилась все труднее и труднее, но мы знали, что ничего лучшего не заслуживаем.

Очень часто разговоры наши крутились вокруг той стычки, и должен признать, что это в немалой степени моя заслуга,— ведь я был единственным очевидцем события, и мне чем дальше, тем больше нравилось о нем рассказывать. На моих глазах вершилась история, думал я. Я — ее хранитель. Случившееся вставало перед моим внутренним взором с отчетливостью галлюцинации, и я *верил*, что все так и было. Благодаря моим рассказам главные участники событий навеки вошли в летопись края, если, конечно, у него была летопись. Трое из них были похоронены на холме за поселком, в том числе Уилсон, великолепный стрелок, который умел в долю секунды выхватить пистолет, но был убит в молниеносном поединке в заведении Графтона немногословным чужаком, приехавшим верхом в нашу долину и изменившим ее навсегда.

Он вернулся той осенью, спустя годы, и, как и в прошлый раз, я был первый, кто его увидел; он ехал на пегой кобыле, хотя, конечно, это была уже не та лошадь. Не могла быть та. Но старая-престарая. Когда он приблизился, обнаружилась суровая правда: это была опухшая с одного бока кляча с просевшей спиной. Я чинил забор на берегу ручья, солнышко пригревало, я что-то мурлыкал себе под нос, прикидывал, когда лучше отправиться в город хлебнуть виски, и вот он едет, сперва — только медленно движущееся пятнышко у подножия горы. Точь-в-точь как тогда. Только теперь я был постарше и далеко не так любопытен. Подобно большинству жителей долины, я боялся перемен и настороженно относился

ко всему новому. Я смотрел, как он едет ко мне, и вспоминал то, первое его появление. Поначалу, конечно, я не мог различить, кто это был, и не предполагал даже, что это может быть он, но в какой-то короткий томительный промежуток времени я *хотел*, чтобы это был он — но такой, как тогда, и чтобы мне вновь стало семь лет. Чтобы прошлое вернулось вспять, чтобы слышно было, как Джо Старретт колет дрова,— надежный человек, добродушный и сильный, стоящий на земле обеими ногами, готовый ко всему. Я смотрел, вспоминал и стремился в детство какой-то частью души, и вот уже стал различать черты всадника. Узнал его. Вернее, вначале я узнал этот шестизарядный револьвер с перламутровой ручкой. Отступив на шаг от забора, я томительно ждал его и вдруг поймал себя на том, что хочу махнуть ему рукой,— дескать, разворачивайся, ищи себе другую долину. Даже любопытства никакого не было. Я еще не видел, как он раздался и телом, и лицом, но уже чувствовал, что он мало чем будет похож на образ, сохранившийся в моей памяти, и вспоминал, что, покидая нас, он оставил нам надежду на лучшую жизнь, на мирные труды. Я подумал о нашем жалком поселке, о годах, бездарно растраченных в заведении Графтона. Лично мне похвастать было нечем. Фермер-бедняк без будущего, без всякого просвета в жизни, уже испытывающий слабость к спиртному.

Но я и предположить не мог, что увижу его таким.

У меня даже дыхание занялось. На нем были вытертые и рваные кожаные штаны, покрытые, подобно географической карте, пятнами выступившей соли и конского пота. В толщину он стал необъятен — ему пришлось проделать ножиком дырку в ремне,— и под подбородком у него колыхался жир. Лицо его казалось просевшим и расползшимся вокруг нижней челюсти, а когда он снял шляпу и волосы его растрепал ветер, я увидел светящуюся лысину. Да, уж обрюзг так обрюзг.

— Не вы ли будете...— начал он.

— Он самый,— ответил я.

Он изменил положение тела.

— Ну вот.

— Видать, издалека приехали,— сказал я.

Он не ответил. Какое-то время мы смотрели друг на друга. Потом он с трудом спешился и постоял, держа в руках поводья.

— Сколько воды утекло,— произнес он после тягостной заминки.

Теперь уже я не знал, что сказать. Разглядывал его сапоги. С носков они вконец износились — вместо кожи одна ветхая, грязная ткань. Мне его стало жалко. Так и хотелось раскрыться ему навстречу. И все же, смотря на него, я чувствовал, что сильнее всего на свете, сильнее всех дерзких мечтаний детства желаю, чтобы он уехал.

— А отец твой...— мялся он, не глядя мне в глаза.

— Схоронили вон там,— сказал я.

— А Мариан? — Он все держал шляпу в руке.

— Послушайте,— не выдержал я.— Зачем вы приехали, скажите на милость?

Он надел шляпу.— Мариан тоже умерла?

— Нет, но навряд ли она вам шибко обрадуется. У нее своя жизнь.

Он посмотрел на горы; из-за ручья дохнул легкий ветерок. Поднял на воде рябь, затеял игру бликов и теней, потом достиг нас, шевельнул волосы у него над ушами.

— Любовь, она никуда не девалась,— сказал он.

В его голосе мне почудилась ирония.

— Любовь? Интересно.

— Я хотел сказать, любовь к этой долине.

Я промолчал. Он вынул из кармана рубахи белый платок — странным образом чистый,— вытер потную шею, сложил и сунул обратно.

— Можно побыть пару дней? — спросил он.

— Не знаю. Не так это просто.

— Даже на порог не хочешь меня пустить?

Я медлил с ответом. Так вот стояли лицом к лицу и глядели друг на друга. Наконец я сказал:

— Можете зайти в дом. Но сперва я мать подготовлю. С бухты-барахты — это ни ей, ни вам не нужно.

— Я понимаю,— согласился он.

Мама с некоторых пор взяла моду сидеть у окна, положив на колени казеннозарядное ружье. Когда хлеб был испечен, огород полит, обе коровы подоены, масло сбито и яйца собраны, когда дом был выметен и прибран, когда выстиранное белье было развешено во дворе на веревке, она усаживалась подле окна, держа наготове ружье со взведенным курком. Примерно двумя годами раньше какой-то несчастный, заплутавший, изголодавшийся, одинокий индеец племени команчей, двигаясь с севера, заехал в наши места, остановил лошадь на берегу ручья и посмотрел в нашу сторону, приложив ладонь ко лбу козырьком. На вид ему было лет девяносто, и когда он повернул лошадь и поехал, удаляясь, на запад вдоль ручья, мама сняла со стены мое ружье, зарядила его и села с ним к окну.

— Мариан,— сказал я.— Этот старый бродяга просто ищет, где сдохнуть.

— Это моя забота, сынок.

Впрочем, поначалу мне казалось, что это даже к лучшему — она меньше внимания стала обращать на меня и на мои попойки у Графтона. Пусть хоть целый день себе сидит и палит по белкам в кустах, думал я. Но в последние месяцы приближаться к дому в определенные часы дня и ночи стало небезопасно. Надо было всегда помнить, что она затаилась в засаде, а я порой возвращался от Графтона такой хороший, что забывал. Она уверяла меня, что я не раз был на волосок от гибели, а однажды она и вправду в меня выстрелила.

Это случилось примерно за неделю до его возвращения в долину и было воспринято мной как дурной знак — или, лучше сказать, мне *представляется*, что я так это воспринял, поскольку я десятки лет потом мусолил и пережевывал эти дела, и немудрено, что смертоубийство заставило человека, который его пережил, поверить в то, что в предзнаменованиях недостатка не было. Как бы то ни было, в тот вечер, когда Мариан открыла по мне огонь, я медленно ехал домой совершенно пьяный, дав лошади полную свободу и едва не падая с седла. Она перешла ручей и стала выбираться на тропинку, ведущую к дому. Пуля задела мне руку повыше локтя, вырвала крошечный кусочек мяса и со свистом унеслась в черноту. От грохота выстрела, жгучей боли в руке и ржания испуганной лошади я мешком свалился в воду.

— Получил, индеец чертов! — раздался из дома вопль Мариан.

Я лежал в холодной воде и проникался мыслью, что матушка у меня действительно «того».

— Эгей! — крикнул я, не осмеливаясь встать, поскольку слышал щелканье затвора.— Это я! Твой сын!

— У меня многозарядная винтовка,— соврала она. Она перезарядила ружье и прицелилась опять, это было ясно по ее голосу.— И детей никаких у меня тут нет.

Нет звука более жуткого, более цепенящего, чем цоканье пули о камень — пули, всерьез предназначенной тебе.

— Да погоди ты! — завопил я.— Черт побери, Мариан, это я, я! Твоя плоть и кровь!

— Кто, кто?

— Твой сын. И ты меня уже ранила.

— Знать ничего не знаю,— и выпалила снова. Пуля прожужжала у меня над головой, как зловредное, алчное до крови насекомое.

— Помнишь, как ты хотела, чтобы в долине больше не было оружия? — крикнул я.— Помнишь, мама? Помнишь, как ты ненавидела стрельбу?

— Кто ты такой?

— Да я же! Боже мой, я ранен.

Она опять выстрелила. На этот раз пуля ударилась о воду и запрыгала, как плоский камешек, пущенный с нечеловеческой силой.— Грабители проклятые! — заорала она.

— Это я! Мне плохо. Я был у Графтона. Ты мне в руку попала.

Вновь щелканье затвора, затем долгая пауза.

— Мариан! — взмолился я, по-прежнему стараясь не высовываться.— Неужели ты убьешь собственного сына?

— Как ты докажешь, что ты мой сын?

— Да кто еще тут будет шляться в это время?

— Я спущусь посмотрю, а ты не шевелись, не то мозги вышибу.

Я замер в холодных струях ручья и сидел до тех пор, пока она не сподобилась спуститься ко мне с фонарем и заряженным ружьем. Только после этого она смягчилась и оказала мне помощь, своему собственному сыну, едва не убитому, страдающему от раны, которую она же и нанесла.

— У Графтона, значит, был, виски накачивался,— сказала она, поставив фонарь на землю.

— Ты ненавидишь оружие. Так, нет?

— И не думай, что я позволю тебе дрыхнуть до полудня.

— Стрелять-то зачем?

Но она уже завела разговор о чем-то другом. Вот такой она становилась с годами — поди пойми, как с ней иметь дело.

И вот когда он приехал, я велел ему раньше времени ей не показываться, а сам осторожно двинулся к дому.— Мама,— подал я голос,— это я.

— Я здесь,— ответила она из амбара. Она сбивала масло и, не выходя, стала ждать, пока я подойду к окну и загляну внутрь. Я приблизился, как всегда теперь, с опаской, словно на войне.

— Ну? — сказала она.— Что такое?

Пока я тихонько шел по тропинке, я решил, что лучше всего смогу подготовить мать к его возвращению, если куда-нибудь ее увезу. Куда угодно, только подальше от него. Она сидела на выстланном соломой полу, нахлобучив на голову большую соломенную шляпу, словно под палящим солнцем. Руки ее, державшие маслобойку, выглядели старыми и натруженными.

— Мама,— сказал я.— Преподобный Багли просит, чтоб ты ему хлеба привезла для воскресного причастия.

— Что? С кем случилось несчастье?

В довершение всего она слух начала терять. Я повторил, повысив голос почти до крика.

— Так это он всегда просит,— сказала она, отвернувшись.— Я по субботам вожу хлеб. А нынче еще не суббота. Зачем орать-то было?

— Тут особый случай. На этой неделе ему раньше нужно.

Если я сейчас увезу ее из дома, соображал я, можно будет что-нибудь придумать. Скажем, уговорить кого-нибудь еще взять гостя к себе. А там выяснить, чего он хочет, и действовать соответственно. Но предлог я выбрал не самый удачный. Мариан и старый Багли встречались на субботних и воскресных совместных трапезах, да частенько еще и вечерами. Если бы мы с Багли действительно виделись, Мариан бы об этом знала. Я стоял и пытался выдумать что-нибудь еще, смущенный необходимостью выкручиваться, но тут она неторопливо встала, вздохнула, почесала спину, покрутила головой и уставилась куда-то в сторону.

— Запрягай,— сказала она.

Я не сразу сообразил, что она и вправду мне поверила.— Но я с тобой не смогу,— предупредил я.

— Как это я одна поеду? — Она вытерла руки о подол платья.— Давай, давай, запрягай.

— Ладно,— согласился я. Спорить с ней было бесполезно. Если у нее в голове что засядет, никакими силами не выбьешь. Да и не хотел я давать ей много времени на размышления. Пусть уж все идет как идет. Может, мне

удастся улизнуть, когда мы приедем в поселок; рвану тогда домой и постараюсь как-нибудь все уладить.

— Мне надо там кончить с забором. Ты пока переодевайся, я мигом.

— Ты переодеваться собираешься?

— Нет, ты сама переоденься.

— *Мне* переодеться?

— У тебя весь подол грязный.

Она покачала головой, приподняла немного платье, чтобы край не волочился по земле, и медленно двинулась к дому. Когда она вошла внутрь, я ринулся к забору и увидел, что он сидит на лошади и дремлет, уронив голову на грудь; шляпа его висела на луке седла, ветер растрепал редкие волосенки. Вид его чем-то трогал сердце.

— Эгей,— сказал я, пожалуй, чуть громче, чем следовало.

Он попытался вытащить пистолет. Лошадь вздрогнула и, кашляя, подалась назад. Его рука не нашла перламутровую ручку, а потом лошадь закружилась на месте, топча упавшую шляпу, а он держался за луку, крича: «Тпру! Стой, чтоб тебя. Тпру, слышь ты!» Когда он успокоил наконец лошадь, я наклонился и поднял шляпу.

— Держите,— сказал я.— Ах ты Господи.

Он похлопал себя шляпой по ноге, подняв облачко белой пыли, после чего надел ее. Лошадь вновь повернулась, так что теперь он сидел ко мне спиной.

— Боже ты мой,— сказал я.— Да слезли бы вы, что ли.

— Чертова дохлятина,— выругался он, поворачивая кобылу.— Послушай меня, мальчик. Я много миль на ней покрыл. Спал прямо в седле, а она шла куда ей вздумается. До того я изголодался и отчаялся.— Пока он говорил, казалось, что пегая лошадь хочет его скинуть. Вот-вот брыкаться станет, подумал я.

— Значит, так,— сказал я.— Обсудить все надо. Причем по-быстрому.

— Я думал, можно будет к дому подъехать.

Я покачал головой.— Исключено.

— Да?

— Да. На сто процентов.

Он спешился. Кобыла закашлялась, как больная старуха, пошла от нас прочь, опустила серую морду в осоку, что росла у самой воды, и начала есть.

— Легкое, видишь, опухло,— сказал он.

Лошадь кашлянула в траву.

— Что, неужто нельзя подъехать?

— На *этой*?

Он опустил глаза.

— С Мариан ведь как,— сказал я.— Чуть что, из себя выходит. Еще пулю в лоб получите.

Он уставился на меня.

— У Мариан есть оружие?

— Мариан теперь стреляет без предупреждения.

— Это почему же?

— Подозрительная стала. Откуда я знаю почему.— Я не мог скрыть раздражения.

Он промолчал.

— Располагайтесь в амбаре,— сказал я.— Но не раньше, чем мы уедем, и на глаза ей не попадайтесь. Придется уж вам слушаться.

Он опять снял шляпу, потупился. Глядя на его веснушчатую лысину, я подумал: прикрыл бы он ее снова.

— Ждите здесь, и отсюда никуда, пока мы не уедем,— сказал я. Потом не удержался и добавил: — Там проповеднику одному она нравится, и он ей нравится тоже.— Я смотрел на его лицо, вспоминая с каким-то печальным удовлетворением — я так часто об этом рассказывал,— как он, раненный, наклонился ко мне с седла и сказал: «Передай маме, что в этой долине оружия больше нет».

Он надел шляпу.

— Пускай она у него побудет, а я тем часом соображу что-нибудь,— сказал я.

— Что за проповедник? — спросил он, глядя мне в глаза.

— Тут вам ничего изменить не удастся.

— Просто фамилию его хочу знать.

Я назвал ее, и он кивнул, повторив вполголоса: — Багли.

— Так вы сделаете, как я сказал?

— Да,— ответил он.— Если и ты для меня кое-что сделаешь.— В его глазах мелькнул отблеск прежнего огня. Меня охватило волнение. В конце концов это был тот самый человек, который, как я помнил, в одиночку за полсекунды расправился со старым скотоводческим магнатом и его наемным головорезом. Я много раз говорил о том, что хотя именно мой предупреждающий крик, видимо, спас его от убийцы, целившего ему в спину с галереи, выстрел, который сделал он,— мгновенно обернувшись, сориентировавшись по грохоту и дымку из засады, нажав курок рефлекторно, словно «кольт» в его мелькнувшей руке выпалил сам по себе,— этот выстрел был самым настоящим чудом меткости: вспышка, и пуля летит негодяю в самое сердце, и он мешком падает вниз с галереи, мертвый еще до того, как он выпустил из рук дымящуюся винтовку. Так я рассказывал; так я помнил.

— Хорошо,— сказал я.

Он двинулся было от меня, потом вновь снял с головы шляпу и встал, разгибая поля и пытаясь, что ли, ее сложить.— А этот Багли,— спросил он через плечо,— давно он тут обретается?

— Не знаю,— ответил я и не соврал. Никто в долине не высчитывал тогда время, разве что прикидывали, когда кончатся убийственные зимние холода.— Кажется, с прошлой зимы.

— Он тут проповедник у вас?

— Вроде того.

— Рукоположен?

Этого слова я тогда не знал.

— Ну, какой он церкви?

— Да никакой,— ответил я.— Графтона. Своей собственной.

— Сам для себя, значит, церковь учредил.

— Каждое воскресенье проповеди читает. С галереи.

— Кобуру носит?

— Не замечал.

— Стрелял при тебе хоть раз?

— Нет,— сказал я и добавил: — Послушайте, если вы его и прихлопнете, что вы выиграете?

Он посмотрел на меня такими потерянными, такими несчастными глазами, что я прикусил язык.

— Может, я и вовсе недолго тут пробуду,— сказал он.

— Ну, ждите здесь.

Он кивнул, не глядя мне в глаза.

По пути в поселок я все раздумывал о том, с каким жалким видом он стоял и смотрел на меня, когда я шел в дом за Мариан, какая покорность была написана на его лице, какое унижение сквозило в его сутулой фигуре.

Трудно было поверить, что мои слова или тон могли подействовать на него так угнетающе. Наверняка что-то еще его мучило. Мариан сидела рядом со мной и смотрела в сторону, на горы; ее красные загрубевшие руки лежали на коленях. Сказать по правде, меня вовсе не интересовало, о чем она сейчас думает. В то время стоило ее о чем-нибудь спросить — и начиналось словоизвержение. Ее ощущению порядка и благообразия все время что-то угрожало. Всюду царили гниение и упадок. Под любой личиной она готова была увидеть зло. Моральное разложение. Духовное обнищание и хаос. Помимо сидения с ружьем у окна в ожидании грабителей у нее развились и другие весьма диковинные признаки враждебности к данностям жизни; с течением времени мне даже стало казаться, что она претендует на

все права и привилегии мужского пола,— и теперь я думаю, что был не так уж далек от истины. На нынешний слух это звучит чуть ли не прогрессивно, но в то время это расценивалось как помешательство. Как бы то ни было, в нашей отгороженной от мира долине, среди трудностей и тягот мне удавалось скрывать ее странности от окружающих. И я был доволен их растущей взаимной привязанностью со старым Багли, который умел поддакивать ей, не разделяя ее мыслей.

— Ну,— сказала она вдруг.— Так зачем тебе нужно было увезти меня в поселок?

На мгновение я потерял дар речи.

— Неужели ты вспомнил, что сегодня годовщина нашего приезда сюда?

Вот уж огорошила так огорошила. И хотя все складывалось на редкость удачно, я был настолько изумлен, что не смог сразу использовать ее заблуждение.

— Так что же? — спросила она.

Я что-то пробормотал насчет неудачной попытки сделать ей сюрприз и соврал, что хотел угостить ее у Графтона новинкой — кока-колой в бутылках. Графтон попробовал этот напиток во время своей последней поездки в Нью-Йорк и с тех пор всегда его закупал. Мариан нравилось, чтобы ее время от времени «совращали», везли куда-нибудь с умыслом и чтобы с ней обходились как с дамой. При всем ее душевном расстройстве иногда в ней просыпались изящество и обаяние, и она становилась такой же, как в те времена, когда Джо Старретт был жив и она была его доброй женушкой.

— Значит, с Багли мы не увидимся?

— Почему, можно и заглянуть,— ответил я.

Мы ехали по дороге. Был солнечный день, ясный и нежаркий. Вдруг она обернулась и с обычной своей настороженностью стала что-то высматривать позади нас.— Погляди-ка,— сказала она.

Вдали клубилась пыль от одинокого всадника, он двигался за нами, нагонял нас. Я не смел ничего об этом думать.

— Мне показалось, ты с кем-то разговаривал у ручья. Это он скачет?

— Кто — он? — спросил я. Ее тугоухость нередко оборачивалась удивительно тонким слухом — напряженные нервы и подозрительность легко могли перебросить невидимый мост через очень большое расстояние.

— Откуда я знаю кто. Тот, с кем ты разговаривал.

— Я ни с кем не разговаривал.— Я чувствовал, что мой голос звучит фальшиво.

— Я что-то такое слышала,— пробормотала она и вновь посмотрела назад.

Я держал поводья и, сам того не замечая, стал легонько подхлестывать лошадей. Они побежали живее.

— Что ты делаешь? — всполошилась она.— Индейцы, что ли?

Мы уже двигались довольно резво.

— Команчи,— задохнулась Мариан и вытащила из складок шали большой шестизарядный «кольт». Держать его пришлось двумя руками — такой он был тяжелый.

— Боже милостивый, откуда у тебя это?

— Багли дал, как раз на такой случай.

— Да не индейцы это. Господи. Все индейцы мирные сейчас.

Она пыталась повернуться назад и прицелиться, но для начала дуло повело в мою сторону.

— Ну что ты,— сказал я пригибаясь,— Мариан.

— Дай прилажусь толком.

Кое-как направив пистолет, она нажала курок пальцами обеих рук. Грохнул выстрел; она чуть не упала со скамейки, пуля унеслась куда-то в небеса, и казалось, что не Мариан держит этот неуклюжий предмет, а, наоборот, он ее.

— Мариан! — заорал я.

Я еле сдерживал готовых понести лошадей и не мог отпустить поводья. Она вновь пыталась сесть поудобнее и прицелиться.

— Дай сюда эту штуку,— потребовал я.

— Гони! — завопила она и бабахнула еще раз. Ветка стоявшей поодаль сосны упала наземь. При иных обстоятельствах, если бы она целила именно туда и имела достаточно времени, чтобы навести мушку, любой сказал бы, что это превосходный выстрел. Из-за отдачи она опять потеряла равновесие, и тут мне удалось схватить чертову пушку за раскаленный ствол и выдернуть у нее из рук.

— Ах так! — крикнула она.— Тогда поводья мне давай, черт бы тебя взял!

Пытаясь свалить всадника на скаку, она, вероятно, видела, что он быстро нас нагоняет. Теперь он уже с нами поравнялся; в руке у него был «кольт». Я кинул пистолет Мариан под сиденье и резко остановил лошадей, с трудом удержав Мариан от падения. Она смотрела на него во все глаза, но пока, похоже, не узнала. Ее лицо выражало облегчение — по-видимому, оттого, что преследователь оказался белым, а не индейцем.

Он все не опускал пистолет.— Вот, значит, как,— сказал он.— Ехали предупредить.

— Что вы мелете, черт возьми! — взбесился я.— И уберите-ка ваш «кольт».

«Кольт», наведенный на меня, застыл на месте.

— Ясное дело,— сказал я.— Придется от пули сдохнуть. На роду, знать, написано. Одна промахнулась, другой целит.

— Ты первый в меня стрелял.

— Это не он,— вмешалась Мариан.— Я стреляла.

Он взглянул на нее и улыбнулся. Улыбка была печальная, робкая, смущенная. Словно он смотрел и не верил, что время могло так ее изменить. Она же уставилась на него бешеными, холодными, неузнающими глазами, полными упрямства первопроходца.

— Мариан,— сказал он.

— Что?

— Вы ведь хотели предупредить его.

— Кого предупредить? — спросил я.

— Она знает кого.— Он смотрел на нее мимо меня.— Так как же, Мариан?

— Просто не верится,— сказала она.— После всех этих лет. Какой вы стали. Что с вами стряслось?

Он не отвечал.

— Может, уберете наконец «кольт»? — опять вмешался я.

— Мариан,— он опустил пистолет.— Вы ехали сказать ему, что я здесь, так или нет?

— Кто-нибудь растолкует мне, что все-таки тут происходит? — спросил я.

Мариан сидела, сложив руки на коленях, и смотрела вдаль.— Мой сын вез меня к Графтону выпить кока-колы.

— Это правда,— подтвердил я.— Я не хотел, чтоб она вот так вас увидела, неожиданно. Сказал ведь, подготовить ее надо.

— Мне... Мне горько было услышать про Джо.— Он опять смотрел мимо меня.

— Джо,— сказала она. Просто повторила имя.

Он ждал.

— Она вас приняла за индейца,— сказал я.

— Я разыскиваю человека по фамилии Фегли, самозваного проповедника. Маленький такой, приземистый. Чисто бреется. Голос трескучий. Меня наняли его выследить, и похоже, я его выследил.

— У этого фамилия Багли,— сказал я.— И он бороду носит.

— Он назывался по-всякому. Мог и бороду отпустить. Увижу — пойму, тот или нет.

А Мариан все сидела и смотрела на него, держа сплетенные руки на коленях.

— Вы хотите его убить,— сказала она.

— Я хочу увезти его в Юту, если он добром поедет.

— Какой вы стали,— повторила она.— Просто не верится.

— А вы совсем не изменились,— сказал он. Это было чуть ли не трогательно.

— Не верится, и все,— прошептала моя мать.

Он спешился и привязал лошадь к нашей повозке сзади, после чего сел на заднюю скамью.

— Надеюсь, вы не возражаете,— сказал он, учтиво поклонившись.

— Мы действительно едем к Графтону,— сказал я.

— Ну и чудно.

— Багли навряд ли там будет.

— Все равно мы встретимся, рано или поздно.

— Если кто-нибудь не предупредит беднягу,— вставила Мариан.

— Держу пари,— сказал он,— что этот Фегли или Багли умеет обращаться с пистолетом.

Оставшийся путь проехали молча. В каком-то смысле это было повторение прошлого — или, вернее, тень прошлого. Длинный шлейф пыли за повозкой, бегущая вслед привязанная лошадь. Я держал поводья, как держал их тогда Джо Старретт, и гадал, о чем думает сидящая справа от меня женщина.

Багли жил в сарайчике при конюшне. Он весь пропах лошадьми, хоть и не ездил верхом; да и сам по себе он был настолько грязен, что долго терпеть его присутствие было трудно. В те времена, впрочем, человек мог проходить год, не чувствуя особой потребности помыться, и Багли был один из таких. Вдобавок он был заядлый спорщик и постоянно пребывал в сварливом настроении. Но почему-то — по причине, ведомой только самой Мариан, может быть, специально для того, чтобы он не чувствовал себя изгоем, этот Багли — моя мать его отличала. Он разговаривал с ней так, словно у них двоих существовало молчаливое согласие по главным вопросам (я не раз это замечал, удивлялся и поражался этому). И он был человек начитанный. Он поездил по свету и много чего повидал. Он рассказывал Мариан, что в молодые годы он был на Крайнем Севере и отморозил на одной ноге три пальца, а на другой два. Мариан сказала, что сама видела. Дальше я не уточнял.

Интересно, что Багли отнюдь не сторонился нашей пьяной компании — напротив, он часто засиживался с нами допоздна и на следующее утро ходил, как все, с мутными глазами и головной болью, даже если утро было воскресное. Надо сказать, именно в состоянии похмелья он произносил самые сильные, самые устрашающие проповеди, и муки ада, которые он призывал на головы грешников, были явственно видны на его собственном лице.

— Трепещите, братья, ибо близится конец времен! — вопиял он.— Цивилизация последние дни доживает. Трепещите! Мы перешли черту. Конец света уже начался — трепещите! Грядут бури! Войны! Новые орудия смертоубийства! Бомбы, которые погрузят мир во тьму,— трепещите! Трепещите, я сказал! Смерть низвергается с небес, смерть вздымается из земных недр! Вы слышите меня, братья, или вы вконец оглохли? Чума, и войны, и людские муравейники, одержимые плотскими соблазнами и страхом,— это грядет, трепещите же! Болезни и муки, для которых еще не придуманы имена! Порнография, вульгарная религия наживы, обожествление собственного «я», аборты, лжеучения, страсть и насилие, массовые расправы, убийственная скука — трепещите, все это движется на нас! Духовное обнищание и пошлость немыслимая — трепещите!

Это надо было слышать.

И создавалось полное впечатление, что он верил всему этому сам; когда он заводился по-настоящему, он казался одним из тех безумных, еле живых от истощения пророков, что проводили в пустыне по сорок дней и ночей.

Я не так уж часто имел с ним дело, но историю славной битвы я ему рассказал. Как раз в один из тех вечеров, когда мы попивали виски и беседовали. Мы расположились у Графтона поближе к печке и передавали бутылку по кругу. Время было позднее. Графтон, Багли и я — вот и вся компания. Я вспомнил все от начала до конца: как скотоводческий магнат и его приспешники хотели согнать нас всех с земли, как в долину приехал незнакомец и принял нашу сторону — человек, у которого был «кольт» с перламутровой рукояткой, быстрые нервные руки и вечно настороженный взгляд. Как появился Уилсон — хладнокровный убийца, змея подколодная. И как вспыхнула неизбежная дуэль — Уилсон в черных брюках, черном жилете и белой рубашке выхватывает «кольт», но противник оказывается проворнее и стреляет первым. Багли слушал меня, и во взгляде его стоял ужас.

— А Уилсон был быстрый,— сказал я.— Быстро умел целиться.

— Молодой человек, воистину вам надлежит рассказывать о высоких и славных делах. Но мне чудится в ваших словах доля преувеличения.

— Преувеличения,— тупо повторил я. Я и подумать не мог, что кто-нибудь решится со мной спорить.

— Бывает, люди невольно приукрашивают истину.

— Это как же? — спросил я распаляясь.

— Ну, не знаю. Например, насчет Уилсона. Он что, действительно был такой хладнокровный?

— Он взял и укокошил на улице человека. Затеял ссору и прикончил, словно клопа раздавил. Мы схоронили беднягу за день до той перестрелки.

— И он носил черное, этот Уилсон?

Я кивнул.— Черное, рубашка только белая была.

— Я знавал одного Уилсона,— сказал он.— Хотя, конечно, это распространенная фамилия. Мой тоже был профессиональный громила. В этом роде. Но совсем не похож на того, о ком вы рассказываете. Я слыхал, его где-то застрелили несколько лет назад.

Без всякой причины я разозлился — мне почудилось, что Багли пытается подвергнуть сомнению мою историю. Кроме того, он растревожил какой-то край моего сознания, который замерцал было, но через секунду вновь погас. Я был здорово пьян. И о некоторых вещах мне не хотелось больше говорить. Внезапно мне стало донельзя тоскливо и муторно.

— Что стряслось, сынок? — спросил он.

— Да ничего.

Он откинулся на спинку стула и отпил из бутылки, которая исправно переходила от одного к другому.

— Мне припоминается, что Уилсон носил кожаные штаны,— сказал Графтон.

— Нет,— возразил я.— Черные брюки и черный жилет поверх белой рубашки. И две кобуры.

— Вот оно что,— сказал Багли.— А тот Уилсон, которого я знал, ходил со старым тяжелым «кольтом». За поясом его держал.

— Вроде бы я не видел у него двух пистолетов,— сказал Графтон.

— Было два,— сказал я.— Я же стоял там и видел.

— Парень там *стоял*,— сказал Графтон, повернувшись к Багли.— Этого у него не отнимешь.

— Должно быть, просто два разных Уилсона,— сказал Багли.

— Вы когда-нибудь были в перестрелке, преподобный? — спросил его Графтон.

— Нет, чуть что, я всегда даю деру.

— Пистолет-то у вас есть? — поинтересовался я.

Он покачал головой.

— Когда-то был. Между прочим, дал его мне тот самый Уилсон — тот, которого я знал. По-моему, у него их было целых три. И все три он на себе носил. Но самый любимый всегда был за ремень засунут.

— С какой стати он дал вам «кольт»? — спросил я.

— Не помню уже. Кажется, я его в покер выиграл. Оба были слегка

под мухой. Он душевным таким делался иногда. Последнюю рубаху отдаст, если в добром настроении. Беда только, в добром настроении он бывал редко.

— Пистолет быстро выхватывал? — спросил я.

Он издал какой-то гортанный звук, потом прокашлялся, взглянул на меня.

— Должно быть, много читаете, молодой человек?

— Почитываю,— соврал я. Тогда я с трудом мог нацарапать свое имя, несмотря на все былые старания Мариан.

— Так вот,— сказал Багли, еще раз прочистив горло,— припоминается, что, когда старина Уилсон был не в духе, он стрелял не раздумывая, если вы это имели в виду.

— Быстро он выхватывал?

— Да при чем тут это. При малейшей опасности шестизарядник уже был у него в руке со взведенным курком.

— А вы в таких вещах неплохо разбираетесь, преподобный,— заметил Графтон.

Багли кивнул, сложив пухлые ручки на груди. Посмотрел на меня.

— Кой-чего повидал за годы рабства у демонов вожделения и греха.

— Но в перестрелку-то попадали?

— Я же сказал, что всегда убегаю.

— А бывало так, что бежать некуда?

— Раз или два было.— Он потянулся за бутылкой.

— И что же? — спросил я.

Он улыбнулся, отпил, вытер усы.

— Что-что, я стрелял из засады, конечно.— Он громко захохотал и передал бутылку мне.— В этом прекрасном и трагическом государстве есть несколько штатов, где я не очень-то хочу появляться вновь.

— То есть вас разыскивают? — поинтересовался Графтон.

— А кто его знает,— ответил он.— Дела давние. И отсюда неблизко.

Когда он не проповедовал, он был довольно вялым. Мариан всегда примерно знала, где он может находиться. Жил он воскресными сборами и уборкой конюшен. Он любил повторять, что для грешника любая работа хороша. Во время проповеди, наговорившись всласть о страшных казнях, готовых обрушиться на наш мир, он, бывало, пускался в рассуждения о достоинстве простого труда. И впрямь за душу брало. А иногда его заносило вообще не поймешь куда — к Галилею и Наполеону, к новой английской королеве, к трагической ранней смерти английского писателя Диккенса. Каждый раз это была настоящая лекция. Поначалу он сверлил тебя своими старыми, глубоко запавшими глазами, потом тонкие губы начинали шевелиться, словно он жевал что-то твердое, причинявшее деснам нестерпимую боль, и наконец он принимался говорить как по-писаному, безупречно правильными и гладкими фразами. Мы заслушивались — не потому, что искали в его речах поддержки и утешения, а потому, что это было предсказуемое, никогда не обманывающее ожиданий развлечение.

По крайней мере, для меня это было так.

И когда наша повозка въехала в поселок и я остановил ее у дверей Графтона, я уже был полон этого самого предвкушения — что произойдет, если Багли сейчас тут? Улица была пуста. Ни одной даже лошади, кроме наших. Ветер вздымал пыль, закручивал маленькие пьяные смерчи и гнал их через проулок, который вел к конюшне.

— Графтон,— позвала Мариан, спрыгнув с повозки.— Есть тут кто-нибудь?

Дверь была приоткрыта. Она вступила на деревянный тротуар, дошла до перекрестка и посмотрела направо-налево. С минуту постояла. Потом вернулась и вошла в салун. Мы с гостем остались сидеть в повозке.

— А можно узнать, что этот Багли или Фегли натворил? — спросил я.

— Точно не знаю. Я видел объявление, что он разыскивается. Обещают вознаграждение.

— Сколько?

Он пожал плечами.— Шестьсот долларов за мертвого.

— А за живого?

— Пятьсот двадцать пять.

Я взглянул на него.

— Это было частное объявление.

— И вы даже не знаете, что он сделал?

— Лишние семьдесят пять долларов мне не помешают,— сказал он.— Но я хочу взять его живым.

— Вы, что ли, по полицейской части?

Он покачал головой, глядя мимо меня на внушительный фасад графтоновского заведения.

— Личные счеты? — спросил я.

— Работа такая,— вяло проговорил он.— Давно уже.

— Послушайте,— сказал я.— Куда вы тогда поехали после нас? После той битвы.

Он посмотрел на меня.— Битвы?

Я молчал.

Подумав, он сказал:

— Кажется, в Чинук-Фолз.

— В Чинук-Фолз? Так это же тут рядом. День пути всего.

Он кивнул.— Примерно так.

— И сколько вы там пробыли?

Он снова задумался.— Не помню точно — года четыре, пять.

— Сколько-сколько?

— Я там женился.

Я уставился на него.

— Ага. Женился и остепенился. Но она оказалась не любительница сидеть дома по вечерам.

— Ушла, значит.

— Можно и так сказать.

— А что стряслось?

— Джином упилась,— пробормотал он, вынув из кармана рубашки что-то вроде маленькой соломинки и принялся жевать.— Упилась по-крупному в один прекрасный вечер. Так и не откачал.

После заминки я спросил:

— Ну а потом куда вы?

Он пожал плечами, вынул соломинку изо рта.— Так, шатаюсь вокруг.

— Вокруг чего? — спросил я, и он назвал несколько поселков, до каждого из которых было не больше двух дней пути.

— И все?

Он кивнул, не глядя мне в глаза.— Хватит, куда еще-то.

— Вы просто за деньги на людей охотитесь,— сказал я.— Верно?

Он странно взглянул на меня, словно не понял вопроса.

— А ты как думал?

— Господи ты Боже мой. А еще наказывали мне вырасти высоким и гордым.

— Ты маленький был. Маленьким так и говорят. И бывает ведь, вырастают. Высокими и гордыми. Взять Джо Старретта, например.

— О нем давайте не будем,— сказал я.— Мы о вас говорим.

Мариан вышла из салуна, из-за ее спины выглядывал встревоженный Графтон.

— Не входите сюда,— сказал он.— Мне только смертоубийства не хватало. Стар я стал для этого.— Он смотрел на нас с опаской.

— Мы Багли ищем,— объяснил я. Пока что мне просто было любопытно, чем все кончится.

— Сюда-то зачем приехали?

— Он у вас? — спросил я.

— Ну где он может быть в это время дня? — сказал Графтон.— На конюшне, где же еще, отсыпается после вчерашнего.

Мариан вновь забралась в повозку.

— И на этом спасибо, а то вовсе не хотел отвечать,— пробормотала она. Потом повернулась ко мне. — Поехали на конюшню.

— Погодите,— сказал Графтон.— Я с вами.— Он торопливо залез на заднее сиденье и, сев, принялся разглаживать на коленях грязный белый фартук.

Вчетвером мы подъехали к конюшне и остановились напротив открытого настежь темного входа. Посидели. Потом Мариан спустилась вниз и, стоя в поднятой повозкой пыли, взглянула на меня.

— Пойду скажу ему, что мы здесь.

— Этот человек будет стрелять,— сказал Шейн.

— Это не тот,— сказала Мариан.

Тут из одного из верхних окон — трудно было понять из какого — раздался голос Багли:

— Кто хочет видеть проповедника?

Графтон слез тоже. Вдвоем с Мариан они стояли около повозки.

— Багли,— крикнул я.— Тут человек приехал, он разыскивает кого-то по фамилии...

Вдруг вижу — Мариан бежит к открытому входу.— Не стрелять! — вопила она.— Никому не стрелять!

Когда она рванулась, Графтон успел схватить ее за руку. Теперь она тащила его к строению.

Из ближайшего окна высунулся черный ствол пистолета.

— Всем успокоиться! — кричала Мариан.— Подождите хоть секунду! Пожалуйста!

Но ждать никто не стал. Багли выстрелил из окна, и пуля расщепила доску у меня под ногами. Не знаю, в кого он целил, но тогда я решил, что по ошибке он целит в меня, и нырнул в задок повозки, где с размаху налетел лбом на лысеющую, изборожденную морщинами голову кумира моего детства.

Удар пришелся ему в переносицу, и у обоих мигом пошла кровь. Она заливала наши лица. Мы встретились взглядами. В его глазах стоял ослепший, онемевший ужас. Воздух разрывался от грохота выстрелов — казалось, пули ложатся все ближе и ближе, мы сидели скрючившись, окровавленные, и смотрели друг на друга.

— Спасите меня,— прошептал я, но то, что я видел в его глазах, только усиливало мой страх — я видел напуганную жалкую жизнь, вздрагивающую от опасности, прячущуюся, неспособную скрыть боль, смятение и слабость. Ни разу больше за всю мою долгую жизнь человеческое лицо не вызывало у меня такой ненависти.

Я был мальчиком, когда случилось то, прежнее. Все эти годы я определенным образом воскрешал события в памяти и в определенном ключе о них рассказывал, но теперь, сейчас, под неравномерный, взрывчатый звук рикошетирующих пуль, мне открывалась более глубокая правда.

По крайней мере, так я это ощутил потом. Я помню, что все казалось мне до ужаса знакомым, казалось издевкой, пародией на самого себя, словно я не мог испытать это иначе, как лежа лицом вниз на дне повозки и обхватив руками голову.

— Прекратить немедленно! — кричала Мариан.— Остановитесь!

Где-то раздалось щелканье перезаряжаемого пистолета, и я услышал голос Багли: «Раз, два, три...» В нем звучала какая-то недобрая музыка, шальная радость.

— Багли! — завопил я.— Это я!

— Всех перестреляю,— отозвался он.— А по-другому не выходит. Хотите жить — разворачивайтесь, и чтоб духу вашего тут не было.

— Джон Багли, послушайте меня,— прозвучал голос Мариан откуда-то из облака пыли.

Но тут же все потонуло в грохоте пальбы. Казалось, ему не будет конца, он достигал неимоверной силы. Я перестал понимать, где кто

находится. Я лежал на дне повозки и кричал от страха, и наконец все кончилось, и в наступившей тишине — глубокой, физически ощутимой, полной жуткой немоты, словно голову внезапно окутала покалывающая мягкая шерсть,— в этой тишине я услышал собственный шепот и понял, что остался жив. Я лежал еще долго, а когда решился встать, увидел Мариан, живую и невредимую, сидящую прямо в уличной пыли с плотно прижатыми к ушам ладонями, словно напуганный грозой ребенок. Несчастный Графтон привалился к тюку сена у входа в конюшню, руки его покоились на коленях ладонями вверх — казалось, греется на ласковом осеннем солнышке, посылающем лучи со спокойного неба. Багли свесился со щербатого подоконника головой вниз, легкий ветерок шевелил его волосы. Человек, который вновь приехал с оружием в нашу долину, лежал у заднего колеса повозки лицом к небу, и вид у него был почти безмятежный. Все произошло секунд за десять, не больше.

Я был там, и теперь я здесь.

Я помог Мариан забраться в повозку и отвез ее домой. Мы и словом не перемолвились, и несколько дней мы даже близко друг к другу не подходили (а потом только переглядывались через стол, когда ели приготовленное ею мясо,— словно страшились оба того, что может открыться, стоит нам начать говорить). Другие люди, не знаю кто — кто-то из поселка,— унесли тела и предали их земле. Когда я приехал в поселок в следующий раз, заведение Графтона было закрыто, люди расположились прямо на тротуаре вдоль стены здания. Графтонова шлюха предъявила какие-то имущественные претензии, и никто не имел права ничего трогать прежде, чем дело, так или иначе, будет решено. В любом случае заведению Графтона пришел конец.

Через несколько лет, когда жизнь до того утомила и запутала Мариан, что она совсем перестала что-либо понимать, она тихо отошла во сне. Я похоронил ее за амбаром рядом с Джо Старреттом. Я покинул долину и уехал далеко, гораздо дальше соседнего поселка, чтобы никогда больше не возвращаться. Я состарился. Жизнь тянется позади меня как нескончаемый поезд. Я так и не узнал, чего хотел для себя Шейн, за какие проступки Багли был в розыске и почему он открыл такой бешеный огонь; оставалось только гадать, о чем думал несчастный Графтон, оседая на землю с простреленной грудью.

Но, вспоминая об этом, я вновь и вновь прихожу к одной скромной истине, которая значит для меня больше, чем все мое последующее чтение, чем все предпринятые в зрелые годы попытки постичь природу вещей; разумеется, проще ничего и быть не может, и вам это наверняка уже очевидно, но вот что вспоминается мне сейчас, на склоне лет: что в самый жуткий миг, в самый разгар бойни, когда мир вокруг меня с грохотом рушился и я не сомневался, что сейчас буду убит, я с дрожью понял, открыл для себя, что история, которую я все эти годы рассказывал, во многом ложна — она почти целиком была создана распаленным мальчишеским воображением.

Вот ради чего я взялся все это рассказывать.

Выходит, что самое яркое воспоминание моей жизни — не более чем фантазия. Ибо в тот полдень у конюшни, посреди ужаса и пистолетной стрельбы, я вдруг увидел снова, без слов, то, о чем я рассказывал и чему верил с семилетнего возраста, но теперь увидел так, как все было на самом деле. Я увидел, как громила Уилсон полез за «кольтом», и он действительно не был весь в черном и не имел на себе двух пистолетов и даже одной кобуры, но был одет в какую-то мешковатую фланель неопределенного цвета. То, что произошло *в действительности*, предстало передо мной как жгучее видение — вот он пытается вытащить из-за ремня замызганных брюк длинноствольный пистолет, вот вытащил, но курок зацепился за полу рубашки. Вот другой, герой, тянется за своим оружием, поднимает, целится, стреляет — гулкий грохот, язык пламени из ствола, и Уилсон со стуком рушится между столом и стулом. Герой оборачивается,

видит, как скотоводческий магнат на другом конце комнаты сует руку за борт тесной куртки, и на глазах у мальчика герой наводит на магната свой тяжелый «кольт» и стреляет — магнат так и не успел выдернуть оружие из кобуры.

И все. Убийство, ничего больше.

Понятно вам? Никакого стрелка, затаившегося на галерее. Только жуткий миг, когда магнат понял, что сейчас его убьют. И мальчик, стоявший у двери салуна, увидел на лице усатого старика изумление, беспомощность, страх, увидел и закрыл глаза, и услышал второй выстрел, новый взрыв, и зажмурил глаза что было сил, чтобы не видеть еще одну смерть, и раздался ужасный грохот падающего тела, а за ним — тишина, и он знал, что она означает, и слышал другие, мелкие звуки — хриплое восстанавливающееся дыхание, вздох облегчения. И тогда уже он начал, вопреки всему — вопреки только что увиденному — пересоздавать случившееся в своем юном сознании, превращать его в сказку, подобную другим сказкам о Старом Западе, в историю, которую он будет рассказывать до восьмидесяти лет; пусть даже в ушах у мальчика стоял потрясенный голос, нервная скороговорка того, кто уцелел, человека по имени Шейн, который в тот раз вышел живым из глупой и беспорядочной стычки.

■

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ

Стихи из последних книг

Перевод с польского и вступление НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

Книги Вислявы Шимборской выходили редко. «Мой аккумулятор,— шутила она,— заряжается медленно.» За шестнадцать лет после ее последней публикации в журнале «Иностранная литература» в Польше вышли две ее новые книги: «Люди на мосту» — в 1986-м, «Конец и начало» — в 1993-м.

Высказываясь как-то в печати, Шимборская выражала надежду, что ее поэзия с годами становится «точнее». Во главу угла она ставит точность. И отточенность. Качества поэзии интеллектуальной. В ее стихах разговор о житейских вещах часто оборачивается разговором о материях философских. Но у нее это не сухие и не скучные материи. Шимборская парадоксальна, неожиданна. Есть в ее поэзии остроумие. Есть острота ума. Иногда острота политическая.

В своих анализах и прогнозах Шимборская-политолог беспощадно проницательна. Но блеск ее политической мысли, ее изумительная ирония смягчают для читателя трагическую, по сути дела, беспросветную картину современного мира. Таково, например, стихотворение «Ненависть».

«Острый галльский смысл» — атрибут французской культуры. Шимборской эта культура не чужда. Она переводит с французского. Очаровательны в ее переводах мадригалы, элегии, миниатюры Теофиля де Вио.

Нечто от французской писательницы или даже от французской аристократки давних времен виделось мне и в самой Шимборской при первых наших мимолетных встречах. Позже, в домашней обстановке, за скромным ужином, рядом с самым близким ей человеком, она предстала мне другой, удивительно простой и скромной, как все по-настоящему умные люди. Женщиной не только живого ума, но и живых чувств.

Несколько стихотворений в ее последней книге — это стихи-прощания. «Кот в пустой квартире» — лишь одно из них. Поэзия Шимборской стала более исповедальной, чем прежде. Она ведет счет утратам, это ее «элегическая арифметика». Грустит об уходящих и ушедших людях. Приходят новые люди, которым «слушать скучно» о второй мировой войне, обо всем, что было содержанием нашей жизни. Началась их эпоха. Это стихотворение и вся книга названы: «Конец и начало». Книга написана, как выразилась сама Шимборская, «в довольно мрачной тональности». «Меня это огорчало,— говорит она,— потому что я боюсь опечалить читателей. Я предпочитала бы, чтобы в ней были и стихи более светлые, но так сложилась моя жизнь».

Прежнюю Шимборскую русский читатель знал и любил. Надеюсь, он оценит и ее новые стихи.

Некоторые любят поэзию

Некоторые —
то есть не все.
Даже не большинство — меньшинство.
Не считая школ, где заставляют,
и самих поэтов,
из тысячи таких найдется двое.

Любят —
но любят и суп с вермишелью,
любят комплименты, любят голубое,
любят старый шарфик,
любят настоять на своем,
любят гладить собаку.

Поэзию —
но что это такое: поэзия?
Множество сомнительных ответов
на этот вопрос уже давали.
А я не знаю, и не знаю,
и держусь за незнанье, как за перила.

Похороны

«так неожиданно, кто мог бы думать»
«нервы и папиросы, все ему говорили»
«ничего, спасибо»
«разверни цветы»
«брат его тоже от сердца, это у них в роду»
«с такой бородой я бы Вас ни за что не узнала»
«сам виноват, вечно во что-нибудь лез»
«должен был говорить этот новый, но что-то не видно»
«Казик в Варшаве, Тадик за границей»
«ты одна догадалась взять зонтик»
«что из того, что был самый способный»
«комната проходная, Баська не согласится»
«да, он был прав, но это ж не причина»
«с лакировкой дверец, угадай-ка, сколько»
«два желтка, ложка сахара»
«не его это дело, зачем ему было»
«одни лишь голубые и маленьких размеров»
«пять раз, никогда никакого ответа»
«да, согласен, я мог, но и ты тоже мог»
«хорошо, что она хоть имела работу»
«не знаю, наверно, родные»
«ксендз прямо Бельмондо»
«я не бывала в этой части кладбища»
«неделю назад мне приснился, как будто предчувствие»
«дочь недурна»
«что делать, все там будем»
«передайте вдове мои, я вот-вот опоздаю на»
«однако по-латыни шло торжественней»
«было да сплыло»

© Wisława Szymborska, 1993
© Wisława Szymborska, 1985

«до свиданья, пани»
«может, где-нибудь выпьем пива»
«позвони, поболтаем»
«двенадцатым или четверкой»
«мне в ту сторону»
«нам туда»

Может быть

Может быть,
все это делается в лаборатории?
Под одной лампой днем
и мириадами ночью?

Может быть, мы поколения пробные?
Пересыпаемые из колбы в колбу,
встряхиваемые в ретортах,
наблюдаемые чем-то бóльшим, чем око,
каждый в отдельности
цепляемые под конец пинцетом?

Может, иначе:
без вмешательства?
Измененья происходят сами
в соответствии с планом?
Игла диаграммы чертит мало-помалу
предвиденные зигзаги?

Может быть, нет в нас пока ничего интересного?
Контрольные мониторы включаются редко?
Только уж если война, и к тому же большая,
или же взлет чуть повыше над кучкой Земли,
или заметные перемещенья из пункта А в пункт Б?
А может быть, наоборот:
смакуют там лишь эпизоды?
Вот маленькая девочка на большом экране
пришивает себе пуговицу к рукаву.
Датчики засигналят,
персонал сбежится.
Ах, какая малютка
с бьющимся в середке сердечком!
Какая прелестная серьезность
при вдевании нитки!
Кто-то кричит в ажиотаже:
Сообщить Шефу,
пусть сам придет и посмотрит!

Кот в пустой квартире

Умереть — так с котом нельзя.
Ибо что же кот будет делать
в пустой квартире.
Лезть на стену.
Отираться среди мебели.
Ничего как бы не изменилось,
но все как будто подменили.

Ничего как бы не сдвинуто с места,
но все не на месте.
И вечерами лампа уж не светит.
На лестнице слышны шаги,
но не те.
Рука, что клала рыбу на тарелку,
тоже не та, другая.

Что-то тут не начинается
в свою обычную пору.
Что-то тут не происходит
как должно.
Кто-то тут был и был,
а потом вдруг исчез,
и нет его, и нет.

Обследованы все шкафы.
Облазаны все полки.
Заглянуто под ковер.
Даже вопреки запрету
разбросаны бумаги.
Что тут еще можно сделать.
Только спать и ждать.

Ну пусть он только вернется,
пусть только покажется.
Уж тут-то он узнает,
что так с котом нельзя.

Надо пойти в его сторону,
будто совсем не хочется,
потихонечку,
на очень обиженных лапах.
И никаких там прыжков, мяуканий поначалу.

Конец и начало

После каждой войны
кто-то должен прибраться.
Какой ни на есть порядок
не сделается сам собой.

Кто-то должен с дороги
спихнуть обломки развалин,
чтобы могли проехать
машины, полные трупов.

Кто-то должен вязнуть
в прахе и пепле,
в пружинах диванов,
осколках стекла
и кровавых тряпках.

Кто-то должен балкой
подпереть стену,
кто-то окно застеклить,
кто-то двери навесить.

Это не сенсационно
и на это уходят годы.
Все кинооператоры
уехали на другие войны.

Мосты надо опять
и заново вокзалы.
Обтреплются рукава,
засучиваемые беспрерывно.

Кто-то с метлой в руках
вспоминает еще как было.
Кто-то кивает
неоторванной головой.
Но вскоре уж между ними
начнут крутиться такие,
кому это слушать скучно.

Кто-то еще порою
из-под куста откопает
заржавленные аргументы
и отнесет их на свалку.

Те, которые знали,
в чем тогда было дело,
должны уступить место тем,
которые знают мало.
И меньше, чем мало.
И наконец так мало, что ничего.

В траве, которой заросли
причины и следствия,
кто-то должен лежать беспечно
с колоском в зубах,
глазея на облака.

Ненависть

Смотрите, в какой она форме.
Как великолепно держится
в нашем столетии ненависть.
Как легко берет любые барьеры.
Как легко ей — прыгнуть, схватить за горло.

Не такая, как другие чувства.
Она и старше их, и моложе.
Она сама рождает причины,
пробуждающие ее к жизни.
Если и засыпает, то никогда сном вечным.
Бессонница не отнимает, а придает ей силы.

Религия не религия —
лишь бы стать на колено на старте.
Отчизна не отчизна —
лишь бы рвануться с места.
Сойдет и справедливость для разгону.
Потом уж она понесется.
Ненависть. Ненависть.

Лицо ей искажает гримаса
любовного экстаза.

Ах, все другие чувства —
слюнявы и худосочны.
С каких это пор чувство братства
способно собрать толпы?
Разве сочувствие может
первым дойти до цели?
Многих ли может сомненье увлечь за собою?
Лишь ненависть может, которая знает свое.

Догадлива, даровита, очень работоспособна.
Надо ли вспоминать, сколько сложила песен.
Сколько страниц истории пронумеровала.
Сколько ковров из людей уложила
на скольких площадях и стадионах.

Не будем себя обманывать:
умеет творить прекрасное.
Великолепны ее зарева черной ночью.
Эффектны дымы взрывов на розовом рассвете.
Не откажешь в пафосе руинам
и в грубоватом юморе
твердо торчащей над ними колонне.

Ненависть — мастер контраста
между грохотом и тишиной,
между красной кровью и белым снегом.
И никогда ей не наскучит тема:
опрятный палач
над опоганенной жертвой.

К новым заданьям в любую минуту готова.
Надо подождать — подождет.
Говорят, что она слепая. Слепая?
Зорка, как снайпер,
и смело смотрит в завтра
— она одна.

Мнение о порнографии

Нет худшего разврата, чем мышление.
Разрастается это распутство, как сеемый ветром сорняк
на грядке, выбранной под маргаритки.

Для тех, кто мыслит, нет ничего святого.
Непристойное называние вещей по имени,
непотребные анализы, срамные синтезы,
погоня за голой истиной, разгульная и неистовая,
сладострастное щупанье щекотливых тем,
икрометанье мысли — им бы только это.

Средь бела дня иль под покровом ночи
совокупляются в пары, в треугольники и в кружки.
Пол и возраст партнеров здесь произвольны.
Глаза у них горят, щеки пылают.

Друг совращает друга.
Бесстыдницы дочери растлевают отца.
Брат младшую сестру склоняет к блуду.

Иные сладки им плоды
с запретного древа познания,
а не розовые ягодицы иллюстрированных журналов,
вся эта простодушная, в сущности, порнография.
Книги, которые они смакуют,— без картинок.
Пикантность лишь в том, что отдельные фразы
отчеркнуты ногтем или карандашом.

Страшно сказать, в каких позициях,
с какой разнузданной простотой
ум оплодотворяет ум!
Не знает таких позиций даже «Камасутра» [1].

Во время этих оргий разогреваются только чаем.
Сидят на стульях, шевелят губами.
Ногу на ногу каждый кладет себе сам.
Один носок, таким образом, касается пола,
другой свободно покачивается в воздухе.
Порой только кто-нибудь встанет,
приблизится к окну
и в щелку занавески
подглядывает за улицей.

■

[1] «Камасутра» — древнеиндийское наставление в чувственной любви; в русском переводе вышла в 1993 г.

ПАВЕЛ ХЮЛЛЕ

Рассказы

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

УЛИТКИ, ЛУЖИ, ДОЖДЬ...

Франеку Россету

В начале был дождь. Он лил несколько дней, и близ костела Воскресения вода прорыла глубокие канавы, по которым плыли из леса прутики, травинки и небольшие шишки. Я любил стоять в этом месте. Вода булькала на обнажившихся камнях, ручейки соединялись в юркий поток, который сбегал вниз по улице Гомулки, пересекал улицу Хшановского и в конце концов разливался огромными лужами по обеим сторонам мостовой. Холм за костелом был окутан туманом, с ветвей сосен и елок падали тяжелые капли, и все, включая крыши домов и макушку деревянной колокольни, утопало в монотонном шуме.

Каждый год лето приходило со стороны моря. Бриз приносил запах развешанных для просушки сетей и вкус соли, ощутимый на губах, но сейчас лето являло свой новый, возможно, сокровенный облик. Над землей витала незримая взвесь, обещающая редкое плодородие. Запах плесени, грибов, смолы и неведомых трав подымался над лужами точно густой навар, крепчал с каждой новой волной дождя, заполнял улицы и сады, а буйная зелень, казалось, вот-вот сокрушит отсыревшие стены домов, с которых уже давно отваливалась штукатурка, иногда открывая обрывки непонятных надписей.

Я вытаскивал из кармана заранее приготовленные деревяшки. Сперва на воду спускалась «Санта Мария», потом «Магеллан», «Капитан Грант», «Наутилус», между ними прошмыгивал эсминец «Буря» времен второй мировой войны, и последним отправлялся в плавание флагман «Тринидад». Ни в книгах, ни в рассказах моряков не было корабля с таким названием. Слово «Тринидад» выражало смутную тоску по теплу тропических морей, блеску испанского золота и запаху мандаринов, появлявшихся раз в несколько лет в нашем городе перед Рождеством, когда в порт заходил пароход из Греции или Португалии.

Где-то в гуще зелени иногда мелькало темное пятно сутаны. Это приходский ксендз с огромным зонтом спускался из своего дома на холме к костелу. Как птица черными крыльями, махая широкими рукавами, он стряхивал капли дождя, приостанавливался на ступеньках, смотрел в небо и на дорогу, но наши взгляды никогда не встречались.

Корабли плыли все быстрее, преодолевая водовороты, перекаты и пенистые пороги, а я бежал вслед за ними до того места, где ручей широко разливался, переставал клокотать и шипеть, и моя армада выплывала на безбрежные спокойные воды. Лужи там были цвета темной зелени, и лишь

© Pawel Huelle & Puls Publications Ltd. 1991

изредка, когда небо сплошь затягивали тучи, из зеленых становились бурыми; на этом фоне светлые корпуса «Санта Марии» и «Наутилуса» казались четкими, заметными издалека горизонтальными штрихами.

Я бродил по лужам, как Господь, склоненный над миром. Острова, полуострова, заливы, мысы и потайные протоки неустанно меняли очертания. То и дело, будто нарисованный по памяти, возникал знакомый по атласу извив норвежского фьорда или контур шведского побережья, чтобы через каких-нибудь две-три минуты таинственным образом преобразиться. Континенты распадались в мгновение ока, шхеры и мели намечали новые фарватеры, а взамен известных архипелагов появлялись неизвестные фантастически сложного рисунка; изысканную неброскую красоту их линий не смогла бы передать никакая карта. Там я и обнаруживал свои суда. Одни покачивались на месте, другие сидели на мели, и только «Тринидад», будто само название увлекало его вперед, плавно скользил посреди водоема, и невидимое течение сносило его к самому краю света. Это было опасное место. Вода ревела на цементном пороге, и все, даже маленькие камешки и комки желтой глины, засасывал мощный водоворот канализационного колодца. Под его чугунной, скрытой водою крышкой с небольшими отверстиями начиналась дорога в подземный мир. Туда, куда не доходит дневной свет и где наполненный гулом и шипением лабиринт пещер и осклизлых стен напоминает ад. Вода хлюпала в калошах, а я в последний момент вылавливал «Тринидад», спасая от гибели случайных пассажиров. Иногда это был судорожно вцепившийся в палубу золотистый жук, иногда паук или муравей; я выносил на сушу уцелевших мореходов и поднимался наверх, к костелу, где между деревьев, бормоча молитвы, прохаживался ксендз с раскрытым над головой зонтом.

Я был одинок и счастлив. Мой отец тоже был одинок, но счастливым его в то время вряд ли можно было назвать. Хотя он и виду не подавал — напевал за бритьем, ходил размашистым бодрым шагом, с улыбкой раскланивался с соседями, но по утрам, когда собирался на работу и засовывал завтрак в холщовую сумку, на дне которой лежала оранжевая безрукавка, когда отправлялся на вокзал, где длинной метлой подметал лестницы и перроны, я видел в его глазах то ли тоску, то ли горькое удивление: почему вот уже какую неделю он не сидит за огромной доской с чертежами судов, не вычерчивает сложные линии на кальке, не исписывает поля своими замечаниями, цифрами, фигурными и квадратными скобками, а машет черной метлой, собирает в жестяной совок окурки и огрызки, и ветер вздувает его оранжевую безрукавку, как парус потерпевшего крушение судна.

— И все-таки ты мог подписать,— каждое утро говорила мама, и тогда отец начинал бурно жестикулировать, крем для бритья выпрыгивал из тюбика в кастрюльку с молоком, но отцовские слова о том, что для цифр и расчетов не существует иного языка, кроме языка математики — простого и ясного, как мысль Картезия, гневные слова о людях, которые знают судостроительные термины, но не знают законов физики, эти слова моего отца почему-то не доходили до мамы, стекали с нее, как вода, отскакивали, как круглые мячики, отчего отец становился еще более печальным и одиноким.

— Этот коленвал полетит на двадцатой миле,— безуспешно пытался втолковать он маме, но мама про вал не хотела и слышать, ее возмущала нарочитая демонстративность, с которой отец подметал вокзальный перрон. Зачем это делать? Зачем искушать судьбу? Это же откровенный вызов людям, которые выгнали его «с волчьим билетом»! — говорила мама, подбрасывая сосновые щепки в кухонную печь,— они ему этого никогда не простят, они не из тех, кто забывают такие вещи! — И тогда отец объяснял, что на вокзале ему хорошо: приятно смотреть, как начальник станции размахивает красным жезлом, приятно слушать, как объявляют о прибытии на побережье поездов с другого конца страны, приятно болтать с грузчиками, которые точно знают, какой товар через день-другой появится в магазинах, поскольку все: холодильники, мясорубки, чешские пылесосы,

югославская мебель, персидские ковры из ГДР,— решительно все проходит через их руки, и они могут, поджидая очередной транспорт, часами упоенно это обсуждать.

— Я еще в жизни не видела чешского пылесоса,— кричала мама,— и не видела инженера, который бы похвалялся такой работой! — И до ухода отца из дома успевала добавить, что зря они приехали в этот город, зря по вечерам разгребали развалины и зря, подобно тысячам других, с песнями и энтузиазмом восстанавливали дома, раз теперь отец не может в этом городе найти подходящей работы и везде, куда б ни пришел, ему говорят, разводя руками: «Простите, но с вашими взглядами...», точно коленчатый вал имеет отношение к каким бы то ни было взглядам.

Отец, уже в дверях, отвечал, что работа на вокзале получше любой другой, и вообще нечего горевать, так как, едва постройка корабля завершится и начнутся испытания, выяснится, кто был прав,— правда выйдет наружу, потому что в огне не горит и в воде не тонет.

— Какая правда? — спрашивала мама, но отец уже ее не слышал; понурив голову, он шагал по двору, перепрыгивал через лужи, и холщовая сумка болталась у него на плече, а я чувствовал, что одиночество гнетет его еще сильнее, чем накануне, что он просто хорохорится: ведь вокзальный перрон — не чертеж корпуса или машинного отделения, а метла никогда не заменит ему рейсфедера, которым он подчеркивал свои формулы и цифры.

Да, мы с ним были одиноки, хотя каждый на свой лад. Отец в оранжевой безрукавке — точь-в-точь как у мусорщиков — чертил метлой на перроне схемы поршней, вентилей, коленчатые валы и форсунки, а я по дождевому ручейку совершал далекие путешествия, останавливаясь на краю света — там, где черная дыра вместе с потоками воды поглощала все живое и неживое.

Интересно, может ли так выглядеть вход в Аид? Я знал, что в сокрытый от глаз смертных мир теней ведут потайные ходы, известные немногим смельчакам лазейки, но именно ли здесь начинается путь в царство Персефоны? Удалось ли бы мне, будь я Одиссеем или певцом из Фракии, приоткрыв канализационный люк, попасть прямо на берега Стикса? Ответить на этот вопрос могла бы только бабушка Мария, которая, гостя у нас зимой, читала мне мифы; она одна согласилась бы пойти со мной к громадной луже и наверняка подивилась бы водовороту, в котором исчезали подхваченные быстрым течением существа. Но бабушки рядом не было, ее не было даже в нашем городе, она жила далеко, поэтому, бродя в одиночестве по лужам, я мог лишь сомневаться, строить догадки и чувствовать на себе взгляд ксендза.

Если бы Иисус Христос провел три дня после своего погребения в Аиде, если бы он одним взмахом руки приструнил Цербера, а потом повстречался... с несчастным Сизифом,— вот тогда б можно было спросить у ксендза про тайные ворота в подземный мир. Но в той фразе из «Верую», которая мне вспомнилась у канализационного люка, в лаконичной и загадочной фразе, произносимой во время каждого богослужения: и был погребен, и воскрес в третий день, ничего об аде не говорилось, а уж об Аиде и реке забвения и подавно. Тем не менее я увидел на воде Иисуса: в белых одеждах, с простертой рукой и обнаженным боком, сохранившим след римского копья, он плыл в ладье Харона на другой берег в окружении хоровода призраков, среди клочьев тумана. Зрелище это показалось мне необыкновенно прекрасным. Но еще больше восхитила сцена с Сизифом:

Иисус подходил к нему бесшумно и помогал вкатывать на гору камень, а когда в конце концов изумленный Сизиф воскликнул: «Удалось! Удалось!» — Иисус вышел из мглистого облака и произнес громким голосом так, чтобы всем было слышно: «Сизиф! Да простятся тебе твои грехи!» Потом Иисус проследовал дальше, в сад Гесперид, где меж клонящихся книзу ветвей, золотых яблок и легкого ветерка прогуливались поэты и с ними мой дедушка Кароль, который, правда, не писал стихов, но имел поэтическую душу и, несомненно, вместе с другими тенями бродил среди высоких трав, умиротворенный и счастливый.

Вода без устали бежала дальше, отражая тяжелые от дождя тучи, а я шлепал по зеленым лужам вокруг канализационного колодца; я ходил там часами, глядя, как поверхность воды отражает, кроме деревьев и неба, мои собственные мысли, которыми я бы не посмел поделиться с ксендзом и которые, как величайший секрет, хранил для бабушки Марии. Голос ксендза, когда он на уроках Закона Божьего рассказывал нам о лжепророках, вымышленных богах и несуществующих царствах, звучал сурово, бабушка же говорила об Одиссее или путешествии аргонавтов голосом мягким и теплым, и по ее рассказам получалось, будто все это происходило недавно, будто их быстрые корабли не раз проплывали по нашему заливу, вспенивая веслами воду и раздувая алые паруса. Река забвения вполне могла начинаться здесь, невдалеке от костела Воскресения, и поэтому я, склоняясь над окутанным испарениями потоком, подводил свои суда все ближе и ближе к опасному месту; кончилось это тем, что бурлящий водоворот втянул «Наутилуса» и «Бурю», засосал «Санта Марию» и «Магеллана», поглотил «Капитана Гранта», и только «Тринидад», мой флагман, которому еще предстояло плыть на Антильские острова в поисках испанского золота и запаха мандаринов, только «Тринидад», название которого звучало экзотично, как надпись на иностранной почтовой марке, только «Тринидад» вышел из этих испытаний победителем.

Домой я возвращался счастливый. Запах сырой земли, запах грязи и ила невидимой птицей кружил над водами, возносясь все выше и выше, и наконец распростер прозрачные крылья над портом, заливом, верфью и колокольнями костелов, а я останавливался возле домов, на стенах которых из-под штукатурки вылезала надпись «Butter — Milch — Brot» [1] или «Tabakenhandlung» [2], разглядывал ржавые маркизы и витые бетонные ограды балконов, увенчанные шишечками, похожими на язычки пламени свечей, задерживался у изгородей запущенных садов, где в зарослях бурьяна и огромных лопухов прятались деревянные фигурки гномов, лебедей и длинноволосых принцесс, смотрел на позеленевшие от мха беседки, оплетенные глицинией или диким виноградом, легко перепрыгивал лужи, огибал столбики водоразборных колонок и думал о дедушке Кароле, который не любил приезжать в наш город, думал об отце, который, наоборот, этот город полюбил, и думал о себе — видел себя между ними, как путника на развилке дорог перед камнем, с которого вода, песок и ветер давно стерли все буквы.

— Боже мой, что ты делал? — восклицала мама.— Где тебя целыми днями носит? — Но вопросы эти не требовали ответа.

Я сушил ноги перед кухонной печью, листал подшивки «Моря» с моделями парусников, отец возвращался с вокзала усталый и хмурый, мы ели картофельный суп, на второе — картошку с цветной капустой, иногда еще был десерт, а потом отец уходил в комнату, включал радио и засыпал под звуки музыки или дневных новостей; я знал: когда он проснется, мама опять заведет разговор про этот несчастный коленчатый вал и про подпись — а вернее, отсутствие подписи — на проекте, а он рассердится и будет большими шагами ходить по комнате, размахивая рукой, как проповедник, и то повышать, то почти до шепота понижать голос, потому что уже тысячу раз все объяснял: и про спешку, которую устроило начальство, и про срок спуска на воду, и про всю эту шумиху с «Маршалом Жуковым», которая выеденного яйца не стоила, так как построить корабль быстрее положенного нельзя, не говоря уже о проектах с кучей ошибок, о чем, кстати, никто и слушать не хотел, зато было много разговоров о дружбе и подозрительных элементах, которые, похоже, в этой дружбе не нуждаются и тормозят стремительный марш в лучезарный XXI век.

— Без меня,— заявлял отец в завершение своей речи и часто, чтобы поднять настроение, доставал коробку с фотографиями. Вот тут начинались чудеса: за столом появлялся дедушка Кароль в мундире лейтенанта артиллерийского полка его императорского и королевского величества и с ним

[1] «Масло — молоко — хлеб» *(нем.)*.
[2] «Табачная торговля» *(нем.)*.

рядом — барон фон Молль в крагах и с саблей, которую он, видно, только что воткнул в землю; оба держали в руках кружки с пенистым пивом, за спиной у них виднелось дуло огромной пушки, а они улыбались — этакие приехавшие подлечиться на водах господа, которым оркестр играет марш Радецкого, пока эту фотографию не сменяла другая, где дедушка Кароль, один, стоял в обер-лейтенантских погонах на фоне сожженных домов и смотрел на нас — не так уже, правда, весело, потому, наверное, что от барона фон Молля осталась лишь бесформенная груда мяса, хотя, может, и потому, что в руке у него не было кружки пива, а за спиною горел город.

— Это Горлице,— говорил отец,— 1915 год, австрийское наступление в восточных Карпатах. А это твой дедушка с президентом Мосьцицким,— вынимал он новую фотографию,— уже в свободной Польше, на открытии завода под Тарнувом.

Я смотрел на дедушку Кароля, стоявшего во фраке и цилиндре около президента; кружка с пивом отсутствовала, но дедушкины глаза смеялись, как и на фотографии с бабушкой Марией, где они выходят из львовского кафедрального собора — он во фраке, но без цилиндра, она в белом платье и белой шляпе, с букетом ландышей в правой руке. Ее гладкое, без морщин, лицо в косых лучах львовского солнца было не таким, каким я привык его видеть у нас в квартире зимними вечерами, когда она читала мне из книжки Парандовского про странствия Одиссея или Прекрасную Елену. Но запах ландышей сопутствовал бабушке всегда, неотлучно, будто она всю жизнь носила этот букет у себя в сумке.

Отец задумывался над фотографиями. Их коричневатый тон нагонял на него тоску. До конца он пачку никогда не досматривал: вздыхал и прятал снимки обратно в коробку.

— В следующий раз,— говорил негромко и уходил на кухню, где курил сигарету за сигаретой и целый вечер пил чай.

Мама стелила постели, дождь барабанил в окна, а я вспоминал лица людей на фотографиях, особенно незнакомых, ни словом не упомянутых в выведенных каллиграфическим почерком строчках на обороте пожелтелых картонок. Мужчина в белом переднике, подававший пиво дедушке Каролю и барону фон Моллю, улыбался мне заговорщически, точно слышал их разговор, точно знал, о чем они беседуют перед корчмой в Верхних Моравах. Женщина в черной шляпке с вуалью, стоящая за президентом Мосьцицким, смотрела на меня вопросительно, будто я мог угадать ее дальнейшую судьбу или прочитать прошлое. Неизвестный мужчина на ступенях львовского собора вообще был невыразительный и далекий — вероятно, случайный зевака, задержавшийся, чтобы поглазеть на венчанье бабушки Марии с дедушкой Каролем; впрочем, с равным успехом это мог быть запоздалый гость из разряда тех, что опаздывают всегда и повсюду, даже на собственные похороны.

Засыпая, я видел все эти незнакомые лица, медленно исчезающие в темноте, как кораблики в зеве канализационного колодца. Возле него я кружил даже во сне; бродил по щиколотку в темно-зеленой воде, прикладывал ухо к невидимому каскаду, вслушиваясь в неумолчный гул, бульканье и плеск, и всякий раз меня останавливал пристальный и настороженный взгляд ксендза, будто предупреждавший: там, по другую сторону, таится сила, которую лучше не задевать.

И ни отец, ни тем более я, склонившийся над чугунной решеткой люка, поднять которую мне недоставало отваги, знать не знали, что приближается сезон виноградных улиток, спешит-торопится к нам большими шагами.

Как-то я издали увидел в конце нашей улицы отца. Он шел медленно, опустив голову, и сумка болталась у него на плече, как пустой мешок; я подбежал, чтобы спросить, о чем он сегодня разговаривал с грузчиками и почему возвращается с вокзала так рано, а он сказал:

— Я больше не буду подметать перроны.

В голосе отца я не услышал ни озлобленности, ни бахвальства — нет, скорее он был бесцветный или печальный. Когда мы поравнялись с каштанами, в жару отбрасывавшими приятную прохладную тень, а сейчас

шумевшими под градом дождевых капель, отец стал рассказывать, как утром на вокзал явились двое мужчин и сообщили начальнику, кто он на самом деле, после чего категорически потребовали его уволить: инженер не может работать уборщиком, это чистая провокация, «препятствующая прогрессу и нашим достижениям, имеющая совершенно определенную направленность»; начальник увел отца к себе и долго смеялся: «Ну и надули же вы меня! — и подскакивал на стуле,— ну вы и шутник! — хохотал,— очень жалко, пан инженер, но оставить вас, сами понимаете, я не могу...»; и отец мне объяснил — мы уже входили в подъезд,— что в анкете для служащих Управления польских государственных железных дорог написал: «неквалифицированный рабочий», что было ложью, но ложью простительной — ведь работы по профессии он бы нигде не нашел.

— Раз так,— деловито заявила мама,— эмигрируем в Америку! Там тоже строят корабли и необязательно такие, как «Маршал Жуков»!

И, пока мамин голос жужжал что-то про паспорта, визы и деньги, пока она прикидывала, как раздобыть то, что без протекции и связей раздобыть невозможно, не говоря уж о билетах на трансатлантический лайнер, который доставит нас прямо в Нью-Йорк под сень статуи Свободы, отец на глазах становился еще более подавленным и одиноким, чем на вокзале.

Мне, как и ему, ехать в Америку не хотелось; не хотелось менять обсаженную каштанами улицу на статую Свободы, не хотелось жевать резинку, играть в бейсбол и смотреть фильмы про Микки Мауса, которые не так-то уж мне и нравились. Поэтому я все сильнее льнул к отцу, старался проводить с ним как можно больше времени, и мы подолгу сидели над листами бумаги, на которых он уверенной рукой чертил корпус крейсера «Спалато», контуры броненосца «Кайзер Макс» или фрегата «Радецкий» — чаще всего именно эти суда, потому что на них служил и плавал по Адриатике отец бабушки Марии Тадеуш — механик австро-венгерского военно-морского флота его императорского и королевского величества.

— «Спалато»,— говорил отец,— пятьдесят пять метров в длину, восемь метров в ширину, водоизмещение три и семь десятых, оснащен торпедными аппаратами и пушками Круппа, ты только посмотри, какими! — И доставал из коробки фотографию прадедушки Тадеуша, стоящего в мундире инженера-курсанта на палубе «Спалато», по-видимому где-нибудь в Триесте или Пуле, и обнимающего одной рукой Фердинанда Карольку, тоже курсанта, а другой — механика Юлиуса фон Петравича, что звучало довольно-таки нелепо: частица «фон» не вязалась с хорватской фамилией «Петравич».

— На этом судне,— мечтательно говорил отец,— они с контр-адмиралом Манфрони ходили в Индию в тысяча восемьсот восемьдесят девятом или тысяча восемьсот девяностом году, если не ошибаюсь. Нужно будет проверить,— добавлял он и вытаскивал из коробки очередную фотографию: прадедушка Тадеуш был на ней уже не в мундире военно-морского флота его императорского и королевского величества, а в парадном сюртуке и смотрел на нас серьезным внимательным взглядом. Вдоль нижнего края вилась выдавленная посеребренная надпись: «Atelier Artistique Photographique — Stella» [1]. Меня восхищала форма этих букв и герб империи — двуглавый орел, тоже выдавленный и серебряный. «Львов, третьего мая тысяча девятьсот одиннадцатого»,— медленно читал я, и тогда отец показывал открытку с видом Политехнического института, где бывший курсант преподавал физику и механику, где стал профессором, а со временем — тайным надворным советником. И я видел: вот он, в своем сюртуке, прогуливается по гетманским валам, вот проходит мимо памятника Собескому, и на его седые, коротко стриженные волосы и лацканы сюртука медленно осыпаются цветы акации; и все отчетливее видел своего прадедушку в этом странном, незнакомом городе, который назывался Львов, Лемберг или Львив, в городе, где были Политехнический институт, театр,

[1] «Ателье художественной фотографии — Стелла» *(франц.)*.

железнодорожный вокзал, но не было ни порта, ни судоверфи, и внезапно мне стало понятно, почему отец сразу после войны приехал в Гданьск, почему поступил в Политехнический и занялся проектированием судовых двигателей.

Мама посылала в Варшаву — в управления, ведомства и консульства — письма, но ответ почему-то не приходил. Между тем отец по утрам просматривал газету, читал некрологи, прогноз погоды и короткие объявления и именно там, в отделе объявлений, среди предложений о продаже неновой стиральной машины, зимнего пальто с каракулевым воротником и рассады бегонии, напал на след улиток, которые поджидали нас с начала лета.

— Высокие закупочные цены,— сказал однажды утром отец, загадочно усмехнулся, надел пиджак и ушел. А когда часа через два вернулся, его улыбка осветила квартиру: казалось, дождь внезапно унялся и ветер разогнал тучи над нашим городом и заливом.— Завтра приступаем к работе,— объявил он.— Если ты мне поможешь, заработаем немного денег.

— Мерзость какая,— отрезала мама. Она имела в виду не деньги, а прячущихся в траве и листве улиток, которых нам предстояло собирать.— Как можно такое брать в рот!

— Нельзя, наверное,— согласился отец,— если ты не француз.— И с жаром принялся объяснять, что улитки, за которые мы получим деньги, будут отправлены прямо в Париж, а там, соответствующим образом приготовленные, попадут на стол в качестве деликатеса, изысканной закуски, ибо французы — народ привередливый и чего попало в рот не берут, как, к примеру, мы, не говоря уж о русских.

Так он сказал, и на следующий день мы, в сапогах, дождевиках, с корзинками, отправились в лес. Когда проходили мимо костела Воскресения, ксендз помахал нам рукой и крикнул: «Побольше вам грибочков!»; отец ответил: «Благодарствуйте!», а минуту спустя наклонился над кудрявыми зарослями папоротника и вытащил из мокрой травы первую улитку. Осторожно повертел ее в пальцах, рассматривая раковину и рожки, положил в выстланную листьями корзинку и пошел дальше, как человек, который всю жизнь только сбором улиток и занимался. Шагая за ним, я чувствовал, что вступаю в новый мир. Без сожаления расставался с ручейками и лужами и даже тем местом, где под водой скрывался таинственный вход в подземелье, без сожаления прощался со своими судами и плававшим по Адриатике австро-венгерским военно-морским флотом его императорского и королевского величества, поскольку с того момента, как отец положил в корзинку первую улитку, найденную под кустом папоротника прямо за костелом Воскресения, твердо знал: то, что мы делаем,— не просто зарабатывание денег.

С тех пор каждый вечер отец раскладывал на столе огромную карту с надписью «Freistadt Danzig» [1] и пальцем очерчивал на ней круги, приговаривая: «Тут мы еще не были», а я тем временем по слогам читал: «Stolzenberg, Luftkurort Oliwa, Nawitzweg, Glettkau, Langfuhr»,— и с удивлением обнаруживал, что эти странные названия означают всего-навсего Подгулянку, Оливу, Нижние Мельницы в Брентове, Елитково или Вжещ, а потом, с еще большим удивлением, убеждался, что некоторые из них оказались посильнее войны, переселений и пожаров и изменили свое звучание лишь незначительно, как бы поверхностно: Ohra стала Орунью, Brosen — Бжезьно, Schidlitz — Седльце. Но поистине в изумление приводили меня пункты в этой улиточьей географии, вовсе не изменившие названий, сохранившие верность своим именам, как старые люди — привычным тропкам. И, когда мы с отцом подымались на изрытый расщелинами Эммаусский холм, откуда был виден залив и стоящие на рейде суда, или когда выуживали улиток из густых зарослей в парке аббатства в Оливе, мне вспоминалась история, в которой вместо залива было Тивериадское озеро, а вместо парка при аббатстве — оливковая роща.

[1] Вольный город Данциг *(нем.)*.

— Как ты думаешь, он мог здесь проходить? — спросил я однажды отца, нарушив его глубокую задумчивость, и он, оторвав взгляд от листьев, травы и улиток, ответил, не удивившись, что все возможно; наши органы чувств часто вводят нас в заблуждение и сплошь и рядом грубо противоречат здравому смыслу, поэтому не следует излишне им доверять: с равным успехом можно видеть то, чего нет, и не видеть того, что, наоборот, есть.

— Следовательно,— подняв палец, заключил отец,— существуют вещи, которые нам даже не снились, которые и вообразить нельзя, и тем не менее они тут, вокруг нас, только мы об этом не знаем.

Меня такой ответ не удовлетворил. Мне б хотелось услышать от отца «да» или «нет» — это было бы куда проще. Я не понимал, зачем нашим глазам — или слуху, или осязанию — нужно вводить нас в заблуждение; сомнения одолевали меня, и поэтому, когда мы спускались с Эммаусского холма по песчаной дороге среди высоких лип, я спросил, действительно ли существует то, что мы видим и слышим и до чего можем дотронуться: красные крыши домов, вековые деревья, шум дождя или фиолетовое полотнище залива, раскинувшееся внизу, у наших ног, за шеренгами грузоподъемников и портальных кранов.

Отец нагнулся, подобрал с тропинки улитку и сказал, рассматривая раковину:

— Доказать тут ничего нельзя — это не математическое уравнение. Но, понимаешь,— улитка была отправлена в корзинку, и я почувствовал руку отца на своем плече,— есть некто, заботящийся, чтобы мы не ошибались. Указывающий путь.

— Бог? — спросил я.

— Да,— тихо ответил отец, и прозвучало это так убедительно, таким простым, ясным и однозначным было его короткое «да», что я больше не задавал вопросов, будто на Эммаусский холм и на весь наш город вдруг устремился невидимый взгляд, не позволяющий ошибаться; чудодейственный взгляд, под которым становится взаправдашним все, что нас окружает: улитки, листья, лужи и капля воды, скатывающаяся по непромокаемому плащу моего отца.

Под вечер мы заходили в зеленый ларек, где пан Костерке, постукивая деревянной ногой, взвешивал улиток, что-то записывал чернильным карандашом на засаленных листах, заставлял отца расписаться и выплачивал нам деньги. В отцовский карман перекочевывали монетки в пять злотых с вытягивающим сеть рыбаком, монеты с изображением Тадеуша Костюшко, а случалось, и красная купюра с лицом рабочего, я же украдкой разглядывал пана Костерке, у которого был такой же, как у Костюшко, вздернутый нос, который говорил с твердым немецким акцентом и распространял вокруг себя запах табака и спирта. После завершения сделки, когда улитки уже были уложены в специальный ящик, выстланный листьями и травой, отец присаживался на колченогую скамейку, угощал пана Костерке сигаретой, и они беседовали о погоде и сборе улиток, а потом, разгорячившись, перескакивали государственные и таможенные границы, открывали филиал крупнейшей в Центральной Европе фирмы по скупке виноградных улиток, подсчитывали огромные барыши, завоевывали один за другим новые рынки и в конце концов открывали фабрику по производству консервов с поэтическим названием «Лаура» — так звали жену пана Костерке, с которой у них до войны была лавка колониальных товаров на углу Хубертсбюргераллее.

— Где же была эта улица,— спрашивал отец,— что-то она мне на карте не попадалась,— и тогда пан Костерке описывал перекресток при выезде из города и рассказывал про лавку, в которой продавал товары со всего света. И еще про жену, про дочек, про то, что остался один со своей деревянной ногой: настоящую он потерял в сорок шестом году, наступив на немецкую мину, и оттого не уехал в Германию — пропустил последний поезд, а потом уже не захотел уезжать, чтоб ненароком не потерять вторую, здоровую

ногу, хотя жилось ему нелегко: многие считали, что он, Костерке, немец, а ведь он гданьчанин, самый настоящий гданьчанин и по-польски говорит не хуже, чем по-немецки.

— Хубертсбюргераллее,— задумывался отец,— красивое название, обязательно нужно будет ее найти,— и тогда пан Костерке, прихрамывая, приносил из глубины ларька бутылку и две рюмки, и они с отцом пили друг за друга, будто старинные приятели, а я смотрел, как кривятся их лица, как они закусывают соленым огурчиком, выуженным из банки, где плавали укроп, вишневый лист и зубчик чеснока, и все ясней понимал, что ни в какую Америку за свободой и деньгами мы не поедем — ведь благодаря улиткам нам хватало на еду, а лазая по склонам Эммаусского холма, обшаривая долину Стшижи или бродя по пригоркам оливского леса, мы с отцом чувствовали себя по-настоящему свободными людьми.

— Сезон улиток скоро заканчивается,— сказал однажды пан Костерке.— Я опять возьмусь за бутылки и макулатуру, а вы, пан инженер?

Отец пожал плечами.

— Может, начну строить парусник,— сказал он, вертя в пальцах пустую рюмку,— отправимся в далекое путешествие... Для сына это лучше, чем ходить в школу. Кильский канал, Ла-Манш, потом Бискайский залив, Гибралтар,— не переводя дыханья, перечислял он,— Средиземное море, Эгейское и под конец Итака! Обогнем Итаку и вернемся домой, а вам, пан Костерке, пришлем открытки из Гамбурга и из Марселя. Ну как вам такая идея?

Бывший торговец колониальными товарами с Хубертсбюргераллее смотрел на нас и молчал. И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, задымленный воздух сделался прозрачным, время отступило, и сумрачное нутро деревянной хибарки наполнилось запахом кофе, корицы, имбиря, муската, ароматом гвоздики и мозельского вина; у пана Костерке обе ноги были целехоньки, и он стоял за прилавком из полированного дуба, покуривая папиросу марки «Винета» из Danziger Tabak Monopol Aktionsgesellschaft, а мой отец, по другую сторону прилавка, курил сигарету «Окасса Заротто», купленную на складе Куммера в Зеленой Браме; он курил сигарету вроцлавской фабрики Хальпауса и спрашивал у пана Костерке: «Как идут дела?», а владелец лавки с колониальными товарами отвечал, что с тех пор, как на улицах нашего вольного города стали хозяйничать коричневорубашечники, с тех пор, как коричневые рубашки завладели сенатом и заправляют иностранной политикой, с тех пор, как коричневые рубашки затеяли таможенную войну с Польшей, дела идут неважнецки. Гульден неудержимо падает, и, пожалуй, он, Костерке, откроет счет в каком-нибудь польском банке в Гдыне, что, правда, не очень законно, зато выгодно, поскольку польский злотый держится прочно — совсем как швейцарский франк. Отец подбрасывал на ладони пачку «Окасса Заротто» песочного цвета с изображением поглядывающей на него красивой женщины; в ее обнаженной руке, классическом профиле с крутой бровью, в увенчанных цветком орхидеи черных локонах было что-то таинственное и притягательное, что-то восточное, и пока пан Костерке, понизив голос, рассказывал о главарях НСДАП [1], которые вслед за президентом сената Вольного города Раушнигом забрали свои сбережения из гданьских банков и поместили в польские, по ту сторону границы, пока пан Костерке возмущался коричневыми рубашками, избившими на митинге социал-демократов, и арестами христианских демократов, пока, совсем уже шепотом, говорил, что для евреев, поляков и вообще всех порядочных людей настают трудные времена, отец не сводил глаз с греческого профиля, стройной шеи и гладких щек черноволосой красавицы, словно перед ним была не этикетка на песочного цвета коробочке «Окасса Заротто», а миниатюра кисти Мехоффера [2] — та, что висела во львовской квартире на улице Уейского над

[1] Национал-социалистическая рабочая партия Германии — фашистская партия, с 1921 г. возглавляемая Гитлером.

[2] Юзеф Мехоффер (1869—1946) — художник, один из ведущих представителей «Молодой Польши».

письменным столом прадедушки Тадеуша и изображала его скончавшуюся молодой жену из венгерской семьи Сегеви.

— Да, да,— соглашался отец,— трудные настают времена, но разве когда-нибудь бывали легче?

Запах имбиря, муската и гвоздики, запах турецкого табака незаметно улетучился — как и голубовато-желтая пачка папирос «Винета», и песочного цвета коробочка «Окасса Заротто»,— а пан Костерке, снова с деревянной ногой, наклонившись к отцу, нашептывал ему на ухо секретную информацию:

— Больше всего их на погостах, заброшенных и заросших, это кладбищенские твари, уж вы мне поверьте! И я даже знаю почему. На кладбищах у травы и листьев особый вкус — растения вытягивают из земли самые лучшие соки, улитки это чувствуют. Короче: пока сезон не кончился, давайте туда.

Капли дождя стучали по крыше ларька, пан Костерке спрятал бутылку за прилавок, а отец, недоверчиво выслушав сообщение о кладбищах и улитках, вежливо кивнул и сказал, что нам пора — уже поздно. В его взгляде я заметил удивление, смешанное с досадой.

— И что болтает старик! — сказал он, когда мы шли домой.— Улитки живут там, где зелено, вот и все!

Однако то, что случилось в последующие дни, нас прямо-таки ошарашило. Возвращаясь с Нижних Мельниц через Брентово, мы завернули на старое кладбище, где среди заросших надгробных плит с немецкими надписями, среди потрескавшихся ангелочков и трухлявых крестов, оплетенных вьюнками, наткнулись на истинное царство улиток. Шагать приходилось с осторожностью, чтобы не наступить на раковины, замаскированные высокой травой, а стоило отогнуть ветку бузины или жимолости, как под ней оказывались целые семейства, целые кланы улиток, склеившихся по три-четыре штуки, словно так они спасались от одиночества или разыгрывали какую-то любовную мистерию.

Мы заполнили до краев не только корзинки, но и запасной мешок из серого полотна. Пока пан Костерке отсчитывал нам красные купюры с лицом рабочего, отец молчал, я же сказал, что, наверно, улитки — посланцы подземного мира.

— Чепуха! — с некоторым раздражением отозвался отец.— Что за вздор тебе лезет в голову?

Однако, когда на следующий день, проходя мимо Политехнического, мы — правда, словно бы невзначай — свернули на заросшие аллейки кладбища, где раньше хоронили немцев, а теперь — только бродяг и пьяниц, и среди плакучих ив, грабов, краснолистых буков и елок тут же обнаружили еще больше, чем в Брентове, улиток, отец не выдержал:

— И впрямь чудеса. Но как это связано со смертью?

Я не мог ответить на этот вопрос. Мир улиток был недоступен и нем, и уж совсем таинственными казались их пути, помеченные серебряной ниткой. В самом ли деле тут есть какая-то связь, например, с Хуго Толлером, скончавшимся в 1938 году, семнадцатого октября, во Вжеще? Или с доктором Мерцем, музыкантом и дирижером, который отошел в вечность перед самым концом войны, но до того, как сгорело Глувне Място, а дома, амбары и костелы обратились в пепел? Нет, я не знал ответа и только спросил у отца, что такое «отойти в вечность»? Это и означает соединиться с Богом? И где то место, которое мы называем вечностью? Над нами в вышине? Или, скорее, внизу? А может быть, вечность где-то рядом, просто мы не видим ее, как не видим воздуха, который нас окружает и которым мы, сами того не замечая, дышим?

Отец укладывал улиток в корзинки.

— Я знаю только, что Бог есть и что все мы боимся смерти,— после недолгого размышления сказал он.— А все остальное... все остальное лишь догадки.

— Ты тоже боишься смерти? — спросил я.

— Я тоже,— ответил отец.

— А как это — когда умирают?

Отец не сразу ответил. Он явно хотел что-то мне объяснить, но долго колебался, раздумывал, будто трудился над решением уравнения с несколькими неизвестными.

— Вся загадка в движении, понимаешь? В движении частиц, тел. Там, где его нет, нет и жизни. Так что смерть — прекращение всяческих перемен, полное отрицание движения в каком бы то ни было виде. Понимаешь?

Я кивнул, а отец, бродя в высокой, по колено, траве, продолжал говорить. Со смертью приходит конец любым страданиям, любой боли, поэтому для кого-то в определенных обстоятельствах смерть может быть желанной. Как состояние абсолютного покоя и тишины, которого мы даже представить себе не можем.

Но я себе эту тишину представлял. Я ее видел. Она для меня была огромным, растянутым над нашим городом, над заливом и холмами покрывалом, под которым спят дедушка Кароль, прадедушка Тадеуш и его молодая жена, курсант Каролька, барон фон Молль и третий механик фон Петравич, женщина в черной шляпке с вуалью, стоявшая за президентом Мосьцицким, и мужчина с паперти львовского собора, и еще многие, кого я не знал и не мог знать,— все, окутанные беспредельной тишиной, в которой медленно ползали улитки, волоча на себе темные или светлые домики, вытянув вперед рожки, чтобы улавливать ими голоса умерших.

С каждым днем отец становился все молчаливее. Может, потому, что сезон улиток подходил к концу, а может, из-за соседей, которые, прознав, чем мы зарабатываем, обменивались между собой дурацкими замечаниями. Однако в последний день — а был это день Святого Иоанна — отец немного повеселел.

— Кончаем с улитками,— сказал он,— пускай теперь французы ими занимаются.

А когда мы бродили по Епископской горке, когда в последний раз обшаривали кусты и одичавшие аллеи парка, разыскивая под листьями и в траве улиток, отец говорил, что за эти дни мы прилично заработали и следующий месяц проживем без хлопот.

— Я бы мог это делать целый год,— сказал я,— ходил бы с тобой и ходил, а кончатся улитки, начнем собирать травы, сушить и потом продавать больным людям.

— Здорово,— улыбнулся отец,— замечательная идея. Если опять останемся без денег, непременно так и поступим.

А пока, чтобы заработать на улитках последний гонорар, чтобы вечером принести домой и выложить перед мамой на стол несколько красных купюр, мы, как истинные охотники, рыскали по кустам, ныряли под густые зеленые своды, не просыхавшие с начала лета, и даже не заметили, как наступили сумерки, а значит, пан Костерке закрыл свой ларек.

— Не беда,— сказал отец,— раз так, выпустим их на свободу.

Но, не успел он поставить корзинку на землю, как мы увидели нечто необыкновенное. На наших глазах десятки улиток покидали свои укрытия, выползали из-под кустов и устремлялись в одну сторону — к вершине холма. Их становилось все больше — уже не десятки, а сотни.

— Смотри! — крикнул отец.— И тут, и вон там,— все сильней волновался он,— идут, как на параде!

И действительно: улитки, деловито шевеля рожками, одна за другой поднимались по склону, словно наверху у них был назначен сбор.

— В жизни ничего подобного не видел! Пошли,— сказал отец,— поглядим, куда они держат путь.

Мы зашагали вдоль растянувшейся по склону цепочки. Зрелище было потрясающее. Чем ближе к вершине, тем больше улиток сворачивало с боковых тропок на основную, ожившую, в конце уже сплошь покрытую шевелящимися ракушками дорогу.

— Как угри в Саргассовом море,— услышал я шепот отца.— В этом есть какая-то тайна.

Но то, что мы увидели наверху, поразило нас еще сильнее. Посреди поляны из земли торчал огромный камень, какие во множестве разбросал по холмам ледник. Он был крутобокий, в человеческий рост и формой напоминал слезу, которую мог уронить только какой-нибудь циклоп-великан из мифа. Осторожно, чуть ли не на цыпочках, чтобы не растоптать ни одной улитки, мы приблизились к валуну и остановились как вкопанные, точно сами превратились в камни.

— Боже, что они делают? — тихо проговорил отец.

Улитки пытались, переваливаясь друг через дружку, взобраться на валун, стремились, прижимаясь брюшком к серой крутизне, вползти на самый верх, но тщетно: им было невмочь одолеть гладкую, почти вертикальную стену и силу тяжести, неумолимо тянувшую вниз. И они падали обратно в траву, в бесформенное скопище раковин и тел, поскрипывающее и шелестящее, похожее на то вздымающуюся, то опадающую волну. Ни одной не удалось подняться дальше середины камня; следы восхождений в виде серебристых ниточек слизи, казалось, покрыли базальтовую поверхность сплошным, но тонким и прозрачным панцирем.

Завороженные этим зрелищем, мы даже не заметили, что дождь прекратился и из черных клякс густого кустарника выпорхнули светлячки. Они летали над всей поляной; оторвав наконец взгляд от камня, мы увидели непоседливые огоньки, кружившие в темноте все быстрей и быстрей, точно в такт неслышимой музыки.

— Им никогда не залезть на этот камень,— сказал отец, указывая на улиток.— А нам не узнать, зачем им понадобилось туда взбираться. Если б хоть одной удался этот номер, наверняка что-нибудь бы произошло.

— Что? — тихо спросил я.

— Не знаю. Но что-то бы изменилось.

— Что? — еще тише повторил я.

— Может быть, мир. Не знаю,— ответил отец, опорожняя корзинки.— Давай-ка уйдем отсюда. Не нужно им мешать.

Когда мы с пустыми корзинками спускались с холма и позже, когда над городом уже взошла луна, а мы в ночном трамвае проезжали мимо памятника Собескому и Политехнического института, я видел в глазах у отца тоску — таким же тоскливым становился его взгляд, когда он рассматривал старые фотографии или чертил на листках бумаги контуры боевых кораблей императорского и королевского флота. И тогда я понял: мы никогда больше не пойдем собирать улиток и даже словом не обмолвимся о поляне и высоком камне — то, что мы увидели, безмолвно скрепила своей печатью тайна.

Это, впрочем, не означало, что последующие дни прошли исключительно под знаком луж и дождя. Отец слонялся по дому и опять просматривал газетные объявления, мама продолжала писать письма, на которые не получала ответов, а я, случайно найдя в саду улитку, соорудил для нее огороженный четырьмя кирпичами загончик и, сидя под кустом смородины, пытался разгадать улиточьи секреты. Каждое утро я приносил ей свежий листок, каждый день подолгу торчал в саду, наблюдая за ее поведением, и, не зная языка улиток, особой системы невидимых сигналов, которые они принимают своими рожками, обращался к пленнице на собственном языке, надеясь, что в конце концов она поймет хотя бы несколько слов. И действительно, некоторое время спустя улитка стала реагировать на мой голос и уже не пряталась в раковину, когда я клал ее к себе на ладонь, однако ничего больше мне добиться не удалось. Пленница оставалась безразличной к моим стараниям, и я так и не сумел проникнуть в мир чувств виноградных улиток.

Потом началась школа. В первые дни в наших отношениях мало что изменилось. Как и прежде, я приносил улитке листья салата и пытался завести с ней беседу. Но однажды ночью хлынул проливной дождь, а под утро ударили заморозки. Я кубарем слетел вниз по лестнице и кинулся в заиндевелый сад. Но было уже поздно. Белое зеркальце замерзшей лужи

под смородиновым кустом накрыло улитку, будто стеклянная крышка гроба. Я смахнул с прозрачной поверхности иней. Под тонким льдом, точно в хрустальном шаре, покоилась моя узница. Она была неподвижна. Мертва. По раковине скользил солнечный луч: все глубже проникал в извилистый лабиринт, все быстрее кружил по спирали и исчезал в точке, недоступной человеческому глазу.

Я никому не сказал о своей потере. Да у взрослых и без меня хватало забот. «Маршала Жукова» спустили на воду, и во время испытаний в заливе полетел коленчатый вал. Отец вернулся на работу, за свою чертежную доску, а мама наводила порядок в шкафу и ящиках, как всегда перед приездом бабушки Марии.

Солнце растопило лед, а сильный ветер с моря, предвещающий осенние штормы, осушил все лужи в окрестностях. Я снова бродил вокруг канализационного колодца, который наконец-то открылся лучам сентябрьского солнца. Долго смотрел на костел Воскресения, на деревянную колокольню, на красные крыши домов, а потом стал счищать с чугунной крышки люка слежавшийся, рассыпающийся в пальцах песок. Из-под него постепенно проступали буквы, складывающиеся в слова: Kanalisation von Danzig. Вот теперь я бы мог поднять крышку и заглянуть вглубь, но в этом больше не было нужды.

ПЕРЕЕЗД

Отец условился с паном Бешке на субботу, на середину дня. Но пан Бешке накануне предупредил, что не приедет. Неожиданно выяснилось, что им всей семьей надо ехать на крестины, куда-то под Картузы. Поэтому переезд отложили на понедельник, и в комнате на втором этаже, где мы жили, началась жуткая суета. Мама заново перепаковывала коробки и чемоданы и злилась, что ей предстоит этим заниматься еще три дня. Отец злился оттого, что злилась мама. В результате они злились друг на друга, а заодно и на меня. Я счел за лучшее держаться от них подальше и бóльшую часть времени проводил в саду. Не помню уже, очень ли я из-за этого горевал. Пожалуй, не очень. До ужина я мог делать практически все что вздумается. Запрещались, как всегда, только две вещи: выходить за ворота сада в парк и играть на террасе, с которой можно было через застекленную дверь заглянуть в Большую комнату. Парк я знал хорошо. Самым интересным в нем были запущенные клумбы, заросший пруд, бездействующие уже много лет фонтаны, откуда не вытекало ни капли воды, и каменный постамент, на котором когда-то, вероятно, очень давно, стоял памятник то ли князю, то ли королю. В гуще крапивы чего только не валялось. Ржавая ванна с большой дырой, автомобильная заводная ручка, сломанное кресло с ободранной обивкой и вылезшими наружу пружинами. И еще всякий хлам непонятного или забытого назначения. Однако на этот раз меня в парк не тянуло. Может быть, потому, что я уже знал каждый его уголок? Другое дело терраса или Большая комната! Там происходило что-то куда менее реальное и более таинственное, к чему ни отец, ни даже наш сосед по этажу пан Скиский не всегда допускались.

В Большой комнате жила пани Грета, бывшая владелица дома. Пан Скиский этого слова, видимо, не любил: вместо «владелица» говорил «барыня» и при этом злобно хихикал. Отец называл ее просто пани Хоффман, зато мама — исключительно старой немчурой, что звучало весьма недружелюбно. Я видел хозяйку очень редко. Она, как могла, нас избегала; и мы ее тоже.

— Тебе нельзя туда ходить,— наставляла меня мама,— она не понимает по-польски.

— Да, да,— добавлял отец,— не нужно ей мешать.

Нечасто встречаясь с пани Гретой, я тем не менее почти ежедневно ее слышал. Вечерами она садилась за рояль, и два-три часа в доме звучала музыка.

— Барыня бацает на фортепьяне,— фыркал пан Скиский.

— Опять немецкая музыка,— вздыхала мама.

— Она просто играет,— пожимал плечами отец.— Что тут плохого?

А мне эта музыка нравилась. Особенно я любил слушать ее перед сном, когда отец гасил лампу и комната погружалась в полумрак. Звуки рояля растекались в воздухе, и я чувствовал их бархатистое прикосновение. И жалел, когда пани Хоффман переставала играть,— как будто меня чего-то лишали.

Нет, знакомиться с пани Гретой я совсем не хотел. О чем мне было с ней разговаривать? Я только мечтал поглядеть, что там внутри, то есть когда-нибудь попасть в Большую комнату. И увидеть, как пани Грета играет.

Я не спеша обошел дом. Обогнул старый клен, обросший омелой, прошел мимо забитых досками окон флигеля и, наконец, очутился на террасе перед широкой застекленной дверью. Пани Грета иногда ее открывала и, стоя на пороге или присев на деревянную табуреточку, смотрела в сад. Задерживала взгляд на каменной ограде, на побегах дикого винограда или цветах глицинии; в мягком солнечном свете ее седые волосы казались оперением испуганной птицы. Но бывало так только летом. Сейчас дверь была заперта, а на каменных плитках террасы, напоминающих шахматную доску, под ногами шелестели желтые листья.

Я прижался лицом к стеклу. В Большой комнате было полутемно, и я почти ничего не видел, кроме разве что находившегося недалеко от двери стола, заваленного кучей каких-то вещей. Глаза привыкли к серому сумраку, я уткнулся взглядом в эти нагромождения, стараясь выудить из них отдельные предметы. Там были серебряные и бронзовые подсвечники, кипы толстых книжек и нот, листки бумаги, фарфоровые шкатулочки и статуэтки, стеклянные графины, лоскуты материи, катушки с нитками, керамические цветочные горшки, пара перчаток, детские грабельки, дамские шляпы, чашки с блюдцами и без блюдец, лакированные и бронзовые пресс-папье, бюстик какого-то мужчины, серебряная сахарница, несколько фотографий в рамках, наконец, будильник без стрелок, но с большими нашлепками звонков. Очертания всех предметов были смазаны и расплывчаты, как на нерезком снимке. Но ясно было, что больше всего на столе книжек и нот; их груды напоминали разрушенный город с ущельями улиц и тесными проходами между стен.

Удовлетворив первое любопытство, я стал ждать, когда появится пани Грета, сядет к роялю и начнет играть. Раз ее нет в Большой комнате, значит, она на кухне. Заглянуть в кухню я не мог: окна были слишком высоко и вдобавок заклеены оберточной бумагой. Кухни не видел даже никто из взрослых. Если в Большую комнату — ненадолго и только в исключительных обстоятельствах — им еще случалось заходить, то порога кухни они не переступали никогда. Об остальных помещениях вообще и речи не шло. Две комнаты, спальня и ванная, как и две точно такие же над ними, на втором этаже, были заперты на висячие замки и опечатаны. На моей памяти их ни разу не открывали: потолки там держались на честном слове. Так что пани Грета, конечно же, была в кухне. Если б стеклянная дверь террасы не запиралась изнутри, я смог бы ее приоткрыть и через узкую щель протиснуться в Большую комнату. Внимательно бы все осмотрел и незамеченный вышел. Ну а вдруг бы хозяйка меня увидела? Наверняка бы приняла за грабителя. Пока я гадал, пошла ли бы пани Хоффман жаловаться отцу, пока вспоминал, как будет по-немецки «вор», в Большой комнате вспыхнул свет, и между огромной кроватью, шкафом и роялем, внезапно выступившими из полутьмы, я увидел небольшую, чуть сгорбленную фигуру. Сразу к роялю — как я надеялся — пани Грета не подошла. Поставила стакан с чаем на круглый столик и села рядом в глубокое кресло.

Минуту спустя по спине у меня пробежал неприятный холодок. В Большой комнате происходило что-то странное. Что-то, чего я не мог понять. И незнание немецкого языка было тут ни при чем.

Пани Грета, попивая чай, явно с кем-то беседовала. Это не был монолог. Она задавала вопросы, вставляла замечания, качала головой, даже жестикулировала и, кажется, сердилась: я услышал, как она раза два повысила голос. Но с кем она говорила? В Большой комнате, кроме нее, никого не было. «Разве нормальные люди разговаривают с воздухом? — подумал я.— Может, она сумасшедшая?» Да, не исключено, но и с уверенностью не скажешь. Однажды на улице Красной Армии мне повстречалась сумасшедшая: она плевала в прохожих, выкрикивала какие-то угрозы, была оборванная и грязная, и изо рта у нее текла слюна. На пани Хоффман же была светлая блузка, сколотая у ворота янтарной брошкой, и черная юбка, а ее седые не очень длинные волосы носили явный отпечаток руки парикмахера, хотя, кроме базара в Оливе и костела цистерцианцев, она нигде больше в городе не бывала. Поэтому, пока я, приложив ухо к стеклу, ловил отдельные слова, меня стали одолевать новые сомнения: а вдруг она разговаривает с кем-то, кого видит, но кого я не могу увидеть? Тем более что беседа заметно оживилась. Пани Хоффман размахивала руками, горячилась, будто в чем-то убеждала непонятливого собеседника. А может, она просто прикидывается? Но перед кем? И для чего? Я не знал, что и думать. Однако вид старой женщины, произносящей длинные фразы на непонятном мне языке, вид пани Греты, сидящей в кресле и беседующей с видимым только ей призраком, был настолько необычен, что я не мог уйти, не мог даже отвести от нее взгляда.

Внезапно разговор оборвался. Пани Хоффман, не погасив света, ушла со стаканом на кухню, но тут же вернулась и села за рояль. Не понимаю, как она меня заметила: на дворе смеркалось, а свет от люстры был довольно ярким. В какой-то момент пани Грета быстро поднялась с вращающегося стульчика, подошла к стеклянной двери и стремительно ее распахнула.

— И что ти тут делаль? — спросила она.

— Я?.. Просто проходил мимо,— промямлил я.

— Кушать хотель?

— Нет.

— А чаю хотель? Хотель! — поспешила ответить она за меня.— Потоштти меня стесь, гут? — и вышла. Ее шаги гулко прозвучали в длинном коридоре.

А я стоял в Большой комнате и открывал для себя множество необыкновенных вещей. Например, картины: все очень темные и очень старые, с большим количеством лошадей, колясок и конок — перед костелом Девы Марии, у колодца Нептуна, и возле Тюремной башни. Или рояль: по ореховой поверхности бежали затейливые буквы, складывающиеся в надпись, которую я с трудом разобрал: «Gerhard Richter und Söhne». Danzig 1932. В книжном шкафу рядами стояли толстые тома с золотыми корешками, поблескивавшими на свету. Но меня больше заинтересовали чучела птиц — одно белое, а другое сказочно разноцветное — и змея в банке с жидкостью. Потом мое внимание привлекла небольшая коллекция трубок и фарфоровых чубуков с картинками. Рассмотрев их все, я заметил раскрытую книгу, лежавшую рядом с пустой вазой. На двух цветных иллюстрациях были изображены фигуры мужчины и женщины. Они, правда, ничем не напоминали отца и маму. Вместо кожи, а вернее, под кожей, которой у них не было, я увидел сплетение сухожилий, кишок, жил, мышц и костей. То есть голыми как бы они не были, и я не почувствовал стыда — скорее любопытство, смешанное с отвращением. Если передо мной люди, то и я внутри такой же.

Когда пани Грета вернулась, я закрыл книгу. Она же, ставя на столик поднос с чаем, шарлоткой и вареньем, сказала.

— У нас Geburtstag [1]. Это такой пгастник. Понимаешь?

[1] День рождения *(нем.)*.

Я сказал, что не понимаю, и принялся за пирог. Пани Грета спросила:

— Тебе нгавится, как я иггаю, пгавда?

— Да,— ответил я,— нравится. А как вы узнали?

— Вижу по твоим глаза.

Это меня удивило. Я ведь никогда не смотрел ей прямо в глаза, даже не сталкивался с ней ни в саду, ни на лестнице. Видимо, ей самой хотелось поиграть, и она не прочь была, чтобы я послушал. Но, взяв лишь первый аккорд, прозвучавший в Большой комнате мощно и чисто, пани Грета повернулась ко мне на винтовом стульчике и спросила:

— А какая мелодия тебе больше всего нгавится?

Я растерялся. Названий я не знал и напеть бы ничего не сумел. Мог только сказать: «Сыграйте вечернюю мелодию. Ту, под которую так хорошо засыпать. Или другую: тогда шел снег, мама стояла у окна и позвала меня, чтобы я тоже посмотрел, как крупные хлопья постепенно засыпают парк, аллею и сад. Или еще одну, под которую отец чинил приемник, и ее забивали все радиостанции мира». В общем, я мог попросить пани Хоффман сыграть «вечернюю мелодию», «мелодию снежных хлопьев» или «мелодию радиостанций всего мира», но больше всего мне хотелось услышать «мелодию июньской ночи».

Родители были уверены, что я уже сплю. Они сидели на кровати, закутавшись в простыни, пили вино из высоких бокалов и все время смеялись. Потом, когда бутылка опустела, отец поднес к губам горлышко и негромко свистнул, и они опять стали смеяться, так как этот звук должен был изображать вой сирены трансатлантического лайнера, на котором они когда-то собирались отправиться в свадебное путешествие, но так и не отправились, и вообще никакого свадебного путешествия у них не было. Именно тогда из Большой комнаты, вырвавшись через приотворенную дверь на террасу, донеслись звуки рояля. Пани Хоффман играла что-то протяжное и печальное, и отец обнял маму, и они закружились по комнате — тихонько, на цыпочках, чтобы меня не разбудить, а я в щелочки между неплотно закрытых век наблюдал, как они танцуют, смотрел на медленно опадающие крылья простынь, пока не погас свет; больше я уже ничего не видел, однако музыка не прекратилась, она вплывала в открытое окно нашей комнаты, а вместе с ней из сада просачивался густой крепкий аромат пионов.

— Не знаю, как называется,— сказал я наконец.— Вы ее играли однажды летом.

— Ну хогошо, тогда я сыггаю отгывки, а ти скажешь, когда узнаешь.

Я кивнул, и пани Хоффман начала играть. Хотя это и не была «мелодия июньской ночи», я слушал с упоением и пожалел, что она скоро оборвалась — пани Грета внезапно сняла руки с клавиатуры.

— Я вижу, это не то, что ти хотель. А что я сейчас иггала, знаешь?

— Нет.

— «Tannhäuser», увегтюг.

— Тангейзер...

— Да.

— Это композитор такой?..

Пани Грета посмотрела мне в глаза, потом встала из-за рояля, вынула из шкафа книгу и велела пододвинуть к инструменту табурет. Мы сели рядом, и она открыла книгу на странице, где был нарисован замок. Еще на картинке были рыцари, красивые дамы, певцы, лошади, знамена и бастионы.

— Это замок ландггафа Тюгингии,— сказала она.

Так начался ее рассказ.

Я переворачивал страницы, а пани Хоффман объясняла каждую картинку и играла фрагменты из «Тангейзера».

Когда позади остались грот Венеры, состязания певцов и мольбы Елизаветы, когда мы дошли до паломников и деревянный посох пустил зеленые побеги, когда пани Грета, не отрывая пальцев от клавишей, стала приговаривать: «Внимание, сейчас вступают тгубы! а теперь гога и гобои!»,

я действительно услышал и трубы, и рога, и гобои, хотя звуки исходили всего лишь из рояля «Gerhard Richter und Söhne».

— Это все правда? — спросил я, едва воцарилась тишина.— Так было на самом деле?

Тогда пани Грета достала альбом с фотографиями. Фотографии были похожи на картинки в книге, но все же от них отличались. На большой сцене среди буков стояли мужчины в старинных костюмах с факелами в руках.

— Die Kunst,— сказала пани Грета.— Это только искусство. Они пели то, что я иггала. «Beglückt darf nun dich, o Heimat...» Спектакли были в Wald [1] — опега, понимаешь? В Цопот. А вот мой муш.

Я увидел на фотографии высокого мужчину в светлом полосатом костюме. Он стоял на фоне фонтанов и пруда рядом с другим мужчиной, в черном костюме. Оба улыбались; похоже, они были друзьями.

— Да это же наш парк! — сказал я.— Фонтаны, лестница... И даже крышу за деревьями видно.

— Вегно,— сказала пани Гоффман.— Это пагк. А мой муш биль музикант и композитог. Возле него — Макс. Он тогда пгиехаль к нам из Вена. Он пель Тангейзег. Оба уже нет в живих. А это,— показала она другую фотографию,— Эриксон. Ногвег из Осло. В следующем сезон пель Хагена в «Götterdämmerung» [2]. Великольепний биль голос!

— А где этот Гёттердеммерунг? — спросил я.— Тоже в Сопоте?

Тогда пани Грета принесла другую книжку и показала мне другие картинки, а потом опять села к роялю и сыграла траурный марш Зигфрида, от которого у меня по спине забегали мурашки. И еще сыграла «Steuermann lass die Wacht», и «Gesegnet soll Sie schreiten», и «Wach auf, es nahet gen der Tag» — в конце концов в голове у меня все перемешалось. Парсифаль прохаживался в парке по берегу высохшего пруда, муж пани Хоффман под устрашающие крики валькирий и нибелунгов гонялся за Хагеном по сцене лесной оперы в Сопоте, Эриксон стоял на террасе дома пани Греты с факелом в руке и пел: «Beglückt darf nun dich, o Heimat...», а матросы с «Летучего Голландца» возвращались из Оливы по сопотской дороге и распевали: «Heil! der Gnade Wunder Heil!»

Все это было необычно и захватывающе. И прекрасно — как парк на старой фотографии. Я слушал пани Грету с пылающими щеками, а она играла все новые отрывки, уже ничего не рассказывая и не показывая картинок, и мы с ней впали в какое-то странное состояние, чуть ли не в транс, потому что ни она, ни я не услышали шагов моего отца и не заметили, как он остановился у нас за спиной, словно тоже зачарованный музыкой, а может быть, картиной, которую увидел в Большой комнате: пани Хоффман, склонившуюся над роялем, и меня, неотрывно, точно под гипнозом, глядящего на нее, вернее, на ее пальцы. А возможно, отца еще что-то заворожило; так или иначе, он добрых минут пять стоял позади нас и только потом положил руку мне на плечо и спокойно сказал:

— Нам пора идти.

Пани Хоффман взяла заключительный мощный аккорд и повернулась к отцу.

— О, пан шиффбаумайстер [3]! А ми тут гешили немношко помузициговать. Вы не сегдитесь?

— Нет, не сержусь,— сказал отец.— Но нам уже надо идти. Спокойной ночи, пани Хоффман.

— Gute Nacht. Спокойной ночи, и вам спокойной ночи.

Когда мы вернулись в комнату на втором этаже, мама долго не могла успокоиться. Зачем я туда полез?! Ведь она столько раз просила! И что со мной делала эта старая немчура?

Отец пытался за меня заступиться:

— Она играла ему Вагнера. Только и всего.

---

[1] Лес — *(нем.)*.

[2] «Гибель богов» *(нем.)*.

[3] От нем. Schiffbaumeister — судостроитель.

Но в маму точно бес вселился.

— Немцы! Немцы! Немцы! — говорила она все громче.— Вечно эти немцы! Строят автострады и машины, лучшие в мире самолеты и лучшие печи для сжигания людей! Играют Вагнера, и всегда в прекрасной форме. И здоровье у них отменное, и аппетит отличный!

Я еще никогда не видел маму в таком состоянии. Она кричала, что зря отец привез ее в этот город, что, наверно, он это сделал только для того, чтобы она пять лет прожила под одной крышей с немкой.

— Почему она отсюда не уехала?! Почему не убежала, как другие?

— Успокойся,— уговаривал ее отец.— Незачем ему такое слушать.

Однако злой дух не покидал маму.

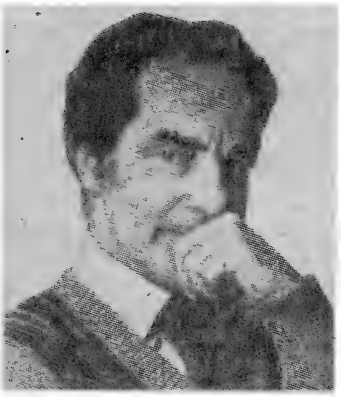
— Почему незачем? Рано или поздно он должен узнать! — И она принялась громко перечислять имена — хорошо знакомые и любимые,— и при каждом имени загибала по одному пальцу сперва на левой, потом на правой руке, когда же все пальцы кончились, начала, плача, снова их загибать, и так много раз, потому что убитых было гораздо больше, чем пальцев на руках и ногах, вместе взятых.

Отец, не в силах больше терпеть, умолял, чтобы она прекратила, выкрикивал, что не он же, в конце концов, затеял эту войну, не он передвигал границы, не он отбирал города у одних и отдавал другим, а я стоял между ними, раздираемый надвое, и видел мужчину и женщину — две фигуры с цветной картинки, похожие на живые пульсирующие раны.

Наконец отец замолчал, достал из тумбочки порошок и дал маме со стаканом воды. Мама постепенно пришла в себя, и они с отцом помирились, но тем не менее, когда мы уже засыпали в своих постелях, слово «немцы» еще долго кружило по комнате, точно проснувшаяся в темноте птица.

В понедельник утром пан Бешке подкатил к самому дому. Мы грузили наше добро на подводу, а лошади, как всегда перед дорогой, шевелили ушами. Наконец тронулись вниз по липовой аллее, между рядами старых деревьев. Я смотрел на высохший пруд, на фонтаны, из которых не вытекало ни капли воды, и на крапиву, скрывающую предметы непонятного или забытого назначения. Дом Греты Хоффман становился все меньше и меньше, превратился в коричневое пятнышко с красной точечкой крыши и исчез за деревьями. Копыта цокали по мостовой. Лошади пана Бешке весело фыркали, а сам он пел кашубскую песню, которая застряла у меня в голове, наверно, еще с крестин: «Хцелося мне выпиць бутывочку шнапса!» Позади остались мост и трамвайное депо. Дальше начиналась обсаженная каштанами улица Святого Хуберта. Новый, еще не оштукатуренный дом был уже близко. Войдя в свою комнату, я почувствовал запах свежей краски, известки и паркетных дощечек. И опять подумал про ту мелодию. Пани Грета не успела ее мне сыграть. Скорее всего, это была мелодия любви. Но кто ее сочинил — тоже Рихард Вагнер? За стеной, в соседней комнате, передвигали мебель. А я думал, что никогда уже этого не узнаю. Как не узнаю, с кем разговаривала пани Грета Хоффман в Geburtstag, когда я подглядывал за ней через стеклянную дверь Большой комнаты.

■



ИТАЛО КАЛЬВИНО

Паломар

ПОВЕСТЬ

Перевод с итальянского НАТАЛИИ СТАВРОВСКОЙ

ПАЛОМАР ОТДЫХАЕТ

Паломар на побережье

Чтение волны

На море зыбь, в песчаный берег ударяет небольшой прибой. Синьор Паломар стоит и смотрит на волну. Сказать, что поглощен он созерцаньем волн, нельзя. Не поглощен, поскольку хорошо осознает, что делает: он хочет на волну смотреть, и смотрит. Не созерцает, ведь для этого нужны особенные темперамент, внутренний настрой, стеченье внешних обстоятельств, и хотя он в принципе совсем не против созерцанья, ни одно из трех условий в данном случае не соблюдается. И наконец, смотреть он хочет не на «волны», а только на одну: остерегаясь смутных ощущений, Паломар, что б он ни делал, привык определять себе конкретный ограниченный объект.

На глазах синьора Паломара вдалеке возникшая волна приближается, растет, меняет цвет и форму, закручивается, разбившись, исчезает, устремляется обратно. Тут он мог бы счесть, что завершил задуманное, и уйти. Но выделить одну волну, отъединив от той, что катит за нею следом, кажется, ее подталкивая, а иной раз настигает и захлестывает, вовсе не легко — как, впрочем, отделить ее от предыдущей,— та словно тащит ее за собою к берегу, а то вдруг поворачивается навстречу, точно хочет задержать. Что же до длины валов, бегущих параллельно побережью, не так-то просто с точностью определить, где движущийся фронт един, а где уже распался, расчленился на самостоятельные волны, разнящиеся по форме, силе, скорости и направлению движения.

В общем, за волною невозможно наблюдать, не принимая во вниманье сложных факторов, которые участвуют в ее образовании, и столь же сложных, ею порождаемых. Они все время изменяются, и каждая волна поэтому отлична от другой; однако так же верно то, что у любой из них имеется двойник, не обязательно соседствующий с ней или идущий следом; в общем, формы и ряды их повторяются, хотя в пространстве и во времени распределяются неравномерно. Так как Паломар сейчас хотел бы просто *рассмотреть* волну, то есть уловить все до единой составные ее части, он решает наблюдать движенье бьющейся о берег водной массы до тех пор, покуда будет отмечать явления, не виданные прежде; едва картины станут повторяться, он поймет, что все уже увидел, и прервет свое занятие.

Нервный человек, живущий в бурном, перенаселенном мире, Паломар предпочитает отношения свои с ним ограничивать и, сопротивляясь мас-

© 1983, Giulio Einaudi Editore

совой неврастении, собственные ощущения старается по мере сил не выпускать из-под контроля.

С приближением волна становится все круче, на ее верхушке начинает загибаться белый отворот. Если это происходит не совсем уже у берега, то пена успевает, навернувшись на саму себя, исчезнуть, словно поглощенная водой, но тут же снова — снизу — заполняет все собой подобно белому ковру, взлетающему на берег для оказания волне достойного приема. Но когда волна должна уж накатиться на ковер, вдруг обнаруживается, что никакой волны и нет, а следом исчезает сам ковер — он превращается в сверкающий песок, который быстро-быстро отступает, будто бы теснимый ширящейся полосой сухого тусклого песка, который все продвигает вперед свою волнистую границу.

В то же время стоит обратить внимание на выемки на переде волны, где разделяется она на два крыла, несущиеся к берегу слева направо и справа налево, и то место, где берет начало (или завершается) их расхождение (или схожденье),— антимыс, который следует за крыльями, но неизменно отстает, завися от попеременного их наложенья друг на друга, пока волну эту не настигает бóльшая, однако так же выдвигающая ту же самую проблему расхождений и схождений, а следом не накатывается волна еще мощней, которая проблему разрешает.

Берег, следуя рисунку волн, выпячивает в море некие зачатки мысов, переходящие в затопленные отмели, которые то намывают из песка, то размывают вновь приливы и отливы. В качестве предмета наблюденья Паломаром выбран именно один из этих плоских языков, поскольку волны косо ударяют в него с двух сторон и, перехлестывая полускрытую водой поверхность, сталкиваются. А значит, разбираясь, как устроена волна, придется принимать в расчет и эти противоположные толчки, которые друг друга частью гасят, частью складываются, и в результате все удары с контрударами обычно оборачиваются обильно разливающейся пеной.

Паломар решает ограничить поле наблюдения; следя, к примеру, за квадратом десять метров берега на десять моря, он составит каталог движений волн, с различной частотою повторяющихся на участке этом за определенный промежуток времени. Трудность заключается в установлении границ квадрата: к примеру, можно было б дальней стороной его счесть гребень движущейся к берегу волны, но, приближаясь и растя, он заслоняет все, что позади, и вот уже обозреваемый участок опрокинут и расплющен.

Паломар, однако, не теряется: он то и дело заключает, будто уже видел все, что можно было разглядеть с его позиции, но вскоре непременно возникает что-нибудь, чего он не учел. Не торопись он так достигнуть полного и окончательного результата операции по наблюденью, созерцанье волн его бы очень успокаивало и уберегло б, возможно, от неврастении, от инфаркта и от язвы. А может, стало бы ключом к познанью мира в его сложности путем сведенья к более простой системе.

Но пробуя определить эту модель, необходимо также брать в расчет и длинную волну, которая, возникнув вдруг, несется параллельно берегу и перпендикулярно бурунам непрерывающимся гребнем, вздымающим лишь верхний слой воды. Отдельные барашки, рвущиеся к берегу, не нарушают равномерного порыва этого сплошного гребня, их срезающего под прямым углом, стремясь неведомо куда неведомо откуда. Может, перпендикулярно импульсу, возникшему в глубинах моря, водную поверхность движет слабенький восточный ветерок, но эта порождаемая воздухом волна вбирает по пути в себя косые водные толчки и увлекает их с собой. Так мчит она, растя и набирая силу, покуда столкновения со встречными волнами понемногу не сведут ее на нет иль не изменят направление настолько, что она смешается с одной из множества династий волн, которые бегут к ней под углом, и выплеснется с ними на берег.

Заострись внимание на каком-нибудь одном аспекте — и он тут же, выступив на первый план, собою заполняет всю картину, как, случается, рисунки, стоит лишь на миг закрыть глаза, нам предстают уже иными. Образуемый скрещеньем гребней волн узор теперь составлен

из квадратов — проступающих и исчезающих. К тому же каждая прибойная волна, откатываясь в море, также обладает некоторой силой, затрудняющей движенье к берегу катившихся за нею следом волн. И если сконцентрировать внимание на этих обращенных вспять волнах, то может показаться, будто бы действительно они все движутся от суши в море.

А вдруг на самом деле Паломар сумеет устремить их вспять, заставит время повернуть назад и с помощью какого-то шестого чувства вдруг постигнет истинную сущность мира? Увы, лишь закружилась голова. Настойчивость же волн увенчивается успехом: они явно укрупнились. Или ветер изменяется? Беда, если картина, стоившая Паломару кропотливого труда, нарушится, развалится, растает! Лишь держа в уме одновременно все ее детали, может приступать он к следующему этапу операции — распространять полученные сведенья на всю вселенную.

Тут главное — не потерять терпения, что в скором времени как раз и происходит. Он бредет вдоль берега такой же нервный, как пришел, и еще меньше в чем-либо уверенный.

Голая грудь

Паломар прогуливается по побережью. Изредка ему встречаются купальщики. Вот лежа на спине загорает молодая женщина с открытой грудью. Скромный Паломар спешит перевести свой взгляд к морскому горизонту. Он знает, что в подобных случаях, заметив незнакомца, часто женщины спешат прикрыться, и не видит в этом ничего хорошего: и потому, что смущена купальщица, спокойно загоравшая, и потому, что проходящий чувствует: он помешал, и потому, что в скрытой форме подтверждается запрет на наготу; к тому же половинчатое соблюдение условностей ведет к распространенью неуверенности, непоследовательности в поведении, а не свободы и непринужденности.

Вот почему, завидев бронзовое с розовым облачко нагого торса, он скорее поворачивает голову так, чтобы взгляд его повис в пространстве, гарантируя почтительное соблюдение невидимой границы, окружающей любого индивида.

«Однако,— рассуждает он, шагая дальше и, как только горизонт пустеет, вновь давая глазу волю,— действуя подобным образом, я лишь подчеркиваю свой отказ смотреть и в результате закрепляю ту условность, в соответствии с которой оголение груди считается недопустимым; иначе говоря, я мысленно подвешиваю меж собой и грудью — как мне удалось заметить краем глаза, молодой и привлекательной — воображаемый бюстгальтер. В общем, отведенный взгляд показывает, что я думаю об этой женской наготе, она меня заботит, и по сути дела это тоже проявление бестактности и ретроградства».

По пути обратно Паломар глядит перед собой так, чтобы взгляд его с одним и тем же беспристрастием касался пены отходящих волн и лодок, вытянутых на песок, и постланной махровой простыни, и полнолуния незагорелой кожи с буроватым ореолом в окружении соска, и очертаний берега, сереющих во мгле на фоне неба.

«Ну вот,— довольно отмечает он, шагая дальше,— грудь стала как бы частью окружающей природы, а мой взгляд — не более докучливым, чем взгляды чаек и мерланов».

«Но справедливо ль это? — размышляет он затем,— не низвожу ль я человеческую личность до уровня вещей, не отношусь ли к отличительной особенности женщин просто как к предмету? Не закрепляю ли давнюю традицию мужского превосходства, породившую со временем привычную пренебрежительность?»

Он поворачивается, идет назад. Скользя по пляжу непредубежденным, объективным взглядом, он, как только в поле зрения оказывается нагая грудь, заставляет взгляд свой очевидным образом прерваться, отклониться, чуть ли не вильнуть. Наткнувшись на тугую кожу, взгляд его отскакивает,

будто отмечая измененье консистенции картины и ее особенную значимость, зависнув на мгновение, описывает в воздухе кривую, повторяющую выпуклость груди — уклончиво и в то же время покровительственно,— и невозмутимо двигается дальше.

«Наверное, теперь моя позиция ясна,— решает Паломар,— и недоразумения исключены. Но вот не будет ли такой парящий взгляд в конце концов расценен как высокомерие, недооценка сущности груди, ее значения, в определенном смысле оттеснение ее на задний план, куда-то на периферию, как не стоящей особого внимания? И грудь из-за меня опять оказывается в тени, как долгие столетия, когда все были одержимы манией стыдливости, считали чувственность грехом...»

Подобное истолкование не соответствует благим намерениям Паломара: он хотя и представляет поколенье зрелое, грудь женщины привыкшее ассоциировать с интимной близостью, однако же приветствует такую перемену нравов — и поскольку видит в ней свидетельство распространенья более широких взглядов в обществе, и потому, что данная картина, в частности, ему приятна. Такую бескорыстную поддержку и хотел бы выразить он взглядом.

Повернувшись, он решительно шагает снова к загорающей особе. На сей раз взгляд его, порхая по пейзажу, задержится с почтеньем ненадолго на ее груди и тут же поспешит вовлечь ее в порыв расположения и благодарности, которые он ощущает ко всему — к солнцу, небесам, корявым соснам, дюнам, к песку и скалам, к водорослям, облакам — к миру, обращающемуся вокруг вот этих шпилей в ореолах света.

Что совершенно успокоит одинокую купальщицу и исключит возможность всяких недоразумений. Но она, увидев Паломара, вскакивает, прикрывается и, фыркнув, поспешает прочь, с досадой поводя плечами, словно подвергалась домогательствам сатира.

«Мертвый груз традиции безнравственного поведения мешает по достоинству оценивать и просвещеннейшие побуждения»,— горько заключает Паломар.

Солнечная дорожка

Когда солнце клонится к закату, на морскую гладь ложится отблеск: от горизонта к берегу протягивается слепящее пятно из зыбких бликов, синь же, проступающая между ними сетью матовых прожилок, кажется темней. Лодки против солнца превращаются из белых в черные и, будто бы разъеденные блещущими крапинами, делаются меньше и бесплотней.

Для синьора Паломара, птицы поздней, это час вечернего заплыва. Он входит в воду, отдаляется от берега, и отблеск принимает вид искрящейся дорожки, пролегающей к нему от горизонта. Он плывет по ней, точней, она все время впереди, когда он делает гребок, отскакивает и никак к себе не подпускает. Везде, куда ни вытянет он руку, морская гладь приобретает тусклую вечернюю окраску, доходящую до побережья за его спиной.

Солнце опускается, и отблеск, прежде цвета белого каленья, делается золотым, из золотого — медным. И куда бы Паломар ни плыл, он неизменно на вершине золотого треугольника; острие спешит за ним, указывая на него, как часовая стрелка, укрепленная на солнце.

«Солнце удостоило меня особой чести»,— было бы приятно думать Паломару, а верней, его эгоистичному, обуреваемому чувством собственного превосходства «я». Но другое — депрессивное, а может быть, имеющее склонность к мазохизму — возражает: «Каждому, за исключением незрячих, чудится, что отблеск следует за ним; мы постоянно все находимся в плену каких-то ложных ощущений и понятий». Подает свой голос третий, самый беспристрастный их сосед: «Так или иначе это означает: я один из чувствующих, мыслящих субъектов, способных устанавливать взаимоотношения с лучами солнца и собственные восприятия и иллюзии оценивать и объяснять».

У каждого, кто в этот час плывет на запад и наблюдает световую полосу, направленную в его сторону и гаснущую там, куда вонзается его рука,— у каждого с в о й отблеск, расположенный так только для него и движущийся вместе с ним. По обе стороны дорожки синева темней. «Не есть ли темный цвет единственная необманчивая данность, общая для всех?» — задумывается Паломар. Но ведь блестящая дорожка одинаково навязывает себя глазу каждого, ее никак не избежать. «Выходит, нас объединяет то, что каждому дано как исключительно его?»

Скользят по морю доски с парусами, лавируя, врезаются в потоки ветра, задувающего в это время с суши. Напряженные фигуры держат вытянутыми руками мачты, точно луки, сдерживая воздух, хлопающий полотном. Когда они, пересекая отблеск, тонут в золоте, то паруса тускнеют, а непрозрачные тела как будто погружаются во тьму.

«Все это совершается не с морем и не с солнцем,— думает плывущий Паломар,— а в голове моей, в соединяющих глаза и мозг каналах. Я плаваю в своем сознании, искристая дорожка только там и существует, этим для меня она и притягательна. Дорожка эта — часть меня, единственно доступная познанию».

Но дальше думает: «Ведь я никак не угонюсь за ней, она все время впереди, не может она быть во мне, раз я в ней плаваю, и раз я на нее смотрю, то, значит, вот он я, а вон она».

Движения его теперь усталые и неуверенные: видно, размышления не обостряют, а, напротив, портят удовольствие от плавания в отблеске, внушая ощущение ограничения, вины, приговоренности. И еще ответственности, от которой не уйти: дорожка существует потому лишь, что он здесь; а если он уйдет, а если вылезут на берег или просто отвернутся все пловцы и все купальщики, что будет с ней тогда? Он хочет, чтобы в распадающемся мире уцелело самое недолговечное: вот этот мостик, перекинувшийся через море между заходящим солнцем и его глазами. Плавать больше неохота, холодно. Но Паломар упорствует, он чувствует себя теперь обязанным не выходить из моря до заката.

Тогда ему приходят вот какие мысли: «Я ведь вижу этот отблеск, думаю о нем и плаваю в нем лишь благодаря тому, что на другом конце дорожки — солнце, льющее свои лучи. Главное — первопричина, лишь ослабленные проявления которой — вот, к примеру, на закате — может выдержать мой взгляд. Все остальное — только отблески, включая и меня».

Проплывает призрак паруса; скользит среди сверкающих чешуек тень человека-мачты. «Без ветра эта штука из пластмассовых шарниров, человеческих костей и сухожилий и нейлоновых канатов не смогла бы устоять, а ветер превращает ее в судно, словно обладающее волей, устремленное к какой-то цели; только ветер знает, куда движется доска и человек на ней»,— раздумывает Паломар. Вот если б, отрешившись от пристрастного и полного сомнений «я», он смог найти себе надежную опору в первооснове всего сущего! Но может ли в основе всех деяний и всех форм лежать одна-единственная, абсолютная первопричина? Или несколько различных — силовые линии, пересечение которых и определяет в каждый миг неповторимый облик мира?

«...ветер и, конечно, море — водяная масса, поддерживающая твердые тела, которые покачиваются на ней, как я или доска»,— решает Паломар, переворачиваясь на спину.

Теперь он созерцает блуждающие клубы облаков, клубящиеся чащами холмы. «Я» Паломара опрокинуто в стихии: в огненные небеса, подвижный воздух, воду-колыбель, опору-землю. Это, стало быть, и есть природа? Но всего, что видит он, в природе не бывает: солнце не заходит, море не такого цвета, а все формы таковы, какими проецирует их на сетчатку свет. Нелепо двигая конечностями, плавает он среди мнимостей; человеческие силуэты в странных позах, смещая свои центры тяжести и извлекая пользу не из ветра, а из геометрической абстракции, угла меж направленьем ветра и наклоном рукотворного приспособления, скользят по гладкой коже моря. Стало быть, природы нет вообще?

«Я» синьора Паломара плавает в разъединенном мире — в пересеченьях силовых полей и векторных диаграммах, в пучках прямых, сходящихся и, преломляясь, расходящихся. Но в глубине души его все по-другому, там комочком, сгустком, пробкой притаилось ощущение: ты здесь, однако же тебя могло бы тут не быть, ты в мире, коего могло бы не существовать, однако же он есть.

Безмятежность моря нарушает вдруг волна, рожденная моторной лодкой; вот она несется мимо, прыгая на плоском брюхе и разбрызгивая нефть. Переливчатая масляная пленка, колыхаясь, проникает вглубь; вещественность, которой не хватает бликам солнца, явно свойственна вот этим вот следам физического пребыванья человека, оставляющего за собою вытекшее топливо, продукт сгорания, нерастворимые отходы, перемешивая жизнь и смерть и множа их вокруг себя.

«Здесь моя зона обитанья,— размышляет Паломар,— и думать, принимать все это или отвергать — бессмысленно, ведь жить могу я только тут». Но вдруг судьба всего живого на земле предрешена? Что, если гонку к смерти не сдержать уже ничем?

Несется одиночный вал, обрушивается на берег, и когда вода отходит, там, где не было как будто ничего, кроме песка и гальки, водорослей, крошечных ракушек, пляж теперь пестрит жестянками и косточками от плодов, презервативами и снулой рыбою, бутылками из пластика и шприцами, разбитыми сабо, подобным черным веточкам оливковым жмыхом...

Подхваченный волной от лодки и захлестнутый отходами вдруг чувствует он и себя отбросом, трупом, прокатившимся по побережьям-свалкам континентов-кладбищ. Если вдруг на белом свете ни единый глаз, за исключением покойницких остекленелых, больше не откроется, сверкающей дорожки никогда уже не будет.

Впрочем, если вдуматься, это не ново: миллионы лет лучи ложились на воду до появления способных уловить их глаз.

Паломар ныряет, проплывает под водой, выныривает — вот она! Так некогда из моря появился глаз, и ожидавшая его дорожка наконец смогла похвастаться своим искристым блеском и изящным узеньким концом. Они, дорожка с глазом, друг для друга были созданы, и, наверное, не появленье глаза привело к возникновению дорожки, а наоборот, дорожка не могла никак без глаза, на нее глядящего в вершине.

Паломар пытается вообразить мир без себя — тот беспредельный, что существовал когда-то до его рождения, и тот гораздо более загадочный, что будет после его смерти, мир до появленья глаз, до первого на свете глаза, и тот, который завтра в результате катастрофы или медленного разрушения ослепнет. Что же в этом мире происходит (произошло или произойдет)? Луч, посланный прицельно солнцем, отражается в спокойном море, играет на подрагивающей воде, и вот материя, воспринявшая свет, членится на живые ткани, и — впервые или вновь — вдруг расцветает око, множество очей...

Доски для скольженья все уже на берегу; последний из купальщиков, носящий имя Паломар, продрогнув, тоже выбирается на сушу. Проникшись верой, что дорожка без него не пропадет, он наконец-то вытирается махровой простыней и направляется к дому.

Паломар в саду

Любовные игры черепах

Во дворике две черепахи, самка и самец. Бац! Бац! — стучат их панцири. Паломар украдкой наблюдает.

Самец со всех сторон подталкивает самку к краю тротуара. Та его наскокам будто бы противится, по крайней мере сохраняет неподвижность. Он меньше и активнее, наверное, моложе. Много раз он подступается к ней сзади, но панцирь там крутой, и он соскальзывает вниз.

Вот наконец ему, должно быть, удалось устроиться как следует: он делает ритмичные толчки, сопровождаемые шумным выдохом, почти что криком. Самкины передние конечности распластаны, и зад от этого приподнят. Самец трясет над нею лапами, вытягивает шею, тянется вперед раскрытым ртом. За панцирь, как ни бейся, не ухватишься; такие лапы, впрочем, не способны уцепиться ни за что.

Но вот она пустилась прочь, самец за ней. Нельзя сказать, чтобы она была проворней или же полна решимости удрать. Он, дабы удержать ее, покусывает иногда одну из ее лап; она не протестует. Стоит ей остановиться, он ее пытается покрыть, однако она делает шажок, и он, свалившись, ударяется о землю членик — довольно длинным, крючковидным; кажется, таким он сможет до нее добраться даже несмотря на толщину их панцирей и неудачную позицию. Поэтому неясно, сколько из подобных натисков закончатся успехом, сколько — неудачей, сколько просто-напросто игра, спектакль.

Лето, дворик гол, в углу лишь зеленеет куст жасмина. Ухаживанье состоит в неоднократном огибании лужайки с преследованьем, бегствами и стычками — не лапами, а панцирями, глуховато ударяющими друг о друга. Самка силится протиснуться между ветвей жасмина. Она уверена,— а может, хочет убедить,— что прячется; на самом деле нет вернее способа быть пойманной самцом и не иметь надежды на побег. Теперь он мог бы должным образом ввести свой член, но оба замерли, и звуков никаких не издают.

Что ощущают, спариваясь, черепахи, синьору Паломару невдомек. Следит за ними он с бесстрастным интересом, будто за двумя машинами, двумя запрограммированными на случку электронными животными. Что может представлять собою эрос, если вместо кожи — покров из костяных пластин и роговых чешуек? Но ведь то, что мы обозначаем этим словом, тоже есть программа наших тел,— программа большей сложности, поскольку наша память собирает все сигналы, приходящие от каждой клетки кожи, каждой из молекул наших тканей, и умножает их, соединяя с импульсами, посылаемыми зрением и порожденными воображением. Различно лишь число каналов: от человеческих рецепторов отходят миллиарды нитей, связанных с компьютером, который управляет чувствами, взаимоотношениями, узами между двумя людьми... Эрос есть не что иное, как программа, выполняемая хитроумной электроникой ума, но ум — это и кожа, к которой прикасаешься, которую разглядываешь, вспоминаешь. А как же черепахи в их бесчувственных футлярах? Может, недостаток стимулов у органов их чувств вынуждает напряженно и сосредоточенно работать их умы, что позволяет черепахам глубоко себя познать... Быть может, эросом их управляют абсолютные духовные законы, между тем как мы все — пленники загадочного механизма, способного внезапно засориться, отказать, переключиться в бесконтрольный автоматический режим...

Может, сами черепахи понимают себя лучше? Минут примерно через десять панцири их разделяются. Самка, а за ней самец опять пускаются вокруг газона. Он держится теперь чуть дальше, временами шлепает ее по панцирю, налегает на нее слегка, не слишком-то уверенно. Они опять оказываются под жасмином. Он покусывает ее лапу — в том же самом месте.

Посвист дрозда

Синьору Паломару повезло: в краю, где он проводит лето, много птиц. Пока, устроившись в шезлонге, он «работает» (на самом деле повезло ему и в том, что он «работает» в таких местах и позах, которые, скорее, вызывают мысль о полном расслаблении; вернее, ему выпало несчастье чувствовать себя не вправе не работать даже августовским утром, растянувшись под деревьями в шезлонге), скрытые листвою птицы демонстрируют многообразный свой репертуар, так что Паломар находится в прерывис-

том, сумбурном, колком акустическом пространстве, где, однако, звуки пребывают в равновесии, не выделяются ни громкостью, ни частотою, и сплетение их образует однородную материю, целостность которой обуславливает не гармония, а легкость и прозрачность, пока в разгар жары не воцарятся безраздельно в воздухе цикады, методично наполняющие время и пространство неумолчным грохотаньем.

Пение разных птиц он слушает с неодинаковым вниманием: то почти его не замечая и расценивая как один из элементов тишины, а то сосредоточенно пытаясь различить отдельные манеры и группируя их по степени сложности: одиночное чириканье, трели из двух нот — коротенькой и длинной, энергичное посвистывание дрозда, щелканье, каскады плавно нисходящих звуков, завитушки модуляций, наконец, рулады.

Паломар способен только на такую общую классификацию: он не из тех, кто различает птиц по голосам, и чувствует себя от этого каким-то виноватым. Добываемые человеком новые познания не возмещают тех, которые распространяются из уст в уста, и, раз утраченные, никогда уже не будут восстановлены и переданы дальше: никакая книга не способна научить тому, чему ты выучишься в детстве, если будешь вслушиваться в пение птиц, приглядываться к их полету, и с тобою рядом будет человек, который точно знает их названия. Паломар же культу точности классификаций и номенклатур когда-то предпочел непрекращающуюся погоню за сомнительною точностью определений переменчивого, переливчатого, многосложного — короче, неопределимого. Сейчас он совершил бы противоположный выбор, и раздумья, вызванные птичьим пением, приводят Паломара к заключению, что жизнь его есть череда упущенных возможностей.

Выделяется средь голосов пернатых свист дрозда — его не спутаешь ни с чьим. Появляются дрозды под вечер — двое, без сомнения, чета, быть может, та же, что и год назад, и прежде в эту пору. Каждый день, заслышав две призывных ноты — так обычно сообщают о своем приходе люди,— Паломар оглядывается, ища того, кто подал звук, и вспоминает: это час дроздов. И впрямь, вышагивают по поляне, будто истинное их призванье — быть наземными двуногими, и вот они забавы ради подчеркивают свое сходство с человеком.

Свист дроздов своеобразен: кажется, свистит какой-то человек, который в этом деле не мастак, но у которого нашелся славный повод посвистеть, в дальнейшем этого он делать не намерен, а сейчас свистит решительно, но скромно и приветливо — так, чтоб наверняка снискать расположенье тех, кто этот свист услышит.

Вскоре посвист раздается снова, голос подает тот самый дрозд или его супруга, однако так, как будто бы свистит впервые; если это диалог, то каждой реплике предшествуют довольно долгие раздумья. Только диалог ли это в самом деле, или каждый из дроздов свистит не для другого, просто для себя? В обоих случаях: вопросы это и ответы (обращенные к другому или к самому себе), или же свистящий подтверждает нечто неизменное (свое присутствие, к примеру, видовую или половую принадлежность, обитание на данной территории)? Быть может, ценность этого единственного слова в том, что оно же раздается из второго клюва, что не забывается за время паузы?

А может, суть их разговора в том, чтобы друг другу сообщать: «я здесь!», а продолжительность молчанья добавляет к этой фразе смысл «еще»: «я здесь еще, это еще раз я». А если смысл сообщения вообще не в свисте, а в молчании? Быть может, разговор их состоит из пауз? (Свист тогда — лишь пунктуационный знак, сигнал, оповещающий о переходе на прием.) Паузы, как будто одинаковые, могут выражать на самом деле массу смыслов — впрочем, как и посвист; можно разговаривать и молча, и посвистывая, главное — друг друга понимать. А может быть, никто из них другого и не понимает: каждый думает, что свистом выразил он главное, но это главное понятно лишь ему, и то, что слышит он в ответ, к его высказыванью не имеет никакого отношенья; это диалог глухих, беседа без начала и конца.

А человеческие разговоры — что, иные? В этом же саду неподалеку занята поливкой вероник синьора Паломар. «Вон они!» — слова излишние, если супруг уже глядит на птиц, а если он еще их не заметил, непонятные, но так или иначе призванные утвердить приоритет супруги в наблюдении за пернатыми (поскольку первой их увидела и рассказала мужу о привычках птиц она) и подчеркнуть неотвратимость появления дроздов, свидетельницей коего она уже бывала столько раз.

— Тс-с! — произносит Паломар, как будто опасаясь, что жена спугнет дроздов (увещевание напрасное, поскольку чета птиц уже привыкла и к присутствию, и к голосам супругов Паломар), однако же на самом деле для того, чтобы оспорить якобы особые права жены, продемонстрировав гораздо большую о них заботу.

Тогда синьора Паломар бросает: «Высохла еще вчера»,— про землю на газоне; несущественное сообщенье на другую тему, сделанное в продолженье разговора, призвано свидетельствовать о гораздо более близких и непринужденных, чем у мужа, отношениях с дроздами. Так или иначе, реплики жены приводят Паломара к выводу, что в целом все спокойно, и за это он ей благодарен: раз супруга подтверждает, что на сей момент серьезней поводов для беспокойства нет, то значит, он и дальше может отдаваться целиком своей работе (псевдо- или гипер-). Спустя минуту пробует и он послать супруге ободряющую весть — сообщить ей, что его работа (инфра- или ультра-) двигается, как обычно; с этой целью он пыхтя бормочет: «прямо как назло... и после стольких... все сначала... да уж черта с два...» — что в совокупности должно к тому же выразить: «Я очень занят» — на тот случай, если вдруг последние слова жены содержат и завуалированное нареканье — что-то вроде «мог бы тоже хоть немного поучаствовать в поливке сада».

Такой обмен словами подразумевает, что царящее между супругами согласие им позволяет друг друга понимать без уточненья всех подробностей; однако принцип этот ими применяется совсем по-разному: синьора изъясняется законченными фразами, нередко содержащими намек или загадку, дабы испытать супруга на сообразительность и выяснить, насколько мысли их созвучны (что бывает не всегда); Паломар же из тумана внутреннего монолога выпускает лишь отдельные отчетливые звуки, надеясь ими если и не выразить весь смысл, во всяком случае хотя бы передать нюансы состояния своей души.

Синьора Паломар, однако же, воспринимать его бурчание как речь не хочет и, показывая, что его не слушает, тихонько произносит: «Тс-с!.. Спугнешь их...» — адресуя мужу тот призыв, с которым он считал возможным обратиться к ней самой и снова подтверждая, что она внимательней к дроздам.

Зачтя очко себе в актив, синьора Паломар уходит. Дрозды поклевывают что-то на лугу, наверняка считая разговоры Паломаров равнозначными их собственному свисту. «Будто мы и впрямь свистим, и все». Тут размышления синьора Паломара, для которого разрыв меж поведением людей и окружающим их миром был всегда источником тревоги, обретают многообещающую перспективу. В тождественности свиста человека и дрозда он видит мостик через пропасть. Если б человек высвистывал все то, что ныне доверяет он словам, а дрозд посредством модуляций свиста выразил все, до сих пор не высказанное о себе, как представитель живой природы, то тем самым был бы сделан первый шаг на пути преодоления разрыва между... между чем и чем? Природой и цивилизацией? Молчанием и словом? Паломар всегда надеялся: молчание содержит нечто большее, чем может выразить язык. А вдруг язык на самом деле — результат, к которому стремится все живое? Или все живое испокон веков — язык? Синьору Паломару вновь становится тревожно.

Внимательно послушав свист дрозда, он делает попытку повторить его. За этим следует недоуменное молчание, как будто сообщенье Паломара требует внимательного изучения; потом опять звучит такой же свист,

и Паломар не разберет, ответ ли это ему или знак того, что он свистел совсем иначе, и дрозды, не обратив внимания, просто продолжают разговор.

Так и пересвистываются дрозды и Паломар, недоуменно отвечая на вопрос вопросом.

Бесконечный луг

Дом синьора Паломара окружает луг. Для луга это место неестественное, значит, он — явление искусственное, хоть составлен из естественных травинок. Назначение его — изображать природу, что и происходит в результате замещенья подлинной природы этих мест такой, которая вообще естественна, но здесь является искусственной. Обходится она недешево: травы надо сеять, поливать, подкармливать, дезинсектировать, косить, и требует все это нескончаемых расходов и трудов.

На лугу растут дикондра, мятлик, клевер. Их семенами, смешанными в одинаковых долях, и был засеян весь участок. Низенькая стелющаяся дикондра вскоре одержала верх: ковер из круглых мягких листиков ее, приятный и для взгляда, и для ног, становится все шире. Однако пышность придают лужайке остренькие пики мятлика там, где они не слишком редки, и к тому же если вовремя их подстригать. Всходы клевера располагаются неравномерно: тут два пучочка, там ни одного, а дальше — море; растет он буйно — до тех пор, пока не начинает поникать под тяжестью винтообразных листьев, которые сгибают нежный стебелек в дугу. Трясется и грохочет, приступая к постижению, косилка; в воздухе разносится пьянящий запах свежего сена; выровненная трава как будто возвращается в свой колкий нежный возраст, но укусы лезвий выявляют прожелть, плешины, редину.

Приличный луг обязан представлять собою изумрудного оттенка гладь; такого неестественного результата добиваются вполне естественно природные луга. А здесь при тщательном осмотре выявляется, куда вертящаяся струйка дождевальной установки не доходит, где она, напротив, хлещет так, что загнивают корешки, а где нормальная поливка идет на пользу сорнякам.

Паломар, присев на корточки, выпалывает сорняки. У основанья одуванчика — розетка из плотно друг на друга налегающих зубчатых листьев; если потянуть за стебель, он оказывается в руке, а корни остаются в грунте. Нужно захватить рукою все растенье и расшатывать его, высвобождая осторожно корешки с налипшими комочками земли и неказистыми травинками, полузадушенными беззастенчивым соседом, а потом забросить чужака туда, где он не сможет ни укорениться, ни рассеять семена. Взявшись выкорчевывать один сорняк, сейчас же замечаешь, что невдалеке возник другой, а там еще один, еще... Короче говоря, полоска травянистого ковра, как будто требовавшая лишь небольшой подчистки, на самом деле форменные джунгли, где царит полнейший произвол.

Стало быть, сплошные сорняки? Нет, хуже: сорная трава так тесно перемешана с хорошей, что просто запустить в них руки и тянуть нельзя. Кажется, культурные растения с дикорастущими вступили в сговор, рухнули сословные барьеры, и они смирились со своим упадком. Некоторые из диких сами по себе отнюдь не производят впечатленья ни зловредных, ни коварных. Почему ж их не причислить к полноправным обитателям лужайки, не ввести в сообщество культурных трав? Вот так вот и приводят в запустение английские газоны, понемногу превращая их в бесхозные лужки. «Когда-нибудь, наверное, и я решусь на это»,— думает он, чувствуя, однако, что задета будет его честь. В глаза бросаются цикорий, огуречная трава. Он их выдергивает с корнем.

Конечно, дергая по штучке тут и там, проблему не решить. Пожалуй, надо сделать вот что, рассуждает Паломар: выделить один квадратный метр и не оставить ни малейшего следа на нем каких-либо растений, кроме мятлика, дикондры или клевера. Потом приняться за другой квадратный метр. А может быть, еще позаниматься первым, образцовым? Установить

количество травинок, виды трав, их густоту, распределение. На основании подсчетов можно будет сделать статистическое описание лужайки, а затем...

Считать травинки, впрочем, толку мало — точно все равно не подсчитать. Границы четкой у лужайки нет, есть край, где травяной ковер кончается, но все равно и дальше пробиваются отдельные былинки; затем идет клочок, поросший густо, снова полоса пореже — продолжение луга? С другого края вклинился подлесок — где лужайка, где уже кустарник? Но и там, где ничего другого не растет, поди пойми, когда остановиться в счете: между всякими двумя травинками отыщется едва проклюнувшийся листик с корнем, представляющим собой почти невидимый белесый волосок; минуту-две назад им можно было пренебречь, но вскоре надо будет и его принять в расчет. Тем временем другие две травинки, только что еще чуть тронутые желтизной, теперь уже совсем увяли и считаться не должны. К тому же есть неполные, обрезанные посредине или у земли, разорванные вдоль прожилок листики-калеки... Цёлых эти дроби в сумме не дают, а так и остаются жертвами увечий — где еще живые, где уже кашица, гумус, пища для других растений...

Луг — это множество различных трав — вот так, пожалуй, надо подходить к проблеме,— содержащее подмножества культурных и дикорастущих — сорняков; пересечение подмножеств этих составляют травы, что взошли стихийно, но относятся к культурным и от них неотличимы. В свою очередь подмножества содержат виды, каждый из которых сам подмножество, точнее, множество, включающее два подмножества: растущих на лугу синьора Паломара трав и нерастущих. Ветер, дунув, поднимает в воздух семена, пыльцу, и отношения меж множествами путаются...

Мысли Паломара устремляются уже в иное русло: мы видим луг или травинку плюс травинку плюс травинку?.. Когда мы говорим, что «видим луг», то речь идет о восприятии несовершенных, грубоватых наших чувств, все множества есть совокупности отдельных элементов. Не стоит их считать, не важно их число, а важно, бросив взгляд, суметь увидеть каждое растеньице, его особенности и отличия. Уметь его не только видеть, но и мысленно представить. Мысленно нарисовать не «луг», а черешок с двумя листками клевера, слегка поникший лист-копье, изящную метелочку...

Отвлекся Паломар, не дергает уж сорняков, раздумывает не о луге — о вселенной. Примеряет к ней все то, что думал про лужайку. Вселенная как регулярный, упорядоченный космос или хаотичная пролиферация... Как, может быть, конечный, но неисчислимый мир с подвижными границами, в котором открываются другие... Множество небесных тел, туманностей, мельчайшей пыли, силовых полей и их пересечений, множество множеств...

Паломар глядит на небо

Дневная луна

Никто не смотрит на луну средь бела дня, когда ей больше нужен интерес наш, так как бытие ее пока что под вопросом. Выглядит она белесой тенью на залитом солнцем ярко-синем небе; где гарантия, что и на этот раз удастся ей предстать в своей обычной форме, засветиться? Луна хрупка, бледна, тонка; с одной лишь стороны стал понемногу обрисовываться четкий серповидный контур, остальное все еще пронизано лазурью. Она похожа на прозрачную просфору или полурастворенную таблетку, но кружок ее не тает, белизна его, наоборот, становится насыщенней за счет сгущающихся серо-голубых теней и пятен, о которых трудно заключить, черты ли это географии луны или, быть может, заусенцы небосвода, проступающие через пористый, как губка, спутник.

Небо в эту пору еще очень плотное, компактное, и не вполне понятно, то ли от его сплошной тугой поверхности отъединяется белесый этот круг на вид чуть тверже облака, то ли, напротив, происходит разрушение

основы, разъеданье небосвода, и сквозь брешь проглядывает находящееся позади ничто. Сомнения усугубляет и неправильность фигуры: сторона ее, которая сильней освещена клонящимся к закату солнцем, делается все объемнее; другая медлит, оставаясь в полутьме. Граница между зонами нечеткая, и кажется, что видим мы не тело в перспективе, а скорее календарную картинку — белый силуэт на фоне темного кружка. И был бы это месяц в первой четверти, а то ведь полная — или почти что полная — луна, и это делается все ясней по мере усиления контраста между небом и луной и все более четкой обрисовки ее окружности с едва заметными щербинками с восточной стороны.

Тем временем лазурный цвет небес сменил сперва барвинковый, затем лиловый (когда солнце покраснело), после — пепельный и темно-серый, белизна луны же проступала все решительнее, а светящаяся часть ее росла, покуда не заполнила весь диск. Как будто бы все фазы, от серпа до диска, проходимые луной за месяц, в ней сменились за часы, прошедшие между ее восходом и заходом, с той лишь разницей, что круг весь так или иначе оставался постоянно на виду. На нем по-прежнему есть пятна, более того, их тени все сильнее контрастируют с лучистым фоном, но теперь уж нет сомнения, что это пятна на луне, подобие кровоподтеков или синяков, которые не примешь за сквозящий задник небосвода или дыры в мантии бесплотной, призрачной луны.

Так и непонятно, отчего она становится все более заметной и (признаем это!) яркой: или небо постепенно отделяется и погружается во тьму, или, быть может, приближается сама она, вбирая свет, разлитый в небе, в круглое отверстие своей воронки.

Но главное, все эти перемены не должны заставить нас забыть: тем временем луна перемещается по небосводу к западу и вверх. Самое изменчивое тело видимой вселенной отличается необычайной верностью своим затейливым обычаям: она всегда приходит на свиданье, ее можно подстеречь, но, расставаясь с ней в каком-то месте, обнаруживаешь ты луну всегда в другом, и видишь, что она к тому же изменила позу — чуточку или совсем. Однако даже если неотступно следовать за ней, то все равно не замечаешь, что она неуловимо ускользает. Только облака рождают впечатленье ее бега и мгновенных превращений, как бы выявляя то, чего бы не приметил взгляд.

Вот пробегает облако, из серого оно становится молочным, светится на черном уже небе, воцарилась ночь, сверкают звезды, и луна — большое мчащееся в небе ослепительное зеркало. Ну, можно ли узнать в ней ту, какой она была лишь несколько часов назад? Озеро свечения, она разбрызгивает во все стороны свои лучи, выплескивается во тьму серебряным холодным ореолом, заливает белым светом улицы, которыми бредут лунатики.

Теперь сомнений нет: это начало ясной зимней ночи полнолуния. Уверившись, что больше он луне не нужен, Паломар идет домой.

Глаз и планеты

Паломар, узнав, что в нынешнем году на протяжении всего апреля три «верхние» планеты, видимые невооруженным глазом (даже близоруким и астигматическим, как у него), все пребывают «в противостоянии» и, значит, можно наблюдать их вместе целыми ночами, спешит на свой балкон.

На небе полная луна. Марс, расположенный вблизи ее большого залитого белым светом зеркала, однако, властно привлекает к себе взгляд упрямым блеском и насыщенной, густою желтизной, настолько не похожей на оттенки прочих тел, желтеющих на небосводе, что в конце концов договорились, будто бы он красный, а в моменты вдохновенья кое-кто его таким и видит.

Если, опуская взгляд, смещать его к востоку по воображаемой дуге от

Регула [1] до Спики [2] (каковой почти не видно), встретится сперва вполне отчетливый Сатурн, холодновато-белый, а затем достигший пика яркости Юпитер, иззелена-желтый. Окружающие звезды тусклые, за исключением Арктура [3], дерзко блещущего чуть повыше и восточней. Разглядеть тройное противостояние планет как следует нельзя без телескопа. Паломар — возможно, потому, что носит то же имя, что и знаменитая обсерватория,— имеет кое-какие связи среди астрономов и пользуется правом утыкать свой нос в пятнадцатисантиметровый телескоп — довольно слабый для научных изысканий, но куда сильней его очков.

Марс, к примеру, в телескоп оказывается планетой менее решительной, чем представляется при взгляде невооруженным глазом: похоже, ему есть о чем порассказать, но, как из бормотанья, прерываемого кашлем, удается уяснить немногое. Из-под кромки Марса выбирается пунцовое сиянье; можно попытаться «подоткнуть» его, настраивая телескоп при помощи винта, чтоб выступила ледяная корочка на нижнем полюсе; на поверхности планеты появляются и исчезают пятна, напоминающие облака и промежутки между ними; одно, похожее по форме на Австралию, застыло там, где расположен этот континент, и Паломар приходит к заключению, что чем ясней видна эта Австралия, тем объектив точнее наведен на фокус, но тогда теряются другие тени, которые он вроде раньше различал или которые считал необходимым непременно рассмотреть.

Как видно, не напрасно о планете этой Скьяпарелли [4], а за ним другие говорили разное, что заставляло очаровываться и разочаровываться — вон как трудно с ней наладить отношения, совсем как с человеком с непростым характером. Конечно, если дело не в характере синьора Паломара, тщетно силящегося избегнуть субъективности, ища прибежища среди небесных тел.

Совсем иные отношения у Паломара складываются с Сатурном, более волнующим при взгляде в телескоп: вот он, чрезвычайной белизны и ясности, с четко очерченными сферой и кольцом; меж ними темная окружность, а на сфере чуть заметны параллельные полоски; больше никаких почти деталей в этот телескоп не разглядеть, он лишь усиливает впечатление геометрической абстракции, и ощущение необычайной удаленности не то что не слабеет, а наоборот, еще сильнее, чем при взгляде невооруженным глазом.

Оттого, что в небе обращается предмет, так не похожий на другие, форма, достигающая высшей степени своеобразия, при этом будучи настолько незамысловатой, правильной и гармоничной, жить и мыслить веселей.

«Если б древние могли его увидеть так, как вижу я сейчас, они бы думали, что устремляют взгляды в небеса идей Платона, в нематериальное евклидово пространство,— размышляет Паломар,— но в силу недоразумения картина эта предстает передо мной, а я боюсь, что слишком уж она красива, чтобы быть при этом настоящей, слишком сообразна миру моего воображенья, чтоб принадлежать реальности. Но, может быть, такое недоверие к ощущеньям и мешает людям чувствовать себя вольготно во вселенной? Может, первое, что нужно взять себе за правило,— так это верить собственным глазам?»

Кажется, теперь кольцо покачивается, а может, шар внутри него, и оба — и планета, и кольцо — вращаются вокруг своей оси; на самом деле двигается голова синьора Паломара, поневоле выгибающего шею, чтобы приложиться глазом к окуляру; но он старается не допустить опровержения этой иллюзии, так соответствующей ожиданиям его и истинному положению вещей.

Сатурн и в самом деле так устроен. После экспедиции «Вояджера-2» Паломар следил за всеми сообщеньями о кольцах: будто состоят они из крошечных частиц; будто бы их составляют плавающие в пространстве ледяные глыбы; будто в бороздах меж кольцами вращаются вокруг Сатур-

[1] Регул — α созвездия Льва. *(Здесь и далее — прим. перев.)*
[2] Спика — α созвездия Девы.
[3] Арктур — α созвездия Волопаса, ярчайшая звезда Северного полушария.
[4] Джованни Вирджинио Скьяпарелли (1835—1910) — итальянский астроном, известен прежде всего как исследователь Марса.

на спутники, тесня материю и уплотняя ее по краям колец — ни дать ни взять овчарки, обегающие стадо, чтоб оно не разбредалось; не пропустил открытия того, что кольца переплетены, позднее — распадения их на обычные круги, гораздо меньшей толщины, обнаруженья мутных, расположенных подобно спицам в колесе полос — как позже было установлено, заледенелых облаков. Однако новые известия не изменяют основной фигуры, остающейся такой, какой ее увидел первым в 1676 году Джан Доменико Кассини [1], открывший разделяющую кольца щель, которая и носит его имя.

Естественно, что при подобном положении вещей усердный Паломар не мог не справиться в энциклопедиях и руководствах. Теперь Сатурн, все время предстающий новым, он воспринимает с изумлением первооткрывателя и с сожалением, что Галилей с его разлаженной подзорною трубой сумел себе составить о планете только смутное понятие, будто там не то три тела, не то сфера с парой ручек, и когда был уже близок к постижению ее устройства, зрение его не выдержало — все объяла тьма.

Слишком долго наблюдать светящееся тело утомительно для глаз; Паломар зажмуривается, а после устремляет взгляд свой на Юпитер.

Эта величавая, но не тяжеловесная громада щеголяет протянувшимися вдоль экватора двумя переплетенными зеленовато-голубыми полосами, похожими на вышитый на поясе узор. Последствия ужасных атмосферных бурь там претворяются в спокойный правильный рисунок, гармоничный и искусный. Но поистине роскошной делают великолепную планету спутники: выстроившись все четыре по наклонной линии, они сейчас похожи на украшенный сверкающими драгоценностями жезл.

Обнаруженные Галилеем, давшим им название Medicea siderea — «звезды Медичи», и вскоре окрещенные голландским астрономом именами из Овидия — Европа, Ио, Ганимед, Каллисто,— планетки эти словно шлют нам свет последней вспышки неоплатонизма Возрождения, не ведая, что тот, кому они обязаны своим открытием, разрушил непоколебимый строй небесных сфер. Юпитер весь овеян ореолом грез античности, и Паломар, припавший к телескопу, так и ждет, что он преобразится в олимпийца. Но изображение теряет четкость, и приходится хоть ненадолго закрывать глаза, чтобы вернуть ослепшему зрачку способность ясно видеть контуры, цвета и тени, но еще и для того, чтобы воображенье занималось своим делом и не прибегало к сведеньям, почерпнутым из книг.

Если верно, что воображенье восполняет недостатки зрения, оно должно быть непосредственным и моментальным, как дающий стимул ему взгляд. Какое первое сравнение пришло на ум, но было им отвергнуто как неуместное? Покачивающаяся планета с вереницей спутников привиделась ему глубоководной круглой рыбою, светящейся и полосатой, из жабр которой поднимались пузырьки...

Следующей ночью Паломар опять выходит на балкон, чтоб обозреть планеты невооруженным глазом; существенная разница, однако, в том, что он на сей раз вынужден соразмерять дистанции между планетой, прочими рассыпанными в темноте небесными телами и собою, наблюдателем, чего не происходит, если он себе устраивает встречу якобы лицом к лицу с отдельною планетой, наведя объектив на фокус. Одновременно он припоминает все особенности облика рассмотренной минувшим вечером планеты, силясь наложить его на крошечное световое пятно, пронзающее небо. Он надеется, что так на самом деле сможет овладеть планетой, ну, или хотя бы ее частью, поместившейся в глазу.

Созерцание звезд

Когда ночи выдаются ясные, Паломар обычно говорит:

— Я *должен* посмотреть на звезды.— Так и говорит: «я должен», потому что не выносит расточительства и полагает: не использовать тол-

[1] Джованни Доменико Кассини (1625—1712) — первый директор Парижской обсерватории; открыл вращение Юпитера и Марса, четыре спутника Сатурна и темный промежуток в его кольце («щель» Кассини).

ково этакую массу предоставленных в его распоряженье звезд грешно. И потому еще, что в созерцанье звезд не слишком искушен, и незатейливое это дело неизменно ему стоит напряжения.

Первая проблема — отыскать такое место вдалеке от электричества, откуда он окидывал бы взглядом беспрепятственно все небо — например, пустынный пляж на низком побережье моря.

Другое непременное условие — иметь с собой астрономическую карту, без которой Паломар не знал бы, что же предстает его глазам, но каждый раз он забывает, как ее располагать, и вынужден сначала тратить добрых полчаса на изученье карты. Чтобы разобраться с нею в темноте, приходится носить с собой фонарик. Частые сравненья неба с картой заставляют Паломара то и дело зажигать его и вновь гасить, при смене света мраком он почти теряет зрение и должен ждать, пока глаза привыкнут.

Пользуйся он телескопом, в некоторых отношениях все было бы сложней, в других же проще, но пока он хочет наблюдать за небом невооруженным глазом, как мореплаватели древности и пастухи-кочевники. «Невооруженным» значит для него, страдающего близорукостью, «вооруженным лишь очками», а поскольку он, читая карту, вынужден очки снимать, то всякий раз, когда их водворяет на нос, требуется несколько секунд, чтобы хрусталик Паломара снова с должной резкостью увидел звезды — настоящие и нарисованные. Их названия написаны на синем фоне черным, так что разобрать их можно, только поднеся фонарик к самому листу. Переводя взгляд на́ небо, он видит его черным, в смутных проблесках; лишь постепенно звезды, замирая, складываются в определенные рисунки, и чем дольше смотрит он, тем больше различает их.

Следует добавить к этому, что карт ему необходимо две, верней, четыре: одна изображает в самом общем виде небо в этом месяце, отдельно северное полушарие и южное; другая, куда более подробная, на длинной полосе воспроизводит все созвездия, которые проходят за год в серединной части неба по обе стороны от горизонта, а на прилагаемом к ней круге — те, что расположены на куполе небесной сферы, окружающем Полярную звезду. Короче говоря, определенье положения светила требует соотнесенья небосвода с несколькими схемами, что означает каждый раз: надеть и снять затем очки, зажечь и погасить фонарик, развернуть и вновь сложить большую карту, потерять и снова отыскать ориентиры.

С тех пор, как Паломар в последний раз глядел на звезды, минули недели или даже месяцы, и небо совершенно изменилось; Большая Медведица теперь, в разгаре августа, видна на северо-востоке — прилегла, свернувшись чуть ли не клубочком, на ветвях деревьев; Арктур снижается отвесно над холмом и тащит за собой весь север Волопаса; точно на востоке виден блеск высокой одинокой Веги; раз там Вега, значит, здесь, над морем, Альтаир, а там вон из зенита шлет холодный луч Денеб.

Этой ночью в небе звезд гораздо больше, чем на любой из карт; запечатленные на схеме очертания в реальности сложней и не такие четкие; тот треугольник или ломаную линию, которые ты ищешь, может содержать любая россыпь звезд, и каждый раз, когда ты поднимаешь на созвездие глаза, оно чуть-чуть меняется.

При опознании созвездия решающим критерием является его реакция на зов. Гораздо убедительней, чем соответствие действительных фигур и расстояний их обозначению на карте, отношение горящей точки к имени, которым она названа, ее готовность слиться с ним, отождествиться. Нам, чуждым всякой мифологии, названия их кажутся несообразными и произвольными; однако они явно не взаимозаменимы. Если Паломар определил названье правильно, он понимает это сразу по тому, что вслед за тем существование светила представляется бесспорным и необходимым; если нет, звезда теряет имя через несколько секунд, как будто бы стряхнув его с себя, и вот уж неизвестно, где она располагалась, что это за светило.

Неоднократно ту или иную стаю звезд, сверкающую где-нибудь недалеко от Змееносца, Паломар считает Волосами Вероники — дорогим ему созвездием; но он не ощущает трепета, с которым их обычно узнавал —

роскошные и легкие. Не сразу вспоминает он, что в это время года их не видно.

Значительная часть небес покрыта светлыми полосками и пятнами; Млечный Путь с приходом августа густеет и как будто разливается; мрак так разбавлен в это время светом, что пропадает впечатленье черной бездны с выделяющимися на фоне ее звездами, все будто на одном и том же плане: и мерцание, и серебрящееся облако, и тьма.

Где же та геометрическая четкость звездного пространства, к которой столько раз испытывал потребность обратиться Паломар, чтоб оторваться от земли, где столько лишних осложнений, все так приблизительно и смутно? Когда он наконец оказывается лицом к лицу со звездным небом, все куда-то ускользает... Даже то, что вроде бы он чувствовал с особой остротой — сколь мал наш мир в сравнении с бескрайними пространствами,— не так уж несомненно. Небосвод — там где-то наверху, он виден, но составить представленье о его масштабах и о дальности нельзя.

Поскольку изучающие свет тела вселяют неуверенность, то остается доверяться только тьме, пустым участкам неба. Есть ли что-то постоянней, нежели ничто? Однако и ничто уверенности стопроцентной не дает. Завидев в небесах прогалину, чернеющую брешь, он вглядывается в нее так пристально, что кажется, проваливается туда, и вот уже и там как будто бы возникла светлая крупинка, пятнышко, веснушка; но он не знает, существуют ли они на самом деле или просто ему чудятся. Возможно, это проблеск вроде мушек, вьющихся перед закрытыми глазами (темный небосвод подобен обороту бороздимых ими век), возможно, отсвет Паломаровых очков, но может статься также, неизвестная звезда, возникшая из бездны.

Такое наблюдение приносит ненадежные и противоречивые познанья, рассуждает Паломар, нисколько не похожие на те, какие добывали древние. Не потому ли, что общенье с небом у него нерегулярное и возбужденное, а не вошло в спокойную привычку? Примись он созерцать созвездия из ночи в ночь, из года в год, следить за их периодическим движеньем по округлым колеям окутанного тьмою свода, может, и к нему в конце концов пришло бы ощущенье непрерывного и неизменного теченья времени, не связанного с быстротечным, фрагментарным временем земных событий. Но довольно ли для этого внимательного наблюдения за обращением светил? И не важней ли внутреннее превращенье Паломара, допустить которое готов он лишь теоретически, не в силах будучи представить ощутимого его влиянья на свои эмоции, на ритм мышления?

Мифологические знания о звездах до него доходят только блеклым отсветом, научные — лишь отголосками, через газеты; тому, что знает, он не доверяет, то, чего не знает, повергает Паломара в беспокойство. Удрученный, неуверенный, он нервничает над астрономическими картами, будто лихорадочно просматривает в поисках удобной пересадки расписание движенья поездов.

Вот прочертила в небе борозду горящая стрела. Наверно, метеор. Как раз в такие ночи больше падающих звезд. А впрочем, может быть, и огоньки какого-нибудь рейсового самолета. Взгляд синьора Паломара бдителен, готов ко всякому явлению, беспристрастен.

Полчаса уже на темном пляже он сидит в шезлонге, изгибаясь к северу и к югу, временами зажигая лампочку и поднося под нос разложенные на коленях карты; потом закидывает голову и снова начинает наблюдение, взяв за ориентир Полярную звезду.

По песку скользят бесшумно тени; от дюны отделяются влюбленные, ночной любитель рыбной ловли, лодочник, таможенник. Услышав шепот, Паломар оглядывается. Кучка любопытных, стоя в нескольких шагах, смотрит на его движения, как на конвульсии психически больного.

ПАЛОМАР В ГОРОДЕ

Паломар на веранде

С веранды

— Кыш! Кыш! — Паломар торопится прогнать с веранды голубей, которые там лакомятся листьями гадзании, дырявят клювами мясистые растения, вцепляются в каскады колокольчиков, ощипывают ежевику, склевывают листики петрушки в ящике напротив кухни, роются в вазонах, выворачивая землю, оголяя корни, будто специально, чтобы все здесь разорить. Тех голубей, которые своим порханьем оживляли площади, сменили дегенеративные разносчики заразы, племя не домашнее, не дикое, а как бы составляющее часть общественных установлений и поэтому неистребимое. Несметное число люмпен-пернатых этих властвует уже давно над римским небом, осложняя жизнь прочих птиц и подавляя некогда свободное изменчивое царство воздуха своим облезлым монотонным опереньем, отливающим свинцом.

Теснимый полчищами крыс, кишащих под землей, и грузным лётом голубей, древний город позволяет разрушать себя как снизу, так и с воздуха, сопротивляясь им не больше, чем когда-то варварам, как будто признавая: это не нашествие врагов извне, а проявленье самых темных импульсов, присущих искони его натуре.

Но у города есть и другие души; одна из них живет согласием, царящим между старыми камнями и все время обновляющейся зеленью, которые друг другу не мешают наслаждаться милостями солнца. Используя свое расположение в таком местечке — или благосклонность духа этих мест,— веранда Паломаров, потаенный островок над крышами, мечтает под своим живым навесом повторить великолепие садов Семирамиды.

Богатая растительность веранды отвечает вкусам всей семьи, но ежели синьора Паломар с естественностью на нее перенесла свое внимание к вещам, которые она когда-то облюбовывала и приобретала, так как чувствовала с ними внутреннюю близость, и которые составили ансамбль с многочисленными вариациями — некое собранье символов, другие Паломары лишены такого свойства: дочка — потому, что молодежь не может, да и не должна сосредоточивать свое внимание на том, что рядом, а интересуется лишь тем, что далеко, супруг — из-за того, что слишком поздно смог избавиться от юношеского нетерпения и осознать (но лишь теоретически): спасенье только в приложении усилий к реально существующим вещам.

Заботы садовода, для которого важны конкретное растение, конкретная делянка, освещаемая солнцем во вполне определенные часы, конкретное заболеванье листьев, с коим нужно вовремя конкретным способом вести борьбу, чужды разуму, работающему индустриальным методом, то есть склонному к принятию решений, руководствуясь лишь общей постановкою проблемы и моделью. Обнаружив, сколь расплывчаты и неминуемо ошибочны критерии, бытующие в мире, от которого он ждал универсальных, точных, Паломар стал снова понемногу строить отношенья с внешним миром, ограничиваясь наблюдением за видимыми формами; тогда он был уже таким, какой он есть, и соприкосновение его с конкретными вещами оставалось все равно прерывистым и мимолетным, как у людей, которые всегда как будто напряженно думают о чем-то, чего на самом деле и не существует. Процветанию веранды он способствует,— кыш! кыш! — гоняя временами голубей, когда в нем пробуждается дремавший в глубине души атавистический инстинкт защиты территории.

Птиц прочих видов Паломар не гонит, а, напротив, привечает, игнорируя ущерб, который могут нанести их клювы, так как видит в них посланцев благорасположенных божеств. Визиты их, однако, редки: подле-

тает иногда патруль из воронов, рассыпавшись по небу смоляными пятнышками и распространяя (ведь меняется с веками и язык богов) ощущенье жизни и веселья. Было несколько дроздов, живых и грациозных, как-то коноплянка, ну, и воробьи, в своей обычной роли малопримечательных прохожих. Присутствие над городом других пернатых замечаешь издали: осеннею порою эскадрильи перелетных птиц, а летом — выполняющих фигурные полеты ласточек и каменных стрижей. Иной раз чайки долетают, загребая воздух длинными своими крыльями, до черепичных волн — возможно, двигаясь от устья вдоль речных излучин вверх, сбиваются с пути, а может быть, подыскивают место для свершенья брачного обряда,— и морские крики их сливаются с шумами города.

Веранда расположена двумя уступами: с террасы — бельведера — открывается нагроможденье крыш, поверх которых Паломар скользит как будто птичьим взглядом. Он старается представить мир, как видят его птицы, под которыми, в отличие от Паломара, пустота; хотя, возможно, птицы никогда не смотрят вниз, а только, рея под углом к земле, глядят по сторонам, и взгляды их, как и его глаза, везде встречают только крыши да постройки разной высоты, стоящие вплотную, так что ниже заглянуть нельзя. О том, что там, внизу — невидимые улицы и площади, что настоящая земля — на уровне земли, он знает из иного опыта; но по картине, открывающейся перед ним с веранды, заподозрить это невозможно.

Облик города на самом деле и определяют эти перепады крыш, их черепица — старая и новая, рельефная и плоская, изящные или, наоборот, массивные их гребни, навесы из гофрированного этернита [1] и из трубочек для вьющихся растений, парапеты, балюстрады и пилястры с вазами на них, стальные баки для воды, стеклянные люкарны, слуховые окна и над всеми ними возвышающийся лес антенн — прямых, кривых, эмалированных и ржавых, разных поколений, со всевозможными отростками, рогами и щитами, но при этом неизменно тощих, как скелеты, и внушающих волненье, как тотемы. Разделяемые фьордами пространства, смотрят друг на друга пролетарские веранды, на которых сушится белье и в цинковых тазах произрастают помидоры, и веранды обитаемые — со шпалерами из зелени, цепляющейся за решетчатую деревянную опору, садовой мебелью из крашенного белой краской чугуна и свертывающимся в трубку тентом, колокольни с ярусами в форме колокола, где висят колокола, аттики, над-аттики, надстройки — запрещенные и безнаказанные, государственные учреждения анфас и в профиль, леса из полых трубок возле строящихся и забытых недостроенными зданий, огромные задрапированные окна и окошечки уборных, стены цвета охры, цвета жженой сиены, стены цвета плесени; все в трещинах, откуда свешиваются пучки травы; колонны лифтов, шпили церковок с мадоннами и башенки с двух- и трёхарочными окнами, скульптурные изображения коней и целые квадриги, развалюхи, бывшие роскошными особняками, развалюхи, перестроенные в холостяцкие квартиры, и купола, которые, куда ни глянь, виднеются на фоне неба, словно подтверждая женскую, юнонину, натуру Рима,— розовые, белые, лиловые в зависимости от поры и освещения, с прожилками нервюр, увенчанные фонарями, на которых высятся другие, маленькие купола.

Но ничего подобного не видит тот, чьи ноги — или чьи колеса — движутся по городским булыжным мостовым. Отсюда же, напротив, кажется: поверхность эта и является земной корой, неровная, но плотная, хотя изборожденная щелями неизвестной глубины, колодцами, расселинами или, может, кратерами, края коих в перспективе будто наползают друг на друга, как чешуйки у еловой шишки, так что даже не приходит в голову вопрос: а что скрывается внизу,— столь множественно, разнолико и богато зрелище, дарящее уму избыток сведений и смыслов.

Так рассуждают птицы. Так, по крайней мере, рассуждает, представляя себя птицей, Паломар. «Лишь досконально ознакомившись со внешней стороной явлений,— думает он,— можно пробовать проникнуть вглубь. Но внешняя их сторона неисчерпаема».

[1] Этернит — строительный материал, смесь цемента с волокнами асбеста.

Брюшко геккона

Этим летом на веранде вновь живет геккон. Исключительное местоположенье позволяет Паломару наблюдать его не со спины, как нам привычнее разглядывать гекконов и всех ящериц, а со стороны брюшка. В гостиной Паломаров есть окно-витрина, которое выходит на веранду, в нем на полках выстроены вазы в стиле «ар нуво»; в вечерние часы их освещает лампа в семьдесят пять ватт. Со стены веранды на наружное стекло витрины свисают голубые веточки свинцовки, и каждый вечер, чуть зажжется свет, геккон, живущий на стене под листьями, переползает на стекло напротив лампочки и замирает, как на солнцепеке. На свет слетается и мошкара, и стоит мошке подлететь поближе, он ее глотает.

В конце концов супруги Паломар перебираются от телевизора к витрине и из комнаты разглядывают светлый силуэт рептилии на темном фоне. Выбрать между телевидением и гекконом им порою нелегко, ведь каждое из зрелищ может предоставить информацию, которой не дает другое: телевидение путешествует по континентам, собирая световые импульсы, отображающие внешние картины, геккон же олицетворяет неподвижную сосредоточенность и скрытый лик, изнанку предстающего глазам.

У геккона удивительные лапы — истинные руки с пальцами-подушечками; прижимая их к стеклу, он держится на нем посредством крошечных присосок; пять пальчиков расходятся, как лепестки цветочков на рисунках малышей, а стоит лапе двинуться, сжимаются, как закрывается цветок, чтоб снова разойтись потом и распластаться по стеклу, так что покажутся тончайшие бороздки, похожие на отпечатки пальцев. Кажется, что эти руки, хрупкие, но сильные, достаточно ловки, что, будь они избавлены от надобности прицепляться к вертикальной плоскости, приобрели бы свойства человеческих ладоней, сделавшихся, говорят, искусными, когда отпала надобность висеть на ветках или упираться в землю.

Согнутые в коленях, а верней сказать, в локтях, гекконьи лапы пружинят, поднимая тело. Хвост прикасается к стеклу лишь серединной полосой, которая как бы скрепляет череду колец, охватывающих его и превращающих в надежно защищенное и мощное орудие; по большей части вялый и оцепенелый хвост геккона вроде не способен и не претендует ни на что иное, кроме как служить ему добавочной опорой (не сравнить с изысканно подвижными хвостами ящериц!), но при необходимости мгновенно реагирует, становится маневренным и даже выразительным.

Головы не видно, только емкое, подрагивающее горло и выступающие по бокам его глаза без век. Горло — внешняя поверхность дряблого мешка, который простирается от твердого и сплошь чешуйчатого, точно у каймана, края подбородка до белесого брюшка, которое в том месте, где оно надавливает на стекло, само усеяно — возможно, липкими — крупинками.

Когда вблизи от пасти пролетает мошка, язык геккона вылетает и молниеносно втягивает ее внутрь — эластичный, цепкий, не имеющий определенной формы и способный принимать любые. Паломар, однако, всякий раз не может быть уверен, что на самом деле его видел; вот сейчас определенно видит в горле мошку. Брюшко рептилии, прилепленное к освещенному стеклу, прозрачно, будто бы просвечено рентгеном, и можно проследить за тенью жертвы на пути по поглощающей ее утробе.

Будь все материи прозрачны — и земля, которая нас носит, и оболочки наших тел,— все сущее предстало бы не колыханием неосязаемых вуалей, а преисподней, где безостановочно свершается дробление и поглощенье. Может быть, тем временем какое-нибудь божество Аида оком, проницающим гранит, следит из глубины земли за нами, за круговоротом жизни — смерти, наблюдает, как растерзанные жертвы тают в чревах пожирателей, которым суждено быть поглощенными какой-нибудь другой утробой.

Геккон не движется часами; иногда хлестнет вдруг языком, проглотит мошку или комара; других таких же насекомых, севших по неведению рядом с его пастью, кажется, не замечает. Может, их не различают вертикальные зрачки гекконьих глаз, лежащих по бокам? Иль он их выбирает,

руководствуясь какими-то мотивами? А может, все решает случай или прихоть?

Расчлененные на звенья хвост и лапы, крошечные зерновидные пластинки, покрывающие голову и брюхо, делают его похожим на какой-то механизм, на разработанную тщательнейшим образом машину, продуманную до мельчайших элементов, так что гадаешь: а не напрасно ли, учитывая ограниченность производимых ею операций, это совершенство? Может быть, разгадка такова: он сводит к минимуму свои действия, довольный уже тем, что существует? Может быть, геккон преподает урок, который противоположен той морали, что стремился в юности усвоить Паломар: всегда стараться хоть чуть-чуть свои возможности превысить?

Нечаянно оказывается вблизи ночная бабочка. Не обратит внимания? Да нет, хватает и ее. Язык становится сачком и тащит жертву в пасть. Вместилась? Лопнет? Выплюнет ее? Нет, бабочка трепещет в его горле — вся измятая, но целая еще, не поврежденная зубами; протолкнувшись через глотку, тень ее пускается в мучительное, медленное путешествие по вздувшемуся пищеводу.

Геккон, утратив прежнюю невозмутимость, ловит воздух ртом, трясет сведенным горлом, опершись на хвост, раскачивается, сжимает терпящее муки брюхо. Наверное, на эту ночь с него довольно. Уйдет? Исполнил наивысшее свое желание? А может, добровольно выдержал предельно мыслимое испытание? Нет, остается. Может быть, заснул? Как спится тем, кто не имеет век?

Застыл и Паломар. Он не спускает глаз с геккона. Отдохнуть? Но если снова включишь телевизор, там увидишь бойню пострашней. Бабочка, хрупкая Эвридика, медленно спускается в свой Ад. Вот подлетает мошка, хочет приземлиться на стекло. Геккон выстреливает языком.

Нашествие скворцов

На исходе этой осени можно видеть в Риме необычную картину: небо, темное от птиц. Веранда Паломара — место, очень подходящее для наблюдения, поскольку взгляду, беспрепятственно парящему над крышами, открыт широкий горизонт. Про этих птиц известно Паломару только то, что довелось ему случайно слышать: это прилетающие с севера скворцы, их собираются здесь сотни тысяч, чтобы двинуться всем вместе к африканским берегам. Ночуют птицы на деревьях, и владельцы тех машин, которые стоят на набережной Тибра, утром вынуждены сверху донизу их мыть.

Где проводят птицы день, какую роль в стратегии миграции играет этот долгий отдых в городе, что значат для скворцов их грандиозные вечерние собрания и это их кружение в воздухе, как на больших маневрах или на параде, Паломар еще не понял. Все предлагаемые объяснения сомнительны, определяются исходными предположениями, допускают варианты — что естественно для слухов, передаваемых из уст в уста, однако и наука, которая должна была бы их оспорить или подтвердить, высказывается туманно, неопределенно. Паломар поэтому решил смотреть, и все, фиксировать мельчайшие подробности того немногого, что сможет разглядеть, довольствуясь соображениями, непосредственно рожденными увиденным.

Он смотрит, как в сиреневом закатном небе возникает облако мельчайшей пыли. Различает машущие крылья. Обнаруживает, что их тысячи и тысячи, они заполнили весь небосвод. Бескрайнее пространство, прежде вроде безмятежное, пустое, сплошь пронизывают легкие стремительные существа.

Успокоительное зрелище — движенье перелетных птиц — наша генетическая память связывает с гармоничной сменою сезонов; Паломару же оно внушает беспокойство. Может быть, подобное столпотворенье в небесах напоминает нам о нарушении равновесия в природе? Или просто нам, лишенным внутренней уверенности, всюду чудится угроза катастрофы?

Думая о перелетных птицах, представляешь бороздящий небо длинною

шеренгой или клином четкий сомкнутый полетный строй, который сам напоминает формой птицу, составленную из бессчетных птиц. Но этот образ не имеет отношения к скворцам, по крайней мере к тем, что можно видеть осенью над Римом, представляющим собой воздушную толпу, которая, всё кажется, вот-вот начнет редеть, рассеиваться, точно взвешенные в жидкости крупинки порошка, на самом же деле, напротив, постоянно уплотняется, как будто из невидимой трубы все время бьет поток вихрящихся частиц, никак не насыщающих раствор.

Облако растет, становится темней от крыльев, все отчетливее различимых в небе — знак того, что птицы приближаются. Их стая Паломару видится уже объемной, так как некоторые из пернатых у него над самой головой, другие — дальше, третьи и совсем вдали, и он все время замечает новых, крошечных, как точки, растянувшихся, наверное, на много километров, соблюдая, кажется ему, между собой примерно одинаковое расстояние. Но впечатленье равномерности обманчиво, поскольку нету ничего трудней определенья плотности летящих птиц; где было только что черным-черно, глядишь — разверзлась бездна.

Стоит несколько минут понаблюдать за положеньем птиц по отношению друг к другу, и он чувствует себя как будто бы вплетенным в гладкую сплошную ткань, частицей этого несущегося тела, образованного сотнями и сотнями отдельных тел, однако вместе составляющих единую фигуру, как облако, столб дыма или же струя, которые при всей подвижности их вещества имеют форму. Но только начинает Паломар следить глазами за одним скворцом, как пересиливает впечатление разъединенности отдельных элементов стаи, и вот уже поток, который словно увлекал его, та сеть, которая его как будто бы удерживала, исчезают, и он чувствует тошноту.

Так происходит, ежели, к примеру, Паломар, удостоверившись, что стая в целом приближается, присматривается к скворцу, который удаляется, потом к другому, тоже улетающему, но в другую сторону, и вскоре замечает: все скворцы, казалось, двигавшиеся к нему, на самом деле разлетаются во все концы, будто находится он в эпицентре взрыва. Но переведя глаза, он видит: вон где собираются они, вливаясь во все более обширный и густой круговорот — так привлекает скрытый под бумагою магнит к себе железные опилки, складывая их в узоры, становящиеся то темнее, то светлей, пока не распадутся, на листе оставив просто россыпь.

Наконец нагроможденье хлопающих крыльев обретает форму; надвигаясь, она делается все плотнее — круглая, как шар, пузырь или дымок, идущий изо рта героя комикса, который представляет себе небо, полное скворцов, крылатую лавину, катящуюся в воздухе, захватывая всех пернатых, оказавшихся вблизи. Этот шар среди однообразного пространства — особенная зона, пребывающий в движении объем, внутри пределов какового — расширяющихся и сжимающихся, как упругая поверхность,— каждая из птиц вольна лететь куда угодно, лишь бы стая в целом сохраняла форму сферы.

Паломар заметил, что число существ, которые кружатся в шаре, быстро возрастает, будто бы стремительный поток приносит туда новые с такой же быстротой, как сыплется песок в клепсидре. Вливаясь в этот шар, скворцы из подлетевшей стаи также размещаются в нем в форме шара. Однако, видно, стая может сохранять компактность только до определенного предела: вот она уже теряет птиц, летевших по краям, в ней возникают бреши, шар спускает воздух. Едва лишь замечает это Паломар, фигура распадается.

Наблюденья множатся с невероятной быстротой, и, чтобы упорядочить их в голове, синьору Паломару непременно нужно рассказывать о них приятелям, которым тоже есть чем поделиться, так как каждый или сам уже заинтересовался удивительным явленьем, или же проникся интересом под влиянием рассказов Паломара. Тема птиц неисчерпаема, и если кто-то полагает, что увидел нечто новое или желает уточнить какие-то из прежних впечатлений, он считает своим долгом сразу позвонить другим. И вот бегут по проводам туда-сюда известия, меж тем как в небе вьются стаи птиц.

— Заметил, как скворцы всегда умеют увернуться друг от друга, даже где они летят почти вплотную, даже если их пути пересекаются? Как будто бы у них радары!

— Ничего подобного! Я видел на брусчатке и покалеченных, и умирающих, и мертвых птиц. Это жертвы столкновений — неизбежных, когда плотность слишком велика.

— Я понял, почему по вечерам они все кружатся над этой частью города. Так летают самолеты над аэропортом, дожидаясь разрешенья на посадку. Вот и птицы ждут возможности рассесться по деревьям, на которых будут ночевать.

— Я видел, как они садятся. Долго-долго кружатся спиралью, а потом по одному с огромной скоростью планируют на выбранное дерево, внезапно тормозят и уцепляются за ветку.

— Нет, воздушные заторы вряд ли могут представлять для них проблему. Каждая из птиц облюбовала себе дерево и ветку и на этой ветке место. Вот высматривает его сверху и кидается.

— Да неужели зрение у них такое острое?

— Поди узнай!

Разговоры эти не бывают долгими и потому, что Паломар торопится вернуться на веранду, будто опасаясь пропустить какой-нибудь решающий этап.

Теперь, похоже, все скворцы сосредоточились в той части неба, куда падают еще закатные лучи. Однако приглядевшись, понимаешь, что они расположились длинной развевающейся лентой. В местах ее извивов стая выглядит плотней, похожа на пчелиный рой; прямые же отрезки смотрятся пунктиром из отдельных особей.

Но вот последний проблеск в небе гаснет, и из глуби улиц поднимается все выше тьма, чтоб затопить архипелаг покрытых черепицей кровель, куполов, веранд и аттиков, террас на крышах, колоколен; взвесь из черных крыльев захватчиков небес ныряет в эту тьму и смешивается в полете с грузными тупыми пачкунами — городскими голубями.

Паломар делает покупки

Полтора кило гусиного жира

Гусиный жир находится в стеклянных банках, каждая содержит, если верить рукописной этикетке, «две конечности жирного гуся (крыло и ножку), гусиный жир, соль, перец. Чистый вес: 1 кг 500». Мягкая густая белизна глушит скрежет мира; из глубины ее всплывает коричневая тень, и будто сквозь туман воспоминаний проступают члены гуся, затерявшиеся в собственном жиру.

Паломар — один из тех, кто составляет очередь в парижской charcuterie. [1] День праздничный, но здесь полно народу и в неканонические дни, поскольку это добрый старый столичный гастроном, чудом сохранившийся в квартале, где типичная для массовой торговли уравнительность, налоги, низкие доходы потребителей, ну а теперь и кризис приводят к постепенному исчезновенью старых лавок, заменяемых безликими универсамами.

Паломар разглядывает банки. Он тщится оживить в себе воспоминания о cassoulet — рагу из мяса и фасоли, важным элементом коего является гусиный жир, однако же ни память нёба, ни другой вид памяти — культурная — на помощь не приходят. И все-таки название, вид, сама идея Паломара привлекают и рождают у него мгновенную фантазию, но не гастрономическую, а скорее эротическую. Из огромной кучи жира выплывает женская фигура, смазывающая белым свою розовую кожу, и Паломар

[1] Колбасная *(франц.)*.

воображает, как к ней пробирается сквозь плотные лавины и, сжав ее в объятьях, утопает с ней в жиру.

Стараясь отогнать неподобающие мысли, поднимает он свой взгляд на потолок, украшенный колбасами; с рождественских гирлянд они свисают, как плоды с ветвей в земле обетованной. Кругом на мраморных уступах в формах, выработанных культурой и искусством, торжествует изобилие. В ломтях pâté [1] из дичи навсегда запечатлелись сублимированные в гобелене, сотканном из вкусовых оттенков, перелеты и пробеги через вересковые пустоши. Над розовато-серыми цилиндрами фазаньих галантиров, словно подтверждая их происхождение, торчат две птичьих лапы, как на геральдических гербах или на мебели эпохи Возрождения.

Сквозь желатиновые оболочки проглядывают пятна черных трюфелей, рядком, как ноты партитуры или пуговки на курточке Пьеро, рассыпанных по пестро-розовым газонам pâtés de foie gras [2], ветчин, terrines [3], по студням, веерам лососины и артишокам, выставленным, как трофеи. Кружочки трюфелей, как лейтмотив, объединяют все это многообразье снеди подобно черным фракам на костюмированном балу, подчеркивая праздничность убранства этих блюд.

Напротив, серы, тусклы, хмуры те, кто пробираются между прилавков, сортируемые продавцами — женщинами в белом, не первой молодости, расторопными и грубоватыми. Великолепные сверкающие майонезом бутерброды с семгой исчезают в темных сумках. Каждый из пришедших, безусловно, точно знает, чего хочет, направляется решительно, без колебаний к цели и в два счета разрушает горы vol-au-vent [4], белых пудингов и сервелата.

Паломар хотел бы уловить в их взглядах отсвет очарованности этими сокровищами, но их лица, как и жесты, лишь нетерпеливы и уклончивы, как у людей, которые поглощены собою, взвинчены и озабочены лишь тем, что есть у них и чего нет. Никто из них не кажется ему заслуживающим того пантагрюэлева великолепия, которое представлено на полках и в витринах. Движимы они бесстрастным и безрадостным чревоугодием, и все же между этими людьми и яствами, входящими в их плоть и кровь и составляющими с ними неразрывное единство, есть глубинная атавистическая связь.

Он обнаруживает, что испытывает нечто вроде ревности: ему хотелось бы, чтобы утиные и заячьи паштеты дали со своих подносов знать, что предпочли его другим, признали в нем единственного, кто заслуживает их даров — передававшихся тысячелетьями из поколенья в поколение благодаря природе и культуре даров, которые профанам доставаться не должны! Ну разве наполняющий его священный трепет не свидетельство того, что он единственный избранник, баловень судьбы, единственно достойный благ, потоком льющихся из рога изобилия мира?

Он оглядывается по сторонам — не грянет ли оркестр вкусов? Но увы. Все эти лакомства в нем пробуждают только приблизительные, смутные воспоминания, их вид и их названья в представлении его не связываются бессознательно с их вкусом. Может быть, его гурманство большей частью головное, эстетическое, символическое? Может, несмотря на искреннюю склонность Паломара к студням, те ему взаимностью не отвечают, потому что чувствуют, что взгляд его любое блюдо превратит в свидетельство истории культуры, в этакий музейный экспонат?

Синьору Паломару хочется, чтобы очередь его скорее подошла. Иначе через несколько минут он станет ощущать себя профаном, чужаком, изгоем.

Музей сыров

Паломар встал в очередь в парижском магазине, где торгуют сыром. Он собирается купить сырки из козьего молока, приправленные травами

[1] Паштет *(франц.)*.
[2] Паштеты из гусиной печенки *(франц.)*.
[3] Керамические горшочки с запеченным мясом *(франц.)*.
[4] Волован, слоеный пирог *(франц.)*.

и пряностями и хранящиеся в масле в прозрачных небольших сосудах. Очередь проходит вдоль прилавка с образцами самых необычных и разнообразных видов сыра. Выбор так велик, как будто магазин желает предъявить вещественные доказательства существованья всех вообразимых форм молочной снеди: уже вывеска его «Spécialités fromagères» [1] с этим редким — архаическим или диалектальным — прилагательным уведомляет: здесь хранится сыроварное наследие всех народов и времен.

Покупателей обслуживают три-четыре девушки в розовых передниках. Освободившаяся обращается к тому, чья очередь, и приглашает его изложить свои желания; со знаньем дела покупатель называет ей предмет своих вполне конкретных вожделений, ну а чаще, подойдя, указывает на него.

Вся очередь передвигается на шаг вперед, и тот, кто до сих пор стоял поблизости от «Bleu d'Auvergne» [2] с зелеными прожилками, оказывается напротив белого, с присохшими соломинками «Brin d'amour» [3], а кто глядел на шар, обернутый в фольгу, обрел возможность вперить взгляд в покрытый пеплом куб. Кое-кому такие встречи на случайных остановках служат стимулом, внушают новые желания, и он решает попросить совсем не то, что собирался, или добавляет к списку новый пункт; другой же не дает себя отвлечь ни на минуту от преследуемой цели, и всякое иное предложение, им отвергаемое, только ограничивает круг того, что он упрямо хочет получить.

Паломар колеблется между взаимоисключающими устремлениями: к полному, исчерпывающему знанию, достичь которого возможно, лишь отведав всех сортов, и к выбору вполне определенному, к тому, чтобы найти единственный «свой» сыр, который, безусловно, существует, хотя Паломар еще его (или себя в нем) распознать не смог.

А может быть, проблема вовсе и не в том, чтобы избрать «свой» сыр, а в том, чтоб быть им избранным? Отношения меж покупателем и сыром обоюдные: каждый сыр ждет своего, старается его привлечь — выдержанностью, слегка заносчивой зернистостью или, наоборот, готовностью растаять перед ним, податливостью, мягкостью.

Вокруг витает тень какого-то порочного сообщничества: те, кто обладает тонким вкусом и в особенности тонким нюхом, иногда бывают слабы, малодушны, и им кажется: сыры, лежащие на блюдах, предлагают себя, точно женщины с диванчиков борделя. Какая-то ехидная усмешка чувствуется в наслаждении унижением предметов собственных гурманских вожделений прозвищами: crottin, boule de moine, bouton de culotte [4].

Подобное знакомство Паломар не склонен углублять: ему довольно было бы простых физических ничем не опосредованных отношений с сыром. Но от того, что, глядя на сыры, он видит их названия, концепции, значения, истории, контексты, психологию, не знает даже, а скорей предчувствует: за каждым все это стоит, отношения его с сырами очень осложняются.

Магазин сыров для Паломара — как энциклопедия для самоучки; он мог бы заучить названия и попытаться классифицировать сыры по форме — на «цилиндры», «мыльца», «горки» и шары, по консистенции — на маслянистые, пастообразные, сухие, твердые, с прожилками — или в зависимости от того, какие в корку или в массу включены добавки — перец, травы, плесени, кунжут, изюм,— но это ни на шаг бы не смогло его приблизить к истинному знанию — практическому знанию их вкуса, формирующемуся при помощи одновременно памяти и воображения, которое одно лишь и позволило б ему составить гамму вкусовых оттенков, предпочтений, исключений и диковин.

За каждым сыром — пастбище особого оттенка под своим особым небом: луг, покрытый коркой соли, намываемой в Нормандии вечерними приливами, или благоухающие под лучами солнца на ветру луга Прованса;

[1] «Продукты сыроделательных фирм» *(франц.)*.
[2] «Голубой овернский» *(франц.)*.
[3] «Крупица любви» *(франц.)*.
[4] Навоз, монашья башка, пуговица от штанов *(франц.)*.

за каждым — разные стада, стоящие в загонах и перегоняемые на другие выгоны, свои секреты производства, существующие многие века. Этот магазин — музей: здесь, точно в Лувре, Паломар за каждым экспонатом чувствует присутствие культуры, обусловившей его обличье, лик которой в свою очередь определяется и им.

Магазин этот — словарь; система существующих сыров — язык, чья морфология насчитывает уйму разновидностей склонений и спряжений, а лексикон — неистощимый кладезь идиом, синонимов, различных коннотаций и оттенков смыслов, как и у любого языка, питаемого сотней диалектов. Язык этот предметен, перечень названий — только внешний, вспомогательный его аспект, но выучить хоть часть их — первое, что надо сделать Паломару, чтоб хоть ненадолго удержать картины, проходящие перед его глазами.

Он вынимает ручку и блокнот и принимается записывать названия, а рядом отмечает свойство, которое потом позволило бы вспомнить этот сыр, и даже делает наброски. Написав «pavé d'Airvault» [1], помечает рядышком: «с зеленой плесенью», рисует плоский параллелепипед, у одной из граней отмечает: «приблизительно 4 см»; выведя «St-Maure» [2], для памяти записывает: «серый зернами цилиндр с палочкой внутри», делает рисунок, прикидывает: «20 см»; пишет «Chabichou», набрасывает валик...

— Месье! Э-э! Месье! — зовет уткнувшегося в записную книжку Паломара молодая продавщица. Пора заказывать, стоящие за ним взирают на его чудное поведение, покачивая головой, с нетерпеливо-ироничным видом — так смотрят те, кто обитает в крупных городах, на слабоумных, каковых встречается на улицах все больше.

Выношенный лакомый заказ, который он намеревался сделать, вылетает у него из головы, он что-то мямлит, ограничивается в итоге самым незатейливым, банальным, широко разрекламированным, будто механизмы массовой культуры только от него и ждали этого мгновенья нерешительности, чтобы вновь им овладеть.

Мрамор и кровь

Размышленья, на которые мясная лавка наводит приходящих за покупками, включают знания из разных областей, переходящие из поколенья в поколение веками: сведенья о видах мяса, о его разрубе, лучших способах приготовленья каждой части туши, ритуалах, позволяющих умерить угрызенья, связанные с тем, что надо отнимать чужие жизни, чтобы поддержать свою. Убой скота и кулинария суть точные науки, проверяемые опытным путем, с учетом разницы в обычаях и способах, распространенных в разных странах, а в науке жертвоприношения преобладает неопределенность, и вдобавок не одно столетие она находится в забвении, хотя смутно давит на сознание, как некая невыраженная потребность. Паломар, пришедший за тремя бифштексами, объят почтительным благоговеньем предо всем, имеющим какое-либо отношенье к мясу. Здесь, среди мрамора, он чувствует себя, как в храме, сознавая: этим местом обусловлены и собственное бытие его, и та культура, к которой он принадлежит.

Медленно минует очередь высокий мраморный прилавок, полки и подносы, на которых выложено мясо; из кусков торчат таблички с указанием названий и цены. Алую говядину сменяет розоватая телятина, ту — бледная ягнятина и неяркая свинина. Горят объемистые отбивные, толстые круги говяжьего филе, подбитые по краю лентой сала, вырезки — изящные и гибкие, бифштексы с костью, за которую их можно ухватить, постнейшие массивные края, и постно-жирные слоистые куски для варки, и жаркое в ожидании бечевки, которая его заставит уплотниться, сберегая сок. Дальше краски не такие яркие: телячьи эскалопы и котлеты, хрящики, грудинка и лопатки, и уже мы попадаем в царство задних ног барашков, их лопаток, далее белеет требуха, темнеет печень...

[1] *Букв.*: «булыжники Эрво» (городок в области Пуату) *(франц.)*.
[2] Св. Маврикий *(франц.)*.

Мясники, все в белом, машут за прилавком топорами, схожими с секирами, огромными ножами для нарезки мякоти и свежеванья туш, пилами для разрезания костей и молотками для отбивки мяса, вталкивая ими в мясорубку вьющиеся розовые завитки. Разрубленные туши на крюках как будто бы напоминают: каждый съеденный тобой кусок — присвоенная беззаконно часть живого прежде существа.

На стене висит плакат с изображением быка в разрезе: он походит на географическую карту, испещренную границами меж областями, представляющими с точки зрения едоков различный интерес и вместе составляющими все животное, пожалуй, исключая лишь копыта и рога. Это — карта, отражающая ареал распространенья человека, как и карта полушарий: обе — протоколы, призванные утвердить присвоенное человеком право иметь в распоряжении, делить и без остатка пожирать земные континенты и филе домашнего скота.

Следует сказать, что симбиоз быка и человека достиг на протяжении столетий равновесия (обоим видам позволяя жить и размножаться), пусть асимметричного (ведь человек, заботясь о кормлении быка, питать его собою не обязан), обеспечив процветание цивилизации, которая зовется человеческой, хотя в каком-то смысле ей пристало называться человеческо-говяжьей (частью она совпадает с человеческо-бараньей, меньше — с человеческо-свиной в зависимости от замысловатого распределения запретов, налагаемых религией). В симбиозе этом Паломар участвует вполне сознательно, всецело принимая существующее положение вещей: он хоть и признает в висящем бычьем остове персону своего раскромсанного брата, а разрез филейной части почитает раной, изуродовавшей его собственную плоть, но знает про себя, что плотояден, что сложившиеся у него привычки заставляют его лавку мясника воспринимать как обещанье вкусового наслаждения и, глядя на краснеющие резаки, воображать те полосы, которые оставит пламя на бифштексах, приготовленных на рашпере, то наслажденье, с каким разрежет его зуб поджаренные ткани.

Чувства эти совместимы: в душе стоящего за мясом Паломара сдержанная радость сочетается со страхом, вожделение — с почтением, забота о себе — с сочувствием ко всем на свете. Такое состояние души другими, вероятно, выражается в молитве.

Паломар в зоопарке

Бег жирафов

В Венсенском зоопарке Паломар задерживается у загона, где находятся жирафы. Взрослые животные нет-нет да и пускаются бегом, за ними — малыши; у самой сетки развернувшись, дважды или трижды они повторяют свой пробег во весь опор и останавливаются. Паломар не устает следить за ними, зачарованный неслаженностью их движений. Он не решит никак, бегут они галопом или рысью, так как движение их задних ног совсем не связано с движением передних. Передние, какие-то развинченные, выгибаются дугою, доставая до груди, и снова распрямляются, как будто выбирая, на какие из суставов лучше опуститься. Задние, гораздо более короткие и жесткие, подтягиваются за ними косоватыми скачками, словно деревянные, похожие на костыли, еле ковыляя, но как будто бы забавы ради, будто зная, как они смешны. Шея, устремленная вперед, тем временем качается вверх-вниз, подобно грузовой стреле, вне всякой связи вроде бы с движениями ног. Прыгает и круп, но оттого, что шея действует подобно рычагу на остальную часть хребта.

Жираф похож на механизм, который, будучи составлен из разнокалиберных деталей, действует при этом превосходно. Глядя на несущихся жирафов, Паломар осознает: негармоничной беготнею этой управляет сложная гармония, бесспорные несообразности жирафьей

анатомии сообразуются между собою внутренне, нескладные движения их складываются в естественную грацию. Организующим началом служат пятна на жирафьей шерсти — неправильные, но при этом однородные фигуры, четкие многоугольники, собою представляющие точное графическое соответствие жирафьим ломаным движениям. Уместнее, пожалуй, говорить тут не о пятнах, а о черном шерстяном покрове, монотонность какового разрывают светлые прожилки, ограничивающие ромбовидные фигуры, о прерывистой окраске, предвещающей прерывистость движений.

Тут маленькая дочка Паломара — ей уже давно наскучило разглядывать жирафов — тянет его к гроту, где живут пингвины. Паломар, которому пингвины внушают чувство беспокойства, нехотя идет за ней, пытаясь разобраться, почему же вызвали такое любопытство у него жирафы. Возможно, потому, что неуклюже движется весь мир вокруг, а Паломар все тешится надеждой обнаружить в нем какой-то план, какую-то константу. Или, может, потому, что чувствует: и сам он движим нескоординированными, как будто не имеющими ничего между собою общего ходами мысли, все труднее совместимыми с любой моделью внутренней гармонии.

Горилла-альбинос

В барселонском зоопарке содержится единственная в мире обезьяна-альбинос — внушительной величины самец-горилла из Центральной Африки. Паломар проталкивается через толпу, собравшуюся в павильоне. За стеклом он видит Copito de Nieve — Снежинку, гору мяса, всю заросшую молочно-белой шерстью. Сидя у перегородки, обезьяна загорает. Лицо гориллы розоватое, как у людей, изборожденное морщинами; гладкая и розовая, так же как у человека белой расы, кожа на груди. Лицо это с огромными чертами, как у скорбного гиганта, обращает иногда к толпе, стоящей менее чем в метре по другую сторону стекла, неспешный взгляд, проникнутый отчаяньем, терпеньем и тоскою, взгляд, который говорит о том, насколько глубоко горилла примирился с тем, что он такой, как есть — единственный на свете экземпляр неизбранной, немилой формы, о том, как тягостно быть исключением, как он страдает от того, что он такой громоздкий, такой заметный, что так долго занимает столько места.

Сквозь стекло виднеется загон с высокой каменной оградой, придающей ему вид тюремного двора; на самом деле это «сад» горильего жилища-клетки, где произрастают небольшое деревце без листьев и металлическая гимнастическая лесенка. В глубине двора — горилла-самка, большая, черная, с таким же черным малышом, поскольку белая окраска по наследству не передается, Copito de Nieve остается исключением среди горилл.

Седой, огромный, неподвижный, кажется, он существует с незапамятных времен, как горы или пирамиды. На самом деле это молодая еще обезьяна, лишь контраст меж розовым лицом и обрамляющей его короткой белоснежной шерстью и особенно морщины в окружении глаз придают ей стариковский облик. Что до остального, Copito de Nieve меньше схож с людьми, чем прочие приматы: вместо носа у него лишь ноздри — этакий двойной провал; мохнатые, малоподвижные в суставах кисти — завершение длинных несгибающихся рук, по сути дела — еще лапы, и горилла пользуется ими при ходьбе, опираясь, как четвероногое, о землю.

Сейчас он этими руками-лапами прижал к груди автомобильную покрышку. Он не расстается с ней на протяжении нескончаемых ничем не занятых часов. Что для него она? Игрушка? Талисман? Фетиш? Паломару кажется, что он прекрасно понимает альбиноса, его потребность в чем-нибудь, что можно удержать, когда все ускользает, что бы помогло унять тоску от пребыванья в изоляции, от непохожести на всех и оттого, что он навеки обречен восприниматься как живое чудо своими самками, детьми и посетителями зоопарка.

У самки тоже есть покрышка, с которой у нее, однако, связь практичес-

кая, безо всяких усложнений: она сидит в ней, точно в кресле, загорает, выбирая у сынишки блох. А у Снежинки, видно, отношенье к шине эмоциональное, собственническое, в каком-то смысле символичное, не столь далекое, быть может, от того, что человеку кажется спасением от жизненных кошмаров: отождествление себя с вещами, узнаванье себя в знаках, превращенья мира в совокупность символов — едва ли не заря культуры в долгой биологической ночи. У гориллы есть для этого лишь сделанная человеком шина, чуждая ему, не обладающая ни малейшим символическим потенциалом, ничего не значащая, чистая абстракция. Разглядывание ее едва ли может много дать. Но в то же время что способно более пустого круга принимать любые из приписанных ему значений? Может быть, отождествляя себя с этим кругом, в глубине молчания горилла доберется до истоков речи, и забьет поток, связующий его раздумья и упрямые, бесчувственные обстоятельства, определяющие его жизнь...

Уйдя из зоопарка, Паломар никак не может позабыть гориллу-альбиноса. Он заводит разговор о нем со встречными; его никто не слушает. Ночью как в бессонные часы, так и в недолгих снах ему опять является Снежинка. «Что для него эта покрышка, с которой он ведет безумный разговор без слов, то для меня он сам, горилла-альбинос. Все мы теребим какую-нибудь старую пустую шину, силясь с помощью ее постигнуть некий высший смысл, недосягаемый для слов».

Подкласс чешуйчатых

Синьору Паломару любопытно: чем его притягивают игуаны? В Париже он заходит иногда в террариум Jardin des Plantes [1] и не бывает никогда разочарован; что их наружность необычна, даже уникальна, вполне очевидно, и, однако же, он чувствует, что есть еще какая-то причина, но какая — не поймет.

Игуана из семейства игуан покрыта изумрудной шкурой, словно сотканной из пестрых крошечных чешуек. Лишняя на шее и на лапах образует складки, буфы и мешки, как чересчур просторная одежда. Вдоль хребта стоит зубчатый гребень, протянувшийся почти до кончика хвоста; у основания зеленый, дальше он бледнеет, а затем, коричневея, расчленяется на кольца, светлые и темные, через одно. На чешуйчатой зеленой морде открывается и вновь смыкает веки глаз, и именно «высокоразвитое» это око, способное на взгляд, на выражение внимания и грусти, порождает ощущение, что за драконьей внешностью скрывается другое, более похожее на тех, кого к себе приблизили мы, существо, создание не столь нам чуждое, как кажется на первый взгляд. Под подбородком тоже колкие наросты, на шее — пара круглых белых бляшек, как у слухового аппарата... Такая уйма всяких причиндалов, ухищрений и всяческих прикрытий и прикрас, собранье всевозможных форм, наличествующих в животном царстве, а быть может, и в других — не много ли для одного животного? Зачем ему все это? Чтобы скрыть того, кто смотрит изнутри?

Пятипалые передние конечности скорее походили бы на две когтистые лапы, чем на кисти, если б не являлись завершеньем самых настоящих рук — красивой лепки, мускулистых; задние совсем другие, длинные и вялые, и пальцы их похожи на отводки. Однако в целом игуана, хоть и выглядит безвольной и оцепенелой, производит впечатленье силы.

Прежде чем остановиться у витрины с Игуаной из семейства игуан, Паломар рассматривал десяток друг за друга уцепившихся малюток-игуан, которые все время изменяли позы, шустро двигая локтями и коленями, и все старались вытянуться подлинней: зеленая сверкающая шкурка с медной точечкой на месте жабр, белая хохлатая бородка, светлые глаза с чернеющими посреди зрачками. Еще были Варан саванн, благодаря своей окраске незаметный средь песков, черно-желтый Тегу, или Тупинамбис,—

[1] Ботанический сад *(франц.)*.

близкая родня каймана, африканский великан Кордило с острой и густой, как шерсть или листва деревьев, чешуей под цвет пустыни, жаждущий настолько обособиться от мира, что, прижимая голову к хвосту, сворачивается кольцом. Зеленовато-серый сверху, белый снизу панцирь черепахи, плавающей в прозрачном чане, с виду мягок и мясист; остренькая ее морда выглядывает из него, как из высокого воротника.

Жизнь в павильоне пресмыкающихся производит впечатление бестильного, бесплановой расточенья форм, где все возможно, и животные, растения и горные породы обмениваются чешуей, шипами и наростами, но из уймы вероятных комбинаций остаются только некоторые — как раз, быть может, самые невероятные,— противодействуя потоку, стремящемуся их размыть, смешать, преобразить, и сразу эти формы делаются центрами мирков, навеки отделившись от других, как здесь, в ряду стеклянных клеток зоопарка, и в этом ограниченном числе различных способов существованья, каждый из которых зафиксирован в своем уродстве, красоте, необходимости, и заключается порядок, единственный, который признается в мире. Зал игуан в Jardin des Plantes с освещенными витринами, где полусонные рептилии укрылись средь ветвей, утесов и песка из их родных лесов или пустынь,— зеркало миропорядка, отражает ли оно на земле небесный свод идей, является ли внешним проявлением таинственного естества явлений, внутренних законов сущего.

Быть может, более самих рептилий смутно привлекает Паломара сама атмосфера? Воздух, точно губка, насыщен теплой вялой сыростью; тяжелый резкий запах гнили заставляет задержать дыханье; свет и мрак застаиваются в недвижном месиве ночей и дней — выходит, это должен чувствовать любой, выглядывающий за пределы человеческого мира? В каждой клетке мир, который был до человека или будет после, словно в доказательство того, что человеческий — не вечный, не единственный. Не для того ли, чтобы лично убедиться в этом, и обозревает Паломар загоны, где спят питоны и боа, гремучие бамбуковые змеи и бермудские древесные ужи?

Но каждая витрина — только крошечный образчик тех миров, где человека нет, изъятый из природной целокупности, которой никогда могло бы и не быть,— считанные кубометры атмосферы, где замысловатые устройства обеспечивают заданную влажность и температуру. Значит, бытие любого экземпляра этого доисторического бестиария поддерживается искусственно, как будто это некие гипотезы, плоды воображения, языковые построения, парадоксальная аргументация, имеющая целью доказать, что настоящий мир лишь наш...

Как если бы внезапно издаваемый рептилиями запах сделался невыносимым, Паломар вдруг чувствует потребность выйти поскорей на воздух. Нужно пересечь обширный крокодилий зал с вереницей разделенных переборками бассейнов. Возле каждого лежат на суше крокодилы — в одиночку или парами, невыразительного цвета, коренастые, шершавые, отталкивающие, грузно распростертые, распластанные по земле во всю длину и ширь своих свирепо вытянутых морд, холодных животов, больших хвостов. Кажется, все спят, включая тех, которые лежат с открытыми глазами, но может быть, напротив, удрученные, остолбенелые, они все бдят, пусть и сомкнув глаза. Порой какой-нибудь из них неторопливо встряхивается, чуть приподнявшись на коротких лапах, подползает к краю водоема, плюхается с глуховатым шумом, поднимая волны, и покачивается наполовину погруженный в воду, столь же неподвижный, как и прежде. Безмерное терпенье или беспредельное отчаянье? Чего же ждут они или чего, быть может, перестали ждать? В какое из времен погружены? Во время их биологического вида, не связанное с протеканием часов, бегущих от рожденья к смерти индивида? Геологических эпох, перемещения материков и отвердения коры поднявшейся над океаном суши? Медленного охлажденья солнечных лучей? Нет, мысль о времени вне человеческого опыта невыносима. Паломар спешит покинуть павильон, заглядывать в который можно только изредка и мимоходом.

УМОЛЧАНИЯ ПАЛОМАРА

Паломар путешествует

Песчаный газон

Дворик, весь усыпанный песком белым, крупным, чуть не гравием, исчерченный бороздками — прямыми параллельными и в виде концентрических кругов, описанных вокруг пяти бесформенных нагромождений камней и невысоких скал. Один из самых знаменитых памятников, созданных японскою культурой,— сад песка и скал при храме Рёандзи в Киото, типичный вид для созерцанья абсолюта, достичь которого необходимо с помощью простейших средств, без обращения к понятиям, выразимым лишь словами, в соответствии с учением монахов Дзэн, наидуховнейшей из всех буддистских сект.

Прямоугольник белого песка огораживают три стены, покрытые черепицей, за которыми виднеются зеленые деревья. С четвертой стороны ступенями восходят кверху деревянные скамьи, там можно постоять, присесть. «Если внутренний наш взгляд сосредоточится на этом саде,— объясняют по-японски с переводом на английский предлагаемые посетителям листки, подписанные настоятелем монастыря,— мы ощутим себя свободными от относительности наших индивидуальных «я», и тогда прозрение «я» абсолютного наполнит нас спокойным изумленьем, просветляя наши помраченные умы».

Готовый следовать советам этим, Паломар доверчиво садится на скамейку, оглядывает каждую скалу, скользит глазами по волнистому песку в надежде, что невыразимая гармония, царящая меж элементами картины, преисполнит понемногу и его.

Вернее, он пытается вообразить, что ощущает тот, кто смог сосредоточиться на созерцанье сада Дзэн в уединении и тишине, поскольку мы забыли сообщить, что Паломар сидит зажатый среди посетителей, толкающих его со всех сторон, среди просунутых между коленями, локтями и ушами объективов, запечатлевающих во всевозможных ракурсах песок и скалы, освещаемые солнцем или вспышками. Через него переступают ноги, ноги, ноги в шерстяных носках (обувь, как всегда в Японии, оставлена у входа), педагогичные родители пропихивают многочисленных потомков в первый ряд, толкаются ватаги школьников, одетых в униформу, мечтая лишь о том, чтоб поскорее кончилась учебная экскурсия, а посетители прилежные, ритмично поднимая и склоняя головы, проверяют, все ли из того, о чем им сообщил путеводитель, соответствует реальности, и все ли из того, что предстает пред ними, упомянуто в путеводителе.

«Можно сад песка рассматривать и как архипелаг скалистых островов в безбрежном океане, и как вершину гор над морем облаков. Можно счесть его картиной, обрамлением которой служат стены храма, или, позабыв о раме, убедить себя, что море из песчинок беспредельно и простерлось на весь мир»

Паломару кажется, что эти «способы употребления», изложенные на листке, вполне приемлемы, и можно тотчас без труда их применить, коль ты уверен, что на самом деле обладаешь индивидуальностью и есть тебе с чем расставаться, что на мир глядишь ты изнутри такого «я», которое могло бы раствориться так, чтобы остался просто взгляд. Но именно для выполненья этого исходного условия необходимо несколько напрячь воображение, что сделать крайне сложно, если «я» твое впрессовано в компактную тысячеглазую, тысяченогую толпу, не отступающую от предписанного ей маршрута.

Значит, достижение предельного смирения, отказ от собственничества и от гордыни с помощью мыслительных приемов Дзэн имеют в качестве необходимого условия аристократические привилегии, предполагают индивидуализм, не ограниченный ни временными, ни пространственными рамками, возможность пребывания в безмятежном одиночестве?

Но ограничиться подобным выводом, который только вызовет в очередной раз сожаленье о потерянном из-за засилья массовой культуры рае, было бы для Паломара слишком просто. Он выбирает более тернистый путь — пытается постигнуть то, что сад способен ему дать в той ситуации, в какой он лишь и может созерцать его сейчас, вытягивая свою шею среди множества чужих.

Что ж видит он? Род человеческий эпохи больших чисел — нивелированную толпу, составленную все-таки из индивидуальностей, как это море крошечных песчинок, заполняющее мир... Он видит: мир, однако, остается равнодушным к судьбам человечества, все так же обращает к нему спины валунов, выказывает твердокаменную свою сущность, не намеренную применяться к людям... Видит он, что формы, принимаемые человечеством-песком, располагаются обычно сообразно направлениям движения, что человеческие планы сочетают заданность с изменчивостью, как прямые и кругообразные следы от грабель... И чувствуется: может быть достигнута гармония меж человечеством-песком и каменистым миром, меж двумя разнохарактерными видами гармонии: царящим в неодушевленном мире равновесием сил, не отвечающим как будто никакому плану, и соразмерностью того, что создано людьми, стремящейся к рациональности геометрических и музыкальных композиций, всякий раз не окончательной...

Змеи и черепа

Путешествуя по Мексике, Паломар осматривает Тулу — обращенную в руины древнюю столицу тольтеков. С ним приятель-мексиканец, знаток цивилизаций доколумбовой Америки; он пересказывает Паломару — вдохновенно, красочно — прекрасные легенды о Кецалькоатле. Бог Кецалькоатль был когда-то королем и жил здесь, в Туле, во дворце; до нас дошли лишь основания колонн вокруг имплювия, и это несколько напоминает древнеримское палаццо.

Храм Утренней Звезды — ступенчатая пирамида. Наверху четыре цилиндрические фигуры, своего рода «атланты», изображающие божество Кецалькоатля в виде Утренней Звезды (символы ее — четыре бабочки у них на спинах), и столько же колонн — Пернатых Змеев, представляющих того же бога в образе животного.

Приходится все это принимать на веру; впрочем, доказать обратное непросто. Здесь каждая раскопанная статуя, любой предмет, малейшие детали барельефа означают нечто, означающее что-то, значащее что-нибудь еще. Животное обозначает бога, это божество — звезду, а та — какую-то стихию или человеческое свойство, и так далее. Мы в мире пиктографии: желая что-то написать, предки мексиканцев рисовали разные фигуры, а рисуя, все равно как будто бы писали: каждая фигура — ребус, ожидающий разгадки. Даже самые абстрактные, геометрические фризы храма можно воспринять как стрелы, если видеть образуемый отрезками мотив, а можно и как вереницы чисел, определяемых расположением орнаментальных элементов. Для барельефов Тулы характерно повторенье стилизованных фигурок ягуаров и койотов. Приятель-мексиканец не обходит своим вниманьем ничего, и каждый камень оборачивается рассказом о вселенной, аллегорией, нравоучением.

Среди развалин вереницей ходят школьники с индейскими чертами, может быть, потомки тех, кто создал эти храмы; на них простая белая бойскаутского типа форма, на шее голубой платок. Ведет детей учитель, ненамного выше ростом, лишь чуть-чуть постарше и с таким же круглым смугловатым каменным лицом. Преодолев высокие ступени пирамиды, школьники встают среди колонн; учитель, сообщив, к какой цивилизации относятся колонны, в каком столетии и из какого камня они высечены, завершает свой рассказ словами: «Но что это значит — неизвестно» и устремляется с учениками вниз. У каждой статуи, фигуры, барельефа и резной колонны, изложив фактические данные, он неизменно добавляет: «Но что это значит — неизвестно».

Вот chac-mool, достаточно распространенный тип скульптуры: полулежащий человек с обширным блюдом — как единодушно утверждают знатоки, для окровавленных сердец людей, которых приносили в жертву. Сами по себе скульптуры эти производят впечатленье грубоватых добродушных кукол, но Паломар, когда их видит, всякий раз невольно содрогается.

Подтягивается цепочка детворы. Учитель произносит: «Esto es un chac-mool. No se sabe lo que quiere decir» [1] — и шагает дальше.

Продолжая слушать объясненья друга-гида, Паломар все время сталкивается с учениками, до него доносятся слова учителя. Бесчисленными ссылками приятеля на мифы он заворожен: аллегорическое толкование, игра в интерпретации всегда казались ему наивысшим проявлением ума. Но также нравится ему по сути противоположная позиция учителя: там, где вначале видел Паломар лишь недостаток интереса и поспешность, усматривает он теперь научный и педагогический подход, намеренно используемый этим добросовестным, серьезным парнем метод, правило, которого тот не желает нарушать. Камень и фигура, знак и слово, явленные вне контекста,— лишь конкретные фигура, камень, слово, знак, мы можем только попытаться их определить, их описать как таковые, но имеют ли они помимо зримого еще и потаенный лик, узнать нам не дано. Наверное, отказ усматривать что-либо сверх того, что нам показывают эти камни, есть единственно возможный способ отнестись с почтением к их тайне; пытаться разгадать ее — самонадеянность, измена настоящему, утраченному смыслу.

За пирамидой — коридор или проход, который разделяет две стены: из утрамбованного грунта и резную каменную Стену Змей. Быть может, нету ничего красивей в Туле, чем рельефный фриз на ней с изображеньем череды ползущих друг за дружкой змей; каждая сжимает в пасти человечий череп, будто хочет проглотить.

Проходят школьники. Учитель им: «Мы видим Стену Змей. У каждой в пасти череп. Но что это значит — неизвестно».

Приятель Паломара не выдерживает: «Да известно! Это неразрывно связанные жизнь и смерть, жизнь — змеи, черепа же — смерть, жизнь, которая несет с собою смерть, и смерть, без каковой нет жизни...»

Дети слушают разинув рты, от изумления расширив черные глаза. Паломар же думает о том, что всякий перевод нуждается и сам в переложении, и так до бесконечности. Он спрашивает себя: что же означали жизнь и смерть, их неразрывная взаимосвязь и переход одной в другую для тольтеков? Что могут означать они для этой ребятни? А для него, для Паломара? Но он знает, что не смог бы подавить в себе потребности переводить, сменять один язык другим, менять конкретные фигуры на абстрактные слова, а от абстрактных символов переходить к конкретным опытам, еще раз и еще сплетая сети аналогий. Не интерпретировать нельзя, как невозможно удержать себя от размышлений.

Только скрылась детвора за поворотом, маленький учитель вновь упорно повторяет: «No es verdad, неправда то, что сказал этот señor. Что это значит — неизвестно».

Непарные туфли

В одной из стран Востока на базаре Паломар купил, случилось, пару шлепанцев. Дома, примерив их, он обнаруживает: туфли разные, и та, которая пошире, сваливается с ноги. Тогда он вспоминает старого торговца, что сидел на пятках в тихом уголке у груды тапок всех размеров, видит мысленно, как тот выискивает ему туфлю по ноге, дает примерить, снова запускает руки в груду, выдает предполагаемую парную, и Паломар берет ее, уже не меряя.

«Быть может,— размышляет он,— и где-то в тех местах сейчас шагает человек в непарных туфлях». Паломар воображает ковыляющую по пустыне жилистую тень: что ни шаг, с ее ноги слетает туфля — или же, наоборот,

[1] Это chac-mool. Что означает — неизвестно *(исп.)*.

туфля сжимает ногу, как тиски. «Может быть, и человек тот думает сейчас о том, что где-то существую я, надеется на встречу, дабы совершить обмен. Связавшие нас узы и конкретней, и яснее большей части связей меж людьми, однако мы с ним никогда не встретимся». Из солидарности с неведомым собратом по несчастью он решает продолжать ходить в непарных туфлях, чтобы сохранить зеркальное отражение и редкую взаимодополнительность хромающих на разных континентах ног.

Паломару неохота расставаться с этой мысленной картиной, но он знает, что реальности она не соответствует. К той груде тапок на базаре добавляется периодически очередная партия, и в глубине горы все время будут оставаться две разрозненные туфли, но пока старик не исчерпает все запасы (вероятно, этого и не случится, а когда не станет старика, и лавка, и товар достанутся наследникам, а после — их потомкам), довольно будет покопаться в груде, чтоб найти две туфли, составляющие пару. Ошибка скажется, лишь если среди покупателей старинного базара сыщется еще один такой же ротозей, но это, может быть, произойдет через века. Необратим любой процесс из нарушающих миропорядок, но последствия их маскирует или отдаляет пыль огромных чисел, дающая по сути безграничные возможности для появленья новых пар, симметрий, комбинаций.

А вдруг оплошность Паломара стала исправленьем промаха, допущенного кем-то прежде? Вдруг его просчет привел не к беспорядку, а к порядку? «Может быть, старик отлично знал, что делает, и, дав мне туфли разного размера, устранил несоответствие, которое веками крылось в той переходившей по наследству груде».

Неведомый собрат, возможно, ковылял совсем в другие времена, и симметричные шаги перекликаются теперь не только через моря, но и через века. Однако чувство солидарности в душе синьора Паломара не слабеет. Он все шаркает и шаркает просторным шлепанцем, чтоб отраженью было легче.

Паломар и общество

О прикусывании языка

В те времена и в той стране, где каждый лезет вон из кожи, оглашая собственные мнения и взгляды, Паломар завел привычку перед тем, как что-то утверждать, три раза прикусить язык. Если и после этого он продолжает быть уверен в том, что собирался заявить, тогда высказывается, иначе же не раскрывает рта. Фактически молчит он целыми неделями и даже месяцами.

Причин помалкивать достаточно всегда, однако Паломар нет-нет да и жалеет, что когда-то промолчал. Он видит: его мысли подтвердились, выскажись он вовремя, возможно, это оказало бы — пусть незначительное — благотворное влияние на ход событий. В подобных случаях он ощущает удовлетворенье тем, что оказался прав, и вместе с тем свою вину, поскольку был излишне сдержан. Оба эти чувства так сильны, что Паломар испытывает искушение их выразить словами, однако трижды, даже шестикратно прикусив язык, приходит к убеждению, что не имеет ни малейших оснований ни для угрызений, ни для гордости.

Что оказался прав он, в том его заслуги нет: ведь по статистике средь массы приходящих ему в голову банальных, вздорных или путаных идей почти наверняка найдется ясная, а то и просто гениальная, и как она возникла у него, так, безусловно, может зародиться у кого-нибудь другого.

Труднее дать оценку собственному умолчанию. Во времена всеобщего безмолвия немотствовать подобно большинству само собой преступно. Но когда вокруг все слишком говорливы, главное — не просто высказать разумную идею, каковая канет в море слов, а изложить ее в контексте предпосылок и последствий, так чтобы придать высказыванию осо-

бенную значимость. Но если значимость отдельных утверждений обусловливает целостность и связность их контекста, остается или говорить, не закрывая рта, или, напротив, рта вообще не открывать. В первом случае бы обнаружилось, что мысль Паломара развивается не прямо, а зигзагом, через колебания, опровержения, поправки, средь которых смысл утверждения рискует затеряться. Вторая же возможность требует владения искусством умолчания, которое еще сложнее, чем искусство слова.

Фактически молчанье — тоже речь, оно — отказ воспользоваться словом так, как это делают другие; смысл же подобной молчаливой речи — в паузах, иначе говоря, в словах, которые ее порою прерывают, наделяя смыслом то; о чем молчишь.

Вернее, так: молчат иной раз, чтоб не говорить каких-то слов или приберегая их на лучший случай. Но бывает, что одно-единственное слово, сказанное ныне, завтра, может быть, избавит вас от целой сотни или вынудит, наоборот, к произнесенью тысячи других. «Прикусывая свой язык,— решает Паломар,— я должен думать не о том лишь, что я выскажу или не выскажу в тот миг, а обо всем том, что в зависимости от того, скажу я это или не скажу, в дальнейшем будет или же, наоборот, не будет сказано мною самим или другими». Рассудив подобным образом, прикусывает он язык и погружается в молчание.

Об обидах на молодежь

Во времена, когда непримиримость старших к молодым, а молодежи к людям зрелым уж достигла своего предела, когда старшие лишь тем и занимаются, что собирают аргументы, дабы высказать в конце концов этим юнцам все то, чего они заслуживают, ну а молодые только этого и ждут, чтоб доказать, что старичье не смыслит ни черта, Паломар не может вымолвить и слова. Если он и пробует порой вступить в какую-то беседу, обнаруживается, что каждый слишком озабочен изложением своих идей, чтобы прислушаться к тому, в чем хочет разобраться Паломар.

На самом деле Паломару хочется не столько что-то утверждать, сколько поспрашивать других, однако же он понимает: вряд ли кто захочет покидать накатанную колею собственных привычных рассуждений, чтоб ответить на вопросы, проистекшие из чьих-то размышлений, которые заставят думать заново о том же самом новыми словами и, быть может, увлекут куда-то в дебри, далеко от проторенных троп. Не прочь он был бы отвечать и сам на чьи-нибудь вопросы — правда, не на все, а на такие, по которым, ему кажется, он может кое-что сказать, но только если спросят. Так или иначе, спрашивать его о чем-либо никто не собирается.

Ввиду подобных обстоятельств Паломар довольствуется тем, что размышляет, отчего так нелегко вести беседы с молодежью.

Думает: «Наверно, оттого, что между нами пролегает пропасть. Что-то приключилось, между поколеньями нарушилась преемственность, и общего не остается ничего».

Но после думает: «Да нет, все дело в том, что только захочу я обратиться к ним с каким-нибудь упреком, порицанием, советом, с уговорами, как вспоминаю: ведь и сам, бывало, навлекал в их годы на себя подобные же порицания, упреки, уговоры и советы и не обращал на них внимания. Другие были времена, во многом отличались поведение, язык, манера одеваться, однако мой тогдашний образ мыслей в общем-то достаточно похож на тот, который свойствен им сейчас, и, значит, что-то говорить им я не вправе».

Он долго думает, какой из выводов верней. Потом решает, что один другому не противоречит. «Нарушение преемственности поколений происходит оттого, что невозможно передать свой опыт, уберечь других от наших промахов. И разобщает два соседних поколенья как раз то, что между ними общего, что побуждает их к циклическому повторенью одинакового опыта,— как поведение животных разных видов задается

их биологической наследственностью; истинные же различия меж нами — результат необратимых изменений, привносимых каждою эпохой, иначе говоря, они определяются тем историческим наследием, которое мы передали нашим детям,— истинным наследством, за которое мы отвечаем, хоть порой того не сознаем. Поэтому нам нечему их научить: на то, что больше нам напоминает собственный наш опыт, повлиять не можем, в том, что на себе несет наш след, себя не узнаем».

Модель моделей

В жизни Паломара были времена, когда он следовал такому правилу: строил в голове модель — предельно полную, логичную и четкую, проверял ее на практике и, наконец, вносил необходимые поправки, чтобы сообразовать модель с реальностью. Выработали этот метод физики и астрономы, занятые изучением строения материи и мироздания, и Паломар считал его единственно пригодным для исследованья самых сложных человеческих проблем, и прежде всего тех, которые имеют отношенье к обществу, к тому, как лучшим способом им управлять. Аморфную, абсурдную реальность человеческого общества, где сплошь и рядом катастрофы и уродства, требовалось сравнивать с моделью совершенного общественного организма, изображенной четкими прямыми, окружностями, эллипсами, параллелограммами и диаграммами с абсциссами и ординатами.

При построении модели, знал он, нужно из чего-то исходить, то есть иметь такие принципы, основываясь на которых можно было бы при помощи дедукции построить собственное рассужденье. Эти принципы — еще их называют «аксиомы» или «постулаты» — сам никто не выбирает, их уже имеют, а иначе вовсе невозможно было б думать. Значит, их имел и Паломар, однако же, не будучи ни математиком, ни логиком, не потрудился сформулировать. Дедукцией, однако, заниматься он любил, поскольку это можно делать в одиночку, в тишине, не прибегая ни к каким приспособлениям, повсюду и всегда, гуляя или сидя в кресле. К индукции же относился он с определенным недоверием — быть может, оттого, что личный его опыт казался Паломару приблизительным и ограниченным. Модель по сей причине представлялась ему чудом равновесия меж принципами (не вполне понятными) и опытом (неощутимым), результат которого, однако, должен был бы быть куда солиднее и первых, и второго. В самом деле, в правильно построенной модели каждая деталь зависит от других, и все взаимосвязано, как в механизме, который тут же станет, чуть заклинит в нем какую-нибудь шестерню. Модель есть, по определенью, то, в чем ничего менять не надо, что работает безукоризненно; в реальной же действительности налицо разлад, все распадается, и остается только не мытьем, так катаньем производить ее подгонку под модель.

Много приложил усилий Паломар для достижения такой невозмутимости и отрешенности, чтоб для него значение имела лишь спокойная гармония линий чертежа, а все надрывы, искажения и сжатия, которые должна была бы претерпеть реальность, дабы уподобиться модели, он воспринимал как мимолетные незначащие эпизоды. Но стоило ему на миг отвлечься от начертанной на небосводе с идеальными моделями исполненной гармонии геометрической фигуры, как в глаза бросался человеческий пейзаж с его уродствами и катастрофами, и линии модели представали в деформированном, искаженном виде.

Требовалась тонкая работа, чтобы постепенно подогнать модель под вероятную реальность, а реальность — под модель. Податливость натуры человеческой не беспредельна, как вначале думал Паломар; зато и очень жесткая модель способна проявить порою неожиданную гибкость. В общем, ежели модель никак не может преобразовать реальность, нужно, чтоб реальность повлияла на модель.

Правило синьора Паломара понемногу изменялось, и теперь ему

уже был нужен целый ряд моделей, по возможности преобразуемых одна в другую с помощью комбинаторных методов, чтоб можно было выбрать из них ту, что максимально соответствует реальности, всегда слагающейся в свою очередь из множества реальностей, сосуществующих в пространстве и во времени.

При этом Паломар не разрабатывал моделей сам и не пытался применять уже готовые: он только представлял себе в уме правильное примененье правильных моделей для преодоления той пропасти, которая, как видел он, все шире разверзалась меж реальностью и принципами. В общем, маневрировать и управлять моделями он не умел и не имел возможности. Подобными вещами занимаются, как правило, совсем другие люди, судящие о функциональности моделей по другим критериям, оценивая их не столько по исходным принципам или воздействию на жизнь людей, сколько в качестве орудий власти. Что достаточно естественно, поскольку всякая модель стремится смоделировать в конечном счете именно систему власти; но если действенность системы измеряется ее неуязвимостью и долговечностью, модель становится своеобразной крепостью, внушительные стены коей заслоняют все, что за ее пределами. Паломар, который от властей и оппозиций неизменно ожидает худшего, в конце концов уверился, что главное на самом деле совершается им в о п р е к и — медленное, анонимное, бесшумное преображенье общества,— привычек, образа как мыслей, так и действий, всей системы ценностей. Тогда модель моделей, о которой грезит Паломар, должна служить созданию моделей тоненьких, как паутинка, проницаемых, прозрачных, вероятно, просто растворять модели, включая даже самое себя.

Тут Паломару оставалось лишь одно: модели заодно с моделями моделей выбросить из головы. Осуществив и этот шаг, он формулирует теперь «да», «нет» и «но» свои лицом к лицу с действительностью — непокорной и упрямо разношерстной. Удобней это делать, если голова свободна, занята одними лишь воспоминаниями о крупицах опыта, которые, наверно, есть, но неизвестно, каковы они. Особенного удовольствия такое поведение ему не доставляет, но другого ничего не остается.

Покуда речь идет об осуждении неполадок в обществе и злоупотреблений тех, кто злоупотребляет, Паломар нимало не колеблется (лишь опасаясь, что и непреложнейшие истины от слишком частого их повторения рискуют надоесть, утратить вескость и звучать банально). Труднее предлагать какие-либо меры, так как прежде Паломар хотел бы быть уверен, что они не приведут в итоге к еще большим злоупотреблениям и неполадкам и, глубоко продуманные образованными реформаторами, после смогут без ущерба быть применены преемниками оных, каковые, не исключено, окажутся бездарностями или аферистами, а может быть, одновременно теми и другими.

Остается только изложить прекрасные эти идеи в систематизированной форме, однако Паломар боится: вдруг получится модель? По сей причине он предпочитает убеждения свои никак не оформлять, а, постепенно их проверив, руководствоваться ими в повседневной жизни, действуя или бездействуя, выбирая или отвергая, говоря или храня молчание.

Размышления Паломара

Мир глядит на мир

После ряда интеллектуальных неудач, которые и вспоминать не стоит, Паломар решил, что будет преимущественно наблюдать за внешней стороной вещей. Рассеянный, немного близорукий, самоуглубленный, он вроде не принадлежит по складу своему к разряду наблюдателей. И тем не менее всегда какие-то предметы — ну, к примеру, каменная кладка, раковина, чайник, лист на дереве — как будто просят его пристально, не торопясь,

вглядеться в них; тогда почти что безотчетно начинает он за ними наблюдать, разглядывает каждую подробность и уже не в силах оторваться. Отныне Паломар решил свое внимание удвоить: во-первых, он не станет упускать призывов, исходящих от вещей, а во-вторых, он будет придавать процессу наблюденья должное значение.

Тут возникает первая загвоздка: Паломар, уверенный, что мир теперь ему представит тьму объектов наблюдения, пытается приглядываться ко всему, что попадает на глаза, но, не найдя в том никакого удовольствия, перестает. За этим следует второй этап: теперь он убежден, что нужно наблюдать лишь за определенными вещами, и он сам их должен отыскать; при этом каждый раз он сталкивается с проблемами отбора, предпочтительности, исключения и вскоре замечает, что опять все портит, как всегда, когда он впутывает в дело собственное «я» и все свои проблемы.

Но можно ли смотреть на что-то, отрешившись полностью от собственного «я»? А чьи тогда глядят глаза? Считается, что «я» — тот, кто выглядывает изнутри через глаза, как из окна, и озирает мир, раскинувшийся перед ним. Итак, имеется окно, которое выходит в мир. Там — мир, а здесь? Здесь тоже мир, а что ж еще? Чуть-чуть сосредоточившись, он переводит мир по эту сторону окна, чтоб тот выглядывал наружу. Что тогда осталось за окном? Там тоже мир, он просто разделен теперь на наблюдающий и наблюдаемый. А он, который «я», короче, Паломар? Он разве не кусочек мира, созерцающий другую его часть? А может быть, поскольку мир — по обе стороны окна, «я» именно и есть то самое окно, через которое взирает мир на мир? Чтоб мир мог на себя смотреть, ему приходится использовать глаза (вооруженные очками) Паломара.

Итак, отныне Паломар рассматривает все снаружи, а не изнутри, и взгляд его при этом будет исходить не изнутри его — извне. Он тут же пробует проделать это: вот теперь глядит не он, а внешний мир глядит вовне. Так заключив, обводит он вокруг глазами в ожидании, что все вокруг преобразится. Как же! Та же самая обыденная серость. Надо разбираться заново. Того, что внешнее рассматривает все снаружи, мало: нужно, чтобы от объекта наблюдения тянулась нить, связующая его с тем, кто наблюдает.

От безмолвной череды предметов должен поступить какой-то знак, призыв, намек: вещь выделяется из всех, желая что-то выразить собою... что? да просто самое себя, вещь может быть довольна тем, что на нее глядят другие вещи, только будучи убеждена, что выражает именно себя, как окружающие ее вещи выражают каждая себя и больше ничего.

Понятно, что возможности такие выдаются редко, но в конце концов представятся, лишь надобно дождаться одного из тех счастливых совпадений, когда мир захочет и смотреть, и в то же время быть обозреваемым, а тут как раз случится Паломар. Точней, синьору Паломару даже ждать не надо, ведь такое происходит, лишь когда не ждешь.

Вселенная как зеркало

Паломар страдает оттого, что отношенья его с ближними складываются непросто. Есть же люди, обладающие даром находить всегда и верные слова, и верную манеру обращенья с каждым, те, кто чувствует себя в любой компании свободно и располагает к этому других, кто, с легкостью порхая меж людьми, тотчас же понимает, от кого держаться лучше в стороне, а чье расположенье и доверие, напротив, следует пытаться заслужить, те, кто в отношеньях с окружающими проявляет себя с лучшей стороны, к тому же побуждая окружающих, кто сразу понимает, чего стоит всякий в сравнении с ними самими и вообще!

«Подобные таланты,— размышляет с сожалением лишенный оных Паломар,— даются тем, чья жизнь течет в согласии с миром. Вполне естественно, такие люди ладят и с вещами, и с местами, с ситуациями, обстоятельствами, со скользящими по небесам созвездиями, со сцепленьем атомов в молекулах. Лавина одновременных событий, каковую именуем

мы вселенной, не сметет таких счастливчиков, умеющих проскальзывать в любую щель между бесчисленными сочетаньями, перестановками, цепочками последствий, минуя траектории несущих смерть метеоритов и улавливая на лету лишь благотворные лучи. Кто дружелюбен со вселенною, с тем дружелюбна и она. Вот если бы,— вздыхает Паломар,— смог стать когда-нибудь таким и я!»

Он решает брать с таких людей пример. Отныне все его усилия устремлены будут на достижение согласия и со своими ближними, и с самой удаленной из спиралей галактической системы. Так как с ближними проблем хоть отбавляй, то для начала Паломар пытается улучшить отношенья со вселенной. Для этого он прекращает или сводит к минимуму посещение себе подобных; приучается освобождать свой ум, гоня назойливые мысли прочь; звездными ночами наблюдает небеса; знакомится с работами по астрономии; осваивается с представленьем о космическом пространстве, пока оно не делается атрибутом его умственного багажа. Затем пытается держать в уме одновременно очень близкое и крайне удаленное: когда, к примеру, Паломар раскуривает свою трубку, сосредоточившись на пламени горящей спички, в миг затяжки втягиваемом в головку трубки, вслед за чем начнется медленное превращение табачных нитей в жар, он ни на миг не должен забывать, что в это самое мгновенье, то есть миллионы лет назад, в Большом Магеллановом Облаке вспыхнула сверхновая звезда. Его не покидает мысль о том, что во вселенной все взаимосвязано и все друг другу сообразно: если изменила свою яркость Крабовидная туманность или уплотнился шаровидный сгусток в Андромеде, это непременно как-нибудь да отразится на работе Паломарова проигрывателя или же свежести лежащего в его тарелке кресс-салата.

Уверившись, что правильно определил он собственное место средь безмолвно плавающих в вакууме тел, средь пыли взвешенных в пространстве и во времени действительных и мыслимых событий, Паломар решает, что настало время применять эти космические знанья к отношениям с ближними. Спешит вернуться в общество, возобновляет прежние знакомства, деловые и приятельские отношения, внимательно анализирует все свои связи и привязанности и надеется, что наконец-то перед ним предстанет четкий, ясный и ничем не омраченный человеческий пейзаж, среди которого он будет двигаться уверенно и точно. Ну и как же? Ничего подобного. Он понемногу увязает в нагроможденье недоразумений, колебаний, компромиссов, неудач; пустячные вопросы не дают ему покоя, а серьезнейшие кажутся банальными, любое действие и слово выглядят неловкими, неуместными, нерешительными. В чем же дело?

Вот в чем: созерцая звезды, он привык считать себя бесплотной безымянной точкою, почти что забывая о своем существовании; теперь, когда приходится иметь дело с людьми, ему не обойтись без собственного «я», но где оно, он сам уже не ведает. Завязывая с кем-то отношения, надо знать, как с ним вести себя, определенно представлять, какую вызывает у тебя реакцию присутствие другого — отвращение или влеченье, любопытство, недоверие или, быть может, равнодушие, кто на кого влияет, чувствуешь ли ты себя учителем или учеником, властителем или подвластным, зрителем или актером,— и на основе и своих реакций, и ответных выработать правила игры, предугадать ходы и контрходы. По сей причине, прежде чем заняться наблюденьем за другим, нелишне точно знать, каков ты сам. Особенность познанья ближних в этом: оно проходит непременно через знанье самого себя, чего как раз и не хватает Паломару. Знать себя, однако, мало — себя еще необходимо понимать, сообразовываться с собственными целями, возможностями, побужденьями, то есть управлять своими склонностями и поступками, их контролировать и направлять, а не обуздывать и подавлять. Люди, восхищающие Паломара правильностью и естественностью каждого их слова, равно как и жеста, живут в согласии с собой и лишь потом уж со вселенной. Паломар, не любящий себя, всегда старался не встречаться сам с собой лицом к лицу, поэтому и предпочел искать пристанища среди галактик, но теперь он понимает: первым делом надо

было бы добиться лада в собственной душе. Вселенная, возможно, в состоянии спокойно заниматься своим делом, он же точно — нет.

Осталось лишь одно: теперь он посвятит себя самопознанию, постигнет собственную внутреннюю географию, душевные движения свои представит в виде диаграммы, на основе каковой составит формулы и теоремы, телескоп нацелит не на те орбиты, по которым движутся созвездия, а на те, что прочертила его собственная жизнь. «Перешагнув через себя, мы не познаем ничего вне нас,— решает он,— вселенная есть зеркало, где видишь только то, что смог познать в себе».

Но вот и эта часть пути к желанной мудрости завершена. Он наконец-то сможет устремить свой взгляд в себя. Каким предстанет перед ним его духовный мир? Похожим на спокойное вращение огромной испускающей сияние спирали? На звезды и планеты, плавающие бесшумно по параболам и эллипсам, которыми определяются характер и судьба? Окажется подобен необъятной сфере, в центре коей — «я», а центр — в каждой точке этой сферы?

Открыв глаза, он видит то, что вроде наблюдал и прежде каждый день: людей, которые, не глядя друг на друга, торопливо пробираются через толпу, текущую меж высоченных стен облупленных домов-коробок. А сверху сыплет искры звездный небосвод, как отказавший механизм, который весь трясется и скрипит несмазанными стыками — форпостами на рубежах Вселенной — зыбкой, корчащейся, не способной обрести покой, как Паломар.

Как научиться быть мертвым

Паломар решает впредь вести себя, как будто бы он умер, чтобы посмотреть, что будет с миром без него. С некоторых пор он начал замечать, что отношенья между ним и миром уже не те, что прежде; если ранее ему казалось, будто он и мир чего-то друг от друга ждут, теперь он и не помнит даже: ни чего — хорошего или плохого — мог он ожидать, ни по какой причине это ожидание его держало в постоянном возбуждении и тревоге.

Итак, отныне Паломару полагалось бы вздохнуть свободнее, раз больше не приходится гадать, а что же там готовит ему мир, и ощутить, что миру тоже стало легче, когда отпала надобность заботиться о нем. Но ожиданье наслаждения успокоеньем повергает Паломара в беспокойство.

В общем, мертвым быть сложней, чем может показаться. Прежде всего надо отличать «быть мертвым» от «не быть», от состоянья, каковое до рожденья длится вечность, симметричную как будто бы той нескончаемой поре, что наступает после смерти. Но на самом деле до рожденья мы являемся одной из тех бесчисленных возможностей, которым суждено или не суждено осуществиться, а когда умрем, уже не можем реализовать себя ни в прошлом (коему отныне целиком принадлежим, не в силах более, однако, на него влиять), ни в будущем (которого, хоть повлиять мы на него способны, знать нам не дано). С синьором Паломаром все на самом деле проще, ведь его возможности на что-то или на кого-то оказать воздействие всегда были ничтожны; мир прекрасно обойдется без него, он может преспокойно допустить, что мертв, даже не меняя собственных привычек. Если что и изменять, то уж не образ действий, а скорее самого себя, точнее, собственное положение по отношенью к миру. Раньше миром он считал весь мир плюс самого себя, теперь — себя плюс мир, где нет его.

Мир без него — выходит, больше никаких тревог? Мир, где все то, что происходит, не зависит от его присутствия, его реакций, обусловлено своим каким-нибудь законом, надобностью или же причиной, не имеющими отношения к нему? Волна плеснула о скалу, точа породу, набегает новая, еще одна, еще — неважно, есть он или нет, все так и будет. Вот отчего, наверно, смерть приносит облегчение: когда очаг тревоги, коим мы являлись, устранен, значение имеет лишь одно — как расположатся под солнцем и во

времени явленья в их невозмутимой безмятежности. Вокруг сплошная тишь да гладь, по крайней мере, все стремится к этому, включая ураганы, извержения вулканов и землетрясения. Но разве не был мир таким при нем? Шторма всегда несут в себе затишье, подготавливая миг, когда обрушится последний из валов и ветер стихнет. Умереть, быть может, значит очутиться в океане вечных волн, где штиля дожидаться бесполезно?

Мертвые всегда взирают с осуждением. Места, стеченья обстоятельств, ситуации остались в общем те же, что при них, и узнавать бывает их приятно; в то же время невозможно не заметить множество больших и малых перемен, которые, как таковые, может, и не вызвали бы возражений, отвечай они закономерному развитию событий, но они необоснованны и беспорядочны, и это действует на нервы — большей частью потому, что то и дело хочется вмешаться и внести необходимую поправку, а когда ты мертвый, сделать это невозможно. Отсюда внутренний протест, почти растерянность, но также и самодовольство, характерное для тех, кто знает: главное — каким было их собственное прошлое, а остальному придавать особого значения не стоит. Но все мысли вскоре заглушает чувство облегченья от сознания: отныне все проблемы — это трудности других, их личные дела. Умершим абсолютно все должно быть безразлично, пусть теперь другие беспокоятся, и хоть это покажется безнравственным, такая безответственность им доставляет радость.

Чем больше приближается к описанному состояние души синьора Паломара, тем ему естественнее представлять себя умершим. Само собой, он не достиг еще той благородной отрешенности, которая казалась Паломару свойством мертвых, их неизъяснимого благоразумия, не вышел из пределов собственного «я», как из туннеля, выводящего в иные измерения. Порой он верит, что хотя бы смог избавиться от раздражения, которое испытывал всю жизнь, глядя, как другие все делают не так, и полагая, что он сам на месте их, конечно, тоже ошибался бы не меньше, но всегда бы это понимал. На самом деле он все так же раздражается и сознает, что нетерпимость к промахам — чужим и собственным — пребудет до тех пор, покуда будут промахи, которых не отменит никакая смерть. Ну что ж, придется привыкать: покойным быть для Паломара значит притерпеться к разочарованью оттого, что он такой, как есть, и нет уже надежды, что изменится.

Паломар вполне осознает, какими преимуществами обладают перед мертвыми живые, не из-за того, что ждет их будущее — риск всегда велик, а блага могут оказаться эфемерны,— а оттого, что у живых имеется возможность сделать собственное прошлое благообразнее. (За исключеньем тех, кто полностью доволен им, но это случай слишком малоинтересный, чтобы принимать его в расчет.) Жизнь человека складывается из совокупности событий, и последнее способно наделить всю совокупность новым смыслом, но не потому, что значит больше предыдущих, а потому, что место каждого события в жизни человека определяется не хронологией, а внутреннею жизнью. К примеру, некто в зрелости прочитывает книгу, много значащую для него, и говорит: «Не понимаю, как я раньше жил!» и «Жаль, что я не прочитал ее, когда был молод!». Так вот, в высказыванья этих смысла мало, в особенности во втором, поскольку, стоит человеку эту книгу прочитать, как жизнь его становится отныне жизнью человека, прочитавшего ее, и, рано это происходит или поздно, все равно, поскольку жизнь, которую он прожил до прочтенья этой книги, все равно теперь отмечена ее прочтением.

Для того, кто учится быть мертвым, шаг наитруднейший — убедиться в том, что жизнь его есть завершенное единство, полностью принадлежащее минувшему, и что-либо к нему добавить или как-то повлиять на отношения меж элементами уже нельзя. Конечно, те, кто продолжает жить, могут на основе изменений в собственной их жизни кое-что переменить и в жизни тех, кого уж нет, придав угодную им форму тому, что формы или не имело, или же имело форму вроде бы иную — например, того, кого дотоле поносили за противоправные деяния, признать борцом за дело правое, или того, кого

ждал прежде неминуемый невроз или психоз, восславить как поэта или как пророка. Важны такие изменения, однако, преимущественно для живых, а мертвым вряд ли есть от них какая-нибудь польза. Каждый сделан из того, что пережито им и как переживалось, и этого никто не может у него отнять. Кто жил страдая, состоит из собственных страданий; если его их лишить, он перестанет быть собой.

По сей причине Паломар готовится стать желчным мертвецом, которому весьма непросто будет примириться с тем, что он останется таким, как есть, хотя он не согласен поступиться ни одной своей чертой, включая те, что ему в тягость.

Конечно, можно возлагать надежды и на механизмы, позволяющие хоть частично уцелеть в потомстве; в основном они двух видов: биологические, позволяющие передать грядущим поколениям ту часть себя, что именуют генетическим наследием, и исторические, те, благодаря которым память и язык живущих на земле обогащаются солидным или скудным опытом, который наживают и накапливают даже самые неискушенные среди людей. Два механизма эти можно расценить и как один, представив вереницу поколений как этапы жизни индивида, длящейся веками и тысячелетьями, но так проблему можно лишь отсрочить — от собственного индивидуального конца до вымиранья рода человеческого, сколь бы поздно это ни произошло.

Задумавшись о собственной кончине, Паломар уже воображает смерть последних из людей — своих потомков и наследников: на разоренной, обезлюдевшей земле высаживаются исследователи с другой планеты, расшифровывают иероглифы на пирамидах, перфокарты электронных вычислительных машин, и память рода человеческого, возрожденная из пепла, вновь распространяется по обитаемой вселенной. Но сколько б ни было отсрочек, наконец придет момент, когда замрет в пустынных небесах иссякнувшее время, когда последняя материальная опора памяти о жизни обернется вспышкой жара или обратится в ледяной кристалл.

«Если рано или поздно времени придет конец, то можно было бы описывать его мгновенье за мгновеньем,— размышляет Паломар,— а каждый миг, когда его отображаешь, удлиняется до бесконечности». И он решает, что займется описаньем каждого мгновенья своей жизни и пока все не опишет, представлять, как будто больше его нет, не станет. В этот миг он умирает.

Единицы, двойки, тройки, нумерующие заголовки в оглавлении — неважно, занимают они первое, второе или третье место,— кроме указания порядка также соотносятся с тремя кругами тем, соответствуют трем видам опыта, трем категориям вопросов, которые присутствуют — в неодинаковой пропорции — в каждой части книги.

«Единицы» в целом означают наблюдение — почти всегда за формами природы; текст близок к описанию.

Для «двоек» характерны элементы антропологии, культуры в широком смысле слова; опыт, кроме внешней стороны явлений, затрагивает также и язык, значенья, символы. Текст превращается в рассказ.

«Тройки» отражают больше умозрительные построения, имеющие отношение ко времени, вселенной, бесконечности, взаимоотношениям меж личностью и миром, свойствам разума. Описанье и рассказ сменяют размышления.

1. ПАЛОМАР ОТДЫХАЕТ

1.1. **Паломар на побережье**

1.1.1. Чтение волны

1.1.2. Голая грудь

1.1.3. Солнечная дорожка

1.2. **Паломар в саду**
1.2.1. Любовные игры черепах
1.2.2. Посвист дрозда
1.2.3. Бесконечный луг

1.3. **Паломар глядит на небо**
1.3.1. Дневная луна
1.3.2. Глаз и планеты
1.3.3. Созерцание звезд

2. ПАЛОМАР В ГОРОДЕ

2.1. **Паломар на веранде**
2.1.1. С веранды
2.1.2. Брюшко геккона
2.1.3. Нашествие скворцов

2.2. **Паломар делает покупки**
2.2.1. Полтора кило гусиного жира
2.2.2. Музей сыров
2.2.3. Мрамор и кровь

2.3. **Паломар в зоопарке**
2.3.1. Бег жирафов
2.3.2. Горилла-альбинос
2.3.3. Подкласс чешуйчатых

3. УМОЛЧАНИЯ ПАЛОМАРА

3.1. **Паломар путешествует**
3.1.1. Песчаный газон
3.1.2. Змеи и черепа
3.1.3. Непарные туфли

3.2. **Паломар и общество**
3.2.1. О прикусывании языка
3.2.2. Об обидах на молодежь
3.2.3. Модель моделей

3.3. **Размышления Паломара**
3.3.1. Мир глядит на мир
3.3.2. Вселенная как зеркало
3.3.3. Как научиться быть мертвым

Э. Э. КАММИНГС

Перевод с английского ***АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА***

Автопортрет, 1927

РЕПЛИКА В СПОРЕ

Не утихают споры об авангардистских течениях первой половины XX века, о так называемой революции в искусстве.

Одни утверждают, что левое искусство было неразрывно связано с левыми политическими убеждениями художников, и приводят в пример (берем литературу) Маяковского, Брехта, Элюара.

Другие считают, что никакой связи между авангардистской эстетикой и революционными идеалами нет, и приводят в пример Аполлинера, Элиота, Паунда.

На самом деле к авангарду принадлежали художники очень разной общественной ориентации. Наша задача — внести свежий аргумент в этот спор, вернее, привести новый яркий пример.

Классик американской поэзии э. э. каммингс [1] (Эдвард Эстлин Каммингс, 1894—1962) в нашей отечественной критике грубо, но верно определяется как футурист. В двадцатые годы он интересовался левыми движениями в США и Европе и в результате (особенно после поездки в СССР) навсегда отвратился от социалистических идей.

В 1932 году он опубликовал «Балладу об интеллектуале», в которой, пародируя Брехта, выражал свое отношение авангардиста чистой воды к ангажированной левой интеллигенции Запада. До сих пор эта любопытная страница в творчестве поэта оставалась по понятным причинам неизвестной русскому читателю.

Мой перевод — отчаянная попытка сохранить стилистику и, конечно же, точный смысл оригинала.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

Баллада об интеллектуале

Слушайте, болваны от велика до ма́ла —
вот вам история интеллектуала,
(а если вам наскучило валять дурака,
не врите, будто Гувер не давал пивка [2].)

---

[1] Подборку стихов Э. Э. Каммингса 1932—1958 годов в переводе В. Британишского и статью А. Зверева «Каммингс и «чистая» поэтика» см. в ИЛ, 1978, № 7.

[2] Намек на «сухой закон», введенный при министре торговли (впоследствии президенте) Герберте Кларке Гувере. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Там, откуда вышел наш прелестный тип,
считают, что важнейшее в розе — шип,
там этак с полтинник любой плевок,
там спят в сапогах, но без задних ног,
а если кто ненароком стрельнет,
так тотчас шериф прибежит через год —
что взятое вместе весьма и весьма
способствует развитию высокого ума.
А в небе журавель — это звук пустой,
как говаривал Карл Морской.

Герой наш был хилый трусливый ребенок,
мальчишек не любил, ненавидел девчонок,
виски не жаловал, учился читать,
так что приходится вспомнить мать
с отцом, которые сынку в наказание
дали классическое образование,
(и снова спать залегли в башмаках,
раз уж там бабы всегда в мужиках).

Дальше все ясно: лирицкий поэт,
видный мыслист, всех искусств вед
с лекциями от Нью-Йорка до Фриско —
и если какая-то капиталистка
вдруг отвергала его искусство,
он, цитнув, приводил ее в Пруство,
а если кто-нибудь похрапывал нудно
с первой же «Песни» Эзры Пундна,
герой сейчас же являл геройство,
бросив публике Джеймство Джойство
(или — как учит нас Карл Марксой —
суслик рычащий сулит покой).

Но гонят в три шеи не самогон [1],
и в небе журавель не знает, где он,
и с чьей-то сестрой чей-то брат грешит,
и Рази Это Не Сущий Стыд —
и жизнь героя, как жизнь скота,
я уж молчу про гниль изо рта.

Как-то голубчик проснулся — хвать —
больше ему нечего людям сказать,
то есть (для красненького словца)
достукался сукин сын до конца.
С чего? Мне (и вам) понятен ответ:
Пять Лет Плана суть Десять Лет
Чего Похуже — и решен вопрос:
Сталин — страшненький Дед Мороз —
что сразу само собой показало,
какие мы с вами интеллектуалы.

Ибо наш истинный интеллектуал
из глубины пустоты возроптал:
«Не я онемел, все на свете немо —
такая общественная система!

[1] В годы «сухого закона» в США процветало самогоноварение.

Не я позорник, все США — позор!
Не я не поэт, вся поэзия — вздор!»
(Как предсказывал Карл Марксой:
«Деревья в лесу построятся в строй».)

Слушайте, болваны, ученый класс
(читатели «Таймса» — подписчики «Масс» [1]),
если вы не кончите валять дурака,
не врите хоть, что Гувер не поднес пивка.

У кого на Ленине сошелся свет,
тот нажрется штыков на обед,
а кто недоумок, на том и крест,
и раз не буржуй, значит, Эдди Гест [2],
в бесплодной земле бесплатный сортир
или как древле товарищ Шекспир
нам завещал, уходя на покой:
Все, Что Блестит, Есть Майк Золотой [3].

(Искры не высечет снежный ком —
скажем то же о Карле Маркском.)

1932

Райский сад
... перед зарей истории...
(Рисунок автора)

[1] Имеется в виду «Мэссис», коммунистический журнал.
[2] Эдди Чест — популярный журналист и версификатор.
[3] Имеется в виду поэт-коммунист Майкл Голд.

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ

Орландо

Биография

Перевод с английского Е. СУРИЦ

От переводчика

Жанр «Орландо» не определить и, кажется, не стоит и пытаться. Романизированная биография? Фантазия? Пародия? Все это вместе, и не только.

«Орландо» — отдых мастера между двумя важнейшими трудами; такое случалось не раз в истории искусства, примеры слишком очевидны.

Вдруг в 1928 году Вирджиния Вулф оставила попечение о как бы закрепленной уже («На маяк» вышел в 1927 г.) технике «потока сознания», чтобы тем не менее вернуться в «Волнах» (1931) к ее дальнейшей спорной и мучительной разработке.

«Орландо» — шутка мастера и — с промельками лирических отступлений — одна большая, развернутая острота. Но, как мастеру и положено, Вулф и в шутке остается собой — глубокой, серьезной, грустной.

«Орландо» — книга очень не похожая на другие вещи автора и очень похожая, конечно. Тема безжалостного времени, неповторимости мгновенья, томительных странностей любви, тема рока, смерти — точат автора веселой остроумной шутки. И те же здесь странно найденные и странно сопряженные слова, внезапный поворот и разбег фразы, и драгоценные умолчания, и очаровательные темноты, которых тщился не засветить переводчик.

Герой (героиня) — ко всему прочему литератор и очень много размышляет о литературе, серьезно и смешно. На протяжении своей четырехвековой жизни Орландо не раз встречает записного критика Николаса Грина, который в елизаветинскую эпоху превозносит античный идеал и ни в грош не ставит бездарного Шекспира и пустого Марло, в конце XIX века поносит бледного и невыразительного Теннисона, ставя ему в пример гигантов минувшего (Шекспира, Марло, Попа), и во все времена не устает твердить: «Сейчас литературы нет, литература кончилась». Этот критик никогда не переведется. Кажется, ему теперь уже может понравиться «Орландо», но хочется думать, что не только ему.

Посвящается В. Сэквилл-Уэст

Глава I

Он — потому что пол его не подлежал сомнению вопреки двусмысленным ухищрениям тогдашней моды — был занят тем, что делал выпады кинжалом возле головы мавра, покачивающейся на стропиле. Была она цвета старого футбольного мяча и почти от него неотличима, если бы не впалые щеки да скупые прядки сухих и жестких волос — как пух на кокосе. Отец Орландо — или, может быть, это дед — снес ее с саженных плеч язычника, увидевшего свет в диких пустынях Африки; и теперь она

непрестанно и нежно покачивалась от ветра, задувавшего в чердачные комнаты гигантского замка, который принадлежал отсекшему ее лорду.

Праотцы Орландо скакали верхами по полям асфоделей, и по кремнистым полям, и по полям, омываемым чуждыми реками, и немало сносили голов самого разного цвета со множества плеч, и привозили их домой и вешали на стропилах. Орландо поклялся, что продолжит дело предков. Но покамест ему не исполнилось и семнадцати, еще не дорос, его не брали с собой скакать по Африке или Франции, а потому он тихонько ускользал от матери, от павлинов в саду, крался на чердак и там делал выпады кинжалом, приседал, наклонялся, резал воздух клинком. Иногда он перерезал веревку, и тогда голова скатывалась на пол, и приходилось снова ее привязывать, не без почтения крепя почти в недосягаемости, и враг победно скалился черным, иссохшим ртом. И голова качалась, качалась, потому что дом, в верхнем этаже которого жил Орландо, был так громаден, что ветер навеки попадался в ловушку и метался по чердаку, не находя выхода, зимою и летом. Предки Орландо были высокородны — всегда, с тех пор, как они были вообще. Они поднялись из северного тумана в коронах пэров. И полосы тьмы на полу не оттого ли так графили желтую заводь, что солнце вливалось на чердак сквозь просторный герб витража? Орландо сейчас стоял в самом центре желтого геральдического леопарда. Когда он положил руку на подоконник, чтобы отворить окно, рука стала красной, голубой и желтой, как крыло бабочки. И любители символов, охотники до их расшифровки, могут взять на заметку, что, тогда как прелестные ноги, стройное тело и отличный разворот плеч Орландо окрасились всеми геральдическими оттенками, лицо его, когда он отворил окно, озарялось исключительно самим солнцем. Более светлого, строптивого лица вы себе и представить не можете. Блаженна мать, которая произвела такого на свет, еще блаженней описывающий его жизнь биограф! Ей никогда не придется печалиться, ни ему — нуждаться в услугах поэта или романиста. От подвига к подвигу, от победы к победе, от должности к должности будет следовать герой и его летописец за ним, покуда не достигнут оба того положения, которое явится вершиною их мечтаний. Орландо, судя по внешности, был в точности создан для подобного поприща. Розовые щеки подернулись персиковым пушком; пушок над губой всего лишь чуть-чуть загустевал по сравнению с пушком на щеках. Сами губы были резко очерчены и слегка изогнуты над безупречным рядом миндальнейше-белых зубов. Без сучка без задоринки был задорно стремительный нос; волосы темные; и маленькие, тесно прижатые к голове ушки. Жаль, однако, что сей перечень юных совершенств будет неполон без упоминания о лбе и глазах. Жаль, что люди редко появляются на свет лишенными того и другого; ибо, едва мы взглянем на стоящего у окна Орландо, мы вынуждены будем признать, что глаза у него были, как фиалки в росе, громадные, будто переполненные их расширяющей влагой; а лоб — как мраморный купол, зажатый меж медально-гладких висков. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза — и мы бог знает до чего можем договориться. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза — и мы вынуждены будем признать тысячи неприятных вещей, мимо которых обязан скользить всякий уважающий себя биограф. Увиденное его раздражало — например, его мать, весьма прекрасная собою дама в зеленом, направляющаяся кормить павлинов в сопровождении Туитчетт, своей горничной; увиденное его восхищало — деревья, птицы; влюбляло в смерть — вечернее небо, снижающиеся грачи; и, взлетев по спиральным ступенькам мозга — а мозг был вместительный,— увиденное, смешавшись с садовыми звуками — треск деревьев, стук топора,— вызывало в нем разгул и сумятицу чувств и страстей, которые ненавидит всякий уважающий себя биограф. Продолжим, однако,— Орландо медленно втянул голову в плечи, сел за стол и с отвлеченным видом человека, привыкшего делать это ежедневно в определенный час, вынул тетрадь, озаглавленную «Этельберт. Трагедия в пяти актах», и обмакнул старое испачканное гусиное перо в чернильницу.

Скоро он намарал страниц десять стихов. Мысль его, очевидно, была

быстра, но абстрактна. Порок, Преступление, Нужда были персонажи драмы; Король и Королева правили неозначаемыми территориями; ужасные замыслы их поглощали; благородные чувства снедали; ни слова не говорилось так, как сказал бы он сам, но все выворачивалось с быстротой и ловкостью, которые, учитывая его возраст — ему еще не исполнилось и семнадцати — и тот факт, что шестнадцатому столетию оставалось скрипеть еще несколько лет,— были поистине замечательны. Но вот, наконец, он запнулся. Он, как все и всегда молодые поэты, описывал природу и, чтобы как можно точней передать оттенок зеленого, он взглянул (проявляя незаурядную смелость) на сам зеленый предмет, которым в данном случае оказался лавровый куст у него под окном. После чего, разумеется, о писании уже не могло быть и речи. В природе зеленое — это одно, зеленое в литературе — другое. Природа со словесностью не в ладу от природы; попробуйте-ка их совместить — они изничтожат друг друга. Оттенок зеленого, который разглядел Орландо, сразу нарушил рифму, сломал ему метр. Но природа еще и не на такое способна. Взгляните только в окно, на пчел между цветов, на зевнувшего пса, на солнце, клонящееся к закату, только подумайте «много ли мне суждено еще увидеть закатов» и т. д. и т. п. (мысль чересчур известная, чтобы приводить ее здесь целиком), и вы уроните перо, схватите плащ и выскочите из комнаты, споткнувшись при этом о расписной сундук. Потому что Орландо был чуточку неловок.

Он старался никого не встретить. Стаббс, садовник, шел по тропе. Орландо прятался за деревом, пока тот не прошел мимо. И скользнул к боковой калитке. Он обходил стороной все конюшни, все псарни, пивоварни, плотницкие, бани — все места, где вытопляли воск, забивали скот, ковали подковы, тачали сапоги,— ибо замок вмещал в себя целый город, гудевший людьми, занятыми разными ремеслами,— и, никем не замеченный, он вышел на заросшую, бежавшую вверх по холму тропку. Есть, наверное, связь между свойствами; одно тянет за собой другое; и биограф обязан тут привлечь свое внимание к тому факту, что неловкость часто бывает связана с любовью к уединению. Раз он споткнулся о сундук, Орландо, конечно, любил уединенные места, просторные виды — любил чувствовать, что он один, один, один.

И после долгого молчания он, наконец-то открыв уста, выдохнул: «Я один». Он очень быстро пошел в гору через папоротники и кусты боярышника, спугивая диких птиц и оленей, и вышел к месту, осененному одиноким дубом. Это было высоко, так высоко, что девятнадцать графств Англии были видны внизу, а в ясные дни и все тридцать, а то и сорок графств — в уж очень хорошую погоду. Иногда можно было увидеть Ла-Манш, неустанно кативший свои волны. Можно было увидеть реки, и скользящие по ним лодочки; и плывшие к морю галеоны; и армады, а над ними пушечный пух и дальний пушечный гром; и форты по берегам; и замки среди лугов; а там сторожевую башню; там крепость, и снова просторный замок, как у отца Орландо, огромный, как город, и обнесенный стеной. К востоку были шпили Лондона, городской дым; а на самом, наверное, горизонте, когда ветер дул куда следует, скалистая вершина и острые зубцы Сноудона [1] сквозили между облаков. Минуту Орландо стоял, подсчитывая, разглядывая, узнавая. Вот замок отца; вот дядин. Тетушкины — те три башни среди деревьев. Поля были их, и леса; фазаны, олени и лисы, бобры, и бабочки.

Он глубоко вздохнул и припал — в движеньях его была страстность, заслуживающая этого слова,— к земле у корней дуба. Ему нравилось в быстротечности лета чувствовать под собою земной хребет; за каковой принимал он твердый корень дуба; или — ибо образ находил на образ — то был мощный круп его коня; или палуба тонущего корабля — не важно что, лишь бы твердое, потому что ему непременно хотелось к чему-то прикрепиться плавучим сердцем; сердцем, тянущим в путь; сердцем, которое будто наполняли тугие, влюбленные ветры, каждый вечер, едва

[1] Сноудон — гора в Уэльсе. *(Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев,— прим. перев.).*

он вырывался на волю. Вот он и прикрепил его к дубу и так лежал, покуда постепенно унимался трепет в нем самом и вокруг; затихнув, повисали листочки; замирали олени; останавливались летние бледные облака; затекали и тяжелели его члены; и он очень тихо лежал; и олени уже подступали ближе, и над ним кружили грачи, и ласточки, ныряя, припадали к нему, голову близко-близко облетали стрекозы,— будто вся щедрость, все плодородие летнего вечера влюбленным наметом окутывало его тело.

Через час, наверное — солнце быстро скатывалось к горизонту, белые облака тронуло багрецом, холмы лиловостью, синевою лес, и долины почернели,— протрубил рог. Орландо вскочил. Пронзительный зов шел из глубины долины; откуда-то из темноты; из тесноты; из лабиринта; из города, препоясанного стенами; он шел из недр собственного его величавого дома, темного прежде, но, пока он на него смотрел и одинокому рогу вторили все новые, все более настойчивые зовы, дом этот стряхивал с себя темноту и вот уже засветился огнями. Были огоньки мельтешащие, поспешные, как когда слуги бегут по коридору на господский колокольчик; были высокие, важные огни, какие горят в пустынности пиршественных зал, в ожидании гостей; и еще другие огни ныряли, парили, тонули, взлетали, как и положено огням в руках у слуг, когда те кланяются, преклоняют колена, со всею пышностью вводя в покои Владычицу, высадившуюся из кареты. Кони трясли плюмажами. Пожаловала Королева.

Орландо никуда уже не смотрел. Он мчался вниз. Метнулся в ворота. Взлетел по винтовой лестнице. К себе. Чулки швырнул в один угол, куртку — в другой. Он смачивал волосы. Тер руки. Полировал ногти. Перед маленьким зеркалом, при двух оплывших свечках натянул алые бриджи, надел плоёный воротник, тафтяной жилет, туфли с помпонами вдвое больше георгинов — все за десять минут ровно по часам. Он был готов. Он был весь красный. Задыхался. Но он опаздывал ужасно.

Срезая расстоянье, он спешил изведанным путем по анфиладам, переходам, лестницам к пиршественной зале, на пять акров отдаленной от всех замковых сторон. Но как он ни спешил, скользя мимо людских и девичьих, он вдруг остановился. Дверь гостиной миссис Стьюкли стояла настежь,— без сомненья, сама она со всеми своими ключами побежала к хозяйке. Но там, за обеденным столом прислуги, перед пивной кружкой и листом бумаги, сидел обрюзгший, обшарпанного вида господин с грязноватыми манжетами и в темном домотканом платье. Он держал в руке перо, но не писал. Казалось, он перекатывал, примеривал в уме какую-то мысль, пока не приладит ее окончательно к своему вкусу. Глаза, выкаченные, застланные, похожие на странные зеленые каменья, он вперил в одну точку. Орландо он не видел. Как ни спешил Орландо, он застыл. Уж не поэт ли перед ним? Уж не стихи ли сочиняет? «Расскажите мне,— хотелось крикнуть Орландо,— расскажите обо всем на свете»,— ибо о поэтах и стихах были у него самые дикие, самые нелепые понятия,— но как вы заговорите с человеком, когда он вас не видит? Когда он видит вместо вас людоедов, например, сатиров, а то и дно морское? А потому Орландо стоял и смотрел, как тот вертел в руке перо и так и эдак; и думал с неподвижным взором; и потом вдруг быстро набросал несколько строк и снова поднял глаза. После чего, охваченный робостью, Орландо поспешил дальше и влетел в пиршественную залу как раз в последнюю секунду, чтобы броситься на колени, смущенно поникнуть головой и протянуть чашу розовой воды самóй великой Королеве.

Из-за своей робости он видел только опущенную в воду руку, унизанную перстнями; но и того довольно.

Рука врезалась в память; тонкая, с длинными пальцами, как бы навечно округленными на скипетре или державе; нервная, злая, нездоровая рука; повелительная; рука, по манию которой слетает с плеч любая голова; рука, как догадался он, соединенная со старым телом; которое пахнет шкапом, где меха блюдутся в камфарных шариках; и, однако, обряжено в парчу и жемчуга; прямое, как струна, несмотря на мучительную ломоту в суста-

вах; не сдающееся, как бы ни терзали его страхи; а глаза у Королевы были светло-желтые. Все это он почувствовал, покуда посверкивали в воде великолепные перстни, а потом голову ему странно сжали — чем, возможно, и объясняется тот факт, что он не видел больше ничего, хоть сколько-нибудь достойного внимания летописца. К тому же в мыслях его клубился вихрь противоположных впечатлений — черная ночь и полыхание свечей, обшарпанный господин и великая Королева, сонные поля и толкотня слуг — словом, он не видел ничего; точнее, видел только руку.

Королева же, из-за аналогичного стечения обстоятельств, видела, вероятно, только голову. Но если можно по руке составить представление о теле, вмещающем все атрибуты великой Королевы — ее вздорность, храбрость, ее хрупкость и безжалостность,— то, разумеется, и голова, с тронной высоты увиденная той, чьи глаза, если верить восковым персонам в Вестминстерском аббатстве, всегда глядели зорко, тоже поставляла достаточную пищу для умозаключений. Длинные локоны, склоненные перед нею так смиренно, так невинно,— разве не свидетельствовали о паре стройнейших ног, на каких только стаивал когда-нибудь юный вельможа; о фиалковом взоре; о золотом сердце; о верности владычице и мужских чарах — всех тех чертах, которые старая женщина ценила тем сильней, чем меньше они оставались ей подвластны. Ибо Королева постарела и прежде времени согнулась. В ушах ее вечно гремел пушечный гром. Перед глазами блистали то капля яда, то клинок. Сидя за столом, она прислушивалась; и слышала канонаду со стороны Ла-Манша; она вздрагивала; что это — ругань? шепот? Невинность, простота кажутся еще милей, когда их сопоставишь с эдаким мрачным фоном. А потому, в ту же ночь, если верить преданию, пока Орландо крепко спал, она, по всем правилам скрепив пергамент своею подписью и печатью, отказала огромный уединенный замок, прежде бывший в пользовании архиепископа, а потом и короля,— отцу Орландо.

Орландо всю ночь проспал в полном неведении. Королева его поцеловала, а он и не заметил. Но может быть — кто разберется в женском сердце? — именно его неведение и то, как он вздрогнул, когда ее губы коснулись его щеки,— именно это все и удержало воспоминание о юном родиче (они были родня) в сердце королевы? Так или иначе, не прошло и двух тихих сельских лет, Орландо едва успел сочинить каких-нибудь двадцать трагедий, всего дюжину поэм и десятка два сонетов,— как поступило известие, что Королева ждет его в Уайтхолле.

— А! — сказала она, глядя, как он приближается к ней длинной галереей.— А вот и мой непорочный мальчик! (В облике его сохранялась чистота, намекавшая на непорочность, тогда как слово в прямом значенье было уже к нему неприложимо.)

— Приблизься! — сказала она. Прямая, как проглотив аршин, она сидела у огня. Она задержала его на расстоянии метра и мерила взглядом с головы до пят. Сверяла ли она те, прежние наблюдения с увиденным теперь воочию? Подтвердились ли ее догадки? Глаза, рот, нос, грудь, бедра, руки — все это она оглядела; и губы у нее явственно подрагивали; но при виде его ног она расхохоталась вслух. Он был — живой образчик юного вельможи. Да, но каков он изнутри? Она воткнула в него желтый ястребиный взор, словно намереваясь насквозь пробуравить душу. Он не дрогнул, только зарделся, как дамасская роза, что ему очень шло и подобало. Сила, благородство, возвышенность мечтаний, безрассудство, юность, поэзия — она читала, как по раскрытой книге. Вдруг она стащила с пальца кольцо (сустав заметно вздулся) и, надев ему на палец, пожаловала его в камергеры и казначеи; потом наложила на него цепи службы; и, повелев ему преклонить колено, привязала к стройнейшей части последнего усыпанный драгоценностями орден Подвязки. Отныне Орландо ни в чем не было отказа. При торжественных выездах он гарцевал рядом с королевской дверцей. Его отправили в Шотландию с грустным посольством к несчастной королеве. Он собрался уж отплыть на польские поля сражений, но тут его отозвали. Как могла она отдать на растерзание это нежное тело, как допустить, чтоб

эта кудрявая голова скатилась в пыль? Она его держала при себе. В час победы, в час высшего торжества, когда гремели пушки Тауэра и воздух так пропитался порохом, что впору нюхать его вместо табака, и толпы восторженно ревели у нее под окнами, она привлекла его к себе, к подушкам, на которых уложили ее фрейлины (она была слаба, стара), и вынудила уткнуть лицо в сей удивительный состав — она уже месяц не меняла платья,— от которого пахну́ло, подумал он, вспомнив впечатления детства, ну в точности как из старого материнского шифоньера, где держали меха. Он поднялся, чуть совсем не задохшись в этих объятьях.

— Вот она! Вот она — моя победа! — шепнула Королева, и тут как раз взвилась ракета и облила багрянцем царственные щеки.

Да, старуха его любила. Королева, которая умела распознать мужчину, хотя, как поговаривали, и не совсем обычным способом, замыслила для него великолепную, блистательную будущность. Ему дарили земли, отписывали замки. Он будет утехой ее закатных дней; целебным бальзамом; могучей опорой на склоне сил. Она расточала эти посулы и странные, деспотические нежности (они теперь были в Ричмонде), проглотив аршин, в негнущейся парче сидя у огня, который, как его ни раздували, все ее не согревал.

А тем временем надвигались долгие зимние месяцы. Деревья в парке сковало холодом. Река уже с ленцой катила воду. И вот однажды, когда выпал снег и толпились тени в темных залах, и в парке трубили олени, она увидела в зеркальце, которое всегда держала при себе, боясь соглядатаев, сквозь двери, которые всегда держала отворенными, боясь убийц, как юноша — нет! ужель Орландо? — целует девушку. О Господи! да кто же эта наглая вертихвостка? Вцепившись в золотую рукоять кинжала, она бешено хватила по зеркальцу. Зазвенело стекло; сбежались люди; ее подняли и снова усадили в кресла; но она так и не оправилась от этого удара и, покуда дни ее влачились к концу, часто сетовала на предательство мужчин.

Возможно, Орландо и виноват; но в конце концов, нам ли его судить? Век был елизаветинский; их нравы были не то, что наши нравы; ну, и поэты тоже; и климат; и даже овощи. Все было иное. Сама погода, холод и жара летом и зимой были, надо полагать, совсем, совсем иного градуса. Сияющий, влюбленный день отграничивался от ночи так же четко, как вода от суши. Закаты были гуще; красней; рассветы — аврористее и белей. О наших сумерках, межвременье, о медленно и скучно скудеющем свете не было тогда и помину. Дождь или хлестал ливмя, или уж совсем не шел. Солнце сияло или — стояла тьма. Переводя все это в области метафизики, как водится у них, поэты прелестно пели о том, как вянут розы, опадают лепестки. Миг краток, они пели; миг минует; и долгой ночью все уснут. Ухищрения теплиц и оранжерей ради сохранности летучих лепестков и мигов — были не по их части. О вялых затеях и половинчатости нашего усталого и сомнительного века они понятия не имели. Во всем был напор. Цветок цветет, вянет. Солнце встает, заходит. Влюбленный любит, бросает свой предмет. И то, что поэты рекомендовали в стихах, юноши исполняли на деле. Девушки были — розы. Красота их была быстротечна, как красота цветка. Их следовало рвать до наступленья темноты; ибо день краток, и день — всё. А потому, если Орландо, следуя велению климата, поэтов, самого века, сорвал с подоконника цветок, когда на землю выпал снег, а рядом бдела Королева — неужто мы его осудим? Он был молод; неискушен; он уступал природе. Что же до девушки, мы не лучше королевы Елизаветы знаем ее имя. Дорис, Хлорис, Делия, Диана? Он всех по очереди их зарифмовал. Это могла быть знатная леди, могла быть и служанка. У Орландо был широкий вкус; он любил не одни садовые цветы; полевые цветочки, даже сорные травы равно пленяли его воображенье.

Здесь, по обычаю биографов, мы грубо обнажим любопытную черточку Орландо, объясняемую, видимо, тем фактом, что одна из его бабок носила фартук и подойник. Несколько крупиц кентской и суссекской грубой почвы подмешались к тонкому изысканному току из Нормандии. Сам он считал, что смесь чернозема с голубой кровью вовсе не дурна. Так или

иначе, он всегда тянулся к низкому обществу, в особенности из грамотеев, которым ум так часто мешает выбиться в люди,— будто подчинялся родственному зову. В ту пору жизни, когда в голове его вечно жужжали рифмы и он редко ложился спать, не намарав предварительно какой-нибудь выспренности, шейка иной сокольниковой дочки или смех лесниковой племянницы казались ему предпочтительней, чем все обольщения придворных дам. А потому он повадился ночами к Уоппинг оулд стеэрс [1] и тому подобным местам; окутанный серым плащом, дабы скрыть звезду на шее и подвязку на колене. Там, с пивною кружкой в руке, под перестук шаров и кеглей, он слушал повести матросов о том, чего они понатерпелись в земле Гишпанской; о том, как кто-то потерял палец, а кто — увы! — и нос,— ибо устный рассказ не всегда столь гладок и приятно закруглен, как занесенный в книжку. Особенно любил он слушать, как они горланят песни об Азорских островах, меж тем как вывезенные оттуда попугайчики поклевывали кольца в их ушах, стучали твердыми, жадными клювами по их перстням и сыпали столь же отборной бранью, что и хозяева. Женщины едва ли уступали этим птичкам свободою манер и вольностью речей. Они взбирались к Орландо на колени, обнимали его за шею и, подозревая, что под его плащом скрыто кое-что незаурядное, спешили к доказательству своих догадок не меньше самого Орландо.

Возможностей представлялось достаточно. Река рано оживала и допоздна кишела яликами, барками и судами всякого разбора. Каждый день уходил в море какой-нибудь славный корабль, держа путь на Индию; а другой, потемнелый, под обтрепанными парусами и с волосатыми чужаками на борту, тяжко вваливался в гавань. Никто не спохватывался, если юноша и девушка валандались на реке после заката; не вскидывал бровь, едва молва заставала их в мирных, сонных объятьях среди мешков с сокровищами. А именно такое приключение и выпало на долю Орландо, Сьюки и графа Камберленда. День был жаркий; ласки бурны; сон их сморил среди рубинов. Позже, ночью, граф, чьи богатства зависели во многом от рискованных испанских предприятий, один, с фонарем, пришел осматривать добычу. Он осветил бочонок. И отпрянул, чертыхаясь. Бочонок обвивали два сонных духа. Суеверный от природы, имея на совести немало тяжких преступлений, граф принял парочку (обоих окутывал алый плащ, а груди Сьюки были чуть не белей вечных снегов в Орландовых стихах) за духи утонувших матросов, вышедшие к нему из морской пучины с немым укором. Он крестился. Он каялся. Строй богаделен вдоль Шинроуд — и поныне ощутимый плод его минутного смятенья. Дюжина неимущих приходских старух и посейчас днем попивает чай, а ночью благословляет его светлость за кров над головою; так запретная любовь на контрабандном судне...— однако мораль мы опустим.

Орландо, впрочем, скоро наскучил этой жизнью — и не только из-за отсутствия комфорта и убогости соседствующих улиц, но из-за грубых нравов простонародья. Здесь мы должны напомнить, что нищета и преступленья не обладали для елизаветинцев столь притягательной силой, какой обладают в наших глазах. Те вовсе не стыдились образованности; ничуть не считали, что родиться сыном мясника — удача и что неграмотность — великая заслуга; отнюдь не полагали, подобно нам, что «жизнь» и «действительность» непременно сопряжены с невежеством и хамством, равно как и с другими синонимами двух этих слов. Вовсе не в поисках «жизни» вращался Орландо среди простолюдинов; вовсе не в погоне за «действительностью» он их оставил. Но, выслушав в сотый раз, как Джек потерял свой нос, а Сьюки свою невинность — а рассказывали они об этом, надо сказать, прелестно,— он несколько затосковал от повторенья, потому что нос может быть отрезан всего одним манером, как и потеряна невинность,— или так ему казалось? — тогда как разнообразие в искусствах и науках живо задевало его любознательность. А потому, навсегда сохранив о них благодарную память, он перестал

[1] Портовый район близ Тауэра, с дурной репутацией. Здесь до XVII века вешали у самой воды пиратов так, чтобы тела накрывало приливом.

посещать пивные и кегельбаны, серый плащ засунул в шкаф и, сверкая звездой на шее и подвязкой на колене, снова явился при дворе короля Якова. Он был молод, он был богат, он был хорош собой. Никто не мог быть встречен с большей готовностью и ободрением, чем он.

Во всяком случае, многие дамы — и это достоверно известно — стремились его осчастливить. Три имени, по крайней мере, открыто сопрягались с его именем и титулом — Хлоринда, Фавила, Ефросинья — так он их называл в сонетах.

Изложим по порядку. Хлоринда была весьма изысканная, тонкая особа; во всяком случае, Орландо был не на шутку ею увлечен шесть с половиной месяцев; но у нее были белые ресницы, и она не выносила вида крови. Из-за жареного зайца на отцовском столе она упала в обморок. К тому же она подпала под влияние попов и экономила на нижнем белье, чтобы подавать милостыню. Она взялась наставлять Орландо на путь истинный, и это оказалось так противно, что он сбежал, и не очень в том раскаивался, когда она вскорости умерла от оспы.

Фавила, следующая, была из совсем другого теста. Дочь бедного сомерсетского дворянина, исключительно благодаря собственному усердию и неустанной работе прекрасных глазок, она пробилась ко двору, а там уж искусность в верховой езде, изящная поступь и легкость в танцах снискали ей всеобщее расположенье. Однажды, тем не менее, она имела неосмотрительность так отстегать спаниеля, разодравшего ей шелковый чулок (справедливости ради следует заметить, что чулок у Фавилы было немного, да и те, в основном, простые), что тот чуть не отдал Богу душу под самым окном у Орландо. Орландо, страстный любитель животных, тотчас разглядел, что зубы у Фавилы кривые, а два передних торчат, объявил, что это вернейший признак жестоких и порочных наклонностей в женщине, и в тот же вечер разорвал помолвку навсегда.

Третья, Ефросинья, была, безусловно, самым серьезным его увлечением. Она происходила от ирландских Дезмондов, и фамильное ее древо, таким образом, было не менее древним и глубоко укорененным, чем у Орландо. Она была светловолоса, цветущего здоровья и разве самую малость флегматична. Она свободно изъяснялась по-итальянски, сверкала прелестным рядом верхних зубов, хотя нижние, быть может, и были чуточку не так белы. Она показывалась на люди не иначе как с гончей либо со спаниелем на коленях; кормила их белым хлебом с собственной тарелки; дивно пела под клавесин; и всегда была не одета до полудня, так тщательно она следила за собой. Одним словом — самая подходящая партия для высокородного юноши, подобного Орландо, и дело было на мази, стряпчие с обеих сторон уже пеклись о брачном договоре, вдовьей доле наследства, приданом, резиденциях и прочем, что требуется утрясти, чтобы одно большое состоянье сочетать с другим, когда вдруг, с резкостью и суровостью, присущими в те времена английскому климату, нагрянул Великий Холод.

Великий Холод, свидетельствуют историки, превосходил суровостью все холода, когда-либо выпадавшие на долю этих островов. Птицы гибли на лету и камнем падали на землю. В Норвиче одна молодая крестьянка, пустившись через дорогу во всегдашнем своем крепком здравии, при всем честном народе была застигнута на углу ледяным вихрем, обращена в пыль и в таком виде взметена над крышами. Смертность среди овец и крупного рогатого скота достигла небывалых показателей. Трупы промерзали так, что их не удавалось отодрать от почвы. Нередко приходилось видеть на дорогах недвижные стада замороженных свиней. В полях то и дело попадались пастухи, крестьяне, табуны коней, мальчишки, пугавшие птиц, загубленные морозом в мгновенье ока: кто ковыряя в носу, кто прикладываясь к бутылке, кто целясь камнем в ворону, которая, в свою очередь, чучелом торчала на ограде в метре от него. Мороз так свирепствовал, что его следствием порой являлось некое окамененье; полагали, что множеством новых скал в известных своих частях Дербишир обязан вовсе не извержению вулкана, ибо такового не наблюдалось, но отвердению несчастных путников, в буквальном смысле слова застывших в пути. Церковь ничего не

могла поделать, и хотя кое-кто из землевладельцев чтил эти останки, большинство предпочитало их использовать как межевые вехи, указательные столбы или, когда форма камня позволяла, корыта для скота, каковым целям они, по большей части превосходно, служат и поныне.

Но пока сельский люд страдал от лютых бедствий и жизнь в глуши застопорилась, Лондон предавался пышным празднествам. Двор находился в Гринвиче, и новый король, придравшись к коронации, решил наладить отношения с народом. Он повелел, чтобы реку, промерзшую на двадцать футов в глубину и в обе стороны на шесть-семь миль, расчистили, изукрасили и превратили в увеселительный парк с беседками, лабиринтами, аллеями, питейными киосками и прочая и прочая — все на его счет. Для себя и придворных он выговорил известное пространство прямо против дворцовых ворот; каковое, отгороженное от публики всего лишь шелковой лентой, тотчас сделалось средоточием самого блистательного общества Англии. Важные государственные мужи в жабо и бородах вершили судьбы отечества под малиновым навесом королевской пагоды. Военачальники замышляли паденье мавра и разгром турчанина в полосатых шатрах, венчанных страусовыми перьями. Адмиралы важно ступали по узким тропкам, с бокалом в руках, озирая горизонт и рассуждая о северо-западном походе и Испанской Армаде. Возлюбленные пары амурились на соболями устланных диванах. Мерзлые розы градом сыпались на королеву, гулявшую в сопровождении придворных дам. Разноцветные шары недвижно парили в воздухе. Там и сям пылали в огромных праздничных кострах дубовые и кедровые поленья, густо посыпанные солью, так что пламя казало зеленые, рыжие, лиловые языки. Но как ни жарко горело, оно не могло растопить лед, который при небывалой своей прозрачности мог твердостью поспорить со сталью. Так прозрачен был лед, что на глубине нескольких футов можно было разглядеть где застывшего дельфина, где форель. Недвижно лежали косяки угрей, и вопрос о том, состояние ли это смерти или всего лишь забытья, из которого могло бы вывести тепло, терзал мыслителей. Близ Лондонского моста, там, где река промерзла саженей на двадцать, на дне была отчетливо видна баржа, затонувшая осенью под неподъемным грузом яблок. Старуха маркитантка, поспешавшая с товаром на суррейскую сторону, на рынок, сидела в своих платках и фижмах, с яблоками в подоле, и можно было бы поклясться, что она их предлагает покупателю, если бы некоторая голубоватость губ не выдавала горестную правду. Это зрелище особенно развлекало короля Якова, и он приводил сюда придворных на него полюбоваться. Словом, трудно передать, как весело и живописно тут было днем. Но по ночам праздничное настроение достигало высшей точки. Ибо мороз не отпускал; ночи стояли тихие; луна и звезды сверкали с упорством бриллиантов, и под нежные звуки гобоев и лютней двор танцевал.

Орландо, надо признаться, был несилен в куранте или вольте; скорей неловок; и несколько рассеян. Простые танцы родной страны, к которым был приучен с детства, он явственно предпочитал этим чужеземным выкрутасам. Он как раз сомкнул пятки, заключая очередной менуэт или кадриль, в шесть часов вечера седьмого января, когда скользнувшая из шатра московитов фигурка не то мальчика, не то девушки, ибо свободный камзол и шальвары по русской моде скрывали пол, привлекла его сугубое внимание. Эту, какого бы ни была она пола, особу, небольшого роста и редкой стройности, всю облекали устричного цвета бархаты, отороченные невиданным зеленоватым мехом. Но подробности затмевались ослепительной соблазнительностью особы. В мозгу Орландо сплетались и свивались самые дерзкие и странные метафоры. Он назвал ее дыней, ананасом, оливой, изумрудом, лисицей на снегу — и все за три секунды; он сам не знал, видел он ее, слышал, пробовал на вкус или все это сразу. (Ибо, хотя мы обязаны ни на мгновенье не прерываться в своем повествовании, нам придется, однако, походя пояснить, что все образы его в то время были чрезвычайно просты, под стать его же чувствам, и по большей части внушены простыми навыками детства. Но, будучи просты, чувства его были и на редкость

сильны. И соответственно, о том, чтоб прерываться и анализировать причины этого явления, не может быть и речи.) ...Дыня, изумруд, лисица на снегу — так бредил он, так ее называл. И когда мальчик, ибо это — увы! — был, конечно, мальчик — может ли женщина так бешено, так стремительно носиться на коньках,— чуть не на цыпочках промчался мимо, Орландо готов был рвать на себе волосы с досады, что особа оказалась одного с ним пола и про объятья нечего и думать. Но вот конькобежец снова приблизился. Ноги, руки, осанка были мальчишеские, но мог ли быть у мальчика этот рот; могла ли быть у мальчика эта грудь; могли ли быть у мальчика эти глаза, словно выуженные со дна морского? Наконец, присев в обворожительном, дивном реверансе перед королем, который, опираясь на придворного, шаркал мимо, она остановилась. Она была совсем рядом. Она была женщина. Орландо смотрел; дрожал; его бросало в жар; трясло в ознобе; его мучительно тянуло бежать сквозь летний зной; давить пятками желуди; обнять дубы и буки. На поверку же он задрал верхнюю губу над белыми мелкими зубами; ощерился, как для укуса; щелкнул челюстью, будто уже укусил. Леди Ефросинья повисла у него на локте.

Имя незнакомки, он выяснил, было княжна Маруся Станиловска Дагмар Наташа Лиана из рода Романовых, и она сопровождала не то отца своего, не то дядю, посла московитов, прибывшего на коронацию. О московитах известно было немногое. В своих огромных бородах, под меховыми шапками, они почти всегда молчали; пили какое-то темное пойло, то и дело его сплевывая на лед. По-английски они ни слова не понимали, правда, кое-кто из них мог изъясняться по-французски, но тогда он был почти не принят при английском дворе.

По этому случаю Орландо и познакомился с княжной. Они сидели друг против друга за накрытым под огромным навесом большим столом для избранных. Княжну усадили между двумя молодыми лордами. Один был Фрэнсис Вир, другой — юный граф Морэй. Потешно было наблюдать, как она то и дело ставила их в тупик, ибо, хоть оба были по-своему недурные малые, французским они владели ничуть не лучше нерожденного младенца. Когда в самом начале ужина княжна, оборотившись к соседу, с изяществом, пленявшим его сердце, говорила: «Je crois avoir fait la connaissance d'un gentilhomme qui vous était apparenté en Pologne l'été dernier» [1] или: «La beauté des dames de la cour d'Angleterre me met dans le ravissement. On ne peut voir une dame plus gracieuse que votre reine, ni une coiffure plus belle que la sienne» [2],— оба, лорд Фрэнсис и граф, выказывали величайшее недоуменье. Один настойчиво потчевал ее хреном, другой свистнул своего пса и заставил его выпрашивать мозговую косточку. Тут уж княжна не выдержала и расхохоталась, и Орландо, через кабаньи головы и чучела павлинов поймавший ее взгляд, расхохотался тоже. Он на нее смотрел, он хохотал, но вдруг смех замер на его губах. Кого он любил, спрашивал он себя, захваченный вихрем чувств, что он любил доныне? Старуху, он отвечал себе,— кожу да кости. Румяных потаскух без числа. Нудную монашку. Грубую, зубастую авантюристку. Сонный тюк кружев и жеманства. Прошедшая любовь была — угасший пепел, тлен, не более того. Радости ее — до жути пресны. Странно, как еще ему удавалось, извлекая их, удерживать зевоту. Да, пока он смотрел, кровь в нем плавилась; лед таял и тек вином по жилам; он слышал звон ручьев, пенье птиц; ключ бил сквозь зимние снега; мужество его очнулось; он сжимал в руке кинжал; звал на бой врага свирепей мавра и поляка; он нырял в пучину; опасность затаилась в расщелине, как роковой цветок; он увидел этот цветок; протянул руку...— словом, он одним духом источал один из самых пламенных своих сонетов, когда княжна адресовалась к нему:

— Не будете ли вы добры передать мне соль?

Он залился краской.

---

[1] Я познакомилась прошлым летом в Польше с одним господином, кажется, вашим родственником *(франц.)*.

[2] Красота дам при английском дворе меня приводит в восхищение. Нельзя и вообразить женщины, очаровательней вашей королевы, ни прически, более изящной, чем у нее *(франц.)*.

— С превеликим удовольствием, сударыня,— отвечал он на безукоризненном французском. Ибо, благодаренье небесам, он владел этим языком, как родным. Материна горничная его обучила. Хотя, быть может, лучше бы ему не знать этого языка вовсе; не отвечать на этот голос; не покоряться свету этих глаз...

Княжна продолжала. Кто эти болваны рядом с нею, спрашивала она, с повадками конюхов? Что за тошнотворную пакость они суют ей на тарелку? Неужто английские собаки едят с людьми за одним столом? И неужто это чучело в конце стола, со всклоченной, как Майский шест [1], прической (une grande perche mal fagotée [2]) — в самом деле королева? И неужто же всегда король так пускает слюни? И который же из тех хлыщей Джордж Вильерс [3]? Вопросы эти сперва огорошили Орландо, но задавались они с такой резвой хитрецой, что он не мог удержаться от смеха; и, по безмятежным лицам сотрапезников заключив, что те не понимают ни слова, он отвечал ей той же откровенностью и на столь же безукоризненном французском.

Так было положено начало задушевным отношениям, вскоре вызвавшим возмущение двора.

Все заметили, что Орландо оказывает москвитянке куда больше внимания, чем велит простая учтивость. Их постоянно видели вместе, и хоть беседа их была недоступна остальным, велась она так живо, то и дело перемежалась такими улыбками и потупленьем взоров, что и круглый дурак сразу бы догадался, что́ к чему. Более того — самого Орландо будто подменили. Никогда еще не наблюдалось за ним такой прыти. Куда девалась мальчишеская неловкость; из хмурого недоросля, чувствовавшего себя в гостиных, как слон в посудной лавке, он превратился в благородного мужа со зрелым достоинством манер. Вел ли он москвитянку (так ее называли) к саням, хватал ли оброненный ею грязный носовой платок, оказывал ли одну из прочих услуг, которых владычица души ждет и жадно предугадывает влюбленный,— то было зрелище, способное зажечь тусклый взор старика и заставить учащенно биться молодое сердце. И все это, однако, мрачила туча. Старики пожимали плечами. Юнцы исподтишка хихикали. Все знали, что Орландо помолвлен с другой. Леди Маргарет О'Брайен О'Дэр О'Рэйлли Тайрконнел (ибо таково было подлинное имя Ефросиньи его сонетов) носила на среднем пальце левой руки роскошный сапфир, подаренный Орландо. Это она имела исключительное право на его внимание. И тем не менее она могла переронять на лед все свои платки до единого (а их у нее было много дюжин) — Орландо и не думал за ними наклоняться. Она по двадцать минут ждала, пока Орландо отведет ее к саням, и в конце концов смирялась с услугами своего арапа. Когда она бегала на коньках — а бегала она весьма неловко,— никого не было рядом, чтобы ее ободрить, и когда она плюхалась на лед, а плюхалась она довольно тяжело,— никто не помогал ей встать, никто не отряхивал снег с ее юбок. И, флегматичная от природы, не способная обижаться и меньше всех готовая поверить, что какая-то иностранка может увести у нее из-под носа Орландо, все же и сама леди Маргарет в конце концов вынуждена была заподозрить, что ее покою кое-что грозит.

И то сказать, дни шли, а Орландо давал себе все менее труда скрывать свои чувства. Под тем или иным предлогом он покидал общество сразу после ужина или спешил улизнуть от конькобежцев, когда те затевали фигуры для кадрили. И тотчас замечалось и отсутствие москвитянки. Но более всего бесило придворных, жалило их в самое чувствительное место (каковым у них является тщеславие) то, что парочка на глазах у них частенько ускользала за шелковую ленту, отгораживавшую королевскую площадку от остальной реки, и терялась в толпе простонародья. Потому что княжна вдруг топала ножкой и кричала: «Уведи меня отсюда! Ненавижу

[1] Майский шест или «Майское дерево» — украшенный цветами и лентами столб, вокруг которого 1 мая танцуют в Англии.

[2] Дурно разряженная жердь *(франц.)*.

[3] Джордж Вильерс, герцог Букингемский (1592—1628) — фаворит Якова I.

твою английскую чернь!» — каковым словом она обозначала как раз английский двор. Она уже не в состоянии это выносить, говорила она. Старухи богомолки пялятся на твое лицо, наглые юнцы не дают проходу. От них воняет. Собаки путаются под ногами. Чувствуешь себя как в клетке. В России — там реки шириною в десять миль, скачи себе в карете цугом, и за целый божий день ни души не встретишь. К тому же ей хотелось посмотреть Тауэр, и лейб-гвардейцев-стражников, и головы на Лондонских воротах, и лавки ювелиров. И Орландо отправлялся с нею в город, показывал лейб-гвардейцев-стражников, головы мятежников, скупал все, на что в лавках падал ее взгляд. Но этого было недостаточно. Обоим все пламенней хотелось побыть наедине, подальше от пересудов и сплетен. И вместо Лондона они сворачивали в другую сторону и скоро оказывались в промерзлых верховьях Темзы, где кроме морских птиц, да какой-нибудь деревенской бабы, колющей лед в напрасной надежде нацедить ведро воды или тщащейся набрать сухих щепок для растопки, им не встречалось ни души. Бедняки держались поближе к своим хижинам, а публика почище, те, кому это по карману, подавались в город в поисках тепла и удовольствий.

И таким образом, Орландо и Саша, как он прозвал ее для краткости и еще потому, что так звали белого русского песца, который был у него в детстве — созданье нежное, как снег, но с зубами тверже стали; однажды он так куснул Орландо, что отец приказал его убить,— и таким образом, они владели Темзой нераздельно. Разгоряченные коньками и страстью, они валились в снега пустынного плеса, отороченные желтыми прибрежными ветлами, и Орландо заключал ее в объятья под огромной шубой и впервые, впервые в жизни, он лепетал; наслаждался счастием любви. Потом, утолив восторг, оба истомно лежали на снегу, и Орландо ей рассказывал о других своих возлюбленных — деревяшки, тлен, одно недоразумение — вот что они были такое в сравненье с нею. И, посмеиваясь над его горячностью, она снова заключала его в объятия и снова целовала. И они дивились, как это лед не плавится от их накала, и жалели бедную старушку, которой, не имея естественных ресурсов для его растопки, приходилось орудовать старым косарём. А потом, окутавшись своими соболями, они болтали про все на свете; про странствия и виды; про мавров и поганых; про чью-то бороду и чьи-то брови; про то, как она с руки кормила крысу под столом; про гобелены — непременную принадлежность их прихожих; про то лицо; про то перо. Ничто не было слишком мелким для их бесед, ни чересчур великим.

Но вдруг на Орландо находил один из приступов его тоски; из-за старухи, жалко топтавшейся на льду, а то и вовсе без причин; и он ничком ложился на лед, смотрел на промерзшую воду и думал о смерти. Ибо прав тот мудрец, который уверяет, что счастье всего на волосок отделено от тоски; и рассуждает далее, что это — близнецы; и извлекает отсюда умозаключенье, что всякая крайность в чувствах отдает безумием; и рекомендует нам искать спасения в лоне истинной (в его случае анабаптистской) церкви, являющейся единственной гаванью, якорем и прибежищем, и прочее, и прочее для тех, кого швыряет на волнах этого безжалостного моря.

— Все кончится смертью,— говорил Орландо садясь, с потемнелым от тоски лицом. (Ибо дух его тогда, как на качелях, метался между жизнью и смертью, решительно без всяких остановок в промежутке, так что где уж останавливаться биографу, нет, напротив, ему надо торопиться изо всех сил, чтобы поспеть за безотчетно горячими, глупыми выходками и дикой непроизвольностью речей, чем, невозможно отрицать, грешил в те поры Орландо.)

— Все кончится смертью,— говорил Орландо, садясь на льду. Но Саша, которая не имела в жилах ни капли английской крови и родилась в России, где закаты медлят, где не ошарашивает вас своей внезапностью рассвет и фраза часто остается незавершенной из-за сомнений говорящего в том, как бы ее лучше закруглить,— Саша смотрела на него во все глаза, смеялась над ним, потому что он, наверное, казался ей ребенком, и ничего не отвечала. Меж тем лед под ними остывал, холодил, жалил Сашу, и,

потянув Орландо за руку и заставив встать, она говорила, так тонко, остро и умно (но все это, к сожалению, на французском, который ужасно опресняется при переводе), что Орландо, забыв о промерзших водах и нависшей ночи, о старухе и тому подобном, пытался объяснить Саше,— ныряя, плескаясь, барахтаясь в образах, выдохшихся, как и вдохновившие их дамы,— на что она похожа. Снег, пена, мрамор, вишня в цвету, алебастр, золотая сеть? Нет, все не то. Она была как лисица; как олива; как волны моря, когда на них смотришь с вышины; как изумруд; как солнце на мураве покуда отуманенного холма — но ничего этого он не видел и не знал у себя в Англии. Он прочесывал весь родной словарь — и не находил слов. Тут требовался иной пейзаж, иной строй речи. Английский был слишком очевидный, откровенный, слишком медвяный язык для Саши. Ведь во всем, что говорила она, как бы она ни разливалась соловьем, всегда что-то оставалось утаенным; за всем, что она делала, как бы безоглядны ни были ее порывы, всегда скрывалось что-то. Так упрятан зеленый пламень в изумруде, так заточено в муравчатом холме солнце. Только снаружи была ясность; в глубине блуждали огненные языки. Вот загорелись; вот загасли; никогда не сияла Саша ровными лучами, как английские женщины,— но тут, однако, припомнив леди Маргарет и ее юбки, Орландо осекся, запутался, зашелся, повлек Сашу по льду быстрей, быстрей, быстрей и клялся, что он настигнет пламя, найдет оправу, найдет управу, нырнет на дно за перлом, и прочее, и прочее, перемежая слова вздохами со всем пылом, свойственным поэту, когда стихи из него выдавливает боль.

А Саша все отмалчивалась. Когда, достаточно поговорив про то, что она лисица, олива, зеленый холм, Орландо ей выкладывал историю своего семейства; как их род один из древнейших в Британии; как они явились из Рима вместе с цезарями и вправе двигаться по Корсо (а это главная улица Рима) под кистями паланкина — честь, он пояснял, даруемая лишь наследникам порфироносцев (в нем была гордая наивность, довольно, впрочем, привлекательная),— и, помолчав, спрашивал, а где же ее дом? Кто ее отец? Есть ли у нее братья? Отчего она здесь одна со своим дядей? И почему-то, хотя она отвечала с готовностью, Орландо делалось не по себе. Сперва он подозревал, что она не столь высокого происхождения, как ей бы хотелось; или что она стыдится диких обычаев своей страны, ибо ему приходилось слышать, что женщины в Московии носят бороды, а мужчины вниз от пояса покрыты шерстью; что и те и другие смазываются салом для тепла, рвут мясо руками и живут в лачугах, где английский дворянин посовестится держать и скотину; и потому он решил не наседать на нее с расспросами. Однако, поразмыслив, он сообразил, что молчание объясняется какими-то другими причинами; ведь у самой у Саши на подбородке не наблюдалось ни единой волосинки; облекали ее бархаты и жемчуга; и, судя по манерам, воспитывалась она отнюдь не в загоне для скота.

Но если так — что же она от него таила? Эти сомнения, составлявшие фундамент его любовного неистовства, были как зыбучие пески под монументом; вдруг оползая, они трясут все сооруженье. Вдруг Орландо охватывала нестерпимая тревога. И он полыхал таким гневом, что она не знала, как его унять. Возможно, она и не хотела его унимать; возможно, эти припадки ярости ее забавляли, и она нарочно их вызывала. Непостижимо уклончива московитская душа.

Продолжая, однако, нашу повесть — однажды они умчали на коньках дальше обычного и оказались там, где, стоя на якоре, вмерзли в Темзу корабли. Был среди прочих и корабль московитского посольства, кивавший с топ-мачты двумя черными орлиными головами в просторной оторочке искрящихся сосулек. Саша оставила на борту кое-что из платья, и, сочтя, что на судне никого нет, они взобрались на палубу и пустились на розыски. Помня некоторые происшествия из своего прошлого, Орландо бы ничуть не удивился, обнаружив, что кое-кто уже успел найти там приют; да так оно и вышло. Они только начали разведку, когда приятный молодой человек, хлопотавший над свернутым канатом, оторвался от этого занятия, сообщил, очевидно (он говорил по-русски), что он один из команды и готов

помочь княжне найти то, что ей угодно, зажег свечной огарок и скрылся с нею вместе в корабельных недрах.

Время шло, и Орландо, окутанный и разогретый собственными мечтами, думал все о приятном; о своей драгоценности; и ее редкостности; о том, как он сделает ее своей — неотменимо и неотторжимо. Конечно, тут громоздилось множество препятствий. Саша твердо решила не покидать России, ее замерзших рек, буйных коней, мужчин, она рассказывала, перегрызавших друг другу глотки. Конечно, сосны и снега, повальный блуд и бойня не ахти как его прельщали. Равно нисколько не тянуло его расстаться со здешними милыми забавами и сельскими обычаями; бросить службу; погубить карьеру; ходить на северного оленя вместо зайца; пить водку вместо мадеры и прятать нож за голенищем — бог знает, для чего. И, однако, на все это — и даже на большее — он был готов ради Саши. Ну а что до венчанья с леди Маргарет, хоть и назначенного на будущий четверг,— это была столь явственно нелепая затея, что он почти выбросил ее из головы. Родня невесты его осудит за то, что отверг такую даму; друзья будут потешаться, что он сгубил великолепнейшую карьеру ради какой-то казачки и унылых заснеженных равнин,— что ж, все это пустяки в сравненье с самой Сашей. Первой же темной ночью они сбегут на север; а оттуда в Россию. Так он задумал; так он рассуждал, меряя шагами палубу.

Очнулся он, поворотив на запад, при виде солнца, апельсином повисшего на кресте Святого Павла. Кроваво-красное, оно стремительно снижалось. Значит, уже вечер. Саша, пожалуй, уж больше часа как ушла. Тотчас Орландо охватили темные предчувствия, мрачившие даже самые самонадеянные его помыслы о Саше, и он бросился туда, куда, он видел, они удалились — в сторону корабельного трюма; и — не раз наткнувшись в темноте на ящики и бочонки,— наконец, по тусклому свечению в дальнем углу, он понял, что они там. На секунду он их увидел; увидел Сашу у матроса на коленях; увидел, как она наклонилась к нему; увидел их объятья; и все исчезло, застланное багровым туманом его ярости. И он так взвыл от муки, что весь корабль зашелся эхом. Саша кинулась их разнимать, не то он удушил бы матроса прежде, чем тот успел выхватить тесак. И Орландо сделалось так скверно, что его уложили на пол и вливали в него бренди, пока он не оправился. А потом его усадили на мешки, и Саша хлопотала над ним, мелькала перед его расплывавшимся взором — и нежно, и хитро, как укусившая его лисица, то ластясь, то сердясь, так что уже он сам готов был усомниться в том, что видел. Свеча ведь оплывала — верно? И бродили тени — не правда ли? Ящик, она сказала, был чересчур тяжел; матрос ей помогал его тащить. На мгновенье Орландо ей поверил — кто поручится, что гнев не подсунул ему как раз то, что он больше всего боялся обнаружить? Но тотчас, с удвоенной яростью, он осыпал ее упреками во лжи. Тут уж Саша побелела; топнула ножкой; объявила, что нынче же уедет; и призывала небо покарать ее, если она, княжна из рода Романовых, лежала в объятиях грубого матроса. И в самом деле, охватив взглядом их обоих (что стоило ему немалых усилий), Орландо устыдился своего грязного воображения, которое могло нарисовать столь нежное созданье в лапищах волосатого морского чудища. Он был громадный; чуть не двухметровый; с вульгарнейшими кольцами в ушах; как ломовик, на которого присела отдохнуть в полете ласточка или малиновка. И Орландо смирился; поверил; и просил прощенья. И все же, когда, совершенно примирившись, они выходили из трюма, Саша приостановилась, держась за поручни, и выпустила в темнолицее широкоскулое чудище залп русских приветствий, острот, а то и любезностей? Орландо не понимал ни слова. Но что-то в тоне ее голоса (не по вине ли русских звуков?) вызвало у Орландо в памяти ту недавнюю ночь, когда он застиг Сашу врасплох в темном уголку; она лакомилась подобранной с пола свечкой. Оно конечно свечка была розовая; золоченая; и с королевского стола; но все равно — сальная свечка, и Саша ее глодала. А ведь, пожалуй, думал он, помогая ей сойти на лед, пожалуй, есть в ней что-то грубое, что-то дикое, простонародное что-то? И он ее вообразил сорокалетней, тяжелой, расплывшейся, хоть

сейчас она была стройнее тростника, и сонной, вялой, хоть сейчас она была резвее птахи. Но когда они бежали обратно к Лондону, эти мрачные подозрения растаяли в его груди, и он снова чувствовал себя, как с наслаждением барахтающаяся на крючке рыба.

Вечер поражал красотой. Солнце садилось, и все купола, башни, шпили и шпицы Лондона ярко чернели на червлени закатных облаков. Резной крест Чаринга; купол Святого Павла; громады Тауэра; вот занялись окна Аббатства и горели многоцветными небесными щитами (фантазия Орландо); вот запад уже слился в одно золотое окно, и ангелы (опять — фантазия Орландо) сбегали и взбегали по небесным ступенькам.

И все время, все время коньки скользили, как по бездонной пучине неба, так ярко синел лед; и так стеклянно-гладок он был, что они разгонялись быстрей, быстрей, и белые чайки расчерчивали воздух крыльями, как в зеркале отражая росчерки коньков.

Саша — не старалась ли она его задобрить? — была нежней всегдашнего и даже еще пленительней. Обычно она не любила говорить о своей прежней жизни, а тут рассказала, как зимой в России слышала дальний волчий вой, и, трижды тявкнув по-волчьи, продемонстрировала, как это звучит. В ответ он рассказал ей про оленей в заснеженном парке, как они забредают в гулкие залы погреться, и один старик их кормит кашей из ведра. И она его расхваливала; за любовь к животным; за отвагу; за его ноги. В восторге от ее похвал, пристыженный тем, что мог вообразить ее на коленях у простого матроса, а потом и раздобревшей, вялой и сорокалетней, он сказал, что не находит слов, чтоб достойно ее расхвалить; однако тотчас сообразил, что она похожа на ручей, на муравy, на волны, и, сжав ее в объятьях еще нежней, чем всегда, полетел с нею по льду, обгоняя удивленных чаек и бакланов. И она, наконец, задохнулась, остановилась и сказала ему, что он — как рождественская елка, разубранная миллионом свечек (так принято у них в России), увешанная желтыми шарами; вся в пламени; света на целую улицу хватит (так приблизительно можно бы это перевести); ибо со своими пылающими щеками, темными кудрями и черно-красным камзолом он словно сияет собственным пламенем, словно у него засветили лампу внутри.

Все краски, кроме полыхания Орландовых щек, скоро выцвели. Настала ночь. Оранжевость заката погасла, уступив место странно белесому свечению факелов, костров и прочих приспособлений, и разом все удивительно переменилось. Храмы, дворцы вельмож, отделанные белым камнем по фасаду, плыли по воздуху, высвечиваясь полосами и пятнами. От Святого Павла, в частности, уцелел один золоченый крест. Вестминстерское аббатство зыбко серело скелетом листа. Все истончилось, оскудело, все преобразилось. Звуки стали плотнее, гуще. Приближаясь к месту гуляний, Орландо и Саша услышали звук — протяженный, чистый, как от удара по камертону; он разрастался, крепчал, пока не разразился гремучим раскатом. То и дело взвивались ракеты, и восторженный рев их приветствовал. Вот стали заметны маленькие фигурки, отрывавшиеся от толпы и кружившие по льду, как мошки. И над этим сверкающим озерцом черной чашей мрака опрокинулась зимняя ночь. И в черноте этой, с нагнетавшими нетерпение паузами, расцветали ракеты; полумесяцы; змейки; короны. На миг дальние холмы и леса оживали, как в летний зной; и снова на них падали ночь и зима.

Орландо и Саша, уже совсем близко к королевской площадке, прокладывали путь в густой толпе простонародья, теснившейся поближе к шелковой ленте. Не спеша расстаться с уединением и попасть под неусыпное соглядатайское око, парочка медлила среди подмастерьев; портняжек; рыбачек; конских барышников; проходимцев; голодных грамотеев; горничных в косынках; торговок апельсинами; конюхов; трезвых граждан; бесстыжих кабатчиков; маленьких оборвышей, всегда примазывающихся к любой толпе, орущих, мешающихся под ногами — словом, весь лондонский уличный сброд теснился тут, толкался, пихался, кидал кости, громко предсказывал судьбу, щипался, щекотался; тараторил, горланил; там хмуро, там

буйно; одни изумленно разинув рот; другие с каменным безразличием галок на заборе; разнообразие оснастки отражало состояние кармана; одни были в мехах, парче; другие в рубище, и ноги защищены от жалящего льда лишь рваными обмотками. Основная масса толпилась, пожалуй, перед подмостками, на каких у нас показывают Панча и Джуди, и глазела на представление. Черный мужчина махал руками и орал. Женщина в белом лежала на постели. Актеры метались вверх-вниз по ступенькам, то и дело спотыкались, и публика топала, свистела, а то от скуки запускала в них апельсинной кожурой, за которой тотчас кидался беспризорный пес,— но при всей неуклюжести, при всей невозможности зрелища странная путаная мелодия слов завораживала Орландо, как музыка. Выговариваемые дерзко-спешащим говорком, напоминавшим о песнях матросов в пивной на Уоппинг оулд стеэрс, слова эти и помимо смысла пьянили его, как вино. Но когда, долетев через лед, отдельная фраза ударяла по сердцу, ярость мавра оказывалась его яростью, а когда мавр удушал женщину в постели — это сам Орландо убивал Сашу собственной рукой.

Но вот представление кончилось. Все потемнело. По щекам Орландо лились слезы. Он взглянул на небо — там тоже была черная тьма. Все окутывают смерть и мрак — думал Орландо. Жизнь человеческая кончается гробом. Черви нас сожрут.

Как будто в мире страшное затменье,
Луны и солнца нет, земля во тьме
И все колеблется от потрясенья [1].

И едва он произнес эти слова, бледно-утренняя звезда взошла в его памяти. Ночь была темная, хоть глаз выколи; но не такой ли ночи они и дожидались? Не такой ли ночью задумали бежать? Он вспомнил все. Час пробил. Он порывисто прижал к груди Сашу, шепнул ей на ухо: «Jour de ma vie!» [2] Это был пароль. В полночь они сойдутся у гостиницы близ Черных Братьев. Кони будут ждать. Все готово для побега. И они разошлись в разные стороны — он к своему, она к своему шатру. Оставался еще час времени.

Задолго до полуночи Орландо был уже на условном месте. Так черна была ночь, что никого не увидишь на расстоянии шага; оно бы и к лучшему, но такая царила торжественная тишина, что за полмили слышны цоканье ли копыт, крик ли ребенка. То и дело у Орландо, вышагивавшего взад-вперед по тесному дворику, сердце обрывалось от стука подков по булыжнику, от шелеста женских юбок. Но всякий раз оказывалось, что это всего лишь направляется к себе домой припозднившийся купец; либо женщина вышла на улицу в далеко не столь невинных целях. Пройдут — и еще плотней смыкалась за ними тишина. Вот огни, дрожавшие в нижних этажах тесных жилищ, набитых городской беднотой, пересыпались выше, в спальни, и там один за другим потухли. Фонари в здешних краях были редки; да и те, по нерадению ночного сторожа, часто гасли, не дождавшись рассвета. И еще плотнее смыкалась тьма. Орландо прикрутил фитиль в своем фонаре; проверил упряжь; осмотрел пистолеты; поправил кобуру; и все это проделал он раз десять, и вот уж больше ничего не мог припомнить такого, что требовало бы его попечения. Хотя до полуночи оставалось еще минут двадцать, он никак не мог себя заставить войти в гостиницу, где хозяйка, верно, еще оделяла скверным вином нескольких матросов, распевавших свои песенки и рассказывавших свои истории про Дрейка [3], Хоккинса [4] и Гренвила [5], пока, свалившись под скамью, не захрапят на земляном полу. Тьма была куда милей его безумно колотившемуся сердцу. Он вслушивался в каждый звук; ловил ухом каждый шорох. Каждый пьяный выкрик, каждый стон роженицы ли, другого ли какого бедолаги надрывал ему

[1] *У. Шекспир.* «Отелло». Акт V, сц. 2. *(Перевод Б. Пастернака.)*

[2] Заря моей жизни! *(франц.)*

[3] Сэр Фрэнсис Дрейк (1545—1596) — английский мореплаватель, открыватель новых земель, герой войны с Испанской Армадой.

[4] Сэр Джон Хоккинс (1532—1595) — отважный мореплаватель, флотоводец, воин.

[5] Сэр Ричард Гренвил (1541—1591) — мореплаватель, убит в морском бою с испанцами.

душу, словно предвещая недоброе. Нет, он не боится за Сашу. Храбрость ее не знает границ. Она придет одна, в камзоле и штанах, обутая по-мужски. Шаг ее легок, неуловим, неслышен, даже и в этой тишине.

Так ждал он во тьме. Вдруг его ударили по лицу — тихая, но тяжелая пощечина. Он до того истомился ожиданием, что весь задрожал и тотчас схватился за шпагу. Удары повторились — еще, еще,— его били по щекам, били по лбу. Привыкнув уже к сухому морозу, Орландо не сразу сообразил, что это дождь; его ударяли дождевые капли. Сперва они падали медленно, как бы нехотя, с ленцой. Но скоро заколотили чаще, чаще. Уже их было не шесть, а шестьдесят, шестьсот; и вот, слившись, они обрушились каскадом. Все небо будто накренилось, изошло потоком. За пять минут Орландо промок до нитки.

Поспешно отведя лошадей под укрытие, сам он затаился под навесом крыльца и оттуда оглядывал двор. За грохотом и гулом ливня нельзя было различить ничьих шагов. Дороги, изрытые колдобинами, конечно, сделались непроходимы. Но Орландо почти не думал о том, как это должно сказаться на замысле побега. Все чувства его, все мысли сосредоточились на мерцающей в свете фонаря мощеной тропке — там надеялся он увидеть Сашу. Иногда она ему мерещилась во тьме, в дождевых прядях. Но тотчас призрак исчезал. Вдруг ужасным, зловещим тоном, от которого у Орландо перевернулось сердце, часы Святого Павла возгласили первый удар полуночи. И безжалостно пробили еще четыре раза. С суеверием влюбленного Орландо загадал, что она придет при шестом ударе. Но вот раскатилось эхо шестого, отзвенел седьмой, восьмой, и для его израненного слуха они звучали смертным приговором. При двенадцатом ударе он понял, что надежды нет никакой. Тщетно прибегал он к утешительным доводам рассудка: может быть, она опоздала; может быть, ее задержали; может быть, она заблудилась. Вещая душа Орландо чуяла правду. Пробили, прозвенели часы на других башнях. Весь мир словно сговорился греметь о ее предательстве, его посрамлении. Давние мучительные догадки, смутно подтачивавшие Орландо, прорвали плотины запрета. Его жалили несчетные змеи, одна ядовитей другой. Дождь лил как из ведра. Он стоял под навесом крыльца, не в силах сдвинуться с места. Проходили минуты. У Орландо подгибались ноги. А ливень бушевал. Будто грохотали тысячи пушек. Будто с треском валились могучие дубы. Раздавались какие-то дикие вопли, жуткие, нечеловеческие стоны. Но Орландо все стоял и стоял, пока часы Святого Павла не пробили два часа, и тогда только, крикнув с убийственной иронией: «Jour de ma vie!», он швырнул фонарь оземь, вскочил на коня и поскакал, сам не зная куда.

Вёрно, слепой инстинкт (ибо разум его молчал) вел его вдоль речного берега по направлению к морю. Потому что, когда занялся рассвет с особенной какой-то внезапностью, небо бледно зажелтело и почти перестал дождь, Орландо оказался совсем близко к устью Темзы. И вид весьма странного, удивительного свойства предстал глазам его. Там, где три месяца, а то и больше лед, столь плотный, что казался вековечней камня, держал на себе целый город увеселений, теперь ярились желтые волны. Река высвободилась за эту ночь. Будто серные источники (и к такой точке зрения склонялось большинство мыслителей), забив из вулканических глубин, взорвали лед и с мощной силой разметали множество осколков в разные стороны. От одного взгляда на воду могло помутиться в голове. Все смешалось, все клубилось. Всю реку усеяли айсберги. Одни были просторны, как кегельбаны, и высотою с дом; другие — не больше мужской шляпы, зато — как причудливо изогнуты! То вдруг целый караван льдин сметал и топил все на своем пути. То, извиваясь, как змея под палкой мучителя, река шипела меж обломков, швыряла их от берега к берегу, и они громко разбивались о пирсы. Но больше всего ужасал вид человеческих существ, загнанных в ловушку, расставленную этой страшной ночью, и теперь в отчаянии мерявших шагами зыбкие свои островки. Прыгнут ли они в поток, останутся ли на льду — участь их была решена. Иногда они гибли

целыми группами, кто — стоя на коленях, кто — кормя грудью младенца. Вот старик, видимо, читал вслух молитвы. Вот какой-то бедолага один метался по своему тесному прибежищу, и его судьба была, быть может, всего страшней. Уносимые в открытое море, иные тщетно взывали о помощи, неистово клялись исправиться, каялись в грехах, обещали поставить Богу алтари и осыпать Его золотом, если Он услышит их молитвы. Другие были так поражены ужасом, что сидели молча, недвижно, глядя прямо перед собой. Несколько молодых лодочников, а может быть, рассыльных, судя по ливреям, орали непристойные кабацкие песни и приняли смерть с кощунством на устах. Старый вельможа — о чем свидетельствовали его меха и золотая цепь — тонул недалеко от Орландо, призывая отмщенье на головы ирландских мятежников, которые, выкрикнул он при последнем издыхании, затеяли весь этот кошмар. Многие гибли, прижимая к груди серебряные горшки и прочие сокровища; а по меньшей мере двадцать несчастных стали жертвами собственной алчности, бросившись с берега в воду, только бы не упустить золотой бокал или не дать исчезнуть с глаз долой какой-нибудь собольей шубе. Ибо мебели, ценности, имущество всякого рода так и уносило на айсбергах. Среди прочих достопримечательностей следует отметить кошку, кормящую котят; стол, пышно накрытый к ужину на двадцать персон; парочку в постели; а также удивительное количество кухонной утвари.

Смущенный, ошеломленный, Орландо некоторое время только стоял и беспомощно оглядывал чудовищные, катящие мимо волны. Потом, как бы опомнившись, он пришпорил коня и поскакал вдоль берега по направлению к морю. Одолев излучину, он оказался там, где всего два дня назад, так незыблемо вмерзнув в лед, стояли посольские корабли. Он их поскорей сосчитал: французский; испанский; австрийский; турецкий. Все держались на плаву, хотя французский корабль сорвало с якоря, а в турецком была большая пробоина, и он стремительно наполнялся водой. Только русского судна нигде не было видно. На мгновенье у Орландо мелькнула мысль, что оно пошло ко дну; но, приподнявшись в стременах, защитив ладонью глаза, зоркие, как у ястреба, он различил его на горизонте. Черные орлиные головы плескались на топ-мачте. Корабль московитского посольства выходил в открытое море.

Соскочив с коня, он готов был в неистовстве пуститься волнам наперерез. Стоя по колено в воде, он швырял вслед неверной все обвинения, обычно выпадающие на долю ее пола. Предательница, изменщица, ветреница — так он ее честил; прелюбодейка, чертовка, лгунья; а клубящиеся волны поглощали его слова и выбрасывали к его ногам то разбитый горшок, то соломку.

Глава 2

Тут биограф сталкивается с трудностью, которую лучше, пожалуй, сразу доверить читателю, нежели стараться замять. До сих пор документы исторического и частного свойства давали биографу возможность исполнять свой первейший долг, а именно, не оглядываясь ни направо, ни налево, твердо ступать по неизгладимым следам истины; не прельщаясь цветочками; не отвлекаясь тенями; твердо идти вперед и вперед, пока мы не свалимся в могилу и не начертаем «конец» на нашей надгробной плите. Но сейчас мы подошли к эпизоду, который лежит у нас поперек дороги, так что не заметить его мы не можем. А эпизод этот темный, таинственный и решительно не документированный; так что непонятно, как его объяснить. Писать о нем можно целые томы; целые религиозные системы можно на нем основать. И посему наш долг — сообщить факты, насколько они нам известны, а читатель уж пусть сам из них извлечет, что сумеет.

Летом после той бедственной зимы, которая видела холод, потоп, гибель многих тысяч и крушение всех Орландовых надежд,— он был

отдален от двора; впал в жестокую немилость у многих всесильных вельмож своего времени; ирландский род Дезмондов справедливо от него отшатнулся; король довольно натерпелся от ирландцев, чтобы радоваться еще и этому сюрпризу,— тем летом Орландо жил в просторном сельском замке, в совершенном уединении. И однажды июньским утром — была суббота, восемнадцатое число — он не встал ото сна в обычный час, а когда камердинер зашел к нему в спальню, оказалось, что он крепко спит. И его не могли добудиться. Он лежал в забытьи, едва заметно дышал; и хотя под окном посадили собак, чтобы те подняли лай, возле его постели непрестанно гремели барабаны, цимбалы и кастаньеты; под подушку ему совали можжевеловый куст; к ногам прилепляли горчичные пластыри — он не просыпался, не принимал пищи, не выказывал ни малейших признаков жизни битых семь дней. На восьмой же день он проснулся в обычный свой час (без четверти восемь, минута в минуту) и выгнал из спальни всем скопом истошных женщин и деревенских зевак; что вполне естественно; странно, однако, то, что он ничего не помнил о своем состоянии, но оделся и велел подать ему коня, будто встал поутру как ни в чем не бывало, хорошенько выспавшись со вчерашнего вечера. И, однако, судя по всему, кое-какие перемены имели место в покоях его мозга, ибо, хоть он был вполне разумен и даже, пожалуй, спокойней и сдержаннее, чем прежде, он, кажется, не очень отчетливо помнил свою предшествующую жизнь. Он слушал, как люди рассказывали о Великом Холоде, о катаньях и гуляньях, но никогда ничем — разве что проведет рукой по лбу, как бы стирая темное облако,— не выдавал, что сам он был их свидетелем. Когда обсуждались события последних шести месяцев, он казался не то что расстроенным, а скорей растерянным, будто его тревожили давние смутные воспоминания или он силился восстановить историю, рассказанную кем-то другим. Заметили, что когда речь заходила о России, о княжнах или кораблях, он неприятно мрачнел, вставал и смотрел в окно или подзывал к себе пса, а то вытаскивал ножик и принимался выстругивать кедровую тросточку. Но доктора в ту пору были едва ли умнее теперешних и, попрописывав ему покой и движенье, голод и усиленное питание, общение и уединение, постельный режим и сорок миль верхом между обедом и ужином плюс обычные успокаивающие и возбуждающие средства, иногда по наитию присовокупив ко всему этому горячую простоквашу со слюной тритона по утрам и настойку из павлиньей желчи перед сном, наконец предоставили его самому себе, вынеся вердикт, что он спал в течение недели.

Но если это был сон, то — трудно удержаться от вопроса — какова природа подобных снов? Быть может, это оздоровительное средство — состояние забытья, когда самые мучительные воспоминания, способные навеки искалечить жизнь, сметаются темным крылом, которое их очищает от грубости и наделяет, даже самые низкие, самые уродливые из них, свечением и блеском? Не накладывает ли смерть свой перст на жизненную смуту для того, чтобы та сделалась для нас переносима? Быть может, мы так устроены, что смерть нам прописана в ежедневных мелких дозах, чтобы одолевать трудное дело жизни? И какой-то чуждой, неведомой властью преобразуется драгоценнейшее в нас помимо нашей воли? Быть может, Орландо, не снеся своих страданий, на неделю умер, а потом воскрес? Да, но что такое тогда смерть? И что такое жизнь? Добрых полчаса прождав ответов на эти вопросы и не дождавшись их, продолжим, однако, нашу повесть.

Итак, Орландо теперь вел самую уединенную жизнь. Быть может, опала при дворе и непереносимое горе были тому причиной, но поскольку он ничуть не стремился оправдаться и редко приглашал к себе гостей (хотя толпы приятелей по первому бы зову к нему пожаловали), очевидно, жизнь в доме отцов вдали от света не очень уж ему претила. Он сам предпочел одиночество. Никто толком не знал, как проводит он свои дни. Слуги, которых он всех оставил при себе, хотя обязанности их сводились, в общем, к тому, чтобы подметать необитаемые покои и застилать пустующие постели, сидя по вечерам за пирогами с элем и наблюдая за свечой,

плывущей по галереям, через залы, по лестницам, в опочивальни, заключали, что хозяин замка совершает одинокий его обход. Никто не решался следовать за ним, потому что замок посещался всевозможного рода призраками и к тому же из-за размеров его вы легко могли заблудиться и либо свалиться с какой-нибудь лестницы, либо открыть ненароком потайную дверцу и она, хлопнув на ветру, могла вас заточить навеки,— что и случалось весьма нередко, о чем красноречиво свидетельствовали часто обнаруживаемые скелеты людей и животных в позах живейшей муки. Затем свеча терялась совершенно, и миссис Гримздитч, ключница, объясняла мистеру Дапперу, капеллану, как горячо она надеется, что с его светлостью ничего плохого не случилось. Мистер Даппер высказывался в том смысле, что его светлость сейчас, верно, преклоняет колена среди отеческих гробов в капелле, которая располагалась на бильярдном корте в полумиле далее к югу. Ибо, опасался мистер Даппер, на совести его светлости есть кое-какие грехи; на что миссис Гримздитч возражала не без горячности, что у большинства из нас они водятся; и миссис Стьюкли, и миссис Филд, и старая няня Карпентер хором вступались за его светлость; а камердинеры и грумы божились, что это ведь жалость одна, когда такой благородный господин слоняется по дому и нет чтоб пойти на лису или же гнать оленя; и даже прачки и судомойки, все Джуди и Розы, передавая по кругу пирог, громко свидетельствовали о том, как его светлость обходителен, как щедро оделяет серебром на брошки и ленты, и даже арапка, которую назвали Грейс Робинсон, когда превращали в христианскую женщину, и та́ все понимала и соглашалась — единственным доступным ей способом, то есть выказывая все свои зубы в широченной улыбке,— что его светлость самый красивый, добрый и великодушный господин. Одним словом, вся челядь, все мужчины и женщины, глубоко его чтили и ругали княжну-чужестранку (правда, они ее называли немного грубей), которая его довела до такого.

И хотя, возможно, это трусость или любовь к горячему элю побуждала мистера Даппера воображать, что его светлость безопасно пребывает среди гробов и незачем спешить на его розыски, вполне вероятно, что мистер Даппер был прав. Орландо пристрастился теперь к мыслям о смерти и гниении и, пройдя долгими галереями и бальными залами со свечой в руке, оглядев один за другим портреты, как бы силясь найти среди них дорогие утраченные черты, входил в часовню и долго сидел на господской скамье, наблюдая игры лунного света и переливы знамен в обществе исключительно какой-нибудь летучей мыши или мотылька-бражника. Но ему и этого казалось мало, он спускался в склеп, где, гроб на гробе, лежали десять поколений его предков. Место было столь редко посещаемо, что крысы свободно занимались добыванием свинца и то берцовая кость цеплялась за полу его плаща, то хрустел под ногою череп какого-нибудь старого сэра Майлза. Склеп был мрачный; вырыт глубоко под фундаментом замка, словно первый владелец, явившийся из Франции вместе с Завоевателем, задался целью доказать, что вся слава мира зиждется на порче и прахе; что под плотью спрятан скелет; что мы, напевшись и наплясавшись наверху, ляжем внизу; что обратится в пыль порфирный бархат; что кольцо (тут Орландо, опустив свой светильник, подобрал закатившийся в угол золотой перстень, лишившийся камня) теряет свой рубин и глаз, столь некогда яркий, уж не сияет более. «Ничего не осталось от этих князей,— говорил Орландо, позволяя себе, вполне простительно, преувеличить титул,— все исчезает, все до последнего мизинца,— и он брал бесплотную руку в свою и сгибал и разгибал ей суставы.— Чья бы это могла быть рука? — задавался он вопросом.— Левая или правая? Мужчины или женщины? Юноши или старца? Натягивала ли поводья боевого коня или водила проворной иголкой? Срывала ли розы или сжимала хладную сталь? Была ли она...» — но тут либо воображение ему изменяло, либо, что более вероятно, принималось ему поставлять такую бездну примеров того, что́ могла бы делать рука, что, чураясь по обычаю своему главного труда композиции, каковой состоит в отсечении, он присоединял руку к прочим костям, припоминая при этом, что есть такой писатель Томас Браун,

доктор из Норвича [1], чьи сочинения на подобные темы удивительно пленяли его фантазию.

И, подняв свой светильник и приаккуратив кости, ибо, хоть и романтик, он чрезвычайно любил порядок и терпеть не мог, когда даже моток ниток валялся на полу, а не то что череп предка, он возобновлял свое странное, унылое хождение по галереям в поисках чего-то среди картин, прерываемое в конце концов прямо-таки взрывом рыданий, когда он видел заснеженный голландский пейзаж кисти неизвестного мастера. Тут ему казалось, что дальше и жить не стоит. Забыв про кости предков и про то, что жизнь зиждется на гробах, он стоял, сотрясаемый всхлипываниями, изнемогая от тоски по женщине в русских шальварах, с ускользающим взором, припухлым ртом и жемчугами на шее. Она убежала. Покинула его. Никогда уж он ее не увидит более. И он рыдал. И он пробирался обратно к своим покоям; и миссис Гримздитч, завидя свет в окне, отняв от губ кружку, говорила — благодарение Господу, его светлость опять у себя, в целости и сохранности; а она-то все время опасалась, что его подло убили.

Орландо тем временем придвигал стул к столу; открывал труды сэра Томаса Брауна и следовал за тонкими извивами одного из самых длинных и витиеватых размышлений доктора.

Ибо — хоть это материи не такого свойства, о каких стоит распространяться биографу,— для того, кто исполнил долг читателя, то есть определил по скудным там и сям оброненным нашим намекам полный объем и очерк личности; расслышал в глуховатом нашем шепоте живой голос героя; усмотрел без всяких даже наших на то указаний черты его лица и понял без единой нашей подсказки все его мысли — а для него-то мы только и пишем,— для такого приметливого читателя совершенно ясно, что Орландо странно состоял из многих склонностей — меланхолии, лени, страсти, любви к уединению, не говоря уж о тех причудах и тонкостях, которые были означены на первой странице, когда он целился кинжалом в голову мертвого негра; срезал ее; снова рыцарственно вывесил вне досягаемости и уселся потом на подоконник читать. В нем рано пробудился вкус к чтению. Еще в детстве паж, бывало, заставал его за полночь с книжкой. У него отобрали свечу — он стал разводить светляков. Удалили светляков — он чуть не спалил весь дом головешкой. Короче, не тратя слов понапрасну — это уж пусть романист разглаживает мятые шелка, доискиваясь тайного смысла в их складках,— он был благородный вельможа, страдающий любовью к литературе. Многие люди его времени, а тем более его круга, избегли заразы и тем самым могли носиться, скакать верхом и строить куры в полное свое удовольствие. Но иные рано подвергались воздействию микроба, который зарождается, говорят, в пыльце асфоделей, навеивается италийскими и греческими ветрами и столь вредоносен, что из-за него дрожит занесенная для удара рука, туманится взор, высматривающий добычу, и язык заплетается на любовном признании. Роковой симптом этой болезни — замена реальности фантомом, и стоило Орландо, которого фортуна щедро наделила всеми дарами — бельем, столовым серебром, домами, слугами, коврами и постелями без числа,— стоило ему открыть книжку — как все его имущество обращалось в туман. Девять акров камня, составлявшие дом его,— исчезали; пропадали сто пятьдесят дворовых; восемьдесят скаковых лошадей становились невидимы; слишком долго тут было бы перечислять все ковры, диваны, конскую упряжь, фарфор, блюда, графины, кастрюли и прочую движимость, часто из кованого золота, которые улетучивались из-за этих миазмов, как морской туман. Но тем не менее факт остается фактом, и Орландо сидел и читал, один, голый человек на голой земле.

Теперь, в одиночестве, болезнь быстро им завладела. Часто читал он шесть часов кряду ночами; и когда к нему являлись за указаниями, как забивать скот и собирать пшеницу, он поднимал от объемистого тома блуждающий взор, словно не понимая, чего от него хотят. Уже это одно

[1] Сэр Томас Браун (1605—1682) — писатель, яркий представитель стиля барокко. Вирджиния Вулф не раз писала о нем в своих эссе.

было куда как печально и надрывало сердце Холлу, сокольничему, Джайлзу, камердинеру, миссис Гримздитч, ключнице, мистеру Дапперу, капеллану. Ну на что, говорили они, книжки такому благородному господину? Пусть бы читали их умирающие да паралитики. Но худшее было впереди. Ведь когда болезнь чтения проникает в организм, она так его ослабляет, что он становится легкой добычей для другого недуга, гнездящегося в чернильнице и гноящегося на кончике пера. Несчастная жертва его начинает писать. И если достоин жалости в таком случае человек бедный, все имущество которого лишь стол да стул под протекающей крышей — ему и терять-то, в сущности, нечего,— положение богача, который владеет домами, скотом, служанками, бельем и ослами и тем не менее пишет книжки, горько прямо-таки до слез. Все это теряет в его глазах всякую прелесть; он пытаем каленым железом; пожираем ядовитыми газами. Он отдал бы все до полушки (такова беспощадность микроба), только бы написать тощую книжку и прославиться; но за все золото Перу не обрести ему сокровища одной-единственной чеканной строчки. И он угасает и чахнет, пускает себе пулю в лоб, отворачивается лицом к стене. Он прошел сквозь врата смерти, он видел адово пламя.

К счастью, Орландо обладал сильным организмом, и болезнь (по причинам, которые мы еще изложим) не могла сломить его так, как сломила многих ему подобных. Но она его серьезно затронула, как мы покажем в дальнейшем. А именно — просидев час или более над сэром Томасом Брауном и по тому, как трубит олень и по оклику ночного сторожа удостоверясь, что стоит глубокая ночь и все крепко спят, Орландо пересек кабинет, достал из кармана серебряный ключик и отпер дверцу большого стоявшего в углу шифоньера. Внутри было штук пятьдесят кипарисовых ларцов и каждый снабжен ярлычком, аккуратно надписанным рукою Орландо. Он замер, как бы раздумывая, который открыть. На одном значилось «Смерть Аякса», на другом — «Рождение Пирама», на другом «Ифигения в Авлиде», на другом «Смерть Ипполита», на другом «Мелеагр», на другом «Возвращение Одиссея» — словом, едва ли хоть один ларец не был украшен именем мифологического лица на роковом изломе его жизненного пути. И в каждом лежал объемистый документ, исписанный рукою Орландо. Да. Орландо страдал своим недугом уж много лет. Никогда еще мальчик так не клянчил яблока, как Орландо бумаги; ни сластей, как клянчил Орландо чернил. Ускользнув от игр и бесед, он скрывался за занавесами, в исповедальнях или в чулане за спальней своей матери, где в полу была большая дыра, кошмарно пропахшая птичьим пометом,— с чернильницей в одной руке, с пером в другой и с бумажным свитком на коленях. Таким образом, были написаны еще до его двадцатипятилетия сорок семь трагедий, историй, рыцарских романов, поэм; кое-что в стихах, иное в прозе; кое-что по-французски, иное по-итальянски; все романтическое, все длинное. Одно сочинение тиснул он в печати у Джона Болла в Чипсайде; но хоть и любовался книжицей в несказанном восторге, он, разумеется, не решился показать ее матери, ибо писать, а тем более издаваться, он знал, для дворянина неискупимый позор.

Сейчас, однако, в уединении, под глухим прикрытием ночи, он извлек из тайника толстую рукопись, озаглавленную «Ксенофила, Трагедия», или что-то в таком духе, и тонкую, озаглавленную просто «Дуб» (единственное односложное название среди множеств), придвинул к себе чернильницу, потеребил перо и проделал еще ряд телодвижений, с которых все, страдающие этим пороком, начинают свой ритуал. Но тут он запнулся.

Поскольку запинка эта имела для его истории исключительное значение, больше даже, нежели многие деянья, повергающие людей на колени и окрашивающие реки кровью, нам надлежит задаться вопросом, отчего он запнулся; и ответить по должном размышлении, что произошло это, мол, потому-то и потому. Природа, так лукаво над нами подтрунивающая, так разнообразно творящая нас из сора и бриллиантов, из гранита и радуги и норовящая все это сунуть в самый несуразный сосуд — и вот поэт ходит с лицом мясника, а мясник с лицом поэта; природа, вечно балующаяся

тайным кознодейством, так что и сегодня даже (первого ноября 1927 года) мы не знаем, зачем поднимались вверх по лестнице и зачем снова спускаемся вниз; и бóльшая часть повседневных наших поступков — как скольжение корабля в незнаемом море, и матросы на топ-мачте кричат, направляя подзорные трубы на горизонт: «Есть там земля или нет?», на что мы ответим «Да», если мы пророки; если мы честны, ответим «Нет»; природа, которой от нас и так уж досталось в продолжение этой, впрочем, кажется, невозможно длинной фразы, еще усложнила свою задачу, а нас окончательно сбила с панталыку, не только напичкав наше нутро неизвестно чем — подпихнув пару полицейских штанов к подвенечной фате королевы Александры,— но ухитрившись все это вдобавок кое-как сметать на одну-единственную живую нитку. Память — белошвейка, и капризная белошвейка притом. Память водит иголкой так-сяк, вверх-вниз, туда-сюда. Мы не знаем, что за чем следует, что из чего проистекает. И вот простейший, обычнейший жест — сесть к столу, придвинуть к себе чернильницу — взметает бездну самых диковинных, самых несуразных обрывков — то светлых, то темных,— они сверкнут, исчезнут, взовьются, вспенятся, опадут, как исподнее семейства из четырнадцати человек, висящее на буйном ветру. Нет чтобы стать простым, откровенным, нехитрым делом, за которое не придется краснеть,— обычнейшие наши поступки обставляются трепетом и мерцанием крыл, взметом и дрожаньем огней. Так, когда Орландо обмакнул перо в чернильницу, он увидел насмешливое лицо утраченной княжны и тотчас задался миллионом вопросов, и каждый был как омоченная желчью стрела. Где она; и почему его бросила? Посол ей правда дядя или?.. Может быть, они сговорились? Или ее принудили? Или она замужем? Или умерла? И все они до того отравляли его, что, давая выход своей муке, он в сердцах вонзил перо в чернильницу, разбрызгав чернила на стол, каковой жест, как это ни объясняй (а возможно, тут и нет объясненья: память необъяснима), тотчас подменил лицо княжны другим, совершенно иного свойства. Но чье же это лицо? — спрашивал себя Орландо. И ему пришлось ждать, может быть, целых полминуты, глядя на новый, легший поверх прежнего портрет, как следующая картинка волшебного фонаря сквозит уже под прежней,— пока он смог себе ответить: «Это лицо того обшарпанного толстяка, который сидел в комнате Туитчетт, тому много-много лет, когда старая королева Бесс приезжала сюда обедать; и я его видел,— продолжал Орландо, цепляясь за новый пестрый лоскут,— он сидел за столом, когда я спускался, я шел мимо и заглянул в дверь, и у него еще были такие немыслимые глаза, я больше таких не видывал, да, но кто же он, кто, черт его побери?» — спросил Орландо, ибо тут Память вдобавок ко лбу и глазам подсунула ему сперва дешевое засаленное жабо, потом темный камзол и наконец пару грубых башмаков, какие носят жители Чипсайда. «Не дворянин, нет; не из наших»,— сказал Орландо (чего он, конечно, никогда не сказал бы вслух, ибо был учтивейший молодой человек; и что, однако, доказывает, как благородное происхождение определяет строй мыслей и как, между прочим, нелегко стать дворянину писателем). «Поэт, не иначе». По всем законам, Память, вдоволь над ним поизмывавшись, могла бы сейчас взять и стереть всю картину или притянуть сюда что-нибудь вовсе уж идиотское — собаку, например, гоняющуюся за кошкой, или старуху, сморкающуюся в красный фуляр,— и, поняв, что ему не угнаться за всеми ее скачками, Орландо побежал бы пером по бумаге. (Мы ведь можем, можем, надо только решиться, вышвырнуть нахалку Память за дверь со всеми ее прихвостнями.) Но Орландо медлил. Память все держала перед ним образ обшарпанного толстяка с сияющими глазами. Он все смотрел; все медлил. Он запнулся. А запинаться нельзя, тут-то нам и погибель. Тут-то вползает в нашу крепость мятежный дух и поднимает войска на восстание. Орландо уж разок так запнулся, и этим тотчас воспользовалась Любовь, вломившись к нему со всей своей чудовищной ордой, с гобоями, цимбалами и сорванными с плеч головами в кровавых патлах. Как он терзался тогда! И вот он снова запнулся, и в пробитую брешь скакнула Суетность, эта карга, и эта ведьма Поэзия,

и Жажда Славы — старая потаскуха; взялись за руки и устроили из его сердца танцульку. Стоя навытяжку в тиши своего кабинета, он поклялся, что станет первым поэтом в своем роду и покроет свое имя немеркнущим блеском. Он говорил (перечисляя имена и подвиги предков), что вот сэр Борис разбил в бою поганых; сэр Гэвин — поляка; сэр Майлз — турка; сэр Эндрю — франка; сэр Ричард — австрияка; сэр Джордан — галла; и сэр Герберт — испанца. Да, они умели биться и побеждать, бражничать и любить, охотиться и транжирить, пировать и волочиться — а что осталось? Что? Череп; палец. Тогда как, сказал он, обращаясь к распахнутому на столе сэру Томасу Брауну...— и тут он снова запнулся. От всех стен комнаты, от ночного ветра, от лунного света чародейно отдалась божественная мелодия из таких слов, которые, чтобы они совсем не затмили нашу бедную страницу, мы и оставим лежать там, где они лежат, погребенными, но не мертвыми, скорее набальзамированными, так свежи их краски, так глубоко их дыхание,— и Орландо, сравнив этот подвиг с подвигами своих предков, воскликнул, что те со всеми своими делами — прах и тлен, этот же человек и слава его — бессмертны.

Скоро, однако, он понял, что битвы, которые вели сэр Майлз и прочие против вооруженных рыцарей, дабы завоевать королевство, и вполовину не были так свирепы, как те, что вел ныне он против родного языка, дабы завоевать бессмертие. Всякого, кто хотя бы шапочно знаком с пытками сочинительства, можно избавить от подробностей; как он писал и испытывал удовлетворение; читал и испытывал омерзение; правил и рвал; вымарывал; вписывал; приходил в восторг; приходил в отчаяние; с вечера почивал на лаврах и утром вскакивал как ужаленный; ухватывал мысль и ее терял; уже видел перед собою всю книгу, и вдруг она пропадала; разыгрывал за едою роли своих персонажей; их выкрикивал на ходу; вдруг плакал; вдруг хохотал; метался от одного стиля к другому; то избирал героический, пышный; то бедноватый, простой; то долины Темпа; то поля Кента и Корнуолла; и никак не мог решить, божественнейший ли он гений или самый жуткий дурак на всем белом свете.

Ради ответа на этот последний вопрос он, после месяцев упорных трудов, почел нужным нарушить многолетнее уединение и сообщиться с внешним миром. У него был в Лондоне приятель, некто Джайлз Ишем Норфолкский, который, хоть и знатного рода юноша, водил знакомство с писателями и, без сомненья, мог свести Орландо с кем-нибудь из этого благословенного — да что там — святого братства. Ибо для Орландо, в нынешнем его состоянии, человек, который написал книжку и увидел ее в печати, был осиян блеском, затмевавшим блеск всякой знатности и положения в обществе. Ему представлялось, что столь божественные идеи преобразуют даже и самые тела своих обладателей. Вместо волос у них нимбы, дыхание благоухает ладаном и розы растут из их уст — чего, конечно, он не мог сказать ни о себе самом, ни о мистере Даппере. Он и не воображал большего счастья, как, сидя за кулисами, послушать их беседы. При одной лишь мысли об этих острых и смелых речах даже воспоминания о разговорах с друзьями-придворными — собаки, лошади, женщины, карты — наводили на него несносную тоску. Он с гордостью вспоминал, как его всегда дразнили книжным червем, как смеялись над его страстью к уединению и литературе. Он был не мастер на ловкие фразочки. В дамских гостиных стоял столбом, шагал как гренадер, то и дело краснел. Два раза, по чистой рассеянности, свалился с коня. Однажды сломал леди Винчилси веер, сочиняя стихи. Он с удовольствием перебирал эти и другие свидетельства своей непригодности к светской жизни, и сладостная надежда, что все метания юности, его неловкость, склонность краснеть, долгие прогулки и любовь к сельской жизни доказывают, что сам он принадлежит скорее к избранному, нежели к знатному племени — скорей писатель, нежели аристократ,— завладела его душой. Впервые после той ночи великого потопа он чувствовал себя счастливым.

И вот он упросил мистера Ишема Норфолкского препроводить мистеру Николасу Грину в Клиффордс Инн письмо, выражавшее восхищение

Орландо его трудами (Ник Грин был в то время весьма знаменитый писатель) и желание свести с ним знакомство; о каковой чести он едва осмеливается просить; ибо ничего не может предложить взамен; но ежели мистер Николас Грин великодушно согласится его посетить, карета четверкой будет ждать на углу Феттер-лейн в любой час, какой мистер Грин благоволит назначить, и его препроводит в дом Орландо. Следующие фразы добавьте по вкусу; и сами вообразите восхищенье Орландо, когда, в довольно скором времени, мистер Грин принял приглашение Благородного Лорда; занял место в его карете и был доставлен в зал южного крыла главного здания ровно в семь часов пополудни в понедельник двадцать первого апреля.

Здесь принимали многих королей, королев и послов; здесь стаивали судьи в своих горностаях. Самые очаровательные дамы страны приходили сюда; и самые суровые воины. Здесь были вывешены знамена Флодена [1] и Азенкура [2]. Здесь были выставлены гербы со львами, леопардами и коронами. Здесь трещали, бывало, от золотых и серебряных брашен длинные столы; и в огромных каминах италийского драгоценного мрамора целый дуб с миллионом своих листочков, со всеми гнездами воробьев и грачей еженощно сжигался дотла. Сейчас здесь стоял поэт Николас Грин, дурно одетый, в мятой шляпе, потрепанном камзоле, с маленьким саквояжем в руке.

Легкое разочарование в поспешившем к нему навстречу Орландо было неминуемо. Росту поэт был не выше среднего; неказистый; щуплый, какой-то сутулый; входя, он наступил на лапу догу, и тот его укусил. Вдобавок Орландо, при всем своем знании человечества, не знал толком, куда его отнести. Что-то в нем было такое: и не слуга, и не помещик, и не вельможа. Голова с выпуклым лбом и резкий нос — благородной как будто формы; но скошенный подбородок. Сияющие глаза, но распущенные, дряблые губы. Нет, смущало скорее общее выражение этого лица. Не было в нем того величавого покоя, который так приятно опечатывает высокородное чело; не было и благопристойного раболепства, проясняющего черты вышколенной челяди; это было рыхлое, сморщенное, вытянутое лицо. Хоть и поэт, он, кажется, скорей умел распекать, чем льстить; дуться, чем ласкаться; ковылять, чем пришпоривать коня; суетиться, чем предаваться неге; ненавидеть, чем любить. Это, кстати, сквозило и в торопливости его движений; в острой настороженности взгляда. Орландо несколько смешался. Меж тем они пошли обедать.

Тут Орландо, обычно принимавший такие вещи как должное, впервые безотчетно устыдился количества своих слуг и великолепия стола. Еще более удивительно — он не без гордости вспомнил (обычно эта мысль ему претила) про свою прародительницу Молл, которая доила коров. Он уже готов был навести речь на эту скромную женщину с ее подойником, но поэт его опередил, заметив, что, как ни странно, при всей затасканности фамилии Грин, предки его явились сюда вместе с Завоевателем и принадлежали к цвету французской знати. К несчастью, род захирел и мало что оставил в веках, разве что подарил свое имя королевскому округу Гринвич. Дальнейшие наблюдения в том же духе — об утраченных замках, гербах, родичах, баронствующих на севере, брачных узах с аристократией на востоке, о том, как одни Грины пишут свою фамилию с двойным «и», а другие без оного, продолжались до тех пор, покуда не подали оленину. Тут Орландо ухитрился вставить несколько слов насчет бабушки Молл с ее коровами и успел слегка облегчить душу к тому времени, когда пред ними явились фазаны. Но только когда рекой полилась мальвазия, осмелился Орландо перейти к теме, которую, увы, не мог не считать еще более важной, чем Грины или коровы; а именно к священному предмету поэзии. Едва было произнесено это слово, глаза поэта загорелись;

[1] Флоден (Флоден Филд) — место в Нортумберленде, где 9 сентября 1513 г. граф Суррей разбил войска шотландского короля Якова IV.

[2] Азенкур — место на севере Франции, где 25 октября 1415 г. Генрих V разбил превосходящие силы французов.

он отбросил заемные повадки благородного господина; стукнул рюмкой об стол и разразился такой длинной, путаной, пылкой и горькой повестью, каких Орландо не слыхивал иначе как из уст обманутой женщины,— об одной своей пьесе; о другом поэте; об одном критике. Что же до существа самой поэзии, Орландо уловил только, что продавать ее труднее, чем прозу, и строчки хотя и короче, их дольше писать. Так разговор шел с бесконечными ответвлениями, покуда Орландо не отважился намекнуть, что и сам он, грешный, имеет дерзость писать,— но тут поэт вскочил со стула. За панелью пискнула мышь, сказал он. Нервы у него, объяснил он, совсем сдали и мышиный писк на недели его выводит из строя. Дом, без сомненья, кишит паразитами, просто Орландо не замечал. Далее поэт поведал Орландо все о своем здоровье за последние десять лет. Оно было столь расшатано, что просто удивительно, как он выжил. Он перенес паралич, подагру, малярию, водянку и три вида лихорадки по очереди; сверх того, у него расширение сердца, увеличение селезенки и больная печень. Но мало этого, сказал он Орландо, у него бывают ощущения в хребте, не поддающиеся описанию. Один позвонок, приблизительно третий сверху, горит, как в огне; другой, приблизительно второй снизу, холодеет, как лед. Иной раз он просыпается буквально со свинцовой головой; а то как будто внутри у него жгут тысячи свечей и запускают фейерверки. Он различит, он сказал, розовый лепесток через две перины; и может пройти через весь Лондон с завязанными глазами: его стопы наизусть помнят все мостовые. Короче говоря, он представляет собой столь чувствительный, столь тонко сработанный механизм (тут он как бы невзначай поднял руку, и рука была в самом деле безукоризненной формы), что просто диву дается, как поэма его разошлась всего в пятистах экземплярах, впрочем, это, разумеется, козни. Одним словом, заключил он, стукнув кулаком по столу,— искусство поэзии в Англии отжило свой век.

Как могло это случиться, когда Шекспир, Марло, Бен Джонсон, Браун, Джон Донн еще писали или только что перестали писать, Орландо, высыпавший имена своих любимцев, решительно не постигал.

Грин сардонически расхохотался. Положим, у Шекспира, согласился он, и сыщется несколько недурных сценок; но ведь все почти содраны у Марло. Этот Марло кое-что обещал, но как можно судить о мальчишке, который умер, не доживши до тридцати? Что до Брауна, этот вздумал писать поэзию прозой, а подобные вычуры скоро набивают оскомину публике. Донн — шарлатан, маскирующий убогость смысла темным слогом. Простаки ловятся на эту наживку, но через каких-нибудь двенадцать месяцев стиль выйдет из моды. Ну, а Бен Джонсон — Бен Джонсон его друг, а он никогда не хулит своих друзей.

Нет, заключил он, прошел, прошел великий век литературы; великий век литературы был при греках; елизаветинский век во всех отношениях уступает Элладе. В великий век поэты устремлялись к божественной цели, которую он назвал бы La Gloire,[1] (он произносил «Глор», и Орландо не сразу ухватил смысл). Теперь молодые сочинители все на жалованье у книгопродавцев и готовы состряпать любой вздор, лишь бы те могли его сбыть. Шекспир тут первейший мерзавец, но ничего, он уже поплатился. Нынешних, объяснял Грин, всех узнаёшь по жеманности притязаний и дерзкой дикости опытов — греки такого бы и секунды не потерпели. Как ни больно ему в этом признаваться — он ведь любит литературу больше жизни,— он ничего не видит хорошего в настоящем и не питает никаких надежд на будущее. И с тем он налил себе еще стакан вина.

Эти откровения потрясли Орландо; однако он замечал невольно, что самого критика нисколько они не печалят. Напротив, чем больше бранил он свой век, тем больше казался доволен. Он как сейчас помнит, рассказывал он, один вечер в Таверне Петуха на Флит-стрит, когда там собрались Кит Марло и кое-кто еще. Кит расходился, нализался, ему это было недолго,

[1] La Gloire — слава *(франц.)*.

и молол чепуху. Он так и видит, как Кит икает, тыча стаканом в приятеля: «Вот хоть ты меня режь, Билл (это он Шекспиру), набегает большая волна, и ты на гребне», чем он хотел сказать, пояснил Грин, что мы на пороге великого века английской литературы, а из Шекспира может выйти толк. Марло повезло, он был убит два дня спустя в пьяной драке [1] и не увидел, чем обернулись его пророчества. «Дурак несчастный! — сказал Грин.— Такое молоть! Подумать только — великий век! Это елизаветинский-то век — великий!»

— То-то, любезный лорд,— продолжал он, поуютней устраиваясь в кресле и крутя меж пальцев стакан,— не будем унывать, будем дорожить прошлым и честию воздадим тем авторам — немного уж их осталось,— которые берут античность за образец и пишут не ради презренной пользы, но для Глор. (Орландо желал бы ему лучшего выговора.) Глор,— продолжал Грин,— вдохновляет возвышенный дух. Вот имел бы я пенсион в три тысячи фунтов, выплачиваемый поквартально, я бы жил для одной лишь Глор. Каждое утро валялся бы в постели, перечитывая Цицерона. Научился бы так подражать его слогу, что вы не отличили бы меня от него. Вот что называю я благородной изящной словесностью,— сказал Грин.— Вот что называю я Глор. Но для этого надобен пенсион.

Орландо меж тем оставил всякую надежду поговорить с поэтом о своих собственных трудах; но ничего, ничего; разговор перекинулся на личности Шекспира, Бена Джонсона и прочих — всех их Грин близко знал и о каждом мог порассказать немало забавных анекдотов. Никогда Орландо так не смеялся. Вот они каковы, его божества! Половина из них пьянчуги, все волокиты! Все почти собачатся с женами; ни один не побрезговал ложью, ни самой презренной интригой. Они могут царапать стишки на обороте счета из прачечной, прислонив его к затылку наборщика в дверях печатни. Так явился в свет Гамлет; и Лир; и Отелло. Немудрено, как заметил Грин, что в пьесах этих столько огрехов. Прочее время тратится на попойки, пирушки по кабакам, и при этом выкрикивается такое, что превосходит самое бурное воображение, и такое вытворяется, что и не снилось самым отчаянным придворным шалунам. Все это Грин рассказывал с воодушевлением, совершенно пленявшим Орландо. Он обладал подражательным даром и воскрешал к жизни мертвых, а порой высказывал и прелестные суждения о книгах, если те были написаны три века тому назад.

Так проходило время, и Орландо испытывал к своему гостю странную смесь приязни и презрения, восхищения и жалости и еще что-то, столь смутное, что не покрывалось точным наименованием, но слегка отдавало ужасом и слегка восторгом. Он непрестанно говорил о себе, но был столь увлекательный собеседник, что можно было заслушаться повестью о его подагре. И он был так остроумен; так невоспитан; так запанибрата с Богом и Женщиной; сочетал в себе столько невероятных способностей; был начинен такими увлекательными сведениями; умел приготовить салат на триста разных ладов; знал все, что только можно знать о букетах вин; играл на полудюжине музыкальных инструментов и был первым и, вероятно, последним по части запекания сыра в большом итальянском камине. То, что он не отличал герани от гвоздики, дуба от березы, дога от борзой, суягной овцы от ярочки, пшеницы от ячменя, пашни от залежи; не слыхивал об урожае и недороде; считал, что апельсины растут под землей, а репа на дереве; предпочитал сельскому любой городской пейзаж,— все это и многое другое поражало Орландо, никогда не встречавшего подобных людей. Даже горничные, презирая его, прыскали при его шуточках, и лакеи, ненавидя его, топтались поблизости, прислушиваясь к его историям. В самом деле, никогда еще в доме не царило такое оживление — и все это давало Орландо пищу для раздумий и побуждало сравнивать новый образ жизни с прежним. Он вспоминал привычные беседы об апоплексическом ударе короля Испанского или случке кобеля; вспоминал, как делил свое время между туалетным столиком и конюшнями; как лорды задавали храпака над своим вином

[1] Кристофер Марло (1564—1593) — значительнейший из предшественников Шекспира, был действительно убит в кабаке.

и ненавидели всякого, кто их будил; как мощны и бодры они телесно; как умом — ленивы и робки. Растревоженный этими мыслями, не в силах их уравновесить, он пришел к заключению, что впустил в дом пагубный дух беспокойства, который впредь не даст ему мирно спать по ночам.

В тот же самый миг Ник Грин пришел к прямо противоположному выводу. Лежа как-то поутру в мягчайшей постели, на тончайших простынях и глядя сквозь свое эркерное окно на дерн, в течение трех веков не знававший ни щавеля, ни одуванчика, он подумал, что если тотчас не унесет отсюда ноги, его здесь заживо уморят. Вставая и слушая воркование голубей, одеваясь и слушая шелест струй, он чувствовал, что без грохота ломовых телег по булыжникам Флит-стрит ему не написать больше ни строчки. Если это еще немного продлится, подумал он, слушая, как лакеи поправляют огонь в камине и уставляют за дверью скатерть серебряными приборами, я усну (тут он истово зевнул) и никогда не проснусь.

А потому он отыскал Орландо в его кабинете и объявил ему, что всю ночь не сомкнул глаз из-за тишины. (В самом деле, замок на пятнадцать миль во все стороны был окружен парком и обнесен стеной в десять футов высотою.) Тишина, сказал он, всего губительней для его нервов. С разрешения Орландо, он нынче же утром откланяется. Орландо испытал известное облегчение, но ему и ужасно было жаль его отпускать. Дом без него, думал он, покажется скучным. При расставании (ибо до сих пор речь об этом предмете не заходила) он отважился всучить поэту свою пьесу о смерти Геракла и попросить его суждения. Поэт пьесу взял; что-то принялся мямлить о Глор и Цицероне, но Орландо прервал его, пообещав поквартально выплачивать пенсион; после чего Грин, рассыпаясь в изъявлениях преданности, вскочил в экипаж и был таков.

Никогда еще большой зал не казался таким огромным, пышным и пустым, как когда откатывала коляска. Орландо знал, что уже ему не решиться поджаривать сыр в итальянском камине; не отважиться отпускать шуточки по поводу итальянской живописи; не изловчиться так смешивать пунш, как положено его смешивать; тысячи милых колкостей и острот навсегда для него утрачены. Но зато какое счастье больше не слышать этого бранчливого голоса, какая роскошь снова вкусить одиночество — так невольно он рассуждал, отвязывая дога, который шесть недель просидел на цепи, ибо стремился куснуть поэта, едва его завидит.

Ник Грин в тот же вечер водворился на углу Феттер-лейн и застал там все приблизительно таким же, как и оставил. Миссис Грин разрешалась от бремени в одной комнате; Том Флетчер пил джин в другой. Повсюду валялись по полу книги; обед — какой-никакой — подавался на туалетном столике, на котором дети пекли куличики из песка. Тут, Грин чувствовал, была истинная атмосфера для творчества; тут ему хорошо писалось, и он писал. Тема напрашивалась сама. Благородный лорд у себя дома. В гостях в поместье у вельможи — так как-нибудь будет называться его поэма. Схватив перо, которым сынишка щекотал кошке ухо, и вонзив его в служившую чернильницей яичную скорлупу, Грин тотчас настрочил вдохновенную сатиру. Она была столь меткой, что ни у кого не могло явиться сомнений, что разделываемый в ней лорд — это Орландо; интимнейшие его замечания и сокровеннейшие поступки, его порывы и прихоти, самый цвет волос и манера на иноземный лад раскатывать «эр» — все было представлено публике. Если же сомнения все-таки могли зародиться, Грин их рассеивал, вводя в текст, почти без камуфляжа, отрывки из этой аристократической трагедии «Смерть Геракла», которую он, в точности как и ожидал, нашел напыщенной и многословной донельзя.

Памфлет, тотчас выдержав несколько изданий и оправдав затраты миссис Грин на десятые роды, вскоре был препровожден друзьями, всегда пекущимися о подобных материях, самому Орландо. Прочитав его со смертельным самообладанием от начала и до конца, он позвонил лакею; протянул ему сей документ на кончике каминных щипцов; приказал как можно глубже засунуть его в самую зловонную помойку поместья. Когда лакей направился к двери, Орландо его окликнул.

— Седлай самого быстрого коня в конюшне,— сказал он.— Во весь опор скачи в Харвич. Садись на корабль, какой пойдет на Норвегию. Там купи на псарне у самого короля отборнейших борзых королевских кровей, обоего пола. Безотлагательно доставь их сюда. Ибо,— пробормотал он едва слышно, вновь принимаясь за чтение,— с людьми я покончил.

Понятливый слуга поклонился и исчез. Он неукоснительно выполнил поручение своего господина и вернулся день в день три недели спустя, ведя на сворке превосходных борзых, из которых одна, пола женского, в ту же ночь произвела на свет под обеденным столом восьмерых прелестных щенков. Орландо велел принести их к нему в опочивальню.

— Ибо,— сказал он, поглаживая милых зверушек по головам,— с людьми я покончил.

Однако он поквартально выплачивал пенсион.

Так, к тридцати годам или около того, наш юный вельможа не только вкусил от всех предлагаемых жизнью плодов, но вполне познал их тщету. Любовь, честолюбие, женщины, поэты — Бог с ними со всеми! Литература — фарс. В ту ночь, когда он прочитал Гринов пасквиль «В гостях у вельможи в поместье», он устроил большой костер из пятидесяти семи сочинений, пощадив лишь «Дуб»: юношеская проба пера, и совсем коротенькая к тому же. Две вещи теперь оставались, в какие он верил; собаки и природа; борзая и розовый куст. От пестрого многообразия мира, от капризной сложности жизни ничего более не оставалось. Собака и куст — вот и все. И, стряхнув с себя тяжелые лохмотья иллюзий, совсем себя, следственно, оголив, он подзывал к себе собак и шагал через парк.

Так долго он просидел затворником над рукописями и книгами, что чуть не забыл об обольщениях природы, которые бывают в июне столь неотразимы. Поднявшись на вершину холма, откуда в ясные дни открывался вид на половину Англии с каёмкой Шотландии и Уэльса, он бросался на землю под любимым своим дубом и чувствовал, что если ему до конца дней не придется больше беседовать ни с мужчиной, ни с женщиной; если борзые его не разовьют в себе дара речи; если судьба не подсунет ему еще поэта или княжну, он довольно сносно проведет отпущенный ему срок.

Так он приходил сюда день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Он видел, как буки занимаются золотом и расправляются молодые папоротники; видел лунный серп и потом круглую луну; видел... но, быть может, читатель и сам вообразит все причитающееся ему дальше и представит себе, как каждое деревцо, каждый кустик в округе сперва будут обрисованы в зеленом виде, затем в золотом; как восходит луна и заходит солнце; как весна следует после зимы и осень за летом; как день сменяется ночью, а ночь сменяется днем; как разражается гроза и затем вновь проясняется небо; как все остается, в общем, без перемен и двести, и триста лет, разве что накопится немного пыли и паутины, с которой за полчаса сладит любая старушка; умозаключение, к которому мы, нельзя не признаться, могли бы прийти и быстрей, с помощью простейшей фразы «Прошло время» (в скобках точно означив срок), и ничего решительно не случилось.

Но, к сожалению, Время, с такой завидной пунктуальностью диктующее, когда цвести и когда увядать цветку или животному, на душу человека не оказывает столь явственного воздействия. Более того — человеческая душа сама непонятным образом влияет на ткань времени. Какой-нибудь час, вплетаясь в непостижимую вязь нашего ума, может пятидесяти-, а то и стократно растянуться против своих законных размеров; с другой стороны, какой-нибудь час может пробежаться по циферблату сознания с быстротою молнии. Это разительное расхождение между временем на часах и временем в нас покуда недостаточно изучено и заслуживает дальнейшего пристального исследования. Но биограф, интересы которого, как мы уже упоминали, строго ограничены, вправе удовлетвориться здесь одним простым сужденьем: когда человек достиг тридцатилетнего возраста, вот как Орландо,— то время, когда он думает,

становится неимоверно долгим; то время, когда он действует, становится неимоверно коротким. Орландо отдавал распоряжения по своему гигантскому хозяйству в мановение ока; но едва он уединялся на холме под своим дубом, секунды начинали взбухать и наливаться так, будто им вовек не пробить. Наливались они к тому же чем-то уж вовсе невообразимым. Ибо его не просто одолевали вопросы, ставившие в тупик величайших мыслителей, например: Что такое любовь? Что такое дружба? Что есть истина? Но стоило ему ими задаться, все его прошлое, такое, казалось бы, бесконечное и насыщенное, устремлялось к готовой пробить секунде, раздувало ее во много раз против натуральной величины, окрашивало всеми цветами радуги и какой только не начиняло дребеденью.

В подобных раздумьях (или как их там ни назови) проводил он месяцы и годы своей жизни. Не будет преувеличением сказать, что ему случалось выйти из дому после завтрака тридцатилетним и воротиться к обеду пятидесятилетним человеком. Иные недели старили его на сто лет, иные и трех секунд не прибавляли к его возрасту. Вообще о продолжительности человеческой жизни (о сроке, отпущенном животным, лучше тут умолчим) мы рассуждать не беремся, потому что стоит заявить, что жизнь бесконечно длинна, и тут-то нам и напомнят, что промельк ее мгновенней опадания розового лепестка. Из двух сил, которые вперемежку, и однако же — что особенно странно — обе разом командуют нашим убогим рассудком — краткость и долгота,— Орландо то попадал во власть тяжкого слоноподобного божества, то легкокрылой мухи. Жизнь казалась ему нескончаемой. И все равно промелькнула как миг. Но даже когда она особенно простиралась вдаль, и секунды особенно разбухали, и он будто блуждал один по бескрайним пустыням вечности, и то ему не хватало времени разгладить и разгадать петлистые, тесные пергаментные строки, которые тридцатилетний обиход с мужчинами и женщинами тугим свитком свил в его мозгу и сердце. Он вовсе еще не покончил с мыслями о Любви (дуб за этот период успел много раз зазеленеть и отряхнуть листву), а Честолюбие уже вытолкало ее с поля и заместило Дружбой и Литературой. И поскольку первый вопрос — Что такое Любовь? — не был решен, она по всякому поводу и без повода врывалась, оттирала Книги, и Метафоры, и Каков смысл нашей жизни? — на кромку поля, где они и выжидали, когда снова смогут ринуться в игру. Процесс решения еще запутывался и разбухал из-за того, что был роскошно иллюстрирован, и притом не только картинками: старая королева Елизавета, в розовой парче, на гобеленовом диване, в руке — табакерка из слоновой кости, рядом — золотая рукоять кинжала,— но и запахами: как она была надушена! — и звуками: как трубили олени в Ричмонд-парке тем зимним днем... И мысль о любви сливалась, сплавлялась с зимой и снегом; с жаром камина; с русскими княжнами, золотыми кинжалами, зовами оленей; со слюнявым лепетом старого короля Якова, и с фейерверками, и с мешками сокровищ в трюмах елизаветинских кораблей. Каждая частность, едва он пробовал сдвинуть ее с места, упиралась в другую — так в кусок стекла, год пролежавший на дне морском, врастают кости, стрекозы, и монеты, и кудри утопленниц.

— О Господи, опять метафора,— воскликнул он при этих словах (что показывает, как беспорядочно кружила его мысль, и объясняет, почему дуб столь часто зеленел и осыпался, покуда Орландо бесплодно бился над решением вопроса о Любви).— Вот уж зачем они нужны? — спросил он себя.— Почему просто-напросто не сказать, ну...— и тут он думал полчаса,— или, может быть, это два с половиной года? — как просто-напросто сказать, что такое Любовь.— Образ, кстати, явно натянут,— рассуждал он,— никакая стрекоза не станет жить на дне морском, разве что в силу совершенно исключительных обстоятельств. А если Литература не Супруга и Наложница Истины — что же она такое? Ах, надоело! — крикнул он.— При чем тут Наложница, если уже сказано — Супруга? Почему нельзя просто назвать вещи своими именами и успокоиться?

И он попытался сказать, что трава зеленая, а небо синее, и тем ублажить суровый дух поэзии, которому, хоть и с почтительного расстояния, он все еще невольно поклонялся.

— Небо синее,— сказал он.— Трава зеленая.

Но, подняв глаза, он убедился, что совершенно даже напротив, небо было, как покровы, опадающие с голов тысячи мадонн; а трава темнела и стлалась, как бег девичьей стайки, спасающейся от объятий волосатых сатиров из очарованного леса.

— Ей-богу,— сказал он (потому что взял скверную привычку разговаривать с самим собою вслух),— хрен редьки не слаще. И то и другое — фальшиво донельзя.

И он отчаялся в собственной способности определить, что такое поэзия и что такое правда, и впал в глубокое уныние.

Тут мы воспользуемся паузой в его монологе, чтобы порассуждать о том, как странно видеть Орландо, распростертого на траве в июньский день, и почему столь прекрасный собою молодой человек, в полном обладании своих способностей, столь здорового тела, столь образцовых щек и ног,— человек, без раздумья бросающийся в атаку впереди войска и принимающий поединок,— почему он страдает таким бессилием мысли и так этим мучится, что, когда дело доходит до вопроса о поэзии и его неспособности с ним сладить, он робеет, как маленькая девочка под маменькиной дверью? Мы подозреваем, что насмешка Грина над его трагедией уязвила его не меньше, чем насмешка Саши над его любовью. Но мы, однако, слишком отвлеклись...

Орландо все раздумывал. Он продолжал всматриваться в небо и траву, стараясь угадать, что́ сказал бы про них истинный поэт, чьи стихи напечатаны в Лондоне. А Память меж тем (повадки ее нами уже описаны) все совала ему под нос лицо Николаса Грина, как будто этот вислогубый зоил, и, как выяснилось, еще и предатель, был Муза собственной персоной и это его обязан ублажать Орландо. И Орландо тем летним утром предлагал ему на выбор множество словесных оборотов, и скромных, и фигурных, а Ник Грин все качал головою, хмыкал и что-то пел про Глор, про Цицерона и что поэзия в наш век мертва. Наконец, вскочив на ноги (уже наступила зима, и было очень холодно), Орландо произнес клятву, одну из самых знаменательных в своей жизни, ибо она обрекала его такому рабству, беспощадней которого на свете не бывает.

— Будь я проклят,— сказал Орландо,— если я напишу или попытаюсь написать еще хоть слово в угоду Нику Грину или Музе. Хорошо ли, плохо или посредственно — я буду писать отныне и вовеки в угоду самому себе,— и тут он будто разорвал все свои бумаги и швырнул их в усмешливую, наглую физиономию. После чего, как увертывается дворняга, когда вы наклонились, чтобы запустить в нее камнем, Память увертливо убрала портрет Николаса Грина с глаз долой; и вместо него подсунула Орландо... вот именно что ничего не подсунула.

Но Орландо все равно продолжал думать. А ему было, было о чем подумать. Ведь разорвав тот свиток, тот пергамент, он одним махом разорвал и ту скрепленную гербовой печатью грамоту, которой в тиши своего кабинета он сам себя назначил, как назначает посланника король,— первым в своем роду поэтом, первым писателем своего века, даруя душе своей вечное бессмертие, а телу — вечный покой среди лавров и неосязаемых стягов людского поклонения вовеки. Как ни было все это великолепно, он разорвал ту грамоту и выбросил в мусорную корзину.

— Слава,— сказал он,— не что иное, как (и поскольку не было на него Ника Грина, чтобы его окоротить, он упивался, заливался образами, из которых мы выберем только два-три самых скромных), как расшитый камзол, стесняющий члены; серебряные, давящие на сердце латы; щит повапленный, заслоняющий воронье пугало,— и т. д. и т. п. Суть всех этих образов сводилась к тому, что слава мешает и теснит, безвестность же, как туман, обволакивает человека; безвестность темна, просторна и вольготна; безвестность оставляет духу нестесненно идти своим путем. На человека безвестного милосердно изливаются потоки темноты. Никто не знает, куда уходит он, куда приходит. Он волен искать, он волен объявлять правду; лишь он один свободен; он один правдив; он один наслаждается покоем.

И он затих под дубом, очень даже удобно и уютно ему подставлявшим свои корявые корни.

Лежа так, глубоко уйдя в свои мысли о благословении безвестности, о том, какое это счастье быть безымянным, быть волной,— вот набежит, вот снова опадет на дно морское; о том, как безвестность избавляет душу от докучной зависти и злобы; гонит по жилам чистый ток великодушия и щедрости; учит давать и брать, не клянча и не расточая ни благодарности, ни похвал; так, верно, жили все великие поэты, полагал он (хотя, по скудости познаний в греческом, не мог подкрепить свою идею), так, думал он, пишет Шекспир, так зодчие возводят храмы, не ища ни воздаяния, ни славы, была бы только работа днем да вечером кружка пива. «Вот это жизнь,— думал он, потягиваясь под дубом.— Но отчего бы сию минуту ей не предаться?» Мысль эта пронзила его, как пуля. Честолюбие грузилом шлепнулось на дно. Освободясь от грызи попранной любви, уязвленного тщеславия, словом, всякого зуда и волдырей, какими он маялся из-за житейской крапивы, совершенно бессильной обстрекать человека, если тот избегает почестей,— он широко раскрыл глаза, и прежде широко открытые, но видевшие только мысли, и увидел далеко в низине свой собственный дом.

Он раскинулся в лучах весеннего утра. Скорей не дом, а целый город, но не слепленный кое-как прихотью несговаривавшихся хозяев, а возведенный осмотрительным, рачительным строителем, руководившимся одной-единственной идеей. Дворы и строения, серые, красные, бурые, располагались стройно, соразмерно; вот двор — удлиненный, а вот квадратный; где статуя; где фонтан; одно строение лежит плоско, другое подведено под острый конек; где звонница, а где часовня; меж ними сверкали ярчайшие полотнища муравы, темнели группки кедров и пестрели куртины; и все это плотно, но не сжимая, не стесняя, замыкал изгиб тяжелых стен; и кучерявились, взмывая в небо, дымки несчетных труб. Это могучее, но строго рассчитанное сооружение, способное укрыть тысячи человек и, наверное, две тысячи коней, возведено, думал Орландо, работниками, не передавшими векам своих имен. Здесь жили, мне и не счесть сколько столетий, безвестные поколения моих безвестных предков. Ни один из всех этих Ричардов, Джонов, Марий, Елизавет не оставил по себе следа, но все они, трудясь, кто иголкой, кто лопатой, любя, рожая себе подобных, оставили вот это.

Никогда еще дом не выглядел благородней, человечней.

Так к чему же заноситься, метить куда-то выше их? Какая оглушительная наглость и тщета — пытаться усовершенствовать это безымянное творенье; подправить труд исчезнувших рук. Куда лучше прожить неизвестным и оставить после себя арку, беседку, стену, за которой вызревает персик, чем, мелькнув ярким метеором, улетучиться дотла. И в конце концов, сказал он сам себе, загораясь при виде огромного дома и дерна внизу, неизвестные лорды и леди, которые здесь жили, никогда не забывали кое-что приберечь для наследников; вдруг протечет крыша; повалится дерево. И всегда был у них на кухне теплый уголок для старенького пастуха; всегда хлеб для голодных; всегда были начищены кубки, даже когда хозяина сваливал недуг; окна сверкали огнями, даже когда он лежал на смертном одре. Хоть и лорды, как готовно растворялись они в безвестности вместе с каменщиками, вместе с кротоловами. Безвестные герои, забытые зиждители — так взывал он к ним с жаром, который рьяно отрицали иные критики, приписывавшие ему холодность, вялость, безразличие (по правде говоря, качество вообще нередко прячется по другую сторону стены, возле которой мы его разыскиваем); так обращался он к своему дому и роду с прочувствованной речью; но когда дошло до заключенья,— какая же речь без заключенья? — он запнулся. Он хотел было пышно заключить в таком духе, что вот, мол, он пойдет по их стопам, добавит еще камешек к сооруженью. Но поскольку сооружение и так покрывало девять акров, даже и единственный добавленный камешек был бы, пожалуй, излишеством. Не упомянуть ли в заключение о мебели? О стульях и столах, о ковриках возле кроватей? Да, в заключение следовало упомянуть именно о том, чего дому

не хватает. И, оставя речь покуда неоконченной, он снова зашагал вниз, решив отныне посвятить себя усовершенствованию интерьера. Известие — о том, что она должна немедля ему споспешествовать,— вызвало у доброй, старой миссис Гримздитч (да, она успела состариться) слезы на глазах.

У лошадки-вешалки для полотенец в спальне короля («еще доброго короля Якова, милорд»,— сказала миссис Гримздитч, намекая на то, что много воды утекло с тех пор, как королевская особа вообще почивала под этим кровом; но дни проклятого Парламента миновали, теперь в Англии, слава Богу, опять Корона [1]) недоставало ножки; не было скамеек под кувшины в покойчике, прилегающем к гостиной пажа герцогини; мистер Грин изгадил ковер этой своей пакостной трубкой, уж они с Джуди скоблили-скоблили, пятно так и не отстало. Одним словом, когда Орландо прикинул, как обставить креслами розового дерева, шкафчиками кедрового дерева, серебряными кувшинами, фарфоровыми тазами и персидскими коврами все имевшиеся в замке триста шестьдесят пять спален, он понял, что это ему обойдется недешево; и если еще останется несколько тысяч фунтов от его состояния, их едва достанет на то, чтобы увешать коврами несколько галерей, снабдить столовую залу резными стульями и поместить зеркала кованого серебра и стулья того же металла (к которому он питал неуемную страсть) в королевские опочивальни.

И он засел за скрупулезный труд, в чем мы, без сомненья, убедимся, просмотрев его амбарные книги. Заглянем в перечень тогдашних его покупок, с расходами, столбиком подсчитанными на полях,— но их мы опускаем.

За пятьдесят пар испанских покрывал и столько же занавесей алой и белой тафты; к ним же воланы алого и белого атласа, шитого алым и белым шелком...

За семьдесят кресел желтого атласа и шестьдесят стульев, им соответственных, и столько же чехлов...

За шестьдесят семь столов орехового дерева...

За семнадцать дюжин ящиков, по пять дюжин бокалов венецианского стекла в каждой дюжине...

За сто две ковровых дорожки, длиною тридцать ярдов каждая...

За девяносто семь подушечек алого дамаска, шитого бланжевыми шелковыми галунами, и к ним столько же обитых тисненым шелком скамеечек для ног и стульев соответственно...

За пятьдесят канделябров, под дюжину свеч каждый...

Но вот — так список действует на нас,— вот мы уже и зеваем. Однако мы прекращаем этот перечень только потому, что нам скучно, а не потому, что он исчерпан. Далее следуют еще двадцать девять страниц, и общая сумма составляет много тысяч фунтов, т. е. миллионов фунтов на наши деньги. И, проведя таким образом день, вечером лорд Орландо снова подсчитывал, во что ему встанет нагородить тысячу огородов, если платить работникам по десять пенсов в час, и сколько центнеров гвоздей по пять с половиной пе́нсов за пинту уйдет на починку ограды парка в пятнадцать миль окружностью. И так далее и тому подобное.

Рассказ наш, пожалуй, и скучноват, ведь один ларец не ахти как отличается от прочих и один огород, пожалуй, мало отличим от тысячи. Но ради них он совершал увлекательнейшие путешествия; попадал в удивительные истории. Например, когда он засадил целый городок слепых женщин близ Брюгге сшивать балдахин для серебряного ложа, а уж история с Венецианским мавром, у которого он купил (но только силою оружия) полированный ларец,— та в других руках бесспорно показалась бы достойной изложения. Ну, и его предприятиям было тоже не занимать разнообразья; например, из Сассекса вывозили партиями гигантские деревья,

[1] В результате гражданской войны с Парламентом Карл I был обезглавлен, Англия объявлена республикой, Кромвель — лордом-протектором (в 1649 г.). Вскоре после смерти Кромвеля на трон был призван сын казненного короля — Карл II (в 1660 г.).

распиливали вдоль и таким паркетом выкладывали галереи; или, скажем, прибывал из Персии огромный, шерстью и опилками набитый ящик, и в конце концов из него извлекалась одна-единственная тарелка; один-единственный перстень с топазом.

Но вот на галереях уже не осталось места ни для единого стола; на столах не осталось места ни для единого ларца; в ларцах не осталось места ни для единой вазочки; в вазочках не осталось места ни для единой горстки засушенных розовых лепестков; нигде ни для чего решительно не осталось места; короче говоря, дом был обставлен. В саду подснежники, крокусы, гиацинты, магнолии, розы, лилии, астры, далии всех разновидностей, яблони, груши, вишни, фиги и финики, вкупе со многим множеством редких и цветущих кустарников, вечнозеленых и многолетних, росли так тесно, так впритык, что яблоку негде было упасть меж их корнями и ни пяди дерна не оставалось без их тени. Вдобавок Орландо вывез из дальних стран дичь с ярким опереньем; и двух малайских медведей, скрывавших, он не сомневался, под грубостью повадки верные сердца.

Теперь все было готово; и вечерами, когда горели несчетные серебряные светильники и ветерок, вечно слонявшийся по галереям, заигрывал с зелено-синими шпалерами, пуская вскачь охотничьих коней и обращая в бегство дафн; когда серебро сияло, лак мерцал и пылало дерево; когда гостеприимно распростерли ручки резные кресла и дельфины, неся на спинах русалок, поплыли по стенам; когда все это и многое другое было готово и пришлось ему по сердцу, Орландо, обходя замок в сопровождении своих борзых, испытывал удовлетворение. Настало время, думал он, закончить ту торжественную речь. Или, пожалуй, даже лучше начать ее сначала. И все же — проходя по галереям, он чувствовал, что что-то тут не то. Столы и стулья, пусть золоченые, резные, диваны, покоящиеся на львиных лапах и лебяжьих шеях, перины, пусть и нежнейшего гагачьего пуха — это, оказывается, не все. Люди, сидящие на них, люди, на них лежащие, поразительным образом их совершенствуют. И вот Орландо стал задавать блистательные праздники для вельмож и помещиков округи. Все триста шестьдесят пять спален не пустовали месяцами. Гости толклись на пятидесяти двух лестницах. Триста лакеев сбивались с ног. Пиры бывали чуть не каждый вечер. И — всего через несколько лет — Орландо порядком поиздержался и растратил половину своего состояния; зато стяжал себе добрую славу среди соседей, занимал в графстве с десяток должностей и ежегодно получал от благодарных поэтов дюжину томов, подносимых его светлости с пышными дарственными надписями. Ибо, хоть он и старался избегать сообщения с писателями и сторониться дам чужеродного происхождения, он был безмерно щедр и к женщинам и к поэтам, и те обожали его.

Но в разгаре пира, когда гости веселились без оглядки, он, бывало, тихонько удалялся в свой кабинет. Там, прикрыв за собою дверь и убедившись, что никто ему не помешает, он извлекал старую тетрадь, сшитую шелком, похищенным из материнской коробки с рукодельем, и озаглавленную круглым школярским почерком «Дуб. Поэма». И писал до тех пор, покуда часы не пробьют полночь и еще долго после. Но из-за того, что он вымарывал столько же, сколько вписывал стихов, нередко обнаруживалось, что к концу года их стало меньше, нежели в начале, и впору было опасаться, что в результате писания поэма станет вовсе не написанной. Историку литературы, конечно, предстоит отметить разительные перемены в его стиле. Цветистость вылиняла; буйство обуздалось; век прозы остудил горячий источник. Самый пейзаж за окном уже не так был кучеряв; шиповник — и тот стал менее петлист и колок. Верно, и чувства притупились, мед и сливки уже меньше тешили нёбо. Ну, а то, что очистка улиц и лучшее освещение домов отдаются в стиле,— азбучная истина.

Как-то он с великими трудами вписывал несколько строк в свою поэму «Дуб», когда какая-то тень скользнула по краю его зрения. Скоро он убедился, что это не тень, а фигура весьма высокой дамы в капюшоне и мантилье пересекала внутренний дворик, на который глядело его окно. Дворик был укромный, дамы он не знал и удивился, как она сюда попала.

Три дня спустя видение опять явилось; и в среду в полдень пришло опять. На сей раз Орландо решился за ней последовать, она же, кажется, ничуть не испугалась разоблаченья, а, напротив, когда он ее нагнал, замедлила шаг, обернулась и посмотрела прямо ему в лицо. Всякая другая женщина, застигнутая таким образом в личном дворике его светлости, конечно бы, смутилась; всякая другая женщина с таким лицом, капюшоном и видом на ее месте бы поскорей упряталась в свою мантилью. Но эта дама более всего напоминала зайца; зайца испуганного, но дерзкого; зайца, в котором робость борется с немыслимой, дурацкой отвагой; заяц сидит торчком и пожирает преследователя огромными, выкаченными глазами; и настороженные ушки дрожат, и трепещет вытянутый нос. Заяц, однако, был чуть не шести футов, да еще этот допотопный капюшон прибавлял ей росту. И она смотрела на Орландо неотрывным взглядом, в котором робость и отвага удивительнейшим образом сливались воедино.

Потом она попросила его, с вполне уместным, но несколько неловким реверансом, простить ее вторженье. Затем, снова вытянувшись во весь свой рост — нет, в ней было больше шести футов,— она с таким кудахтаньем, с такими хихи-хаха, что Орландо подумал, не сбежала ли она из дома для умалишенных, сообщила, что она эрцгерцогиня Гарриет Гризельда из Финстера Лархорна и Скок оф Бума, что в румынских землях. Ее заветная мечта свести с ним знакомство. Она сняла квартиру над булочной у Парк-гейт. Она видела его портрет: это вылитая ее сестра, которой — тут она прямо-таки зашлась хохотом — уж много лет как нет в живых. Она гостит при английском дворе. Королева ей кузина. Король — дивный малый, но редко когда трезвый ложится спать. Тут снова пошли хихи-хаха. Короче говоря, ничего не оставалось, как только пригласить ее войти и угостить вином.

В комнатах ее повадки обрели надменность, естественную для румынской эрцгерцогини; и если бы не редкие для дамы познанья в винах и не здравые сужденья об оружии и обычаях охотников ее страны, беседа была бы, пожалуй, натянутой. Наконец, вскочив со стула, она объявила, что навестит его завтра, отвесила новый щедрый реверанс и удалилась. На другой день Орландо ускакал верхом. На следующий поворотил ей спину; на третий задернул шторы. На четвертый день шел дождь, и, не желая заставлять даму мокнуть и сам не прочь немного развеяться, он пригласил ее зайти и поинтересовался ее мнением о доспехах одного из своих предков — работа ль это Топпа или Якоби? Сам он склонялся к Топпу. Она придерживалась иного мнения, какого — не так уж важно. Куда важней для нашей истории, что в доказательство своего суждения о выделке скреп эрцгерцогиня Гарриет взяла золотые поножи и примерила на ноги Орландо.

О том, что он обладал парой прекраснейших ног, на каких когда-нибудь стаивал юный вельможа,— уже упоминалось.

То, как именно закрепила она наколенник; или ее склоненная поза; или долгое затворничество Орландо; или естественное притяжение полов; или бургундское; или огонь в камине — можно винить любое из названых обстоятельств; ведь что-то, разумеется, приходится винить, когда благородный лорд с воспитанием Орландо, принимая у себя в доме даму, которая старше его чуть не вдвое, с лицом в аршин длиной, выкаченным взором и вдобавок нелепо одета в мантилью с капюшоном — и это в теплое время года! — что-то да приходится винить, когда такой благородный лорд, вдруг обуянный какой-то неудержимой страстью, выскакивает за дверь.

Но что за страсть, позволительно спросить, могла бы это быть? Ответ двулик, как сама Любовь. Ибо Любовь... но оставим Любовь на минутку в покое, а произошло вот что:

Когда эрцгерцогиня Гарриет Гризельда припала к его ноге, Орландо вдруг, непостижимо, услышал в отдаленье трепет крыл Любви. Дальний нежный шелест ее плюмажа всколыхнул в нем тысячи воспоминаний: сень струй; нега в снегу; предательство под рев потопа; шорох, однако, близился; Орландо дрожал, краснел и волновался, как, он думал, уж никогда не будет

волноваться; и готов был протянуть руки и усадить к себе на плечо птицу красоты; но тут — о ужас! — раскатился мерзкий звук; как будто, кружа над деревом, каркали вороны; и воздух потемнел от жестких, черных крыльев; скрежетали голоса; летали клочья соломы, сучья, перья; и на плечо к Орландо плюхнулась самая тяжелая и мерзкая из птиц; стервятник. Тут-то он и бросился за дверь и послал своего лакея проводить эрцгерцогиню Гарриет к ее карете.

Потому что Любовь, к которой мы, наконец, можем вернуться, имеет два лица; одно белое, другое черное; два тела; одно гладкое, другое волосатое. Она имеет две руки, две ноги, два хвоста — словом, всего по паре и непременно из совершенных противоположностей. В данном случае любовь Орландо начала свой лет, обратив к нему белое лицо и сверкая гладким, нежным телом. Она близилась, близилась, овевая его небесным восторгом. Но вдруг (возможно, при виде эрцгерцогини) она шарахнулась, резко повернула и явилась уже в черном, волосатом, гнусном виде; и вовсе не Любовь, не птица рая — стервятник похоти с мерзейшим грубым стуком уселся на его плечо. Вот он почему бежал; вот почему позвал лакея.

Но не так-то просто выгнать эту гарпию. Мало того что эрцгерцогиня и не думала съезжать от булочника, Орландо каждую ночь терзали мерзкие фантомы. И к чему, скажите, обставлять дом серебром и увешивать стены шпалерами, когда в любой момент вымазанная пометом птица может плюхнуться к вам на письменный стол? Она была тут как тут, металась между стульев; он видел, как она нелепо шлепала по галереям. Или тяжко усаживалась на экран камина. Он гнал ее, она являлась опять и стучалась клювом в стекло, пока его не разобьет.

И поняв, что в доме просто невозможно жить и необходимо предпринять какие-то шаги, чтобы безотлагательно положить этому конец, Орландо сделал то, что всякий молодой человек сделал бы на его месте, и попросил короля Карла отправить его послом в Константинополь. Король ходил по Уайтхоллу. С Нелл Гуин под ручку [1]. Она в него кидалась орешками. «Вот жалость,— вздохнула эта влюбленная дама,— такие чудные ноги покидают отечество!» Меж тем Парки были непреклонны; она могла всего лишь послать вслед Орландо воздушный поцелуй.

Глава 3

Ужасно неудобно и досадно, что именно об этой фазе Орландовой карьеры, когда он играл столь значительную роль в жизни своей страны, мы не располагаем почти никакими сведениями, на которые могли бы опереться. Мы знаем, что должность свою он исправлял на удивление прекрасно — чему порукой герцогский титул и орден Бани. Знаем, что не без его участья состоялись весьма деликатные переговоры короля Карла с турками — о чем свидетельствуют грамоты и протоколы, хранимые в государственных архивах. Но тут грянула революция, пошли эти пожары и так испортили и спутали все прочие бумаги, содержавшие сколько-нибудь достоверные сведения, что того, чем мы располагаем, плачевно мало. Часто важнейшее сообщение темнит обугленная полоса. Часто, когда, кажется, вот-вот раскроется тайна, сотню лет томившая историков, и — пожалуйста — в манускрипте такая дыра, что хоть палец туда засовывай. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы по жалким обгорелым клочьям воссоединить картину; но нередко нам приходилось кое-что и домыслить, прибегнуть к допущенью, а то и пустить в ход фантазию.

День Орландо проходил, надо думать, следующим образом. Около семи часов он вставал от сна и, накинув на себя длинный турецкий халат и закурив манильскую сигару, облокачивался о перила. Так стоял он, отрешенно озирая раскинувшийся внизу город. Купола Айя-Софии и все

[1] Нелл Гуин (1650—1687) — торговка апельсинами, любовница Карла II, знаменитая актриса своего времени.

прочее плыли в утреннем густом тумане; постепенно туман рассеивался; все становилось на якорь; вот река; вот Галатский мост; зеленые тюрбаны безносых и безглазых пилигримов, просящих подаянья; дворняга роется в отбросах; женщины, закутанные в шали; несчетные ослики; конники с длинными шестами. Потом все это оглашалось щелканьем бичей, звоном гонгов, призывами к молитве, хлопаньем хлыстов, громом кованых колес, а спутанный кислый запах ладана, специй и закваски достигал до самой Перы, будто сам шумный, пестрый, дикий народ обдавал ее своим дыханьем.

Что может,— рассуждал Орландо, озирая уже блистающий на солнце вид,— что может разительнее отличаться от Кента и Суррея, от Лондона и Танбридж Уэлса [1]? Справа и слева негостеприимно высились голые каменистые громады азиатских гор, то тут, то там лепился к ним унылый замок разбойничьего главаря; но нигде — ни пасторской усадьбы, ни помещичьего дома, ни хижины, ни дуба, вяза, фиалки, дикого шиповника, плюща. Ни тебе живой изгороди, чтобы было где расти папоротнику, ни лужайки, чтобы пастись овце. Дома сплошь белые и голые — как яичная скорлупка. И то, что он, англичанин до мозга костей, мог так безудержно упиваться этим диким видом; смотреть и смотреть на эти тропы и дальние вершины, затевая одинокие пешие вылазки, куда не ступала ни одна нога, кроме пастушьей и козлиной; мог так нежно любоваться цветами, пренебрегавшими сезоном; любить грязную дворнягу больше даже, чем своих борзых; так жадно ловить ноздрями едкий, хлесткий запах этих улиц,— самого его удивляло. Уж не согрешил ли кто из предков-крестоносцев с простой черкешенкой, рассуждал он; находил это вероятным; усматривал в своей коже некоторую смугловатость и, вернувшись в комнаты, удалялся в ванну.

Час спустя, надушенный, завитой и умащенный, он принимал секретарей и прочих высокочиновных лиц, один за другим вносивших красные ларцы, послушные лишь его золотому ключику. В них содержались сверхважные бумаги, от которых ныне сохранились лишь обрывки — где росчерк, где печать, твердо влепленная в лоскут обгорелого шелка. Так что о содержании их мы судить не можем, свидетельствуем только, что всеми этими печатями и сургучом, цветными ленточками, прикрепляемыми там и сям, как должно, выписыванием титулов, круглением заглавных литер, взмахами росчерков — Орландо занимался до времени роскошного обеда, блюд приблизительно из тридцати.

После обеда лакеи возвещали, что карета цугом подана к подъезду, и Орландо, предшествуемый лиловыми янычарами, на бегу обмахивающимися исполинскими веерами из страусовых перьев, отправлялся с визитами к другим послам и важным лицам государства. Церемония неукоснительно повторялась. Добежав до нужного двора, янычары стучали веерами по главным воротам, и те немедля распахивались, обнаруживая великолепную залу. Там сидели две фигуры, обыкновенно мужчина и женщина. Происходил обмен глубокими поклонами и реверансами. В первой зале допускался разговор лишь о погоде. Заметив, что нынче дождливо либо ясно, холодно либо жарко, посол переходил в следующую залу, где снова ему навстречу вставали две фигуры. Здесь полагалось сопоставить, как место обитания, Константинополь с Лондоном; посол говорил, естественно, что он предпочитает Константинополь, тогда как хозяева его, естественно, предпочитали Лондон, хоть им и не случалось там бывать. В следующей зале подобало несколько распространиться о здоровье короля Карла и султана. В следующей обсуждалось здоровье посла и жены хозяина, но уже в меньших подробностях. В следующей посол восхищался хозяйской мебелью, хозяин же воспевал наряд посла. В следующей подавались сладости, и хозяин сетовал на их несовершенства; посол их превозносил. В конце концов, в завершение церемонии раскуривался кальян и выпивалась чашечка кофе; но хотя жесты, свойственные куренью и питью,

[1] Танбридж Уэлс — место неподалеку от Лондона, известное своими минеральными источниками.

воспроизводились со всею точностью, в трубке не было табака, как не было и кофе в чашке, ибо, не будь соблюдены эти предосторожности, никакой бы организм не выдержал таких излишеств. Ведь не успевал он откланяться в одном месте, посол отправлялся в другое, церемония повторялась в таком же точно порядке у семи или восьми других важных особ, и нередко только поздно вечером добирался он до дому. Хотя Орландо исправлял эти обязанности дивно и не мог отрицать, что они, пожалуй, составляют важнейшую часть дипломатической службы, они его, бесспорно, утомляли, а порой наводили на него такую тоску, что он предпочитал ограничиться обществом своих борзых. С ними, слуги слышали, он разговаривал на своем родном языке. А иной раз, говорят, он поздно ночью выходил из собственных ворот в таком камуфляже, что часовые его не узнавали. И смешивался с толпой на Галатском мосту; или слонялся по базарам; или, сбросив обувь, присоединялся к молельщикам в мечети. Однажды, когда он сказался больным и даже в лихорадке, пастухи, гнавшие на рынок своих козлов, рассказали, что видели на вершине горы английского лорда и слыхали, как он молился своему Богу. Было решено, что это сам Орландо, молитва же его была не что иное, как декламация собственных стихов, поскольку известно было, что он все носит на груди толстый манускрипт; и слуги, подслушивавшие у двери, слышали, что он что-то бормочет нараспев, когда останется один.

Вот по таким-то клочкам приходится нам воссоздавать картину жизни и облик Орландо того времени. Еще и посейчас имеют хождение слухи, легенды, анекдоты зыбкого и недостоверного свойства о жизни его в Константинополе (из них мы привели лишь немногие), призванные доказать, что тогда, во цвете лет, он обладал той властью зажигать воображенье и приковывать взоры, которая живит воспоминанья долго еще после того, как их бессильны удержать средства более вещественные. Власть эта — таинственная власть, и зиждется она на блеске красоты, великолепье имени и редком, неизъяснимом даре, который мы назовем, пожалуй, обаяньем и на этом успокоимся. «Миллионы свечек» — как говорила Саша — горели в нем, хоть ни единой он не давал себе труда зажечь. Ступал он, как олень, ничуть не беспокоясь о своей походке. Он разговаривал самым обычным голосом, а эхо отзывалось серебряным гонгом. И слухи его окутывали. Он превратился в предмет обожания многих женщин и некоторых мужчин. Они вовсе не стремились с ним беседовать, ни даже его видеть; достаточно бывало вызвать перед своим внутренним взором — особенно когда вокруг красиво, когда закат — образ безукоризненного джентльмена в шелковых чулках. Его власть распространялась на бедных и необразованных в точности, как и на богатых. Пастухи, цыгане, погонщики ослов и поныне распевают песенку про английского лорда, «кинувшего смарагд в поток», повествующую, несомненно, об Орландо, который как-то в минуту ярости, а не то под влиянием винных паров, сорвал с себя ожерелье и швырнул в фонтан; откуда его и выудил паж. Но власть эта, как хорошо известно, часто сопряжена с предельной замкнутостью характера. У Орландо, пожалуй, не было друзей. Не замечено ни одной его связи. Некая благородная дама проделала весь долгий путь из Англии только для того, чтобы быть к нему поближе, и докучала ему своим вниманием, а он тем временем продолжал столь неустанно исполнять свои обязанности, что и двух с половиной лет не прослужил послом на мысе Горн, как король Карл уже объявил о своем намерении пожаловать ему высочайший титул во дворянстве. Завистники твердили, что это дань Нелл Гуин воспоминанию о неких ножках. Но поскольку она видела его лишь однажды, притом когда была поглощена швырянием ореховых скорлупок в царственного патрона, можно полагать, что герцогством он был обязан своим заслугам, а вовсе не икрам.

Здесь нам придется несколько отвлечься: мы подходим к значительнейшему моменту в его судьбе. Ибо пожалование герцогства послужило поводом для весьма знаменательного и окруженного толками и пересудами события, каковое мы сейчас и попытаемся описать, пробираясь по обгорелым строкам и обрывкам документов. Герцогскую грамоту и орден Бани

доставил на своем фрегате сэр Адриан Скроуп в конце Рамазанского поста; и Орландо по этому случаю устроил торжества, каких ни прежде, ни потом не видывал Константинополь. Ночь выдалась погожая; толпа была безбрежна; окна посольства ярко озарены. Опять, конечно, нам недостает подробностей: огонь, как водится, погулял по бумагам и, муча нас дразнящими намеками, главное затемнил. Однако из дневника Джона Феннера Бригге, английского морского офицера, бывшего в числе гостей, мы узнаем, что люди всех национальностей «теснились во дворе, как сельди в бочке». Толпа так неприятно напирала, что Бригге скоро предпочел залезть на иудино дерево и оттуда наблюдать происходящее. Среди туземцев распространился слух (еще одно свидетельство таинственной власти Орландо над умами), что вот-вот будет явлено чудо. «И потому,— пишет Бригге (но рукопись его так пестрит пятнами и дырами, что иные фразы совершенно невозможно разобрать),— когда начали взмывать ракеты, мы не на шутку опасались, как бы туземцы... чреваты для всех пренеприятными следствиями... имея среди нас английских дам... рука моя, признаюсь, не раз тянулась к сабле. К счастью,— продолжает он в своем несколько тягучем стиле,— опасения эти оказались напрасны и, наблюдая поведение туземцев... я пришел к заключению, что искусство наше в пиротехнике... мы оказали благотворное действие... превосходство британцев... Зрелище было поистине неописуемое. Я попеременно то возносил хвалы Господу за то, что он даровал... то жалел, что моя бедная матушка... По приказанию посла высокие окна, являющие черту столь выразительную архитектуры восточной, что... распахнулись; и нашим взорам представились живые картины или, скорее, театральное действо, в котором английские дамы и господа... маскарад... Слов было не разобрать, но зрелище столь многих соотечественников и соотечественниц наших, одетых с таким вкусом и тщанием... так тронули мое сердце, вызвав в нем столь... чувства, каких я, разумеется, не стыжусь, но, однако же, не в силах... Я был отвлечен весьма странным поведением леди.., способным привлечь к себе всеобщее внимание и навлечь позор на отечество ее и пол, когда...» Но тут, увы, ветка иудиного дерева подломилась, лейтенант Бригге рухнул на землю, и продолжение записи посвящено исключительно его благодарностям Провидению (вообще играющему в дневнике значительную роль) и подробному отчету о полученных ранах.

К счастью, мисс Пенелопа Хартоп, дочь генерала той же фамилии, видела всю сцену изнутри и подхватывает ее описание в письме, тоже сильно поврежденном и в конце концов дошедшем до подруги в Танбридж Уэлсе. Мисс Пенелопа не менее щедра на выражения восторга, чем доблестный воин. «Восхитительно,— восклицает она по десять раз на странице,— дивно... совершенно невозможно передать... золотые блюда... канделябры... негры в бархатных штанах... горы мороженого... фонтаны глинтвейна... пирожные в виде судов Его Величества... лебеди в виде речных лилий... птички в золотых клетках... мужчины в алых бархатных штанах с пластронами... прически дам не меньше шести футов высотою... музыкальные шкатулки... Мистер Перегрин сказал, что я выгляжу очаровательно, передаю это тебе, мой милый друг, лишь оттого, что уверена... О! Как мне вас всех недоставало! ... превосходит все, что видывали мы на Пантилах [1]... вино лилось рекой... иные господа, быть может, несколько и злоупотребили... Леди Бетти восхитительно... Бедняжка леди Бонем совершила пренеприятную оплошность, сев мимо стула. Мужчины все очень любезно... Но все глаза были прикованы... отрада взоров... все единодушны, ибо ни у кого бы недостало низости опровергать... был сам Посол. Какие ноги! Осанка!! Царственность манер!!! Как он входил! Как выходил! И эта *интересность* в лице... сразу чувствуешь, сама не знаешь отчего, что ему пришлось *страдать!* Говорят, причиною послужила дама. Бессердечное чудовище! Как! У представительницы нашего заведомо *нежного* пола — и такая жестокость!.. Он не женат, и половина здешних дам сходит по нему

[1] Пантилы, название променада в Танбридж Уэлсе, происшедшее от голландской черепицы (пантилы), которой этот променад вымощен.

с ума... Тысячи, тысячи поцелуев Тому, Джери, Питеру и милой Мяу» (предположительно, ее кошечке).

Из газеты того времени мы узнаем, что «едва часы пробили полночь, Посол вышел на главный балкон, увешанный бесценными коврами. Шестеро турок из числа телохранителей Султана, каждый более шести футов росту, держали справа и слева от него зажженные факелы. При появлении его взвились ракеты и громкие возгласы поднялись над толпой. Посол ответил глубоким поклоном и произнес несколько благодарственных слов по-турецки, ибо ко всем совершенствам своим владеет и беглой турецкой речью. Затем сэр Адриан Скроуп в адмиральской парадной форме приблизился к Послу; Посол преклонил колено; адмирал надел высокий орден Бани ему на шею и прикрепил на грудь ему звезду; после чего другой господин из дипломатического корпуса, приблизясь церемониальным шагом, облачил его в герцогскую мантию и протянул ему на алой подушечке герцогскую корону».

В конце концов, с несравненным величием и вместе грацией, сначала склонясь в глубоком поклоне, а затем гордо распрямившись, Орландо принял золотую диадему из клубничных листов и жестом, которого ни один из его видевших вовеки не забыл, поместил ее себе на лоб. Вот тут и началось. То ли народ ожидал чуда — как утверждают иные, было предсказано, что золотой дождь хлынет с неба,— а дождя не было никакого; то ли начало атаки было заранее приурочено к этому мигу; все так и остается невыясненным; но едва Орландо водрузил себе на голову корону, поднялся страшный шум. Звонили колокола; надсаженные голоса пророков перекрывали выкрики толпы; турки попадали на колени и бились об землю лбами. Дверь распахнулась. Туземцы хлынули в пиршественные залы. Дамы визжали. Одна из них, якобы умиравшая от любви к Орландо, хватила об пол канделябром. Неизвестно, чем бы все обернулось, не будь поблизости адмирала Скроупа и отряда британских матросов. Адмирал приказал трубить в трубы; сотня британских матросов стала по стойке «смирно»; беспорядок, таким образом, был пресечен, и, по крайней мере на некоторое время, воцарилось спокойствие.

До сих пор мы стояли на твердой, пусть и узкой, почве выверенных фактов. Но никто и никогда так в точности и не узнал, что же случилось далее той ночью. Если верить свидетельству часовых и еще кое-кого, посольство освободилось от посетителей и было заперто на ночь, как обычно, в два часа пополуночи. Видели, как посол прошел к себе в спальню, все еще во всех регалиях, и затворил за собою дверь. Иные говорили — он ее запер, что было против его обычая. Кое-кто уверяет, будто слышал музыку, нехитрую, вроде пастушеской волынки, еще позже во дворе под его окном. Судомойка, которая лишилась сна из-за зубной боли, утверждала, что видела, как мужчина, в плаще не то в халате, вышел на балкон. Потом, сообщила она, женщина, вся закутанная, но все равно видно, что из простых, залезла на тот балкон по веревке, которую ей бросил тот мужчина. Тут, сообщила судомойка, они обнялись страстно «ну прямо как любовники», вместе вошли в спальню, задернули шторы, и дальнейшее наблюдение стало невозможным.

Наутро секретари обнаружили герцога, как мы теперь должны его именовать, в глубоком сне на весьма измятых простынях. В спальне наблюдался известный беспорядок: корона на полу; мантия, орден Подвязки и прочее — все кучей свалено на стуле; стол загроможден бумагами. Сначала все это не вызывало подозрений, будучи приписываемо изнурительным трудам прошедшей ночи. Но когда настал вечер, а герцог все не просыпался, послали за доктором. Тот прописал те же средства, что и в прошлый раз — компрессы, крапиву, рвотное и так далее,— безрезультатно. Орландо спал. Тогда секретари сочли своим долгом заняться бумагами на столе. Многие листы были исписаны стихами, в которых то и дело упоминался дуб. Были тут и государственные документы, и кое-какие распоряжения личного свойства касательно его имущества в Англии. Но в конце концов напали на куда более важный документ. То был не больше

и не меньше, как выписанный по всем правилам брачный контракт между его сиятельством Орландо, кавалером ордена Подвязки и прочая, и прочая, и прочая, и Розиной Пепитой, танцовщицей, отец неизвестен, предположительно цыган, мать тоже неизвестна, предположительно торговка железным ломом на рынке подле Галатского моста. Секретари в смятении смотрели друг на друга. Орландо же все спал. За ним установили наблюдение с утра до вечера, но, не считая того, что на щеках его, как всегда, играл нежный румянец и дышал он ровно, он не выказывал никаких признаков жизни. Делалось все, что могут предложить наука и изобретательность. Он спал.

На седьмой день этого забытья (в четверг, десятого мая) раздался первый выстрел того ужасного, кровавого мятежа, первые признаки которого угадывал лейтенант Бригге. Турки восстали против султана, подожгли город, а всех иностранцев, каких могли обнаружить, пронзали саблями или побивали палками. Кое-кто из англичан сумел спастись бегством; но господа из Британского посольства, как и следовало ожидать, предпочитали умереть, защищая свои красные ларцы, и даже в иных случаях глотать связки ключей, нежели отдать их в руки поганых. Бунтовщики ворвались в спальню Орландо, увидели недвижно распростертое тело и, сочтя его мертвым, оставили лежать, прихватив корону и орден Подвязки.

И тут опять все заволакивается тьмой. Но лучше бы ей быть еще гуще! Лучше бы — так и хочется крикнуть — она до того сгустилась, чтоб мы ничего решительно не могли в ней разглядеть! А только взять перо и начертать — «Конец»! Избавить читателя от дальнейшего и просто сказать — Орландо, мол, умер и похоронен. Но — увы! — Правда, Искренность и Честность, суровые богини, неусыпно стерегущие чернильницу биографа, восклицают — «Нет! Никогда!» Приложив к устам серебряные трубы, они единым духом трубят: «Правду!» И опять: «Только Правду!» и в третий раз, дружно: «Правду! Ничего, кроме Правды!»

После чего — и слава Богу, мы хоть успеем передохнуть! — тихо отворяются двери, словно раздвинутые нежнейшим дуновением зефира, и входят три фигуры. Первой входит Пресвятая Дева Чистота; чело ее увито шерстью белоснежных агнцев; волосы — как лавина свежевыпавшего снега; в руке — белое перо гусыни-девственницы. За нею следом, но более державной поступью, входит Пресвятая Дева Невинность; на челе ее неопалимой купиной горит диадема из драгоценных льдышек; глаза — как две звезды, а пальцы, если вас коснутся — прожгут вас холодом насквозь. Рядом, как бы ища защиты в ее державной тени, ступает Пресвятая Дева Скромность, самая нежная и прекрасная из сестер; она едва показывает свое лицо — так юный месяц кажет из-за туч свой робкий серпик. Каждая выходит на середину комнаты, где все еще лежит спящий Орландо, и, моля и вместе повелевая, первой держит речь Пресвятая Дева Чистота:

— Я стерегу сон фавна; мне дорог снег; и восходящая луна; серебряное море. Под моим покровом я прячу крáпчатые яйца кур, пятнистые ракушки моря; я прячу порок и нищету. На все, что ломко, зыбко и непрочно, я опускаю мой покров. А потому — не говори, не надо. Избави нас! Избави!

Тут трубы трубят:

— Изыди, Чистота! Долой!

И тогда говорит Пресвятая Дева Невинность:

— Я та, чье касанье леденит, чей взор все обращает в камень. Я останавливаю танцы звезд, смиряю падение волны. Мое пристанище — далекие вершины Альп. И молнии в моих сверкают волосах. На что бы ни упал мой взор — он убивает, убивает. Нет, чем будить Орландо — я бы лучше заморозила его насмерть! Избави нас! Избави!

И снова трубят трубы:

— Изыди, Невинность! Долой!

И тогда говорит Пресвятая Дева Скромность, так тихо, что слова ее едва слышны:

— Я та, кого люди зовут Скромностью. Я дева и вечно пребуду девой. Не для меня — богатые дары полей и плодоносность вертограда. Мне

чуждо всякое произрастанье; едва нальются яблоки, стада плодятся — я убегаю, убегаю. Окутавшись плащом. Волосы мои скрывают мое лицо. Я ничего не вижу. Избави нас! Избави!

И снова — трубы:

— Изыди, Скромность! Долой!

Уныло, обреченно сестры берутся за руки, танцуют, и, в медленном веянье своих вуалей, они поют:

— Не выходи, о Правда, из своего ужасного логова. Спрячься подальше, страшная Правда! Ты подставляешь грубым лучам солнца такое, что лучше оставлять сокрытым, несодеянным; ты обнажаешь стыдное, высветляешь темное. Прячься, прячься, прячься!

И они хотят окутать Орландо своими покрывалами. Не тут-то было, трубы знай трубят свое:

— Правда, только Правда, ничего, кроме Правды!

Сестры пытаются заткнуть свои вуали в жерла труб, заглушить их. Какое! Трубы гремят все вместе:

— Мерзкие сестры! Уходите!

Сестры теряются, плачут хором, снова кружат, помавая вуалями — вверх-вниз.

— Раньше то ли было! Но мужчины больше нас не жалуют. Женщины нас ненавидят. Мы уходим, уходим. Я (это Чистота говорит) — на куриный насест. А я (это Невинность) к еще не поруганным Суррейским высотáм. Я (это Скромность) в любой уютный уголок, где много покрывал. Ибо там, не здесь (это они говорят хором, взявшись за руки и кивая в знак отчаяния и прощания, постéли со спящим Орландо), все еще обитают — в гнездах и в будуарах, в канцеляриях и в залах суда — те, кто нас любит; те, кто нас чтит; девственницы и деловые люди; законники и доктора; те, кто запрещает; кто опровергает; не признает; кто чтит, не зная почему; кто поклоняется, не понимая; все еще многочисленное (слава Небесам) племя достопочтенных; тех, кто предпочитает не видеть, не хочет знать; любит темноту; они-то все еще нас чтут, и не без причины: мы им даем Богатство, Процветание, Довольство и Покой. К ним мы уходим, тебя мы покидаем. Идемте, Сестры! Здесь нам не место!

Они поспешно удаляются, помавая вуалями, как бы отгоняя что-то, на что они боятся взглянуть, и прикрывают за собою дверь.

А мы остаемся в спальне, совершенно одни со спящим Орландо и трубачами. Трубачи, выстроившись в ряд, надсаживаются:

— Правду!

И тут Орландо проснулся.

Потянулся. Встал. Он стоял, вытянувшись перед нами, совершенно голый, и, поскольку трубы трубят: «Правду! Правду! Правду!», у нас нет иного выбора, кроме как признаться — он стал женщиной.

Звук труб замер, а Орландо стоял в спальне совершенно голый. Никогда еще от сотворения мира ни одно человеческое существо не выглядело пленительней. Мужская крепость сочеталась с женским очарованьем. Серебряные трубы длили свою ноту, не в силах расстаться с дивным видом, ими же вызванным на свет; а Невинность, Чистота и Скромность, подстрекаемые, без сомненья, Любопытством, заглянули в дверь, попытались накинуть какую-то тунику на эту наготу, но туника, увы, не долетела. Орландо окинул взглядом свое отражение в высоком зеркале и, не выказав никаких признаков растерянности, вышел — вероятно, в ванную.

Мы можем воспользоваться паузой в нашем повествовании и сделать несколько сообщений. Орландо стал женщиной — это невозможно отрицать. Но во всем остальном никаких решительно перемен в Орландо не произошло. Перемена пола, изменив судьбу, ничуть не изменила личности. Лицо, как свидетельствуют портреты, в сущности, осталось прежним. В его памяти — но в дальнейшем мы, условности ради, должны говорить «ее» вместо «его» и «она» вместо «он»,— итак, значит, в ее памяти прошли все события прошедшей жизни, ничуть не натыкаясь на препятствия. Легкая нечеткость была, конечно; как будто несколько темных пятен упали в про-

зрачный пруд памяти; иные вещи чуть-чуть замутились; но и только. Перемена совершилась, кажется, безболезненная, полная, да так, что сама Орландо ничуть не удивилась. Многие, исходя из этого и заключая, что такая перемена пола противоестественна, изо всех сил старались доказать, что 1) Орландо всегда была женщиной, и 2) Орландо и сейчас еще остается мужчиной. Это уж решать биологам и психологам. Наше дело — установить факт: Орландо был мужчиной до тридцати лет; после чего он стал женщиной, каковой и пребывает.

Но пусть о сексе рассуждают другие; мы спешим расстаться с этой неприличной темой. Орландо помылась, облачилась в турецкий кафтан и шальвары, равно носимые мужчинами и женщинами; и вынуждена была призадуматься о своем положении. Всякий читатель, с участием следивший за ее историей, тотчас же поймет, сколь оно было двусмысленно и опасно. Молодая, красивая, знатная, она, проснувшись, оказалась в таком положении, что более щекотливого для юной светской дамы и представить себе невозможно. Мы бы ничуть ее не осудили, если бы она схватилась за колокольчик, завизжала или упала в обморок. Но никаких таких признаков смятения Орландо не выказывала. Все ее действия были чрезвычайно обдуманны, точны, будто выверены заранее. Первым делом она тщательно просмотрела бумаги на столе; взяла те, которые были исписаны стихотворными строками, и спрятала за пазуху; далее кликнула верного салюки, все эти дни не покидавшего ее постели, хоть он чуть не умер от голода; накормила его и расчесала; потом сунула за пояс пару пистолетов; и наконец намотала на себя несколько снизок отборнейших изумрудов и скатных жемчугов, составлявших непременную часть посланнического гардероба. Сделав все это, она высунулась из окна, тихонько свистнула и спустилась по расшатанным ступеням, обагренным кровью и усеянным бумагами, грамотами, договорами, печатями, сургучом и прочим, и вышла во двор. Там, в тени огромной смоковницы, ожидал ее старик цыган на осле. Другого держал он под уздцы. Орландо занесла на него ногу. Так, сопутствуемый отощалым псом, в обществе цыгана, посол Великобритании при дворе Султана покидал Константинополь.

Они шли несколько дней и ночей, сталкиваясь на своем пути со множеством приключений, то по воле людей, то по прихоти природы, и Орландо неизменно выходила из них с честью. Через неделю достигли они возвышенности близ Бурсы [1], где располагалось главным табором цыганское племя, с которым связала свою судьбу Орландо. Часто смотрела она на эти вершины с балкона своего посольства; часто стремилась туда мечтой; а если вы оказались там, куда давно стремились, это дает пищу для размышлений вашему созерцательному уму. Некоторое время Орландо, правда, так радовалась переменам, что не хотела их портить размышлениями. Не надо было подписывать и припечатывать никаких бумаг, не надо делать никаких росчерков, не надо платить никаких визитов — кажется, чего же боле? Цыгане шли, как их вела трава; выщиплет ее скот — и они бредут дальше. Орландо мылась в ручьях, когда мылась вообще; никаких ларцов — красных, синих, ни зеленых — ей не приносили; во всем таборе не было ни единого ключа, не говоря уж о золотых ключиках; что же до «визитов» — тут и слова-то такого не знали. Она доила коз; собирала валежник; могла иной раз стянуть куриное яйцо, но неизменно его возмещала монеткой или жемчужиной; она пасла скот; собирала виноград, топтала грозди; наполняла козьи мехи вином; из них пила; и, вспомнив, как в эту пору дня она, бывало, с пустою чашкою в руке и с трубкою без табака прикидывалась, будто курит и пьет кофе, она громко хохотала, отламывала себе еще ломоть хлеба и выпрашивала у старого Рустума для затяжки трубку, пускай набитую навозом.

Цыгане, с которыми она, совершенно очевидно, имела тайные сношения еще до революции, считали ее почти своей (а это самая высокая честь, какую может оказать любой народ), темные же ее волосы и смуглость

[1] Бурса — город на северо-западе Турции. Основан во II веке до Р. Х.

подкрепляли подозренье, что она и родилась цыганкой, в младенчестве была похищена английским герцогом с орехового дерева и увезена в дикую страну, где люди укрываются в домах, ибо до того больны и слабы, что не выносят свежего воздуха. И потому, хотя во многих отношениях она им была неровня, они всячески старались поднять ее до себя; учили своим искусствам (варить сыр, плести корзины); своим наукам (красть, улавливать в силки птиц); и даже были, кажется, чуть ли не готовы к браку ее с цыганом.

Но в Англии Орландо понабралась привычек или болезней (уж как хотите назовите), которые, кажется, было не вытравить ничем. Однажды вечером, когда сидели вокруг костра и закат опалял фессалийские холмы, Орландо воскликнула:

— Как вкусно!

(У цыган нет слова «красиво». Это ближайший синоним.)

Все молодые мужчины и женщины громко расхохотались. Небо — вкусно! Ну, каково? Однако люди постарше, понавидавшиеся иностранцев, насторожились. Они и раньше замечали, что Орландо часто сидела часами без дела, только смотрела туда-сюда; они натыкались на нее, когда она стояла на вершине, вперивши взор в одну точку, не замечая, пасутся ли, разбредаются ли ее козы. Старшие мужчины и женщины начали подозревать, что она привержена чужим поверьям и даже, может быть, попала в когти ужаснейшего, коварнейшего божества — Природы. И ведь они не очень ошибались. Английская болезнь — любовь к Природе — досталась ей с молоком матери, и здесь, где Природа была куда щедрей и безоглядней, чем в родном краю, Орландо, как никогда, оказалась в ее власти. Недуг этот слишком хорошо изучен и — увы! — описывался так часто, что нам нет нужды опять его описывать, разве что совсем кратко. Здесь были горы; были долы; ручьи. Она взбиралась на горы; бродила по долам; сидела на брегах ручьев. Горы сравнивала она с бастионами; скаты — с крутыми коровьими боками. Цветы она уподобляла самоцветам; стертым турецким коврам уподобляла дерн. Деревья были у нее — старые ведьмы, серыми валунами были овцы. Словом, все на свете было чем-то еще. Завидя горное озерцо на вершине, она едва удерживалась от того, чтобы не нырнуть за помстившейся ей на дне истиной; а когда в дальней дали за Мраморным морем она видела с горы долины Греции и различала (у нее было замечательное зрение) Афинский Акрополь и белые полосы на нем,— конечно, Парфенон,— душа ее ширилась, как и взор, и она молилась о том, чтоб причаститься величию гор, познать покой равнин и прочее, и прочее, и прочее, как водится у ее единоверцев. Потом она опускала глаза, и алый гиацинт, лиловый ирис исторгали у нее крик о благости, о прелести природы; опять она смотрела вверх и, видя парящего орла, воображала и примеряла на себя его блаженство. На пути домой она здоровалась с каждой звездою, сторожевым огнем и пиком, будто ей одной они указывали путь; и бросаясь, наконец, на половик в шатре, она невольно восклицала: «Как вкусно! Как вкусно!» (Любопытно, кстати, что даже когда люди располагают до того несовершенными средствами сообщения, что вынуждены говорить «вкусно» вместо «красиво» и наоборот, они скорей выставят себя на посмешище, чем оставят при себе свои чувства.) Молодежь хохотала. Но Рустум Эль Сади, старик, который вывез Орландо из Константинополя на осле,— Рустум молчал. Нос у Рустума был как ятаган; щеки — будто десятилетиями биты градом; он был темен лицом и зорок, и, посасывая свой кальян, он не отрывал взгляда от Орландо. Он питал глубочайшее подозрение, что ее Бог есть Природа. Однажды он застал Орландо в слезах. Сообразив, что, видно, Бог наказал ее, он объявил, что ничуть не удивлен. Он показал ей свои пальцы на левой руке, отсохшие из-за мороза; показал свою правую ногу, изувеченную валуном. Вот, сказал он, что ее Бог вытворяет с людьми. Когда она возразила: «Зато как красиво», употребив на сей раз английское слово, Рустум покачал головой; а когда она повторила свое суждение, он рассердился. Он понял, что она верит иначе, чем он, и этого было довольно, чтобы он, как ни был стар и мудр, пришел в негодование.

Эти разногласия огорчили Орландо, которая до тех пор была совершенно счастлива. Она стала раздумывать — прекрасна ли, жестока ли Природа; потом спрашивать себя — что есть красота; заключена ли она в вещах или содержится только в ней самой; далее она перешла к рассуждениям о сущности объективного, что, естественно, повело ее к вопросу об истине, а уж затем к Любви, Дружбе, Поэзии (как до́ма, на высокой горе, давным-давно), и все эти рассуждения, из которых она ни единого слова не могла никому поведать, заставили ее, как никогда, томиться по перу и чернилам.

— О, если б я могла писать! — восклицала она (по странному самомнению всей пишущей братии веря в доходчивость написанного слова). Чернил у нее не было, и очень мало бумаги. Но она сделала чернила из вина и ягод; и, выискивая поля и пробелы в рукописи «Дуба» , ухитрялась, пользуясь своего рода стенографическим способом, описывать пейзажи в нескончаемых белых стихах и увековечивать собственные диалоги с собой об Истине и Красоте, довольно, впрочем, выразительные. Это дарило ей целые часы безмятежного счастья. Но цыгане стали настораживаться. Сперва они заметили, что она уже не так проворно доит коз и варит сыр; потом — что она не сразу отвечает на вопросы; а как-то один цыганенок проснулся перепуганный под ее взглядом. Иногда все племя, насчитывавшее десятки взрослых мужчин и женщин, испытывало скованность в ее присутствии. Происходило это из-за ощущения (а ощущения их изощренны, не в пример словарю), что все крошится в их руках. Старуха, вязавшая корзину, свежевавший овцу мальчик мирно напевали за работой, но тут в табор являлась Орландо, ложилась у костра и начинала пристально смотреть на пламя. Она на них и взгляда не бросала, но они чувствовали, что вот кто-то сомневается (мы делаем лишь грубый, подстрочный перевод с цыганского); что вот кто-то ничего не станет делать просто делания ради; не посмотрит просто так, чтобы смотреть; не верит ни в овечью шкуру, ни в корзину; но видит (тут они опасливо косились на шатер Орландо) что-то еще. И смутное, томящее чувство росло в том мальчике; росло в старухе. Они ломали прутья; ранили себе пальцы. Их распирала ярость. Им хотелось, чтобы Орландо ушла подальше и больше не возвращалась. А ведь она была весела, добра — кто спорит; и за одну-единственную ее жемчужину можно было сторговать лучший козий гурт во всей Бурсе.

Постепенно она начала замечать между собою и цыганами такую разницу, что порой уж даже сомневалась, сто́ит ли ей выйти за цыгана и навеки среди них обосноваться. Сначала она пыталась объяснять все это тем, что сама она происходит от древнего и культурного народа, тогда как цыгане — люди темные, почти дикари. Как-то вечером, когда они ее расспрашивали про Англию, она не удержалась и стала с гордостью расписывать замок, где родилась, упомянула и 365 его спален и тот факт, что предки им владели уже пять столетий. Предки ее были графы; может быть, добавила она, герцоги даже. Тут снова ей показалось, что цыганам как-то не по себе; они не сердились, нет, как тогда, когда она восхваляла красоты природы. Сейчас они были учтивы, но приуныли, как люди тонкого воспитания, невольно вынудившие незнакомца выдать свое низкое происхождение или нищету. Рустум один вышел за нею из шатра и посоветовал ей не смущаться тем, что отец ее был герцог и владел всеми этими комнатами и мебелью. Никто ее за это не осудит. И тут ее охватил прежде не изведанный стыд. Совершенно очевидно, Рустум и другие цыгане считают род в пять-шесть веков нисколько не старинным. Собственные их корни уходят в прошлое по меньшей мере на два-три тысячелетия. В глазах цыгана, чьи праотцы строили пирамиды задолго до Рождества Христова, генеалогия Говардов и Плантагенетов не лучше и не хуже родословной какого-нибудь Джонса или Смита: обе не стоят ни полушки. И если любой подпасок имеет столь древнее происхождение — зачем кичиться древним родом? Каждый нищий и бродяга мог бы козырять тем же. Вдобавок, хоть Рустум из вежливости, конечно, не выражал этого открыто, ясно было, что его покоробила вульгарная похвальба сотнями спален (они теперь стояли

на вершине холма; была ночь; вокруг высились горы), когда вся земля — наш дом. С точки зрения цыгана, какой-то герцог, поняла Орландо,— просто разбойник и нахал, оттяпавший земли и деньги у людей, которые не придавали им цены, и ничего не придумавший остроумней, чем построить триста шестьдесят пять спален, тогда как довольно и одной, а ни одной — и того лучше. Орландо не могла отрицать, что предки ее копили, собирали поле к полю; замок к замку; почесть к почести, отнюдь не будучи при этом ни святыми, ни героями, ни великими благодетелями рода человеческого. Не могла она опровергнуть и тот довод (Рустум как истинный джентльмен от него воздерживался, но она же понимала), что каждый, кто сейчас повел бы себя так, как триста-четыреста лет назад поступали ее предки, был бы заклеймен, бесспорно (и в первую очередь собственным ее семейством), как выскочка, авантюрист и нувориш.

Она могла бы ответить на эти доводы испытанным, хоть и окольным возраженьем, что, мол, цыгане сами ведут грубую и варварскую жизнь; и за последние времена сами стали хороши. Но не подобные ли споры всегда вели к кровопролитьям и революциям. Еще и не из-за такого крушились города, а миллионы мучеников шли на плаху, лишь бы ни йоты не уступить от отстаиваемых истин. Нет в нашей груди страсти сильней, чем желание заставить другого думать так же, как думаем мы сами. Ничто так не отравляет счастье, так не приводит в ярость, как сознанье, что другой ни в грош не ставит что-то, для нас драгоценное. Виги и тори, консерваторы и лейбористы за что и бьются, как не за престиж? Не любовь к истине, но желание настоять на своем поднимает квартал на квартал, заставляет один приход мечтать о гибели другого. Каждый желает одержать верх. Собственное спокойствие, самоутверждение — важнее торжества истины и добродетели... но оставим-ка мы эти прописи историку; ему сподручней ими пользоваться; да и нудны они, кстати, как стоячая вода.

— Четыреста семьдесят шесть спален — это им плевать,— вздыхала Орландо.

— Закат дороже ей козьего гурта,— ворчали цыгане.

Орландо не знала, что делать. Уйти от них, снова стать послом? Нет уж, только не это! Но и вечно жить там, где нет ни бумаги, ни чернил, ни почтения к Тюдорам, ни уважения к тремстам спальням,— тоже невозможно. Так рассуждала она однажды утром на горе Афон, пася своих коз. И тут Природа, которой она поклонялась, то ли выкинула шутку, то ли сотворила чудо — опять-таки мнения тут расходятся, так что точно неизвестно. Орландо довольно безутешно вперила взор в кручу прямо перед собой. Лето было в разгаре; и если чему-то стоило уподоблять этот пейзаж, то уж сухой кости; овечьему скелету; гигантскому черепу, добела вылизанному тысячей шакалов. Жара палила немилосердно, а низкорослой смоковницы, под которой она укрылась, только на то и хватало, чтобы напечатлевать узор своей листвы на легком бурнусе Орландо.

Вдруг какая-то тень, хоть решительно нечему было ее отбрасывать, легла на лысый склон. Она быстро углублялась, и скоро зеленая лощина образовалась там, где только что белела голая скала. Лощина росла, ширилась на глазах у Орландо, и вот уже на склоне раскинулся зеленый парк. В парке мрел и волнился муравчатый луг; там и сям стояли дубы; грачи порхали по ветвям. Она видела, как из тени в тень переступали чинные олени, она слышала, как жужжал, гудел, журчал, плескался и вздыхал английский летний день. Она смотрела, зачарованная, и вот начал падать снег; и все, что только что было обтянуто желтым солнечным блеском, оделось в фиолетовые тени. Тяжелые телеги катили по дорогам, груженные бревнами, которые, она знала, распилят на топку; вот проступили крыши, коньки, башни и дворы ее родного дома. Снег все валил, и уже она слышала влажный шелест, с каким, соскальзывая с крыши, он падал на землю. Из тысяч труб взвивался дым. Все было отчетливо, ярко, она разглядела даже, как галка выклевывает из снега червяка. Потом, малопомалу, фиолетовые тени сгустились и поглотили телеги, дороги, поглотили дом. Все скрылось. Ничего не осталось от зеленой лощины; на месте

муравчатых лугов была раскаленная скала, будто добела вылизанная тысячей шакалов. И тогда Орландо разрыдалась, пошла в табор и объявила цыганам, что завтра же должна вернуться в Англию.

Она счастливо отделалась. Молодежь уже замышляла ее убить. Честь, утверждали они, того требует, ибо она думает иначе, чем они. Им, однако, было б жаль перерезать ей глотку; и они обрадовались известию об ее отъезде. Английский торговый корабль, как случаю было угодно, стоял уже в гавани, готовый воротиться в Англию; и, сорвав еще одну жемчужину со своего ожерелья, Орландо не только сумела заплатить за проезд, но разжилась и несколькими крупными банкнотами. Она бы с радостью подарила их цыганам. Но они, она знала, презирали богатство; и потому она ограничилась поцелуями, с ее стороны совершенно искренними.

Глава 4

На несколько гиней, оставшихся от продажи десятой жемчужины из ожерелья, Орландо накупила себе всякой всячины по тогдашней моде и сидела на палубе «Влюбленной леди» в оснастке юной великосветской англичанки. Странно, и, однако же, это так — до сих пор она и думать не думала про свой пол. Возможно, турецкие шальвары уводили от него ее мысли; да и сами цыганки, за исключением двух-трех существенных пунктов, мало чем отличаются от цыган. Во всяком случае, лишь когда она ощутила прохладу шелка вокруг своих колен и капитан сверхучтиво предложил раскинуть ради нее на палубе навес, она со смятеньем осознала все выгоды и тяготы своего положения. Но смятение ее было, кажется, не совсем такого свойства, как следовало ожидать.

Оно было вызвано, надо сказать, не просто и не только мыслью о собственном целомудрии и о том, как его оберечь. В обычных обстоятельствах хорошенькая молодая женщина без провожатых ни о чем другом бы и не думала; все здание женского владычества держится на этом краеугольном камне; целомудрие — их сокровище, их краса, они блюдут его до остервенения, они умирают, его утратив. Но если вы тридцать лет были мужчиной, а тем более послом, если вы держали в объятиях королеву и (если молва не лжет) еще нескольких дам менее возвышенного ранга, если вы женились на Розине Пепите и так далее, вы не станете уж очень волноваться из-за своего целомудрия. Смятение Орландо имело весьма сложные корни, и в два счета их было не осмыслить. Собственно, никто никогда и не подозревал Орландо в быстроте ума, мигом постигающего суть вещей. Ей пришлось в течение всего плавания рассуждать о своем смятении, и мы последуем за нею в том же темпе.

— Господи,— думала она, несколько оправясь и растягиваясь в кресле под навесом,— ну чем, кажется, плоха такая праздность? Но,— подумала она, взбрыкнувши ножкой,— просто каторга — эти юбки, прямо стреножат шаг. Зато материя (легкий граденапль) чудо что такое. Никогда еще моя кожа (она положила руку на колено) так выгодно не оттенялась. Да, но как, например, прыгнуть за борт в таком наряде? Смогу я плыть? Нет! И стало быть, придется тогда рассчитывать на выручку матроса. А что? Чем плохо? Разве мне было бы противно? — думала она, наскочив на первый узелок в гладкой пряже своих рассуждений.

Она его еще не распутала, когда настало время обеда, и сам капитан — Николас Бенедикт Бартолус, морской капитан достойнейшего вида, собственной персоной его сервировавший,— потчевал ее солониной.

— Немного сальца, сударыня? — надсаживался он.— С вашего позволения, я предложу вам крошечный кусочек, с ваш ноготок.

При этих словах ее пробрал блаженный трепет. Пели птицы; журчали ручьи. Ей вспомнилось счастливое волненье, с каким она впервые увидала Сашу сотни лет назад. Тогда она преследовала, сейчас — убегала. Чья радость восхитительней — мужчины или женщины? Или, быть может,

они — одно? Нет, думала она, самая прелесть (она поблагодарила капитана, но отказалась) — отказаться и видеть, как он хмурится. Ну хорошо, если уж ему так хочется, она готова съесть самый-самый тонюсенький ломтик. Оказывается, самая прелесть — уступить и видеть, как он рассиялся.

— Ведь ничего,— думала она, снова растягиваясь на своем ложе под навесом и принимаясь рассуждать,— нет ничего божественней, чем артачиться и уступать; уступать и артачиться. Ей-богу, это такой восторг, с каким ничто в жизни не сравнится. И я даже не знаю,— рассуждала она дальше,— может, я и прыгну в конце концов за борт, лишь бы меня вытащил матрос.

(Не следует забывать, что она была как ребенок, которому вдруг подарили целый ящик игрушек; такие рассуждения вовсе не пристали взрослой даме, всю жизнь ими забавлявшейся.)

— Но, как это бывало, мы, юнцы в кубрике «Мари Роз», называли женщин, готовых прыгнуть в воду, чтобы их спасал матрос? — задумалась она.— Какое-то такое слово... Ага! Вспомнила... (Слово, однако, нам придется опустить; оно в высшей степени неуважительное и звучит чрезвычайно странно на устах у юной леди.)

— О Господи, Господи! — вскрикнула она снова, заключая свои рассуждения,— что же мне теперь? Считаться с мнением другого пола, каким бы оно мне ни казалось идиотским? А если я в юбке и не могу плыть и хочу, чтобы меня спасал матрос? О Господи! — крикнула она.— Что же мне делать? — И тут напала на нее тоска. От природы искренняя, она ненавидела всяческие двусмысленности и терпеть не могла врать. Окольные пути ей претили.— Однако, рассуждала она,— если этого граденапля и удовольствия быть спасаемой матросом — если всего этого можно добиться только окольными путями, тут ничего уж не попишешь, тут не ее вина. Она вспомнила, как, будучи молодым человеком, требовала, чтоб женщина была покорной, стыдливой, благоуханной и прелестно облаченной.— Вот и привелось теперь на своей шкуре испытать,— думала она,— ведь женщины (судя по моему собственному недолгому опыту) не то чтобы от природы покорны, стыдливы, благоуханны и прелестно облачены. И сколько надо биться для обретенья этих качеств, без которых и наслаждений нам не видать! На прическу одну,— думала она,— утром целый час уходит. Потом в зеркало глядеться — еще час; потом мыться; шнуроваться; пудриться; переоблачаться из шелка в кружева; из кружев в граденапль; из года в год хранить целомудрие...— Тут она притопнула ножкой, и показалась часть икры. Матрос на мачте, случайно глянув вниз в эту минуту, так вздрогнул, что потерял равновесие и буквально чудом не свалился в воду.— Если вид моих лодыжек грозит смертью честному малому, у которого, конечно, на попечении семья, я обязана во имя человеколюбия их прятать,— подумала Орландо. А ведь ноги были одним из ее главных совершенств. И она стала думать о том, какая глупость, что почти всю женскую красоту приходится скрывать, чтобы матрос не сорвался с топ-мачты.— Ах, да ну их всех к чертям! — сказала она, впервые познавая то, что при иных обстоятельствах всосала бы с молоком матери, а именно — святую ответственность женщины.

— А ведь я, пожалуй, в последний раз чертыхаюсь,— подумала она,— пока не ступила еще на английскую землю. Никогда уже не суждено мне отпустить какому-нибудь олуху затрещину, сказать ему в лицо, что он бессовестно врет, или обнажить меч, вспороть ему брюхо, ни сидеть среди равных, носить герцогскую корону, выступать в процессии, выносить кому-то смертный приговор, ни увлекать за собою войско, ни гарцевать на боевом скакуне по Уайтхоллу, ни носить на груди семьдесят две медали сразу. Ступив на английскую землю, я только и смогу, что разливать чай и спрашивать милордов, какой они предпочитают. Не угодно ли сахару? Сливок? — И, жеманно выговорив свои вопросы, она с ужасом обнаружила, какое нелестное мнение начала составлять о другом поле, мужском, принадлежностью к которому прежде столь гордилась.— Сваливаться с мачты,—

думала она,— из-за того, что ты увидел женские лодыжки; разряжаться, как Гай Фокс [1], и расхаживать по улицам, чтоб женщины тобою любовались; отказывать женщине в образовании, чтобы она над тобою не посмеялась; быть рабом ничтожнейшей вертихвостки и в то же время выступать с таким видом, будто ты — венец творенья — о Боже! — думала она,— каких они из нас делают дур и какие же мы все-таки дуры! — И по некоторой противоречивости ее суждений мы можем заключить, что она равно презирала оба пола, будто не принадлежала ни к одному; она и в самом деле будто колебалась; она была мужчиной; была женщиной; она знала тайны, разделяла слабости обоих. Ужасное, двусмысленнейшее положение. В утешительном неведении ей было отказано наотрез. Она была как листик на ветру. И неудивительно, что, сравнивая один пол с другим, в каждом находя досаднейшие пороки, не зная, к какому сама она принадлежит, она уже готова была крикнуть, что лучше она вернется в Турцию, к цыганам, когда якорь с громким всплеском упал в море; паруса повалились на палубу, и она заметила (она так углубилась в свои мысли, что несколько дней вообще ничего не замечала), что корабль стал на якорь у берегов Италии. Капитан тотчас послал к ней смиреннейше просить сопровождать его на берег в шлюпке.

Воротясь наутро, она растянулась в кресле под навесом и тщательнейшим образом подобрала вокруг лодыжек юбку.

— Пусть мы в сравненье с ними бедны и темны,— думала она, продолжая фразу, брошенную накануне неоконченной,— и уж каким только не оснащены они оружием, а нам-то и грамоте не полагается знать (из этих вступительных слов уже ясно, что за ночь произошло кое-что, приблизившее Орландо к женской психологии: она рассуждала скорей по-женски, чем по-мужски, притом с известным удовлетвореньем),— а вот поди ж ты — они срываются с мачт...— тут она широко зевнула и погрузилась в сон. Когда она проснулась, корабль под легким ветерком шел у самого берега, и деревушки по крутому краю, казалось, чудом с него не сваливались, удержанные где скалой, где мощными корнями древней оливы. Запах апельсинов с несчетных увешанных плодами деревьев стекал на палубу. Дельфины веселой синей стайкой били хвостами и высоко взлетали из воды. Простирая руки (руки, она заметила, не обладали столь роковым воздействием, как ноги), она благодарила небеса, что не гарцует сейчас на боевом скакуне по Уайтхоллу и даже никому не выносит смертный приговор.— Сто́ит,— думала она,— облечься в бедность и невежество, темные покровы женственности; сто́ит другим оставить власть над миром; не жаждать воинских почестей; не домогаться славы; вообще расстаться со всеми мужскими желаниями, если зато полнее сможешь наслаждаться высшими благами, доступными человеческому духу, а это,— сказала она вслух, как с ней всегда водилось в минуты сильного волненья,— а это созерца́нье, одиночество, любовь.

— Слава Богу, я женщина! — воскликнула она и чуть было не впала в крайнюю глупость — нет ни в мужчинах, ни в женщинах ничего противнее — а именно гордость своим полом, но тут она запнулась на странном слове, которое, как ни старались мы его поставить на место, пролезло-таки в заключение последней фразы: Любовь. «Любовь»,— сказала Орландо. И тотчас же — до того она прыткая — любовь приняла человеческий облик — до того она нахальна. Другие понятия, пожалуйста, могут оставаться абстрактными, голыми, а этой непременно подавай плоть и кровь, юбки и мантильку, лосины и камзол. И поскольку все возлюбленные Орландо раньше были женщины, то и сейчас из-за постыдной косности человеческой природы, не спешащей навстречу условностям, хотя Орландо стала женщиной сама, предмет ее любви все равно была женщина; ну, а сознанье принадлежности к тому же полу лишь углубляло и обостряло былые ее мужские чувства, только и всего. Тысячи тайн и намеков теперь

[1] Гай Фокс (1570—1606) — один из участников «Порохового заговора» против короля Якова I. Годовщина разоблачения заговора празднуется 5 ноября, в так называемый День Гая Фокса, когда сжигается на костре его чучело.

для нее прояснились. Высветлилась разделяющая оба пола тьма, кишащая всяческой нечистью, и если что-то есть в словах поэта о правде и красе [1], ее теперешнее увлеченье в красе наверстывало все, что потеряло на подтасовке. Наконец-то, поняла Орландо, она узнала Сашу, всю как есть, и в пылу открытия, в погоне за обретенным наконец-то сокровищем, она так забылась, что будто пушечный гром грянул у нее над ухом, когда мужской голос произнес: «Разрешите, сударыня», мужская рука подняла ее на ноги; и мужские пальцы с трехмачтовым парусником, вытатуированным на среднем, указали ей на горизонт.

— Скалы Англии, сударыня,— сказал капитан и поднял указующую длань в знак салюта. Снова Орландо вздрогнула, еще сильнее даже, чем тогда, в тот первый раз.

— Господи Иисусе! — крикнула она.

К счастью, зрелище родных берегов после долгой разлуки извиняло и крик этот, и эту дрожь, не то Орландо нелегко было бы объяснить капитану Бартолусу сложные, противоречивые вскипевшие в ее груди чувства. Ну как ему расскажешь, что она, дрожащей рукой теперь опершаяся на его руку, прежде была послом и герцогом? Как объяснишь, что она, лилией красующаяся в складках шелка, сносила головы с плеч и леживала с уличными девками среди тюков в трюмах пиратских кораблей летними ночами, когда цвели тюльпаны и шмели гудели над Уоппинг оулд стеэрс? Она и себе-то не могла объяснить, почему она так вздрогнула, когда рука морского капитана ей указала на утесы Британских островов.

— Артачиться и уступать,— бормотала она,— как это дивно; ловить и добиваться — как достойно; осмыслить и понять — как благородно.

Ни одно из этих словосочетаний ей не казалось неуместным; и, однако, по мере приближения меловых утесов, она все больше себя чувствовала виноватой; обесчещенной; нецеломудренной; что в человеке, прежде ни на секунду не задумывавшемся о подобных материях, пожалуй, и странно. Ближе, ближе надвигались утесы, и вот были уже видны невооруженным глазом повиснувшие на их полувысоте сборщики морского укропа. И пока она на них глядела насмешливым эльфом, который вот-вот подберет юбки и улизнет, их заслоняла Саша — утраченная, незабытая, в чьей реальности она вдруг заново убедилась,— Саша кривлялась, гримасничала и самым непочтительным жестом указывала на утесы и сборщиков укропа; и когда матросы затянули: «Прощайте, милые испанки, и вспоминайте нас», слова эти печалью отозвались в сердце Орландо, и она подумала, что при всей обеспеченности, довольстве, покое и высоком положении, которые сулила ей эта высадка (ведь, уж конечно, она подцепит какого-нибудь принца крови и будет через него править половиной Йоркшира), если ей зато придется подчиняться условностям, унижаться, кривить душой, отрекаться от своей любви, стреноживать свои члены, поджимать губы и прикусывать язык, лучше уж, не сходя с корабля, тотчас отправиться в обратный путь, к цыганам.

Над невнятицей этих чувств, однако, вдруг поднялся некий образ, подобный гладкому беломраморному своду, который — реальность ли? химера? — был так приманчив, что она тотчас прилепилась к нему разгоряченною мечтой, как вот дрожащий рой стрекоз жадно облепляет укрывший прихотливое растенье стеклянный купол. Его форма необъяснимой прихотью фантазии тотчас ей привела на память давнее, застрявшее: просторный лоб того, у Туитчетт в гостиной, который тогда сидел, писал или нет, скорей смотрел — не на нее, конечно; ее-то, в нынешней оснастке, он тогда не видел; впрочем, она и мальчиком была очень даже недурна, кто спорит,— но мысль о нем, по своему обыкновенью, едва взойдя, как вставший над бурливым морем месяц, тотчас окуталась серебряным наметом тишины. И ее рука (другая оставалась во владенье капитана) сразу

[1] Имеются в виду заключительные строки «Оды греческой вазе» Джона Китса (1819):
Краса — где правда, правда — где краса!
Вот знанье все и все, что надо знать.
(Перевод И. А. Лихачева.)

потянулась к груди, где была надежно упрятана поэма. Она будто талисмана коснулась. Всех этих глупостей, свойственных полу — ее полу,— как не бывало; она помышляла теперь только о поэтической славе, и гулкие строки Марло, Шекспира, Бена Джонсона и Мильтона уже звенели и переливались, будто золотой колокол раззвенелся в соборе ее души. Образ же мраморного купола, который ее глаза различали сперва так смутно, что он ей привел на память лоб поэта и так некстати притянул еще целую стайку непрошеных идей, был не химера, но реальность; и покуда корабль бежал под попутным ветерком по Темзе, образ этот, со всеми причиндалами, уступил место действительности и оказался не чем иным, как вставшим среди леса белых шпилей куполом огромного собора.

— Собор Святого Павла,— раздался голос капитана Бартолуса у нее над ухом.— Лондонский Тауэр,— продолжал он.— Гринвичский госпиталь, воздвигнутый в память королевы Марии ее супругом, покойным королем Вильгельмом III [1]. Вестминстерское аббатство. Здания Парламента.

И покуда он говорил, каждое из этих прославленных строений вставало перед ней. Было ясное сентябрьское утро. Мириады мелких суденышек сновали меж берегов. Более веселое, более увлекательное зрелище редко когда являлось взору возвращающегося путешественника. Орландо, вся недоуменное внимание, замерла на палубе. Глаза ее, за столько лет приглядевшиеся к дикарству и природе, не могли не упиваться городскими видами. Итак, это был собор Святого Павла, который мистер Рен построил, пока ее не было [2]. Вот золотая шевелюра взметнулась над колонной, и капитан Бартолус, тут как тут, сообщил, что это «Монумент» [3]; в ее отсутствие тут разразилась чума, пожар,— сказал он. Как она ни сдерживалась, из глаз у нее брызнули слезы, впрочем, она вспомнила, что женщине полагается плакать, и уже их не стеснялась. Здесь, думала она, был тот великий карнавал. Здесь, на месте шумящих вод, стоял королевский павильон. Здесь впервые увидала она Сашу. Здесь где-то (она заглядывала в искрящиеся волны) все, помнится, любили смотреть на ту мороженую торговку с яблоками в подоле. Вся эта роскошь, тленость — все миновало. Миновала и черная ночь, и страшный ливень, и жуткий вой потопа. Где, кружась, метались желтые льдистые громады, унося обезумевших бедолаг, плыл теперь лебединый выводок — высокомерно, стройно, величаво. Сам Лондон, с тех пор как она его видела, совершенно изменился. Тогда, ей вспоминалось, здесь теснились черные, насупленные домишки. Головы мятежников скалились с пик Темпл-Бара. От булыжных мостовых разило отбросами. А сейчас на их корабль смотрели с берегов широкие пролеты чистых улиц. Нарядные кареты, запряженные сытыми лошадками, стояли у дверей домов, всеми эркерами своими, зеркальными окнами и надраенными кольцами свидетельствовавших о благоденствии, почтенности, достоинстве хозяев. Дамы в цветистых шелках (она прижала к глазам подзорную трубу капитана) ступали по высоким тротуарам. Горожане в расшитых камзолах нюхали табак на уличных углах, под фонарями. Окинув взглядом дрожащую на ветру пестроту вывесок, она наскоро составила представление о шелках, духах, платках, табаках, золоте, серебре и перчатках, которые продавались в лавках. Пока корабль проплывал мимо Лондонского моста, она успела заглянуть в окна кофеен, где, по случаю хорошей погоды больше на балконах, привольно сидели почтенные граждане и перед ними стояли фарфоровые блюда, рядом лежали глиняные трубки, и кто-нибудь один читал вслух газету, то и дело прерываемый смехом и замечаниями остальных. Это там таверны, умники, поэты? — спрашивала она капитана Бартолуса, который ей любезно сообщал, что как раз сейчас, если она поворотит голову чуть левей и поглядит по направлению его указательного

[1] Король Вильгельм III правил с 1689 по 1702 г. Королева Мария умерла в 1694 г.

[2] Сэр Кристофер Рен (1632—1723) — архитектор, который после Великого лондонского пожара (1666) отстроил город. Над возведением собора Святого Павла он работал с 1675 по 1710 г.

[3] «Монумент» был воздвигнут в 1671—1677 гг. по чертежам Рена в память о Великом пожаре. Это дорическая колонна с каннелюрами, увенчанная огромной золоченой сверкающей вазой.

пальца, то — корабль шел мимо «Дерева Какао» [1], где — ага, он самый — мистер Аддисон пил кофе; двое других господ — вон там, сударыня, чуть правей, значит, от фонаря, один горбатенький такой, другой — совсем как вы да я,— так это, значит, мистер Поп и мистер Драйден [2], оно, конечно, жалко их,— присовокупил капитан, под этим разумея, что они католики,— однако господа толковые,— заключил он и зашагал кормой, дабы приглядеть за высадкой.

— Аддисон, Драйден, Поп,— повторяла как заклинание Орландо. На минуту ей представились горы над Бурсой, в следующую минуту она ступила на родную землю.

Но тут-то Орландо пришлось понять, что самая неистовая буря чувств бессильна перед железной непреклонностью закона; насколько тверже он камней Лондонского моста и пушечных неумолимей жерл. Едва она вернулась к себе домой в Блэкфрайерз, один за другим чиновники с Боу-стрит [3] и прочие блюстители порядка ее уведомили, что она ответчица по трем искам, вчиненным ей за время ее отсутствия, и еще по ряду дел, отчасти из них проистекающих, отчасти с ними смежных. Главные обвинения против нее были 1) что она умерла и посему не может владеть какой бы то ни было собственностью; 2) что она женщина, что влечет за собою приблизительно таковые же последствия; 3) что она английский герцог, женившийся на некоей Розине Пепите, танцовщице, и имеет от нее троих сыновей, каковые по смерти отца предъявили свои права на наследование всего имущества усопшего. Чтобы избавиться от столь серьезных обвинений, требовались, разумеется, время и деньги. Все ее имение было заложено в казну и все титулы объявлены оставшимися без владельца вплоть до решения суда. И таким образом, в весьма щекотливом положении, неизвестно, живая или мертвая, мужчина или женщина, герцог или бог знает кто, она отправилась на почтовых в свое сельское прибежище, где получила разрешение жить до конца разбирательства в качестве инкогнито, мужского или женского пола, уж как покажет исход дела.

Был чудесный декабрьский вечер, когда она прибыла туда, и падал снег, клонились фиолетовые тени, совсем как ей привиделось тогда на горе возле Бурсы. Огромный дом раскинулся в снегу, скорей как целый город,— бурый, розовый, фиолетовый и синий. Дымили трубы, старательно, от всей души. При виде этой мирно разлегшейся в лучах громады Орландо едва сдержала восторженный крик. Когда желтая карета въехала в парк и покатила между деревьев по аллее, благородные олени вопросительно вскидывали головы и, было замечено, вместо того, чтоб проявлять положенную их брату робость, неотступно следовали за каретой. Иные трясли рогами, прочие били копытом землю, когда спускали лестницу и выходила Орландо. Один, говорят, просто плюхнулся перед ней на колени в снег. Она даже не успела протянуть руку к дверному молоточку: огромные двустворчатые двери распахнулись и, высоко поднявши факелы и свечи, миссис Гримздитч, мистер Даппер и весь штат прислуги явились на пороге, приветствуя ее. Задуманный чин встречи, однако, нарушился сперва несдержанностью пса Канута [4], который так пылко бросился к своей хозяйке, что чуть ее не повалил, а затем смятением миссис Гримздитч, которая вместо реверанса от полноты чувств только и могла бормотать «Милорд! Миледи! Миледи! Милорд!», пока Орландо ее не успокоила, сердечно расцеловав в обе щеки. Затем мистер Даппер принялся было читать по пергаменту, но борзые

[1] «Дерево Какао» — знаменитый литературный клуб, открытый в начале XVIII в. в кофейне того же названия.

[2] Капитан, конечно, обознался, в чем можно убедиться, заглянув в любой литературный справочник; но это такая трогательная ошибка, что мы ее не станем исправлять. *(Прим. автора.)*

Джозеф Аддисон (1672—1719) — критик, эссеист, издатель.

Александр Поп (1688—1744) — поэт, переводчик Гомера, издатель, сатирик. Был горбат.

Джон Драйден (1631—1700) — лирик, сатирик, драматург.

[3] На Боу-стрит находится главный уголовный полицейский суд, носящий то же название.

[4] Пес, видимо, был назван в честь Канута Великого (995—1035) — датского короля, а с 1016 г. короля Англии.

лаяли, охотники трубили в рога, тут же мешались под шумок зашедшие во внутренний двор олени, мистер Даппер оставил свою затею, и все общество разбрелось по дому, предварительно, каждый на свой манер, засвидетельствовав хозяйке радость по случаю ее возвращения.

Никто не выказал ни минутного подозрения, что Орландо — не тот Орландо, которого они знали. Если какие мысли и закрались бы в сердца людей, поведение оленей и собак тотчас бы их развеяло, ибо немые твари, каждый знает, гораздо лучше способны разобраться в том, кто есть кто, и в характере нашем, чем мы сами. Более того, говорила миссис Гримздитч, попивая вечером китайский чай с мистером Даппером, если хозяин и стал теперь хозяйкой, она лично в жизни не видывала более хорошенькой, да их и не различить; обоих небось природа не обидела; как два персика с одной ветки; честно сказать, разоткровенничалась миссис Гримздитч, она всегда кое-чего смекала (она таинственно покачала головой) и нисколечко не удивляется (она покачала головой с умным видом), и, сказать по чести, она лично очень даже рада; полотенца все прохудились, занавески у капеллана в гостиной все молью траченные, самое время, чтобы хозяйка в доме была.

— А потом и маленькие хозяйки и наследнички,— подхватил мистер Даппер, вместе со святым саном облеченный правом вслух высказываться о столь деликатных материях.

И вот, пока старые слуги судачили в людских, Орландо взяла серебряный подсвечник и снова пустилась блуждать по залам, галереям, спальням; оглядывала смутные лики лорда хранителя печати, лорда гофмейстера двора и прочих предков, взиравших на нее со стен; то присядет на роскошное кресло, то склонится под пышный балдахин; смотрела, как колышутся шпалеры (охотники скакали, бежали дафны); полоскала руку, как когда-то, в желтом луче луны, пронзавшем оконного геральдического леопарда; скользила по вощеным доскам галерей, нетесанным с исподу; где шелк погладит, где пощупает атлас; воображала, что резные дельфины плывут вдоль стен; чесала волосы серебряной щеткой короля Якова; зарывала лицо в розовые лепестки, засушенные сотни лет назад при Вильгельме Завоевателе и по его рецепту; смотрела в сад, воображала сон крокусов, дремоту далий; видела, как нежные тела нимф белеют на снегу; и черную за ними высокую ограду из секвойи; и апельсины видела, и мушмулу; — все это она видела, и каждый образ, каждый звук, как бы топорно мы его ни описали, ударял ее по сердцу и наполнял таким блаженством, что в конце концов, изнеможенная, она пошла в часовню и бросилась в алое кресло, в котором предки ее когда-то слушали службу. Тут она закурила манильскую сигару (привычка, вывезенная с Востока) и раскрыла молитвенник.

То был томик, переплетенный в шитый золотом бархат, который Мария, королева Шотландская, держала в руках на эшафоте, и доверчивый глаз еще угадывал темное пятно, оставленное, говорили, каплей королевской крови. Но какие благочестивые мысли будило оно в Орландо, какие злые страсти убаюкивало — кто же скажет, зная, что из всех встреч людских встречи с божеством — самые непостижимые? Романисты, поэты, историки — все топчутся под этой дверью; да и сам верующий едва ли вам ее приоткроет, ибо разве он более других готов к смерти или спешит раздать свое имущество? Не держит ли он ничуть не меньше горничных и лошадей, чем другие? Что не мешает ему придерживаться веры, которая, он говорит, доказывает суетность всех благ земных, а смерть делает желанной. Молитвенник королевы, помимо кровавого пятна, хранил локон ее волос и крошки пирога; Орландо прибавила к этим сувенирам еще и табачные разводы; она покуривала, читала, и вся эта смесь — локон, кровавое пятно, пирог, табак — ее настраивала на высокий лад, и лицо обретало вполне приличное обстоятельствам смиренное выраженье, хотя, кажется, она не имела никаких отношений с обычным Богом. Нет, однако, ничего надменней, нет ничего пошлей, чем утверждать, что имеется лишь один Бог и лишь одна религия, а именно — исповедуемая говорящим. У Орландо, кажется, была собственная вера. Со всем религиозным пылом она рассуждала сейчас о своих грехах и слабостях, вкравшихся в душу.

Буква «С», рассуждала она, сущий змей в садах поэтова рая. Как ни старалась она их избегнуть, эти зловредные свистящие рептилии заполонили первые строфы «Дуба». Но что «С»? «С» — пустяки в сравнении с окончанием «ащий». Причастие настоящего времени — это просто дьявол собственной персоной, думала Орландо (раз уж мы в таком месте, где нельзя не верить в дьявола). Избегать же искушений — первейший долг поэта, заключила она, ведь раз путь в душу лежит через ухо, значит, и поэзия может вернее совратить и разрушить, чем пушечный порох и блуд. Служение поэта — самое высокое служение,— продолжала она рассуждать. Слова его поражают цель, когда другие летят мимо. Глупая песенка Шекспира больше помогает отверженным и нищим, чем все на свете проповедники и филантропы. Никакого времени, никаких усилий не жалко, лишь бы приладить передаточные средства к нашим идеям. Надо обрабатывать слово до тех пор, пока не сделается тончайшей оболочкой мысли. Мысли божественны... Короче говоря, совершенно очевидно, что она вернулась в границы собственной религии, которые время лишь укрепило в ее отсутствие, и теперь стремительно набиралась нетерпимости.

— Я расту,— подумала она, взяв наконец свечу.— Я расстаюсь с иллюзиями,— сказала она, захлопнув молитвенник королевы Марии,— быть может, чтоб набраться новых,— и она спустилась к гробам, где лежали кости ее предков.

Но даже кости предков — сэра Майлза, сэра Джерваса и прочих — что-то утратили в ее глазах с тех пор, как Рустум Эль Сади махнул тогда рукой на азиатской горе. Каким-то образом тот факт, что всего каких-нибудь триста-четыреста лет тому назад эти скелеты были людьми и не хуже современных выскочек стремились к месту под солнцем, которого и добивались, стяжая дома и титулы, ленты и подвязки, как оно выскочкам положено, тогда как поэты, люди высокого духа и образования, предпочитали одиночество и тишину, за каковое предпочтение теперь и расплачиваются нищетой, выкликают газеты на Стрэнде или пасут овец в лугах,— каким-то образом факт этот был ей противен. Она вспомнила о египетских пирамидах, о том, какие кости лежат под ними, покуда она торчит в своем склепе; и просторные, пустые горы над Мраморным морем на миг ей показались более уютным пристанищем, чем огромный замок, где у каждой постели есть одеяло и серебряная крышка у каждого серебряного блюда.

— Я расту,— думала она, взяв свечу.— Я теряю иллюзии, но, быть может, обрету новые,— и она отправилась длинной галереей к своей спальне. Да, это будет, конечно, нелегко. Зато как интересно, как увлекательно, думала она, вытягивая ноги перед камином (поблизости не было матросов) и наблюдая свое собственное продвижение как бы среди высоких зданий — свое собственное продвижение по прошлым дням.

Как мальчиком любила она звук, непроизвольный взрыв вокабул считая поэзией самой! Потом — наверное, из-за Саши, из-за разочарованья, в высокое безумство упала капля черноты, и порывистость обернулась скучливой ленью. В душе открылись темные, запутанные закоулки, и чтобы их обшарить, понадобился светильник; стихи уж не годились, в ход шла проза; она вспомнила, как зачитывалась этим доктором из Норвича, Брауном; его книга и сейчас у нее под рукой. Тут, в тиши, после эпизода с Грином она поклялась воспитать в себе — да не сразу дело делается, на это века уходят — дух сопротивленья. «Что хочу, то и пишу»,— сказала она себе; и намарала двадцать шесть томов. Но вот, после всех странствий, приключений, глубоких раздумий, превращений туда-сюда, она еще не полностью сложилась. Что готовит ей будущее — Бог весть. Она меняется непрестанно, и это может продолжаться вечно. Бастионы мысли, навыки, казавшиеся незыблемее каменных твердынь, рассеиваются, как дым, от малейшего прикосновения чужого ума, обнаруживая голое небо, прохладное мерцанье звезд. Тут она подошла к окну и, несмотря на холод, его отворила. Подставила лицо и плечи сырому ночному ветру. Послушала, как тявкает лисица, как шуршит ветками фазан. Как снег, шелестя, плюхается

с крыши. «Ей-богу,— крикнула она,— тут в тысячу раз лучше, чем в Турции! Рустум,— крикнула она, стараясь переспорить цыгана (эта новая черточка — способность держать в уме какой-то довод, продолжая спорить с тем, кого нет в наличии, дабы его опровергнуть,— лишний раз доказывает, что душа ее продолжала развиваться,— нет, ты ошибся, Рустум. Тут куда лучше, чем в Турции. Локон, пирог, табак — вот ведь из какой состоим мы дребедени,— сказала она (вспомнив молитвенник королевы Марии).— Что за фантасмагория наша душа, какая свалка противоречий! То, отрекшись от своего рода-племени, мы устремляемся к Сионским высотам; а в следующий миг от запаха заросшей садовой тропки, от пения дроздов ударяемся в слезы». И, как всегда, подавленная неисчислимостью материй, взывающих к объяснению, не давая притом ни малейшего намека на свой сокровенный смысл, она швырнула за окно манильскую сигару и отправилась спать.

Наутро под влиянием своих раздумий она достала перо, бумагу и заново уселась за поэму «Дуб», ибо иметь вдоволь бумаги и чернил, когда вы уж притерпелись было к ягодам и полям черновиков,— невообразимая благодать. И с отчаянием и отвращением вымарав одну строку, она с блаженным восхищением вписывала другую, когда тень упала на страницу. Она поскорей спрятала рукопись.

Окно выходило на самый укромный дворик, и она распорядилась никого к ней не пускать, тем более, что никого не знала, да и сама — по закону — была неизвестной, а потому она сперва удивилась этой тени, потом пришла в негодованье, потом (когда подняла глаза и увидела ее источник) развеселилась донельзя. Ибо тень была знакомая, уморительная тень, это — как пить дать — была тень эрцгерцогини Гарриет Гризельды из Финстера Лархорна и Скок оф Бума, что в румынских землях.

Она скакала через двор в той же своей амазонке и плаще. Она ни на волос не изменилась. Так вот из-за кого пришлось бежать из Англии! И это — страшное исчадье, это — роковая дичь! От одной мысли, что она бежала аж до самой Турции, чтобы спастись от этих чар (ну не чушь ли?), Орландо вслух расхохоталась. Во всей фигуре было что-то невыразимо потешное. Больше всего она напоминала, как и прежде думалось Орландо, какого-то идиотского зайца. Такие же выпученные глаза, втянутые щеки и что-то высокое на голове. Вот — замерла, совсем как заяц, когда сел торчком во ржи и думает, что никто его не видит, и уставилась на Орландо, которая, в свою очередь, на нее смотрела из окна. Так наблюдали они друг друга некоторое время, пока наконец Орландо не пришлось пригласить ее зайти, и вот обе дамы уже обменивались любезностями, пока эрцгерцогиня отряхивала снег с плаща.

— Черт бы побрал это бабье,— сама с собой говорила Орландо, подходя к буфету, чтобы налить стакан вина,— ни на минуту не оставят в покое человека. Суетливей, настырней, прилипчивее их нет никого на свете! Из-за такого чучела я рассталась с Англией, и вот...— тут она обернулась, чтобы поставить поднос перед эрцгерцогиней, и увидела: на месте эрцгерцогини сидел высокий господин в черном. Груда одежды была навалена в камин. Орландо была наедине с мужчиной.

Вынужденная вдруг вспомнить про свою женственность, о которой начисто забыла, и про его пол, достаточно несхожий с ее собственным, чтобы внушать тревогу, Орландо почувствовала, что вот-вот упадет в обморок.

— Ах! — вскрикнула она, хватаясь за бок,— как же вы меня напугали.

— Милое созданье,— крикнула эрцгерцогиня, преклоняя одно колено и одновременно поднося к губам Орландо живительную влагу,— простите мне мой обман!

Орландо отхлебнула вина, и эрцгерцогиня, упав на колени, ей поцеловала руку.

Короче говоря, они десять минут кряду истово разыгрывали партию мужчина — женщина, после чего пошел настоящий разговор. Эрцгерцогиня (которая в дальнейшем будет называться эрцгерцогом) рассказал свою

историю — что он мужчина и всегда был таковым; что он увидел портрет Орландо и тотчас безнадежно в него влюбился; что для достижения своих целей он поселился у булочника; что он был безутешен, когда Орландо бежал в Турцию; что он услышал о ее преображении и поспешил сюда, предложить свои услуги (тут пошли непереносимые хихи-хаха). Ибо для него, сказал эрцгерцог Гарри, она всегда была и останется вовеки воплощением, вершиной, венцом своего пола. Эти три «в» могли бы быть убедительней, если бы не пересыпались хиханьками-хаханьками самого сомнительного свойства. «Если это и любовь,— сказала сама себе Орландо, глядя на эрцгерцога из-за камина, уже с женской точки зрения,— то как же она смешна».

Упав на колени, эрцгерцог Гарри в самых страстных выражениях ей предложил руку и сердце. У него, сказал он, в замке в сейфе лежит около двадцати миллионов дукатов. Земель у него больше, чем у любого английского вельможи. А какая у него охота! Он покажет Орландо тетеревов и куропаток, каких не сыщешь ни на английских, ни на шотландских болотах. Правда, фазаны в его отсутствие пострадали от зевоты, а оленихи поскидывали приплод, но ничего, с ее помощью все образуется, когда они вместе переедут в Румынию.

Пока он говорил, две огромные слезы закипели в его выкаченных глазах и потекли по землистым бороздам вдоль тощих, впалых щек.

Мужчины ударяются в слезы так же часто и так же беспричинно, как женщины, это Орландо знала по собственному мужскому опыту; но она начала догадываться, что женщину должно коробить, когда мужчина расчувствуется в ее присутствии, и ее покоробило.

Эрцгерцог извинился. Он несколько овладел собой и объявил, что сейчас ее оставит, но назавтра вернется за ответом.

Был вторник. Он вернулся в среду; он вернулся в четверг; в пятницу; и в субботу. Правда, каждый визит начинался, продолжался и заключался объяснениями в любви, но они оставляли достаточно времени для пауз. Орландо и эрцгерцог сидели по разным сторонам камина; время от времени он обрушивал щипцы или совок, и Орландо их подбирала. Потом эрцгерцог вспоминал, как он в Швеции подстрелил оленя, и Орландо интересовалась, большой ли был олень, и эрцгерцог отвечал, что нет, не такой большой, как тот, которого он подстрелил в Норвегии; потом Орландо спрашивала, не случалось ли ему стрелять тигра, и эрцгерцог отвечал, что он застрелил альбатроса, и Орландо спрашивала (не вполне успешно подавляя зевок), был ли этот альбатрос со слона или меньше, и эрцгерцог отвечал... что-то вполне разумное, конечно, но Орландо не слышала, потому что смотрела на свой письменный стол, в окно, на дверь. После чего эрцгерцог говорил: «Я вас обожаю» в тот самый миг, когда Орландо говорила: «Поглядите, кажется, накрапывает», и оба ужасно смущались, краснели до корней волос, и ни один не мог придумать, что сказать дальше. Орландо совершенно истощила свою изобретательность, просто не знала, о чем еще говорить, и не вспомни она об игре под названием муха-мушка, на которой можно проиграть очень большие суммы денег, почти не затрачивая при этом умственных способностей, ей, в конце концов, пришлось бы, вероятно, выйти замуж за эрцгерцога, потому что, как иначе от него отделаться, она не постигала. С помощью же этого весьма нехитрого средства, требующего лишь трех кусочков сахара и известного числа мух, удавалось преодолевать трудности беседы и избегать необходимости брака. Теперь эрцгерцог ставил пятьсот фунтов против шестипенсовика Орландо, что вот эта муха сядет вот на тот кусок сахара, а не на этот. Иногда, таким образом, они с самого утра и до обеда наблюдали, как мухи, перебарывая естественную для зимней поры апатию, часто битый час кружили под потолком, покуда какая-нибудь изящная навозница не делала свой выбор и определяла исход пари. Много сотен фунтов перешло из рук в руки в этой игре, которая была во всех отношениях ничуть не хуже скачек, как утверждал азартный эрцгерцог, клявшийся в нее играть до конца своих дней. Но Орландо скоро заскучала.

— Что толку быть прекрасной женщиной во цвете лет,— спрашивала себя Орландо,— если я каждое утро должна убивать на то, чтоб следить за навозными мухами с каким-то эрцгерцогом?

От самого вида сахара ее уже мутило; ее тошнило от мух. Тут, догадывалась она, безусловно должен был быть какой-то приличный выход, но, недостаточно еще поднаторев в приемах своего пола и не имея возможности двинуть человека кулаком по черепу или вспороть ему брюхо рапирой, она не придумала лучшего способа, чем следующий. Она ловила навозную муху, мягко лишала жизни (муха и без того была сонная, иначе любовь к бессловесным тварям никогда бы не позволила этого Орландо) и с помощью капли гуммиарабика прикрепляла к кусочку сахара. Пока эрцгерцог смотрел в потолок, она ловко подсовывала этот кусочек вместо того, на который делала ставку, и с криком «Муха-мушка!» объявляла, что выиграла. Расчет у нее был тот, что эрцгерцог, достаточно осведомленный в спорте и скачках, разоблачит жульничество и, поскольку обман в мушку — гнуснейшее из преступлений, за которое во все времена изгоняли из человеческого общества — вон, в джунгли, к обезьянам,— у него, надеялась Орландо, достанет мужественности порвать с нею навсегда. Но она недооценила благородную простоту добрейшего вельможи. Он плохо разбирался в мухах. Мертвой мухи он не отличал от живой. Она двадцать раз сыграла с ним эту шутку, и он ей переплатил больше 17 250 фунтов (что на наши деньги составляет 40 885 фунтов, 6 шиллингов и 8 пенсов), пока Орландо не обнаглела до такой степени, что даже он не мог не заметить подлога. Когда он, наконец, понял всю правду, разразилась мучительная сцена. Эрцгерцог вытянулся во весь свой могучий рост. Он побагровел. Слезы, одна за другой, стекали по его щекам. То, что она выиграла у него целое состояние — пустяки, ради Бога, на здоровье; она обманула его — вот что плохо,— ему больно думать, что она на это способна; но главное — она жульничает в мушку. Любить женщину, которая жульничает в игре, сказал он, невозможно. Тут он совсем потерялся. Хорошо еще, сказал он, несколько оправясь, дело обошлось без свидетелей. Она же, сказал он, всего-навсего женщина. Короче говоря, он уже собирался пойти на попятный, простить ее от полноты сердца и просить ее, чтобы простила ему несдержанность речей, но она пресекла его попытки, и, едва он склонил перед ней свою гордую голову, сунула ему за шиворот небольшую жабу.

Справедливости ради следует упомянуть, что она бы в тысячу раз охотней применила рапиру. Жабы слишком липкие, чтоб держать их за пазухой все утро. Но если рапира запрещена, приходится пользоваться жабами. Вдобавок жабы в сочетании с хохотом могут преуспеть там, где бессильна холодная сталь. Она хохотала. Эрцгерцог покраснел. Она хохотала. Эрцгерцог разразился проклятьями. Она хохотала. Эрцгерцог хлопнул дверью.

— Слава тебе Господи! — все еще хохоча, крикнула Орландо. Она слышала, как на большой скорости мчат по аллее дрожки. Вот загремели по дороге. Тише, тише делался звук. Вот и вовсе стих.

— Я одна,— сказала Орландо вслух, ведь никто не мог ее услышать.

Тот факт, что тишина после шума становится гуще, еще требует научных доказательств. Но тот факт, что одиночество живее ощутимо сразу после того, как вас любили, подтвердят многие женщины. Покуда замирал шум эрцгерцогского экипажа, Орландо чувствовала, как от нее все дальше, дальше уходит некий эрцгерцог (ну и пусть), богатство (ну и пусть), титул (пусть), спокойствие и устроенность семейного быта (пусть, пусть), но от нее, она чувствовала, уходили жизнь и любовь. «Жизнь и любовь»,— бормотала она; и подойдя к письменному столу, она обмакнула перо в чернильницу и написала:

«Жизнь и любовь» — строку, ничего общего не имевшую, никак не вытекающую из того, что ей предшествовало (что-то насчет правильного способа уничтожения паразитов на овце во избежание парши). Перечитав эту строку, она покраснела и повторила:

— Жизнь и любовь.

Затем, отложив перо, она пошла в спальню, встала перед зеркалом, поправила на шее жемчужное ожерелье. Потом, поскольку жемчуга плохо сочетались с утренним платьицем из цветастого ситца, она переоделась в светло-серую тафту, потом в персико-розовую, а потом уж в парчу вишневого цвета. Наверное, не помешало бы чуть припудрить нос, уложить волосы на лбу — вот так. Потом она сунула ноги в остроносые туфельки, надела на палец изумрудное колечко. «Ну вот»,— сказала она, когда все было готово, и засветила по обеим сторонам зеркала серебряные канделябры. И какая бы женщина не загорелась, увидев то, что увидела сейчас Орландо, горящее в снегах: зеркало было все сплошь — снежная равнина, а сама она — костер, пылающая купина́, и пламя свечей сияло у нее над головой серебряной листвой; или нет, зеркало было — зеленая вода, а сама она русалка, унизанная жемчугами; укрывшаяся в гроте сирена, так поющая, что гребцы, клонясь к бортам, падают из лодок, вниз, вниз, вниз, чтобы ее обнять; так темна, так светла, тверда, нежна она была, так дивно соблазнительна, и безумно, безумно было жаль, что некому это выразить в простых словах, взять и сказать: «Черт побери, сударыня, вы прелесть, да и только!» И ведь это было чистой правдой. Орландо (вовсе не страдавшая самомнением) и сама это знала, и она улыбнулась той невольной улыбкой, какой улыбаются женщины, когда их собственная красота, будто им и не принадлежа — так взбухает капля, так взлетают струи,— вдруг им встает навстречу в зеркале; вот такой улыбнулась она улыбкой, а потом она на секунду вслушалась и услышала всего лишь: листья шелестят, чирикают воробьи — и она вздохнула: «Жизнь, любовь», и с удивительной быстротой повернулась на пятках, сорвала с шеи жемчуга, стянула с себя шелка и, стоя в простых черных бриджах обыкновенного дворянина, позвонила в колокольчик. Вошел слуга; она велела немедля подать к крыльцу карету цугом. Срочные дела ее призывают в Лондон. Не прошло и часу, как исчез эрцгерцог, а она уже отправилась в путь.

А покамест она едет, мы воспользуемся случаем (поскольку пейзаж за окном — обыкновенный английский пейзаж, не нуждающийся в описаниях) и привлечем более подробное внимание читателя к нескольким нашим беглым заметам, оброненным в свое время там и сям по ходу рассказа. Напомним, например, что Орландо прятала свои рукописи, когда ее заставали за сочинительством. Далее — что она долго и внимательно смотрелась в зеркало; и вот теперь, когда она ехала в Лондон, можно было заметить, как она вздрагивала и подавляла крик, если лошади припускали быстрей, чем бы ей хотелось. Конфузливость ее по части сочинительства, суетность по части внешности, страхи по части собственной безопасности — все это, пожалуй, нас вынуждает признаться, что сказанное несколько выше об отсутствии перемен в Орландо в связи с переменой пола теперь уже как будто и не вполне верно. Она стала чуть более скромного мнения о своем уме, как женщине положено, стала чуть больше тщеславиться своей внешностью, как свойственно женщине. Одни черты характера в ней усугублялись и смазывались другие. Перемена в одежде, скажут многие мыслители, сыграла тут значительную роль. Кажется, что одежда? — говорят эти мыслители — пустяк, ничто, а ведь назначение ее куда важней, чем просто нас защищать от холода. Она меняет наше отношение к миру и отношение мира к нам. Например, увидев юбку Орландо, капитан Бартолус сразу приказал укрепить над ней навес, вынудил ее взять еще ломтик солонины и пригласил сопровождать его на берег в лодке. И не видать бы ей всех этих знаков внимания, если бы юбки ее, вместо того чтоб развеваться, узкими бриджами плотно облегали ноги. А когда вам оказывают знаки внимания, на них приходится соответственно отвечать. Орландо делала книксен; она уступала; она льстила добряку, чего бы, разумеется, не стала делать, будь его чеканные штанины женскими юбками, а шитый мундир — атласным женским лифом. И, выходит, многое подтверждает тот взгляд, что не мы носим одежду, но она нас носит; мы можем ее выкроить по форме нашей груди и плеч, она же кроит наши сердца, наш мозг и наш язык по-своему.

А потому, поносивши некоторое время юбки, Орландо заметно изменилась, и даже, между прочим, изменилось у нее лицо. Если мы сравним портрет Орландо-мужчины и портрет Орландо-женщины, мы убедимся, что хотя это, без сомнения, один и тот же человек, кое-что в нем, конечно же, переменилось. У мужчины рука вольна вот-вот схватить кинжал; у женщины руки заняты — удерживают спадающие с плеч шелка. Мужчина открыто смотрит в лицо миру, будто созданному по его потребностям и вкусу. Женщина поглядывает на мир украдкой, искоса, чуть ли не с подозреньем. Носи они одно и то же платье, кто знает, быть может, и взор был бы у них неразличим.

Так считают многие мыслители и мудрецы, но мы, в общем, склоняемся к другому мнению. Различие между полами, к счастью, куда существенней. Платье всего лишь символ того, что глубоко под ним упрятано. Нет, это перемена в самой Орландо толкнула ее выбрать женское платье, женский пол. И, возможно, она лишь более открыто выразила (открытость вообще ведь суть ее натуры) нечто, происходящее со многими людьми, только не выражаемое столь очевидно. И вот опять мы натолкнулись на дилемму. Как ни разнится один пол от другого — они пересекаются. В каждом человеке есть колебание от одного к другому полу, и часто одежда хранит мужское или женское обличье, тогда как внутри идет совсем другая жизнь. Какие неловкости и пертурбации это порой влечет, каждый по себе знает; довольно, впрочем, общих рассуждений; пора вернуться к особому случаю Орландо.

Смешение в ней мужского и женского начал, поочередно одерживавших верх, часто сообщало некоторую неожиданность ее повадкам. Любопытные дамы, например, удивлялись, как, будучи женщиной, Орландо никогда не тратит больше десяти минут на одеванье? И выбирает она платья как-то наобум. И носит их как-то небрежно. Но, с другой стороны, утверждали дамы, нет в ней и мужской жесткости, мужской жажды власти. Она чувствительна на редкость. Не может видеть, как тонконогого осленка бьют кнутом, как топят котенка. И все же, замечали они, она терпеть не может домашнего хозяйства, встает на рассвете, и летом до восхода солнца уже она в лугах. Редкий крестьянин так разбирается в зерновых. Она не дура выпить, она обожает азартные игры. Орландо дивно держалась в седле, гоняла галопом шестерку лошадей по Лондонскому мосту. И все же, при всей своей мужской отваге, она, было замечено, совсем по-женски трепетала при виде чужой беды. Чуть что — ударялась в слезы. Понятия не имела о географии, математику находила несносной и разделяла кое-какие предрассудки, более распространенные среди женщин, например, что ехать к югу — значит ехать вниз. Итак, чего в Орландо было больше — мужского или женского,— сказать очень затруднительно, да сейчас и не решить. Потому что карета ее уже грохотала по булыжникам. Орландо подъезжала к своему городскому дому. Были спущены ступеньки, отворены железные ворота. Она входила в отцовский дом в Блэкфрайерзе, который, хоть мода поспешно покидала этот край Лондона, остался благообразным и просторным домом, и шелестел вокруг милый орешник, и милый сад сбегал к реке.

Здесь она обосновалась и принялась безотлагательно высматривать вокруг то, за чем сюда явилась — жизнь и поклонника. Относительно первой оставались известные сомненья; второго она обрела через два дня по приезде без малейшего труда. Приехала она во вторник. В четверг отправилась гулять по Моллу, как было тогда принято в хорошем обществе. Не успела она и двух раз пройтись туда-обратно, как привлекла внимание кучки зевак, пришедших поглазеть на более чистую публику. Когда она проходила мимо, женщина с ребенком на руках выступила вперед, уставилась в лицо Орландо и крикнула: «Лопни мои глаза! Да это ж леди Орландо, ей-богу!» Ее приятели обступили Орландо, и она тотчас оказалась в кольце лавочников и торговок, горящих желанием поглядеть на героиню нашумевшей тяжбы. Такой уж интерес вызвало это разбирательство в умах простого люда. Зажатая толпой, Орландо могла бы оказаться в весьма стеснительном положении — она совсем забыла, что даме не пристало

ходить по улицам без провожатых,— если бы высокий господин не выступил вперед, любезно предлагая ей свою поддержку. То был эрцгерцог. При виде его ее охватила тоска и в то же время разбирал смех. Великодушный вельможа не только ее простил, но, желая загладить легкомысленную выходку с жабой, он заказал брошку в форме сей рептилии, каковую и успел ей всучить вместе с новым предложением руки и сердца, пока провожал ее к карете.

Из-за этой толпы, из-за этого эрцгерцога, из-за этой жабы Орландо ехала домой в премерзком расположении духа. Неужели же нельзя выйти погулять, чтобы тебе при этом не наступали на пятки, не дарили смарагдовых жаб и не делал предложение эрцгерцог? Она, однако, несколько смягчилась утром, когда нашла у себя на столике с десяток визитных карточек влиятельнейших дам страны — леди Суффолк, леди Солсбери, леди Честерфилд, леди Тависток и другие любезнейшим образом напоминали ей о прежних связях своих семейств с ее семейством и просили о чести с нею познакомиться. На другой день, а именно в субботу, многие из этих дам предстали перед ней воочию. Во вторник около полудня их лакеи доставили ей приглашение на разные обеды, рауты и встречи в ближайшем будущем; и таким образом, Орландо без отлагательств, взметая брызги и некоторую пену, была спущена со стапелей на воды лондонского общества.

Дать правдивое описание лондонского общества той, да и любой другой поры не по зубам биографу или историку. Лишь тем, кого не слишком интересует и заботит правда — поэтам, романистам,— лишь им такое по плечу, ибо это один из тех случаев, где правды нет. И ничего нет. Все вместе взятое — мираж, фата-моргана. Поясним, однако, свою мысль примером. Орландо приезжала домой после такого сборища в три-четыре часа утра, и глаза ее сияли, как звезды, а щеки пылали, как рождественская елка. Она развязывала шнурок и без конца бродила взад-вперед по комнате, развязывала другой шнурок и снова бродила взад-вперед. Часто солнце уже золотило трубы Саутуарка, прежде чем она себя заставит лечь в постель, и она лежала, ворочалась, вскидывалась, вздыхала, хохотала больше часа, пока, бывало, не уснет. И что же было, спрашивается, причиной такого возбуждения? Общество. Но что же такого общество сделало или сказало, чтобы так разволновать неглупую молодую даму? Да вот именно что ничего. Как мучительно ни рылась Орландо на другой день в своей памяти, она ничего не могла из нее выудить, достойного упоминанья. Лорд О. был любезен. Лорд А. приятен. Маркиз С. очарователен. Мистер М. остроумен. Но когда она себя спрашивала, в чем же состояли любезность, приятность, очаровательность и остроумие, ей приходилось предполагать, что память ей изменяет, ибо она решительно ничего тут не могла ответить. И вечно повторялось одно и то же. Назавтра все улетучивалось, тогда как накануне она вся дрожала от возбуждения. И мы вынуждены заключить, что общество — как то варево, которое поднаторевшая хозяйка в сочельник подает горячим; вкус определяют десятки верно подобранных и взболтанных снадобий. Возьмите одно из них — само по себе оно окажется невкусным. Возьмите лорда О., лорда А., маркиза С. или мистера М.— каждый сам по себе — ничто. Смешайте их, взболтайте — и получится такой пьянящий вкус, такой неотразимый аромат! Но это опьянение, эта неотразимость не подвластны нашему анализу. В одно и то же время общество есть все и общество — ничто. Общество — крепчайшее на свете зелье, и общества вообще нет как нет. Иметь дело с такими чудищами с руки только поэтам и романистам; подобными фантомами набиты и начинены их сочинения; что же, на здоровье; им и карты в руки.

А мы, следуя примеру своих предшественников, скажем только, что общество времен королевы Анны [1] отличалось несравненной пышностью. Вступить в него было целью каждого высокородного лица. Тут требовалась величайшая сноровка. Отцы наставляли сыновей, матери — дочерей. Ни мужское, ни женское образование не считалось завершенным без искусства

[1] Королева Анна правила Англией с 1702 по 1714 г.

поступи, науки кланяться и приседать, уменья владеть мечом и веером, правильного ухода за зубами, гибкости колен, точных знаний по части входа и выхода из гостиной и тысячи этцетера, которые легко домыслит всякий, кто сам вращался в обществе. Поскольку Орландо заслужила лестный отзыв королевы Елизаветы, мальчиком подав ей чашу розовой воды, надо думать, она умела и горчицу передать как следует. Но, надобно признаться, была в ней и рассеянность, порою приводившая к неловкости; она была склонна думать о поэзии, когда следовало думать о тафте; шаг ее для дамы был, пожалуй, чересчур широк, а размашистый жест нередко грозил опасностью стоявшей рядом чашке чая.

То ли этих мелких шероховатостей довольно было, чтоб затмить ее блистанье, то ли она на каплю больше унаследовала того темного тока, какой бежал по жилам всех ее предков — известно только, что она не выезжала в свет и двух десятков раз, а можно было уже услышать (будь в комнате кто-то еще кроме Пипина, спаниеля), как она спрашивает себя:

— И что, что, черт побери, со мной?

Случилось это во вторник, 16 июня 1712 года; она только что вернулась с большого бала в Арлингтон-хаусе; в небе стоял рассвет, она стягивала с себя чулки.

— Хоть бы и вовсе ни души больше не встречать! — крикнула Орландо и ударилась в слезы. Поклонников у нее была тьма. А вот жизнь, которая, согласитесь, имеет для нас некоторое значение, ей как-то не давалась.

— Разве это,— спрашивала она (но кто ей мог ответить?),— разве это называется жизнь?

Спаниель в знак сочувствия поднял переднюю лапку. Спаниель лизнул Орландо языком. Орландо его погладила рукой. Орландо поцеловала спаниеля. Короче говоря, меж ними царило полнейшее согласие, какое только может быть между собакой и ее хозяйкой, и, однако, мы не станем отрицать, что немота животных несколько обедняет общение. Они виляют хвостом; они припадают к земле передней частью тела и задирают заднюю; они кружатся, прыгают, завывают, лают, пускают слюни; у них бездна собственных церемоний и тонкой выдумки, но все это не то, раз говорить они не умеют. В этом же ее разлад, думала она, тихонько опуская спаниеля на пол, с важными господами в Арлингтон-хаусе. Эти тоже виляют хвостом, кланяются, кружатся, прыгают, завывают, пускают слюни, но говорить они не умеют.

— За все эти месяцы, что я вращаюсь в свете,— говорила Орландо, волоча через комнату один чулок,— я ничего не услышала такого, чего не мог бы сказать Пипин. «Мне холодно. Мне весело. Мне хочется пить. Я поймал мышонка. Я зарыл косточку. Пожалуйста, поцелуй меня в нос». Но это маловато.

Как перешла она за столь короткий срок от упоенья к негодованью, мы можем только попытаться объяснить, предположив, что та таинственная смесь, какую мы называем обществом, сама по себе не хороша и не плоха, но пропитана неким хоть и летучим, но крепким составом, либо вас пьянящим, когда вы считаете его, как считала Орландо, упоительным, либо причиняющим вам головную боль, когда вы считаете его, как считала Орландо, мерзким. В том, что здесь уж такую важную роль играет способность говорить, мы себе позволим усомниться. Порой безмолвный час нам милее всех других; блистательнейшее остроумие может нагонять неописуемую скуку.

Орландо сбросила второй чулок и легла в постель в самом гадком настроении, твердо решив навсегда покинуть общество. Но снова она, как скоро оказалось, опрометчиво поспешила с выводами. Ибо наутро среди приевшихся приглашений она обнаружила на своем столике карточку одной влиятельнейшей дамы, графини Р. Поскольку ночью Орландо решила никогда более не являться в обществе, мы можем объяснить ее поведение (она срочно послала лакея в дом графини Р. сказать, что почтет за великую честь познакомиться с ее сиятельством) лишь тем, что в ней еще не отбродила отрава медвяных слов, закапанных ей в ухо капитаном Николасом Бенедиктом Бартолусом на палубе «Влюбленной леди», когда она

плыла по Темзе. Аддисон, Драйден, Поп — сказал он, указывая на «Дерево Какао», и Аддисон, Драйден, Поп с тех пор заклятьем звенели у нее в мозгу. Кто бы мог поверить в подобный вздор, а вот поди ж ты. Опыт с Ником Грином ничему ее не научил. Такие имена сохраняли над нею прежнюю власть. Во что-то, очевидно, нам надо верить, и раз Орландо, как мы уже говорили, не верила в обычные божества, она и обращала свою веру на великих людей — однако же с разбором. Адмиралы, воины, государственные мужи — нимало ее не занимали. Но самая мысль о великом писателе так разжигала ее веру, что она чуть ли не полагала его невидимым. Впрочем, ее вел безошибочный нюх. Вполне верить можно, наверное, лишь в то, чего не видишь. Мгновенно пойманные взглядом с палубы корабля великие люди казались ей виденьем. Она даже сомневалась, фарфоровая ли была та чашка, бумажная ли газета. Лорд О. заметил как-то, что вчера обедал с Драйденом,— она ему просто-напросто не поверила. Ну, а гостиная леди Р. слыла прихожей к приемной зале гениев; то было место, где мужчины и женщины сходились, чтоб размахивать кадилом и петь псалмы перед бюстом гения в стенной нише. Иной раз сам Бог на минуточку их удостаивал своим присутствием. Лишь ум был пропуском на вход сюда, и здесь (по слухам) не говорилось ничего такого, что не было бы остроумным.

А потому Орландо переступала порог гостиной леди Р. с великим трепетом. Посвященные уже расположились полукругом возле камина. Леди Р., пожилая смуглая дама в черной кружевной накинутой на голову мантилье, сидела в просторном кресле посередине. Таким образом она, несмотря на тугоухость, легко следила за беседой направо и налево от нее. Направо и налево от нее сидели знатнейшие, достойнейшие мужчины и женщины. Каждый мужчина, говорили, побывал в премьер-министрах, каждая женщина, шептали, в любовницах у короля. Одним словом, все были блистательны, все знамениты. Орландо склонилась в глубоком реверансе и молча села... Три часа спустя она склонилась в глубоком поклоне и ушла.

Но что же, спросит несколько обиженный читатель, что же происходило в промежутке? Ведь за три часа такие люди наговорили, верно, умнейших, глубочайших, интереснейших вещей! Казалось бы. Но на самом деле они не сказали ничего. И это, кстати, общая черта всех самых блистательных собраний, какие только знал мир. Старая мадам дю Деффан [1] проговорила с приятелями пятьдесят лет кряду. А что осталось? От силы три остроумных замечания. А значит, нам остается предполагать, что или ничего не говорилось, или ничего не говорилось остроумного, или три этих остроумных замечания распределялись на восемь тысяч двести пятьдесят вечеров, так что на каждый вечер приходилось не так уж много остроумия.

Правда — если применительно в такой связи такое слово,— пожалуй, заключается в том, что подобные группки пребывают во власти волховства. Хозяйка — наша современная Сивилла. Завораживающая гостей колдунья. В одном доме гость считает себя счастливым; в другом остроумным; в третьем — глубоким. Все это иллюзия (вовсе не в осужденье будь сказано, ибо иллюзии — самая ценная и необходимая на свете вещь, и та, кто умеет их создать,— просто благодетельница рода человеческого), но поскольку общеизвестно, что иллюзии разбиваются от столкновения с реальностью, никакое реальное счастье, никакое истинное остроумие, никакая истинная глубина недопустимы там, где царит иллюзия. Этим-то и объясняется, почему мадам дю Деффан не произнесла больше трех остроумных вещей за пятьдесят лет. Произнеси она их больше, кружок бы ее распался. Острота, слетая с ее уст на гладь беседы, ее сминала, как мнет пушечное ядро фиалки и ромашки. А когда она произнесла свое знаменитое «Mot de Saint Denis» [2],

[1] Маркиза Мари дю Деффан (1697—1780) — хозяйка одного из самых блистательных салонов Парижа. В числе ее «приятелей» были философ Жан Д'Аламбер (1717—1783) и Хорас Уолпол (1717—1797), автор знаменитого «Замка Отранто».

[2] Словцо о Святом Дионисии *(франц.)*. Святой Дионисий (Saint Denis) — первый епископ Парижа (2-я половина III в.), по преданию, после собственной казни долго шел, держа свою отрубленную голову в руках. Когда кардинал Полиньяк рассказывал об этом в салоне мадам дю Деффан, она произнесла свое знаменитое Mot: «Il n'y a que premier pas qui coûte» (трудно только первый шаг).

тут уж опалилась трава. Иллюзия разбилась. Сменилась обескураженностью. Замерли речи. «Довольно, мадам, пощадите, только не это!» — в один голос вскрикнули друзья. И она покорилась. Почти семнадцать лет она не произносила ничего знаменательного и все шло гладко. Прелестный покров иллюзии нерушимо окутывал ее кружок, как он окутывал и кружок леди Р. Гости считали себя счастливыми, считали себя остроумными, считали себя глубокими, а раз они сами так считали, то наблюдатели со стороны и подавно; и молва твердила, что ничего нет увлекательнее сборищ у леди Р.; все завидовали тем, кто был к ней вхож; те, кто был к ней вхож, сами себе завидовали, потому что им завидовали другие; и казалось, конца этому не будет, пока не случилось кое-что, о чем мы сейчас расскажем.

Когда Орландо в третий, что ли, раз явилась к леди Р., случилось одно происшествие. Будучи во власти иллюзии, она себя воображала слушательницей острейших эпиграмм, когда на самом деле старый генерал Б. со многими подробностями сообщал о том, как подагра, оставив левую его ногу, переметнулась в правую, а мистер Л. при упоминании каждого имени вставлял: «Р.? О! Я его знаю как облупленного! Т.? Мой закадычный друг. П.? Две недели у него гостил в Йоркшире», и (что значит иллюзия!) это звучало самыми находчивыми репликами и проникновеннейшими наблюдениями над человечеством, исторгая из присутствующих взрывы смеха; но тут дверь отворилась и вошел низенький господин, имени которого не разобрала Орландо. Скоро ее охватило непонятное чувство неловкости. Судя по лицам окружающих, они испытывали то же. Один господин сказал, что от окон дует. Маркиза С. опасалась, как бы под диван не забралась кошка. Будто после сладкого сна глаза их медленно раскрылись и наткнулись на грязное одеяло, на обшарпанный рукомойник. Будто медленно улетучивались пары драгоценного вина. Генерал Б. еще рассказывал, мистер Л. еще вспоминал. Но все очевидней становилось, какая красная шея у генерала, какая у мистера Л. большая лысина. Что же до слов — ничего скучнее и пошлей нельзя было себе представить. Все ерзали в креслах, и украдкою зевали те, у кого были веера. Наконец леди Р. хлопнула своим по ручке кресла. Оба господина умолкли.

И тогда низенький господин сказал,

Далее он сказал,

И наконец сказал... [1]

Во всем этом, невозможно отрицать, были истинное остроумие, истинная мудрость, истинная глубина. Собравшиеся были повержены в смятение. Одно такое высказывание — и то бы куда как скверно. Но три, подряд — и в тот же вечер! Никакое общество подобного не переживет.

— Мистер Поп,— сказала старая леди Р. срывающимся от саркастического негодованья голосом.— Вы изволили блистать.

Мистер Поп вспыхнул до корней волос. Никто не произнес ни звука. Минут двадцать все сидели в гробовом молчании. Потом один за другим встали и выскользнули за дверь. Было сомнительно, что они сюда вернутся после подобного пассажа. По всей Саут Одли-стрит, слышно было, факельщики выкликали кареты. Дверцы хлопали, отъезжали экипажи. Орландо оказалась на лестнице рядом с мистером Попом. Его щуплая, гнутая фигурка сотрясалась от разных чувств. Стрелы негодованья, ярости, ума и ужаса (он дрожал как осиновый лист) сыпались из глаз. Он напоминал какую-то скрюченную рептилию с горящим топазом во лбу. Но, странно сказать, неслыханный вихрь чувств подхватил злополучную Орландо. Разочарованье, столь полное, как только что ей выпавшее на долю, повергает в смятенье ум. Все обостряется десятикратно, все предстает как бы нагишом. Такие миги чреваты для нас страшными опасностями. Женщины принимают монашество, мужчины — церковный сан в такие миги. В такие миги богачи отписывают свои богатства; счастливцы перерезают себе горло разделочным ножом. Орландо сейчас бы с радостью все это проделала, но

[1] Нет нужды повторять эти высказывания, ибо они слишком хорошо известны и вдобавок все содержатся в печатных его трудах. *(Прим. автора.)*

ей представилась возможность поступить еще отчаянней. И она пригласила мистера Попа к себе домой.

Ибо не отчаянность ли — войти безоружным в пещеру льва, не отчаянность — пуститься в утлой лодчонке по Атлантике, не отчаянность — скакать на одной ножке по куполу Святого Павла? Еще большая отчаянность — войти в дом наедине с поэтом. Поэт — вместе и лев и океан. Первый нас гложет, второй нас топит. Если нас не одолеют зубы, нас слижут волны. Человек, способный разбить иллюзию,— вместе поток и зверь. Иллюзия для души — как атмосфера для земного шара. Разбейте этот нежный воздух — и растенья погибнут, померкнут краски. Земля под нашею ногою — выжженная зола. Мы ступаем по опоке, раскаленный камень жжет нам ноги. Правда обращает нас в ничто. Жизнь есть сон. Пробужденье убивает. Тот, кто нас лишает снов, нас лишает жизни... (и так далее и тому подобное страниц на шесть, если изволите, но из-за нестерпимо нудного стиля лучше здесь поставить точку).

Тем не менее, в силу всего сказанного, Орландо должна была превратиться в горстку пепла ко времени, когда карета подкатила к дому в Блэкфрайерзе. Если же она была жива (хоть, разумеется, изнурена), то исключительно вследствие обстоятельства, к которому мы привлекали внимание читателя несколько выше. Чем меньше мы видим, тем больше верим. А улицы между Мейфэр и Блэкфрайерз в те поры очень плохо освещались. Разумеется, освещенье стало куда лучше, чем при королеве Елизавете. При Елизавете запоздалый путник мог лишь звездам да случайному огню ночного стража доверить свое спасение от рытвин на Парк-лейн или кишевших свиньями дубрав по Тотнем-корт-роуд. Но до наших современных ухищрений и при Анне еще не додумались. Правда, фонарные столбы с керосиновыми лампами стояли почти через каждые сто ярдов, но в промежутках тьма была — хоть глаз выколи. И, таким образом, десять минут Орландо с мистером Попом ехали в кромешной тьме; потом с полминуты на свету. Это очень странно влияло на Орландо. Едва мерк свет, на нее изливался восхитительный бальзам. «Какая честь для молодой женщины сидеть в карете с мистером Попом,— начинала она думать, разглядывая очерк его носа.— Я редкая счастливица. Вот, совсем рядом — да, я даже чувствую, как его коленная подвязка врезается в мое бедро,— сидит умнейший человек во всех владениях ее величества. Грядущие века будут о нас думать с любопытством и бешено мне завидовать». Тут снова набежал фонарь. «Какая же я дура! — думала она.— Ну что такое слава! Грядущие века даже не вспомнят про меня, да и про мистера Попа. И что такое века, в сущности? Что такое — мы?» — и они покатили по Беркли-сквер, как два случайно встретившихся слепых муравья, решительно без общих интересов, ощупью пробирающихся по черной пустыне. Орландо содрогнулась. Но вот их снова накрыло мраком. Иллюзия воскресла. «Как благороден его лоб,— думала она (ошибкой принимая в темноте бугор подушки за лоб мистера Попа).— Какой гениальный груз он несет! Какой в нем ум, какая острота, какая правда! Да на эти несметные сокровища многие бы с радостью променяли жизнь! Лишь ваш свет горит вовеки. Если бы не вы, человечество заплуталось бы во тьме (тут карета сотряслась, подпрыгнув на колдобине Парк-лейн). Без гения мы обездолены, мы пропали. О самый светлый, августейший луч»,— восторженно адресовалась она к бугру подушки, но тут они въехали в круг света на Беркли-сквер, и она заметила свою ошибку. У мистера Попа был лоб как лоб, самый обыкновенный. «Противный,— подумала она,— как вы меня надули! Я приняла этот бугор за ваш лоб. Когда видишь вас воочию — до чего же вы жалки, до чего плюгавы! Увечного, хилого — ну, как мне вас такого обожать; скорей жалеть вас надо, а презирать — и того естественней».

Снова они въехали во тьму, и гнев ее угас, ибо она видела перед собой одни поэтовы коленки.

«Какая же я противная сама,— рассуждала она, очутившись в кромешном мраке,— положим, вы не хороши, но я-то, я-то! Вы меня питаете, защищаете, отпугиваете диких зверей, стращаете поганых, снабжаете меня

одеждой из шелковичной пряжи, коврами из овечьей. Да, положим, я сама хочу вам поклоняться, но не вы ли мне даровали свой образ, утвердив его в небесах? Не рассыпаны ли всюду свидетельства вашей заботы? Так не приличней ли ее принимать скромно, благодарно и послушно? Да, надо радостно чтить вас, служить вам и подчиняться».

Тут они поравнялись с высоким фонарем на углу того, что ныне превратилось в Пиккадилли-серкус. Свет ударил ей в глаза, и она увидела, кроме нескольких опустившихся существ своего собственного пола, двух жалких пигмеев на забытой, богооставленной земле. Оба были голые, оба неприкаянные, беззащитные. Ни один ничем не мог помочь другому. Хоть за себя бы постоять. Глядя прямо в лицо мистеру Попу, «напрасно,— думала Орландо,— напрасно вы полагаете, что можете меня защитить, я же возомнила, что могу вам поклоняться. Свет правды бьет нам в лица; свет правды нам обоим не к лицу».

Все это время они, конечно, мило беседовали, как водится у людей хорошего общества, о нраве королевы, подагре премьер-министра, покуда экипаж, ныряя из света в темь по Хей-маркету, по Стрэнду, по Флит-стрит, докатился наконец до дома в Блэкфрайерзе. Уже светлели темные провалы меж фонарей, тускнели сами фонари,— короче говоря, вставало солнце, и, омытая тем ровным, но смутным светом летнего утра, в котором все уже различается, но еще не различается отчетливо, Орландо с поддерживающим ее мистером Попом высадилась из кареты и пропустила мистера Попа в дом, изящным реверансом безупречно отдав дань светскому приличию.

Из сказанного выше не следует, однако, заключать, что гениальность (эта болезнь, кстати, ныне изгнана с Британских островов; покойный лорд Теннисон был, кажется, последним, страдавшим ею) светит ровно, постоянно; ведь тогда бы мы всегда все видели отчетливо и, того гляди, испепелились. Скорей она напоминает маяк, который пошлет один луч и на какое-то время гаснет; только гениальность куда капризней в своих проявлениях и может выпустить сразу шесть-семь лучей (как мистер Поп в тот вечер), а потом впасть в темноту на год или навек. А значит, эти лучи отнюдь не освещают путь, и в темные свои периоды гениальные люди ничуть не отличаются от прочих.

И, говоря по совести, Орландо просто повезло (несмотря на разочарованье), потому что, угодив в компанию гениев, она очень скоро обнаружила, что они, в сущности, ничуть не отличаются от других людей. Аддисон, Поп, Свифт, оказывается, обожали чай. Имели пристрастие к беседкам. Питали слабость к гротам. Не гнушались титулов. Упивались лестью. Собирали цветные стекляшки. Сегодня облачались в вишневые тона, завтра в серые. У мистера Свифта была прелестная ротанговая трость. Мистер Аддисон вспрыскивал носовые платки духами. Мистер Поп страдал мигренями. Никто из них не брезговал злословьем. Не был чужд зависти. (Мы только наскоро набрасываем кое-какие мысли, проносившиеся в голове Орландо.) Сначала она устыдилась, что примечает такую дребедень, завела было тетрадь, чтоб записывать за ними достопамятные сужденья, но тетрадь осталась нетронутой. И все-таки она воодушевилась; стала рвать приглашения на балы; оставляла вечера свободными; ждала визитов мистера Попа, мистера Аддисона, мистера Свифта — и так далее и так далее. Если читатель тут же обратится к «Похищению локона» [1], «Спектейтору» [2] и «Путешествию Гулливера», он в точности поймет, что эти таинственные слова означают. Право же, биографы и критики могли бы поберечь свои усилья, если бы читатели вняли нашему совету. Ведь когда мы читаем:

Дианы ль заповедь та дева разобьет,
Иль повредит коньками ломкий лед,
Что запятнает — честь или наряд,
Про храм забудет иль про маскерад,
Что потеряет — сердце иль кулон [3],—

[1] Поэма Попа (1714 г.).

[2] «Спектейтор» — еженедельник, основанный в 1828 г. Аддисон же (вместе со Стилом) в 1709 г. основал другой журнал, под названием «Татлер».

[3] «Похищение локона», песнь II, стихи 105—9.

мы так и видим, что язык мистера Попа трепетал, как у ящерицы, что взор его горел, рука тряслась, видим, как он любил, как лгал, как он страдал. Короче говоря, все тайны авторской души, весь опыт жизни, все качества ума отчетливо запечатлены в его работе, а мы еще хотим, чтоб критики рассуждали о том, о сем распространялись биографы. Людям некуда время девать — вот и вся причина этого кошмарного новообразования.

Ну так вот, прочитав несколько строк из «Похищения локона», мы ясно понимаем, отчего Орландо в тот вечер так встрепенулась, так ужаснулась, отчего так разгорелись у нее глаза и щеки.

Затем постучалась миссис Нелли и доложила, что мистер Аддисон дожидается ее сиятельства. Мистер Поп вскочил с кривой усмешкой, откланялся и проковылял за дверь. Вошел мистер Аддисон. Покуда он усаживается, мы прочитаем следующий отрывок из «Спектейтора»:

«Женщину считаю я пленительным романтическим созданьем, которое мехами и перьями, жемчугами и бриллиантами, металлами и шелками должно украшать. Пусть рысь слагает к ее ногам, жертвуя на палантин, свою шкуру; пусть павлин, попугай и лебедь остаются данниками ее муфты; пусть вся природа служит к украшению существа, являющего собой венец творенья. Все это я одобряю, но что до нижней юбки, о которой идет речь, я не могу, я не желаю допускать ничего подобного» [1].

И этот господин — треуголка и все такое прочее — у нас как на ладони. Вглядимся-ка попристальней в магический кристалл. Разве не ясен нам автор до последней морщинки на чулке? Не открылись ли нам каждый изгиб, каждая закорючка его ума, и ласковость его, и учтивость, и тот факт, что он женится на графине и умрет, окруженный общим почитаньем? Все совершенно ясно. И не успел еще мистер Аддисон отговорить свое, как раздается дикий стук в дверь и мистер Свифт, со свойственной ему неудержимостью, влетает без доклада. Одну минуточку, где у нас «Путешествие Гулливера»? Ага, вот! Прочтем отрывок из путешествия к гуигнгнмам:

«Я наслаждался завидным здравием, телесным и покойным расположеньем духа; я не находил предательства или непостоянства друга, ни коварства открытого или тайного врага. Мне не надобно было подкупать, подольщаться или клянчить, ни искать покровительства великого человека и его прихлебателей. Я не нуждался в защите от мошенничества или оскорблений; не было тут врача, который бы губил мое тело, ни законника, который бы пускал по ветру мое состояние; ни доносчика, который бы уловлял меня на слове и поступке или за деньги измышлял на меня клеветы; не было ни зоилов, ни цензоров, ни заушателей, ни карманников, громил, взломщиков, адвокатов, сводников, шутов, шулеров, политиков, умников, зловещих скучных болтунов...» [2]

Но довольно, стоп, остановите этот словесный град, не то вы нас уморите, да и себя заодно! Что может быть понятней этого яростного человека. Какая грубость и какая чистота; какая резкость и какая нежность; презирая целый свет, на каком ребячьем языке лепетал он с маленькой девочкой, и умрет он — какое уж сомненье? — в доме для умалишенных.

И всех их Орландо поила чаем; а то в хорошую погоду увозила всех в свой загородный замок и там по-царски принимала в Круглой гостиной, увешанной их портретами — в кружок, чтоб мистер Поп не мог сказать, что мистер Аддисон висит раньше его, или наоборот. Они, конечно, были чрезвычайно остроумны (но все их остроумье — в их книгах) и обучали ее самой главной примете стиля, а именно естественности тона — качеству, которому никто, не слыхавший их, не может подражать, ни даже Николас Грин при всем своем искусстве; потому что оно рождается из воздуха; как волна, разбивается о мебель и откатывает, и тает, и потом его ни за что не поймать, тому особенно, кто полвека спустя тужится и навостряет уши. Они ее обучали самим ритмом и модуляциями голосов в разговоре; так что

[1] Цитата отнюдь не из «Спектейтора», а из «Татлера»; автор продолжает свою мистификацию.

[2] Цитата из десятой главы четвертой части «Путешествия Гулливера», где Свифт рисует идеальное государство гуигнгнмов (полулюдей-полулошадей).

стиль ее слегка изменился, и она сочинила несколько очень порядочных, остроумных стихов и набросков в прозе. И она рекой лила вино за обедом и подсовывала им под тарелки банкноты, которые они любезно принимали; и, принимая их посвящения, польщенная такой честью, она считала себя отнюдь не внакладе.

Так время шло, и часто можно было слышать, как Орландо обращалась сама к себе с нажимом, который мог бы насторожить внимательного слушателя. «Ну и ну! Что за жизнь!» (Она все еще пребывала в поисках этого товара.) Скоро, однако, обстоятельства вынудили ее пристальней вглядеться в предмет. Как-то она поила чаем мистера Попа, который, как всякий может заключить из вышецитированных строк, сидел, весь предупредительность, сверкая взором, скрюченный в кресле с нею рядом.

— Господи,— думала она, берясь за сахарные щипцы,— как станут мне завидовать женщины грядущих веков! И все же...— она запнулась; мистер Поп нуждался в ее внимании. И все же — кончим мы ее мысль за нее,— когда люди говорят «как грядущие века станут мне завидовать», можно с уверенностью сказать, что в настоящее время им очень не по себе. Так ли уж удалась эта жизнь, такой ли была бурной, лестной, славной, какой предстает она под пером мемуариста? Во-первых, Орландо терпеть не могла чай; во-вторых, интеллект, пусть и божественный, и достойный всяческого преклонения, имеет обычай ютиться в самом утлом сосуде и часто, увы, варварски теснит прочие качества, так что нередко там, где Ум особенно велик, Сердцу, Чувствам, Великодушию, Щедрости, Терпимости и Доброте просто дышать нечем. И потом — какого высокого мнения поэты о самих себе; и потом — какого низкого обо всех других; потом — эта злоба, оскорбления, зависть и остроумные отповеди, в которых они невылазно погрязают; и как пространно они выражают все это; и как жадно требуют нашего сочувствия; все перечисленное, скажем шепотком, чтоб мудрецы не подслушали, превращает разливанье чая в куда более рискованное и трудное предприятие, чем обыкновенно полагают. И вдобавок (опять мы шепчем, чтобы нас не подслушали женщины) у всех мужчин есть одна общая тайна; лорд Честерфилд [1] о ней проговорился сыну под величайшим секретом: «Женщины — всего-навсего большие дети... Умный мужчина ими забавляется, играет, льстит им и балует их», и это, поскольку дети вечно слышат то, что не предназначено для их ушей, а иногда и вырастают, как-то, верно, просочилось, так что церемония разливания чая — довольно двусмысленная церемония. Женщина прекрасно знает, что хотя великий ум ее задаривает своими стихами, хвалит ее сужденья, домогается ее критики и пьет ее чай, это никоим образом не означает, что он уважает ее мнение, ценит ее вкус или откажет себе в удовольствии, раз уж запрещена рапира, проткнуть ее насквозь своим пером. Все это — опять шепнем тихонько — теперь каким-то манером, вероятно, просочилось; и хотя сливочник парит над столом и распялены сахарные щипцы, иные дамы слегка нервничают, поглядывают в окно, позевывают и шумно плюхают сахар — как вот сейчас Орландо — в чай мистера Попа. Никогда ни один смертный не был так готов заподозрить оскорбленье и так скор на месть, как мистер Поп. Он повернулся к Орландо и тотчас ее огрел сырым наброском некоей известной строки из «Женских характеров» [2]. Потом-то уж он, разумеется, навел на них лоску, но и в первоначальном виде они разили наповал. Орландо отвечала реверансом. Мистер Поп с поклоном ее покинул. Чтобы охладить щеки, будто исхлестанные низеньким господином, Орландо побрела к орешнику в глубине сада. Скоро легкий ветерок сделал свое дело. К изумлению своему, она обнаружила, что одиночество приносит ей несказанную отраду. Она смотрела, как снуют по реке веселые лодки. Вид их, конечно, ей привел

[1] Филип Дормер Стенхоп, четвертый лорд Честерфилд (1694—1773) — государственный деятель и дипломат, знаменит почти ежедневными (с 1737 г.) письмами к сыну. У Вирджинии Вулф есть эссе «Письма лорда Честерфилда к сыну».

[2] См. «Опыты о нравах», письмо II. «К даме. О женских характерах» (желчная сатира Попа на дам из общества, скрытых под прозрачными мифологическими именами).

на память кое-какие происшествия из прошлого. В тихой задумчивости она уселась под ветлой. Так она и сидела, пока на небе не выступили звезды. Тогда она встала, потянулась и пошла в дом, к себе в спальню, и заперла за собою дверь. Открыла шкап, где еще во множестве висели одежды, которые нашивала она юным светским львом, и выбрала черный бархатный костюм, щедро расшитый венецианскими кружевами. Конечно, он чуть-чуть вышел из моды, зато сидел как влитый, и она в нем выглядела идеалом юного вельможи. Повертевшись перед зеркалом, убедясь, что стреноживаемые юбками ноги ее не отвыкли от свободы, она выскользнула из дому.

Была прелестная ночь раннего апреля. Мириады звезд, сливаясь с ущербною луной, в свою очередь усиленной лучами фонарей, как нельзя выгодней освещали лица прохожих и архитектуру мистера Рена. Все было до странности нежным, будто, готовое вот-вот совсем раствориться, вдруг застыло и ожило под воздействием какой-то серебряной капли. Ах, если бы разговор бывал таким, думала Орландо (предавшись глупым мечтам); если бы общество было таким, такой была бы дружба, такой была бы любовь. Ведь Бог знает почему, стоит нам извериться в человеческих отношениях,— какое-то случайное расположение сараев и лип или, скажем, тележки и стога вдруг нас дарит безупречнейшим символом того, что недостижимо, и снова мы ударяемся в поиски.

Занятая этими соображениями, она ступила на Лестер-сквер. Здания обладали дымчатой, но строгой симметрией, днем вовсе им не свойственной. Очерки крыш и труб четко прорисовывались на искусно затушеванном небе. Посреди Лестер-сквер, на скамье под платаном, пригорюнясь, уронив одну руку вдоль тела, а другую забыв на коленях, воплощением грации, скорби и простоты сидела молодая женщина. Орландо широким взмахом шляпы приветствовала ее, как положено светскому человеку приветствовать даму на людях. Молодая женщина подняла голову. Голова была самой изысканной формы. Молодая женщина подняла взор. На Орландо излилось сверканье, какое видишь иногда на чайниках, но очень редко на человеческом лице. Из-под серебряной этой глазури она смотрела на него (для нее же он был мужчиной) с мольбой, надеждой, трепетом, страхом. Она встала; приняла протянутую руку. Ибо — надо ли еще разжевывать? — она принадлежала племени, которое по ночам драит свой товар и раскладывает на прилавке в ожидании покупателя потароватей. Она отвела Орландо в комнату на Джерард-стрит, свое обиталище. Легонько, но как бы ища защиты, повиснув на руке Орландо, она расшевелила в ней присущие мужчине чувства. Орландо выглядела, чувствовала и говорила как мужчина. И, однако, хоть сама совсем недавно стала женщиной, она подозревала, что эта робость жестов, спотыкающиеся ответы, самая возня с никак не попадавшим в скважину ключом, колыханье складок, бессилие ладоней — все это напускалось в угоду мужской рыцарственности спутника. Они поднялись по лестнице, и труды, положенные бедняжкой на то, чтобы украсить свою комнату и скрыть тот факт, что другой у нее нет, ни на мгновение не обманули Орландо. Обман ей претил; правда вызывала жалость. Но одно просвечивало сквозь другое и вызывало в Орландо такую странную смесь чувств, что она сама не знала, смеяться ей или плакать. Тем временем Нелл — так назвалась девушка — расстегивала перчатки; тщательно прятала большой палец на левой руке, взывавший к штопке; потом ушла за ширму и там, вероятно, румянилась, пудрилась, приводила в порядок платье, повязывала вокруг шеи свежий платочек, как водится, ублажая при этом поклонника немолчной трескотней, хотя Орландо, по тону голоса, могла бы поклясться, что мысли ее далеко. Наконец она вышла в полной готовности... и тут-то Орландо не выдержала, она отбросила весь свой маскарад и без обиняков призналась, что она женщина.

И Нелл разразилась таким громким хохотом, что его было слышно, наверное, на другой стороне улицы.

— Ну, милочка,— сказала она, слегка оправясь.— Сказать по правде, я рада-радешенька. Вот те крест (просто удивительно, как, узнав, что они

принадлежат к одному полу, она в два счета отбросила свою жалостную повадку), вот те крест, мне сегодня ихнего брата не надо — хоть меня озолоти. Я, знаешь ли, в жуткую передрягу влипла.

После чего, раздувая огонь в камине и помешивая пунш, она поведала Орландо всю историю своей жизни. Поскольку в настоящее время нас занимает жизнь Орландо, мы не станем пересказывать приключения другой дамы, но определенно одно: никогда еще часы не пролетали для Орландо стремительней, да и веселей, хотя в мистрис Нелл ни грана не было остроумия, а когда в разговоре всплыло имя мистера Попа, она невинно осведомилась, не родственник ли он куаферу с той же фамилией на Джермин-стрит. И однако — таково уж обаяние непринужденности и притягательность красоты,— речи бедной девочки, пересыпанные вульгарнейшими уличными словечками, как вино, веселили Орландо после приевшихся изысканных фраз, и она принуждена была себе сознаться, что в язвительности мистера Попа, снисходительности мистера Аддисона и секретах лорда Честерфилда было что-то такое, что сводило на нет ее удовольствие от общества умников, как бы глубоко ни продолжала она чтить их творенья.

У этих бедных созданий, поняла Орландо, когда Нелл привела Пру, а Пру привела Китти, а Китти — Розу, было свое общество, которого они избрали ее членом. Каждая рассказывала историю приключений, приведших ее к нынешнему образу жизни. Некоторые были побочными дочерьми графов, одна же стояла куда ближе, чем можно было предположить, к особе самого короля. Никто из них не опустился и не обеднял настолько, чтобы уж не иметь ни кольца на пальце, ни носового платочка в кармане, заменявшего родословную. И они сходились вкруг пуншевой чаши, которую Орландо почитала долгом своим щедро наполнять, и сколько тут рассказывалось волнующих историй, сколько делалось забавных наблюдений! Ведь невозможно отрицать, что когда собираются женщины — но тсс! — они всегда следят, чтоб были заперты двери и ни единое словцо не угодило в печать. У них одно желание — но снова тсс! — не мужские ли там шаги на лестнице? У них одно желание, хотели мы сказать, когда вошедший господин буквально вырвал у нас слово изо рта. Женщины не имеют желаний, говорит этот господин, входя в гостиную Нелл; одно сплошное кривлянье. Без желаний (она обслужила его, и он удалился) их разговор ни для кого не может представлять интереса. «Общеизвестно,— заявляет мистер С. У.,— что не возбуждаемые противоположным полом, женщины не знают, о чем друг с другом разговаривать. Когда они одни, они не разговаривают, они царапаются». А если разговаривать они не могут, и невозможно царапаться без передышки, и общеизвестно (мистер Т. Р. это доказал), «что женщины не способны ни на какую привязанность к представительницам своего же пола и питают друг к другу глубокую неприязнь»,— нам остается гадать, что же делают женщины, когда сходятся вместе?

Поскольку данный вопрос не из тех, какие могут занять умного мужчину, давайте-ка, пользуясь непринадлежностью всех историков и биографов ни к какому полу, мы его и опустим, лишь сообщив, что Орландо наслаждалась женским обществом, и предоставя джентльменам доказывать, раз уж им так хочется, что это невозможно.

Но давать точный и полный отчет о жизни Орландо этой поры становится все трудней. Ощупью пробираясь по плохо освещенным, плохо мощенным, затхлым задворкам тогдашней Джерард-стрит и Друрилейн, мы то ловим быстрый промельк Орландо, то снова теряем из виду. Задача опознавания осложняется еще и тем, что ей тогда, кажется, нравилось то и дело, переодеваясь, менять свой облик. И в современных мемуарах она часто выступает как лорд такой-то, который на самом деле был ее кузеном; ему приписывали ее щедрость и его называли автором написанных ею поэм. Выступать в этих разных ролях ей, очевидно, не стоило большого труда, ибо пол ее менялся куда чаще, чем даже могут вообразить те, кто никогда подобным образом не переодевался; без всякого сомненья, она собирала и двойной урожай;

жизненные удовольствия умножались, опыт разнообразился. То в бриджах — сама прямота и честь,— то сама обольстительность в юбках, она равно у обоих полов пользовалась успехом.

Мы могли бы бегло очертить, как проводила она утро в неопределенного пола китайском кимоно, среди своих книг; далее принимала нескольких посетителей (а у нее их были сотни) в том же платье; потом прогуливалась по саду, подрезала орешник — тут шли в ход коротенькие бриджи; потом переодевалась в цветастую тафту — наряд в самый раз для того, чтобы отправиться в Ричмонд и получить предложение руки и сердца от какого-нибудь знатного вельможи; а там — обратно в город, облачиться в гороховый сюртук, как у стряпчего, и понаведаться в конторах, как продвигаются ее дела — потому что состояние ее час от часу таяло, а процессы были ничуть не ближе к завершению, нежели сто лет назад; и вот, наконец, наступала ночь, и чаще всего — благородный вельможа с головы до пят — она бродила по улицам в поисках приключений.

Возвращаясь после своих вылазок — каких только о них не рассказывалось историй, например, что она дралась на дуэли, служила капитаном на судне его величества, голышом, под взглядами изумленной публики, танцевала на балконе, бежала с некой дамой в Нидерланды, куда за ними последовал и дамин муж (вопрос о том, правдивы эти истории или нет, мы здесь не будем рассматривать),— так вот, возвращаясь после каких-то там своих занятий, она иногда норовила пройти под окном кофейни и, невидимая, наблюдала умников, по жестам их догадываясь, какие остроумные, мудрые, злые речи они произносят, ни слова из них не слыша; впрочем, надо думать, это к лучшему; а однажды простояла целых полчаса, глядя, как три тени на гардинах пьют вместе чай в одном доме на Болт-корт.

Нельзя и вообразить пьесы более увлекательной. Ей хотелось крикнуть — Браво! Браво! Что за великолепная то была драма, что за страница, вырванная из толстенного тома жизни человеческой! Маленькая тень, надувая губы, ерзала на стуле, суетливо, раздраженно, навязчиво; совала в чашку палец, определяя, сколько там налито чая, сутулая женская тень — ибо была слепа; и тень с римским профилем раскачивалась в огромном кресле — как странно он заламывал пальцы, как тряс головой из стороны в сторону, какими жадными глотками заглатывал чай. Доктор Джонсон, мистер Босуэлл и миссис Уильямс [1] — вот имена теней. Орландо была настолько захвачена зрелищем, что даже забыла подумать о том, как станут ей завидовать грядущие века, хотя, очень возможно, в данном случае они бы и стали. Смотреть и смотреть — ей этого было довольно. Наконец мистер Босуэлл встал. С подчеркнутым небрежением он поклонился старухе. Зато как смиренно склонился он перед огромной раскачивающейся тенью, которая, поднявшись во весь свой могучий рост, произнесла великолепнейшую из фраз, когда-нибудь слетавших с уст человеческих; так по крайней мере думалось Орландо, ни слова не слышавшей из того, что говорили три тени, попивая чай.

И вот как-то ночью она вернулась после такой прогулки и поднялась к себе в спальню. Сняла расшитый камзол и, стоя в бриджах и одной рубашке, стала смотреть в окно. Странное разлитое в воздухе беспокойство мешало ей лечь в постель. Была зимняя морозная ночь, город мрел под белой дымкой, и со всех сторон открывался великолепный вид. Орландо узнавала собор Святого Павла, Тауэр, Вестминстерское аббатство и все шпили, все купола лондонских церквей, отлогие громады его валов, просторные дворцовые своды. На севере плавно взбегал на высоту Хампстед, на западе сливались в сплошное ясное сверканье улицы и площади Мейфэра. На эту упорядоченную, мирную картину, почти не мигая, смотрели с высоты безоблачных небес звезды. В немыслимо четком, тонком воздухе

[1] Доктор Сэмюэл Джонсон (1709—1784) — лексикограф, издатель, поэт, драматург, биограф, значительнейший критик своего времени. Слепая миссис Анна Уильямс с 1752 г. (после смерти его жены) жила у него в доме. Джеймс Босуэлл (1740—1795) был связан с Джонсоном с 1762 г., записывал за ним его блистательные высказывания и впоследствии (1791) написал книгу «Жизнь Сэмюэла Джонсона».

был узнаваем каждый конек крыши, каждый зонт над дымовой трубой; даже булыжники на мостовой — и те явственно различались один от другого; и Орландо невольно сравнивала этот порядок, эту стройность с путаным и тесным нагромождением жилищ, каким был Лондон в царствование Елизаветы. Тогда, вспоминалось ей, город, если это можно назвать городом, беспорядочно жался к окнам ее дома в Блэкфрайерзе. Звезды отражались в разлегшихся посреди улиц затхлых лужах. Черная тень на углу, где была тогда винная лавка, скорей всего могла оказаться изувеченным трупом. Скольких понаслушалась Орландо этих предсмертных криков во время ночных драк, сидя еще мальчиком у няни на коленях! Орды разбойников, мужчин и женщин, как-то невообразимо сплетясь, бродили по улицам, горланя дикие песни, блестя кольцами в ушах и зажатыми в кулаках ножами. В такие вот ночи, бывало, непроходимые лесные пущи Хампстеда и Хайгейта несусветно путаными контурами вырисовывались в небе... То тут, то там на каком-нибудь холме над Лондоном нередко торчала большая виселица с пригвожденным к перекладине разлагающимся телом; ибо опасность и беда, похоть и насилие, поэзия и дерьмо кишели по страшным елизаветинским трактам, жужжали и воняли — Орландо и сейчас еще помнила тот запах знойными ночами — в лачугах, по закоулкам города. Теперь же — она высунулась из окна — все было свет, порядок, безмятежность. Где-то глухо прогромыхала по булыжной мостовой карета. Орландо услышала дальний крик ночного сторожа: «Ровно двенадцать, морозная ночь». И не успели эти слова слететь с его губ — раздался первый удар полуночи. Тут только заметила Орландо облачко, собиравшееся за куполом Святого Павла. При каждом новом ударе оно росло, и она видела, как оно густеет. В то же время поднялся легкий ветерок, и когда прозвенел шестой удар, все небо на востоке затянулось прореженной, зыблющейся тьмой, тогда как на западе и на севере небо оставалось ясным. Потом туча поползла на север. Все выше и выше заглатывала она небесные пласты над городом. Только Мейфэр, по контрасту, что ли, еще ослепительней обычного играл огнями. С восьмым ударом рваные пасмы тьмы расползлись над Пиккадилли. Вот стянулись, собрались воедино и с неслыханной скоростью рванулись на запад. На девятом, десятом, одиннадцатом ударе весь Лондон покрыла тьма. На двенадцатом ударе полуночи тьма сделалась кромешной. Тяжкая грозовая туча придавила город. Все было — тьма; все было — неуверенность; все было — смятенье. Восемнадцатое столетье миновало; настало девятнадцатое столетье.

Глава 5

Эта огромная туча, которая взошла не только над Лондоном, но и над всеми Британскими островами в первый день девятнадцатого столетия, стояла в небе (верней, не стояла, ее непрестанно толкали свирепые вихри) так долго, что серьезнейшим образом повлияла на тех, кто жил под ее сенью. Изменился, пожалуй, самый климат Англии. Вечно шел дождь, но проливаясь какими-то короткими ливнями: один уймется, тотчас хлынет другой. Солнце, конечно, светило, но было так опоясано тучами, и воздух так пропитался влагой, что лучи тускнели, и вялая лиловатость, зеленоватость и рыжеватость заместили сочные, уверенные краски восемнадцатого века. Под этим скучным, мятым навесом блекла зелень капусты, грязнилась белизна снегов. Но мало этого — сырость пробиралась теперь в каждый дом, а сырость — коварнейший враг, ведь солнце еще как-то можно отогнать гардинами, мороз прожарить в камине, а сырость — не то, сырость к нам прокрадывается, пока мы спим; сырость действует тихой сапой, невидимая, вездесущая. От сырости разбухает дерево, покрывается накипью чайник, железо ржавеет и камень гниет. И все это так исподволь, незаметно, что только уж когда какой-нибудь ящик комода или лопатка для угля рассыпятся у нас под рукой, мы заподозрим, бывает, что дело неладно.

Так же украдкой, неуловимо, без объявления точной даты и часа, изменилось устройство Англии; и никто не заметил. А чувствовалось это во всем. Зимостойкий помещик, с удовольствием усаживавшийся, бывало, запивать элем добрый бифштекс в своей столовой, с классической вальяжностью обставленной, скажем, братьями Адамами [1], теперь вдруг закоченел. Явились пледы, запускались бороды, брюки стали плотно прихватываться у щиколоток. Ощущение холода в ногах было перенесено на интерьер. Мебель окутали чехлами; не оставили голыми ни столы, ни стены. Существенно изменилась и пища. Были изобретены пышки и оладьи. Послеобеденный портвейн заменился кофеем, кофий повлек за собою гостиные, где его полагалось пить, гостиные привели к застекленным шкафам, застекленные шкафы — к искусственным цветам, искусственные цветы — к каминным полкам, каминные полки — к фортепьянам, фортепьяна — к пению баллад, пение баллад (мы перескакиваем через несколько ступенек) — к несчетному множеству собачонок, ковриков, подушечек, салфеточек, и дом, неимоверно поважнев, полностью переменился.

Вне дома — дальнейшее следствие сырости — плющ разрастался с прежде неслыханной пышностью. Голые же каменные дома тоже задыхались в зелени. Ни один сад, как бы строго ни был он первоначально разбит, не обходился теперь без зарослей, чащоб, лабиринтов. Свет, кое-как проникавший в спальни, где рождались дети, был теперь мутно-зеленый от природы, а свет, пробивавшийся в гостиные, где жили взрослые мужчины и женщины, сочился сквозь лиловый или бурый бархат штор. Но внешними переменами дело не ограничивалось. Сырость лезла вовнутрь. У мужчин охладели сердца; отсырели мозги. В отчаянном стремлении как-то утеплить чувства применялись одна за другой разнообразные уловки. Любовь, рождение и смерть туго спеленывались красивыми фразами. Мужской и женский пол все больше отдалялись. На откровенный разговор накладывался запрет. Обеими сторонами прилежно пускались в ход околичности, обиняки и утайки. Так же точно, как молодило и плющ пышно разрастались в наружной сырости, и внутри наблюдалось то же плодородие. Жизнь порядочной женщины вся состояла из цепи деторождений. Выйдя замуж восемнадцати лет, она к тридцати имела пятнадцать-восемнадцать детей; уж очень часто рождались двойни. Так возникла Британская империя; и так — ведь от сырости спасу нет; она прокрадывается в чернильницы, не только трухлявит дерево — взбухали фразы; множились эпитеты, лирика обращалась в эпос, и милый вздор, которого прежде от силы хватало на эссей в одну колонку, теперь заполнял собой энциклопедию в десять-двенадцать томов. Ну, а до чего доходили в результате чувствительные души, которые никак не могли всему этому противостоять, свидетельствует нам Евсевий Чабб. В конце своих мемуаров он рассказывает о том, как, намарав однажды поутру тридцать пять страниц ин-фолио «все ни о чем», он прикрутил на чернильнице крышку и отправился побродить по саду. Скоро он завяз в густом кустарнике. Несчетные листья блестели и шуршали у него над головой. Ему казалось, что «прах еще мильонов их давит он своими стопами». Густой дым поднимался от сырого костра в глубине сада. Никакому на свете костру, рассудил он, не совладать с этим изобилием. Куда бы он ни глянул — все пышно зеленело. Огурцы «ластились к его ногам». Гигантские головки цветной капусты громоздились ряд за рядом, соперничая в его расстроенном воображении с вязом. Куры непрестанно несли яйца, лишенные определенной окраски. Потом, со вздохом вспомнив собственную плодовитость и плодоносность бедной своей жены Джейн, сейчас в муках разрешавшейся пятнадцатым младенцем, как, спросил он себя, может он упрекать пташек? Он поднял взор к небесам. Не сами ли небеса, или великий фронтиспис небес, эта вышняя лазурь, говорят о соизволении, потакании,— да что́ там! — даже о подстрекательстве высших сил? Ведь наверху, зимою и летом, год за годом толпятся, клубятся облака,

[1] Роберт Адам (1728—1792) и его братья Джон, Джеймс и Уильям — архитекторы, ориентировавшиеся на античность. Роберт Адам повлиял в дальнейшем еще и на стиль мебели, прославился своими каминами и плафонами.

как киты, рассуждал он, даже как слоны; но нет, ему было не убежать от сравнения, которое ему навязывали сами эти тысячи воздушных акров; все небо, широко раскинувшееся над Британией, было не что иное, как пуховая постель; и неразличимое плодородие сада, и насеста, и спальни со всею точностью там воспроизводилось. Он пошел в комнаты, написал вышецитированный пассаж, сунул голову в газовую духовку, и когда это обнаружилось, его нельзя уже было вернуть к жизни.

Покуда по всей Англии творилось подобное, Орландо преспокойно заточалась в своем доме в Блэкфрайерзе и прикидывалась, будто климат остается прежним; будто по-прежнему можно брякать все, что взбредет на ум, и расхаживать то в бриджах, то в юбке когда заблагорассудится. Но и ей, наконец, пришлось признаться себе, что времена изменились. Однажды вечером в первой половине века она катила по Сент-Джеймскому парку в своей старой карете, и тут вдруг солнечному лучу — изредка это случалось — удалось пробиться к земле, по́ходя расцвечивая облака странно призматическими тонами. Этот вид, и сам по себе достаточно удивительный после ясных, однообразных небес восемнадцатого столетия, заставил Орландо опустить окно кареты, чтоб лучше его разглядеть. Фламинговые и палевые облака пробудили в ней мысли — приправленные сладкой печалью, доказывающей, что сырость незаметно прокралась уже и в нее,— о дельфинах, умирающих в Ионическом море. Но каково же было ее изумление, когда, коснувшись земли, луч не то создал, не то высветил — пирамиду, гекатомбу, торжественный победный трофей (все это отдавало вдобавок банкетным столом), во всяком случае, какое-то дикое нагромождение несовместимых предметов, тяп-ляп наваленных огромнейшей кучей там, где высится ныне статуя королевы Виктории! На огромный крест рифленого узорчатого золота навешены были вдовий траур и подвенечные уборы; на другие какие-то выступы нацеплены хрустальные дворцы, воинские доспехи, похоронные венки, штаны, усы, свадебные торты, пушки, рождественские елки, телескопы, ископаемые чудища, глобусы, карты, слоны, математические инструменты,— и все это вместе, как некий гигантский герб, справа поддерживалось женской фигурой в веющих белых вуалях, а слева — дюжим господином в сюртуке и мешковатых штанах. Нелепость этих предметов, загадочное смешение торжественно облаченного с полуголым, кричащая грубость и несовместимость красок наполнили душу Орландо глубокой тоской. Никогда еще за всю свою жизнь не видела она ничего столь же непристойного, гадкого и вместе монументального. Наверное — да что́ там, решительно, не иначе,— это был результат влияния солнца на пропитанный сыростью воздух; исчезнет с первым же ветерком; и, однако, по всему очевидно, воздвигнуто навсегда. Нет, ничему,— думала Орландо, снова откидываясь на подушки в углу кареты,— ни ветру, ни ливням, ни солнцу, ни грому никогда не разрушить это кошмарное сооружение. Только носы облупятся да заржавеют трубы; здесь и пребудет вовеки, указуя на север и запад, на юг и восток. Когда карета одолевала Холм Конституции, Орландо оглянулась. Да, так и есть, там оно, безмятежно сияет в свете — она вытащила из нагрудного кармашка часы,— в ясном свете полудня. Ничто не могло быть более прозаичным, трезвым, более непроницаемым для любого намека на восход и закат, более явственно рассчитанным на века. Орландо решила больше не оглядываться. Уже, она чувствовала, кровь ее ленивей, скучнее бежала по жилам. Но куда знаменательней то, что когда она миновала Букингемский дворец, яркая, непривычная краска залила ей щеки и какая-то высшая сила заставила ее опустить глаза на собственные коленки. Вдруг она с ужасом обнаружила, что на ней черные бриджи. Щеки ее так и рдели, пока она не достигла своего загородного дома, и это, учитывая время, которое требовалось четверке лошадей, чтобы протрусить тридцать миль, можно считать, мы надеемся, доказательством ее целомудрия.

Дома она первым делом последовала новой насущнейшей потребности своей натуры и, сдернув его с постели, закуталась в камчатное одеяло.

Вдове Бартоломью (сменившей добрую старую Гримздитч на посту домоправительницы) она объяснила, что ее знобит.

— Да и всем, никак, знобко, мэм,— испустив глубокий вздох, сказала вдова.— Стены-то аж потеют,— сказала она со странным горестным удовлетворением, и действительно, стоило ей прикоснуться к дубовой обшивке, на ней тотчас запечатлелась пятерня. Плющ так разросся, что многие окна оказались опечатанными. В кухне стояла такая тьма, что не отличишь дуршлага от чайника. Черного кота, бедняжку, приняли за уголь и бросили в камин. Горничные, почти все, поддевали по три-четыре красных теплых исподних юбки, хотя на дворе был август.

— А вот правда — нет ли? Люди говорят, миледи,— спросила, зябко поводя плечами, добрая женщина, и золотое распятье сотряслось у нее на грудях,— будто бы королева-матушка надела этот, ну, как его...— она запнулась и покраснела.

— Кринолин,— выручила ее Орландо (ибо слово дошло уже до Блэкфрайерза). Миссис Бартоломью кивнула. Слезы стекали у нее по щекам, но она улыбалась сквозь слезы. Плакать было сладко. Разве не все они слабые женщины? не все носят кринолин, дабы получше скрыть некий факт; великий факт; единственный факт; и тем не менее факт прискорбный; который каждая скромная женщина изо всех сил скрывает, покуда сокрытие не делается невозможным; факт, что она вынашивает дитя? вынашивает пятнадцать — двадцать детей, так что почти вся жизнь порядочной женщины уходит на старания скрыть нечто, по крайней мере единожды в году становящееся очевидным.

— Пышки горячие, обожгесся,— сказала миссис Бартоломью, утерев слезы,— в библитеке, значится.

И закутанная в камчатное одеяло Орландо приступила к пышкам.

«Пышки горячие, обожгесся, в библитеке, значится»,— передразнила Орландо кошмарно изысканный кокни вдовы Бартоломью, попивая — ох, как она ненавидела эту слабую жидкость! — свой чай. В этой вот самой комнате, вспоминала она, королева Елизавета стояла, расставив ноги, перед камином, с пивной кружкой в руке, когда лорд Берли [1] неосторожно, вместо сослагательного, употребил повелительное наклонение. «Малыш, малыш,— так и слышала ее голос Орландо,— разве слова «вам до́лжно» обращают к венценосцам?»

И плюхнула кружку об стол; до сих пор осталась отметина.

Но вскочив было на ноги, как предписывала самая мысль о Великой Королеве, Орландо споткнулась об одеяло, выругалась и упала в кресло. Завтра надо будет купить метров двадцать черного бомбазина, решила она,— на юбку. А там уж (она покраснела) придется купить кринолин, а там уж (она покраснела) и колыбельку, и опять кринолин, и опять... Щеки ее краснели и бледнели, попеременно отражая очаровательнейшие скромность и стыдливость, какие только можно себе представить. Дух времени прямотаки то холодом, то жаром овевал эти щеки. И если дух времени действовал несколько опрометчиво, навевая мысли о кринолине еще до замужества, извиненьем Орландо служила двусмысленность ее положения (даже пол ее покуда оспаривался) и беспорядочность прожитой жизни.

Наконец окраска щек окончательно утвердилась, и дух времени — если это в самом деле был он — покуда унялся. И тогда Орландо нащупала за пазухой — медальон ли, другой ли какой залог обманувшей страсти и вытащила — но нет, не его, а рулон бумаги, запятнанный морем, запятнанный кровью, запятнанный долгими странствиями — рукопись поэмы «Дуб». Она таскала ее за собой в таких рискованных обстоятельствах, что иные страницы совсем измызгались, иные прорвались, а лишения по части писчей бумаги, которые терпела она у цыган, вынуждали ее исписывать поля,

[1] Уильям Сесил, барон Берли (1520—1598), государственный деятель, ближайшее доверенное лицо Елизаветы. Цитируемую фразу, впрочем (одна из мистификаций автора), Елизавета произнесла на смертном одре (1603), когда Берли уже не было в живых, обращаясь к его младшему сыну, своему тогдашнему государственному секретарю Роберту Сесилу, графу Солсбери (1563—1612).

перечеркивать строчки, превращая текст в подобие искусной штопки. Она полистала к первой странице, прочитала дату — 1586 год, выведенную ее собственным мальчишеским почерком. Выходит, она над нею работала вот уже триста лет. Пора бы и кончить. И она начала листать и пролистывать, читать и перепрыгивать, и думать, читая, как мало она переменилась за все эти годы. Была угрюмым мальчиком, влюбленным в смерть, как у мальчиков водится, потом стала влюбчивой и высокопарной, потом сатиричной и бойкой; порой себя пробовала в прозе; порой в драме. Но при всех переменах она оставалась, решила Орландо, в сущности той же. Тот же у нее оставался задумчивый нрав, та же любовь к животным и к природе, к земле и ко всем временам года.

— В конце концов,— думала она, встав и подойдя к окну,— ничего не изменилось. Дом, сад — в точности те же. Ни единый стул не передвинут, ни единая побрякушка не продана. Те же тропки, лужайки, деревья, тот же пруд, с теми же, можно надеяться, карпами. Правда, на троне не королева Елизавета, а королева Виктория, но какая, в сущности, разница...

Не успела она додумать эту мысль до конца, как, словно с целью ее опровергнуть, дверь широко распахнулась, и Баскет, дворецкий, с Бартоломью, домоправительницей, вошли убирать чайную посуду. Орландо как раз обмакнула перо в чернильницу, готовясь предать бумаге некоторые соображения о незыблемости всего и вся, и ужасно злилась на расползавшуюся вокруг пера кляксу. Перо, видно, было виновато; замахрилось или испачкалось. Она снова обмакнула перо. Клякса росла. Орландо пыталась продолжать свою мысль; слова не шли. Она украсила кляксу усами и крылышками; получился отвратительный головастик, нечто среднее между летучей и просто мышью. Но о том, чтоб слагать стихи в присутствии Бартоломью и Баскета, не могло быть и речи. Невозможно. И не успела она мысленно произнести «невозможно», как, к ее изумленью и ужасу, перо с замечательной прытью забегало по бумаге. Аккуратнейшим итальянским курсивом на странице был выведен пошлейший из всех стишков, какие ей в жизни доводилось читать.

Я только жалкое звено
В цепи времен, но чую: днесь
Мне, бедной деве, суждено
Слова надежды произнесть.

Одна, под лунным серебром,
Стою и горько слезы лью,
Тоскую и пою о том,
Кого без памяти...

— настрочила она одним духом, пока Баскет и Бартоломью, кряхтя и шаркая, поправляли огонь в камине и убирали пышки.

Снова она обмакнула перо и — пошло-поехало:

Как изменил лицо ее покров,
Завесивший ночные небеса,
Наброшенный на нежные черты,
Порфирно выцветив ее чело
И бледностию осияв затем,
Могильной бледностию озарив...

Но тут, неудачно дернувшись, она залила чернилами страницу и оградила ее от людских взоров, она надеялась — навсегда. Она вся дрожала, вся трепетала. Какая гадость — когда чернила хлещут каскадами неуемного вдохновения! Да что это с нею стряслось! Из-за сырости, что ли, из-за Бартоломью, из-за Баскета? — хотела бы она знать. Но в комнате никого не было. Никто ей не отвечал, если только не считать ответом шелест дождя в плюще.

Тем временем она чувствовала, стоя у окна, странную вибрацию во всем теле, будто все нервы ее натянулись и ветер ли, небрежные ли чьи-то персты по ним наигрывали гаммы. То пятки у нее зудели, то самое нутро. Престранное было ощущенье в бедрах. Волосы будто вставали дыбом. Руки

гудели и пели, как лет через двадцать запоют и загудят провода. Но все это напряжение, возбуждение сосредоточились скоро в кистях; потом в одной кисти, потом в одном пальце, потом, наконец, как бы сжало кольцом безымянный палец левой руки. Но, подняв эту руку к глазам, чтобы разобраться, в чем дело, она ничего на пальце не обнаружила, кроме большого одинокого изумруда, подаренного королевой Елизаветой. Ну и что? Неужели этого мало? — спросила она себя. Изумруд был чистейшей воды. Стоил тысяч десять фунтов, не меньше. А вибрация все равно удивительным образом (напомним: мы имеем дело с таинственнейшими проявлениями души человеческой) будто настаивала — Да, вот именно, что мало; и дальше дрожала уже нотка вопроса — что значит, мол, это зияние, этот странный недосмотр? — покуда бедная Орландо положительно не устыдилась своего безымянного пальца на левой руке, притом сама честно не ведая почему. В эту минуту как раз вошла Бартоломью, справляясь, какое платье подать для обеда, и Орландо, все ощущения которой были до крайности обострены, тотчас глянула на левую руку Бартоломью и тотчас заметила то, чего прежде не замечала: толстое кольцо весьма пронзительной желтизны охватывало безымянный палец, у самой у нее совершенно голый.

— Дайте мне глянуть на ваше кольцо, Бартоломью,— сказала Орландо и потянулась к кольцу рукой.

И тут Бартоломью повела себя так, будто ее пнул в грудь какой-то громила. Она отпрянула на несколько шагов, сжала руку в кулак и простерла в благороднейшем жесте.

Нет уж, сказала она с достоинством и решимостью, их светлость могут глядеть сколько влезет, а только снимать обручальное кольцо — это ни архиепископ, ни папа, ни сама королева Виктория ее не принудят. Ее Томас надел кольцо это ей на палец двадцать пять лет, шесть месяцев и три недели тому; она в нем спит; в нем работает; моется; молится; и пусть ее с ним похоронят. Хоть голос Бартоломью срывался и сел от волнения, Орландо, собственно, поняла ее так, что благодаря сиянью кольца она рассчитывала на место в ангельском сонме и блеск его тотчас затмится навеки, если она хоть на секунду расстанется с ним.

— Господи помилуй,— сказала Орландо, стоя у окна и глядя на шашни голубей.— Ну и мир! Вот ведь где приходится жить!

Сложность мира ее озадачивала. Ей казалось уже, что весь мир окольцован золотом. Она пошла обедать. Кольца, кольца, обручальные кольца. Пошла в церковь. Сплошные обручальные кольца. Выехала в город. Золотые, томпаковые, толстые, тонкие, плоские, дутые — они сверкали на всех руках. Кольца загромождали прилавки ювелиров — не сверкая стразами и бриллиантами Орландовых воспоминаний,— гладкие, простые, вообще без камней. В то же время она стала замечать новый обычай у горожан. Встарь нередко приходилось видеть, как парень милуется с девушкой у боярышниковой изгороди. Нередко Орландо случалось походя, с хохотом, вытянуть такую парочку хлыстом. Теперь все переменилось. Пары, нерасторжимо сплетенные, с трудом плелись по проезжей части улицы. Правая женская рука была неизменно продета сквозь левую мужскую, и крепко сцеплены пальцы. Только уж когда в них совсем утыкалась лошадиная морда, они — громоздко, не расцепляясь,— прядали в сторону. Орландо оставалось догадываться, что произведено какое-то новое открытие относительно человечества; людей как-то склеивали, чету за четой, но кто и когда это изобрел, оставалось неясным. Казалось бы, Природа тут ни при чем. Разглядывая голубей, и кроликов, и борзых, Орландо не замечала никаких таких усовершенствований в методах Природы, по крайней мере со времен королевы Елизаветы. Нерасторжимого единства среди зверей она не наблюдала. Тогда, может быть, это все исходит от королевы Виктории и лорда Мельбурна? [1] Не им ли принадлежит великое открытие по части брака? Но королева, рассуждала Орландо, говорят, любит собак; лорд Мельбурн, говорят, любит женщин. Странно. Противно. Что-то

[1] Уильям Лэм, второй виконт Мельбурн (1779—1848)— премьер-министр Англии с 1834 по 1841 г.

в этой нераздельности тел оскорбляло ее чувство приличия и понятия о гигиене. Размышления эти, однако, сопровождались таким зудом в злополучном пальце, что она не могла хорошенько собраться с мыслями. Они вихлялись и строили глазки, как грезы горничной. Ее кидало от них в краску. Делать нечего, оставалось купить это уродство и носить, как все. Так она и сделала и тайком, сгорая от стыда, за занавеской, нацепила на палец кольцо. Но что толку? Зуд продолжался, стал еще мучительней и настырней. В ту ночь она не сомкнула глаз. Наутро, когда она взялась за перо, ей либо вообще ничто не шло на ум, и перо одну за другой роняло плаксивые кляксы, либо оно, еще более настораживая, оголтело скакало по медоточивым банальностям о безвременной кончине и тлении; нет уж, это хуже даже, чем вовсе не думать. Да, похоже — и случай ее тому доказательство,— что мы пишем не пальцами, но всем существом. Нерв, ведающий пером, пронимает все фибры нашей души, пронзает сердце, протыкает печень. Хотя беспокойство Орландо, казалось, сосредоточилось в левом безымянном пальце, она вся была отравлена, вся, и в конце концов вынуждена была склониться к самому отчаянному противоядию, а именно — полностью сдаться, уступить духу времени и взять себе мужа.

Насколько это не соответствовало ее природным устремлениям, мы уже показывали со всей откровенностью. Когда замер звук колес эрцгерцогского экипажа, с губ ее сорвался крик: «Жизнь и любовь!» (а вовсе не «Жизнь и муж!»), и для преследования этих именно целей отправилась она в Лондон и вращалась в свете, как было отражено в предыдущей главе. Но дух времени, неукротимый дух, куда решительней сминает всякого, кто смеет с ним тягаться, чем тех, кто сам стелется перед ним. Орландо, естественно, наклонная к елизаветинскому духу, духу Реставрации, духу восемнадцатого века, почти не замечала, как перетекает эпоха в эпоху. Но дух века девятнадцатого ей просто претил, а потому он схватил ее, сломил, и она чувствовала свое поражение, чувствовала над собой власть века, как никогда не чувствовала прежде. Ведь каждая душа, очень возможно, приписана к определенному месту во времени; иные созданы для одного времени, иные для другого; и когда Орландо стала женщиной в тридцать с хвостиком, между прочим, характер у нее уже сложился и невесть как его ломать было удивительно противно.

И вот она стояла, пригорюнясь, у окна залы (так окрестила Бартоломью кабинет), притянутая долу тяжелым, покорно ею напяленным кринолином. Ничего более громоздкого и жуткого ей в жизни не приходилось нашивать. Ничто так не стесняет шага. Уж не побегаешь с собаками по саду, не взлетишь на ту высокую горку, не бросишься с размаху под любимый дуб. К юбкам липнут сырые листья и солома. Шляпка с перьями трепыхается на ветру. Тонкие туфельки мигом промокают. Мышцы Орландо утратили эластичность. Она стала опасаться затаившихся за панелями громил, пугаться — впервые в жизни — шляющихся по коридорам призраков. Все это, вместе взятое, постепенно, понемногу, заставляло ее покориться новому открытию, произведенному то ли королевой Викторией, то ли кем еще,— что каждому мужчине и каждой женщине суждено кого-то одного поддерживать, на кого-то одного опираться, покуда смерть их не разлучит. Какое утешенье, думала она,— опереться; положиться; да — лечь; и никогда, никогда, никогда больше не подниматься. Так, при всей ее прежней гордости, повлиял на нее этот дух, и, спускаясь по шкале эмоций к столь непривычно низкой отметке, она чувствовала, как зуд и покалыванье, прежде каверзные и настырные, потихоньку преобразовывались в медовые мелодии, и вот уже словно ангелы белыми пальцами пощипывали струны арф, все существо ее затопляя серафической гармонией.

Да, но на кого опереться? Кто он? Она обращала свой вопрос к осенним злым ветрам. Ибо стоял октябрь и как всегда лило. Не эрцгерцог; он женился на какой-то невероятно знатной даме и много лет уже охотится на зайцев в Румынии; не мистер М.; он перешел в католичество; не маркиз В.; он, получив отставку, отправился в каторгу; ну, и не лорд О.; он давно стал кормом для рыб. По разным причинам никого из старых ее знакомых уж

нет, а все эти Нелл и Китти с Друри-лейн как ни милы — не из тех, на кого можно опереться.

— Так на кого,— спрашивала она, устремляя взор на клубящиеся облака, заламывая руки, коленопреклонясь на подоконнике и являя живейший образ трогательной женственности,— на кого мне опереться?

Слова слетали сами собой, руки сами собой заламывались, в точности так же, как само собою бегало по бумаге перо. Говорила не Орландо, говорил дух времени. Но кто бы ни задавал этот вопрос, никто на него не ответил. В лиловых осенних облаках кувыркались грачи. Дождь перестал, и по небу разлилось сверканье, соблазнявшее надеть шляпку с перьями, туфельки на шнурках и прогуляться перед ужином.

— Все пристроены, все, кроме меня,— думала она, безутешно бродя по саду. Грачи, например; даже Канут и Пиппин, как ни преходящи их связи, и те сегодня, кажется, пристроены.— А я всему этому хозяйка,— думала Орландо, на ходу оглядывая свои несчетные окна под гербами,— только я не пристроена, одна, только я одинока.

Никогда прежде такие мысли не приходили ей в голову. Сейчас они неотступно ее преследовали. Нет чтоб самой толкнуть ворота, она постучала ручкой в изящной перчатке, призывая привратника. На кого-то надо же опереться, хоть на привратника, думала она, и чуть было не осталась помогать ему печь на жаровне отбивную, да заробела. И вышла одна в парк, сперва спотыкаясь и страшась, как бы какой-нибудь браконьер, или лесничий, или просто рассыльный не удивился, что дама из общества гуляет по парку одна.

На каждом шагу она нервно высматривала, не таятся ли за кустом мужские формы, не наставила ли на нее свой рог бодучая злая корова. Но только грачи красовались в небе. Вот один уронил в вереск синее стальное перо. Она любила перья диких птиц. Когда-то, мальчиком, даже их собирала. Подняла и это, воткнула в шляпку. Она немного проветрилась и повеселела. Над головою у нее кувыркались грачи, одно за другим, сверкнув на лиловости неба, падали перья, а она шла и шла, волоча за собою плащ, шла по болоту, в гору. Много лет не заходила она так далеко. Шесть перьев подобрала она с травы, разминала в пальцах, прижималась губами к их мерцающей нежной пушистости, как вдруг таинственный, как то озеро, в которое сэр Бедивер бросил меч короля Артура [1], сверкнул на склоне горы серебряный пруд. Одинокое перышко дрогнуло в вышине и упало на его середину. И странный восторг охватил Орландо. Будто она, вслед за птицами, оказалась на краю света и, рухнув на топкий мох, пила и пила воду забвенья, покуда хриплый хохот грачей реял над ее головой. Она ускорила шаг; побежала; оступилась; задела за цепкие вересковые корни; упала. И сломала лодыжку. И не могла встать. И лежала, довольная. К ноздрям ее ластился запах болотного мирта, медовый луговой дух. Хриплый грачиный хохот стоял в ушах.

— Вот я и нашла себе пару,— бормотала она.— Это болото, я обручена с природой,— шептала она, блаженно предаваясь прохладным объятьям травы, лежа в складках плаща, в лощинке возле пруда.— Так и буду лежать. (На лоб ей упало перо.) Я сыскала листы зеленее лавров. Всегда будет прохладен под ними мой лоб. Это перья диких птиц — сов, козодоев. Мне приснятся дикие сны. Рукам моим не нужны обручальные кольца,— продолжала она, стягивая с пальца кольцо.— Корни их обовьют. Ах! — вздохнула она, с отрадой вжимаясь в мшистую подушку.— Много веков искала я счастья и не нашла; гонялась за славой и ее не настигла; за любовью — и не узнала ее; искала жизни — но смерть лучше. Многих мужчин и многих женщин я знала,— продолжала она,— и никого из них я не поняла. Так не лучше ли мирно лежать, видя над собой одно только небо... Да, как это говорил мне цыган? Давным-давно. Это было в Турции.

И она посмотрела вверх, на золотую волшебную пену, сбитую из облаков, и там скоро увидела след, и караван верблюдов, бредущих каме-

[1] Артур (ок. 1417—1471) — персонаж романа сэра Томаса Мэлори «Смерть Артура», основанного на английских легендах о короле бриттов.

нистой пустыней, взметая красные тучи песка; и вот верблюды прошли, остались одни только горы, высокие, в зубцах и расщелинах, и она так и слышала бубенцы козьих стад по склонам, осыпанным ирисом и горечавкой. И вот в небе наметились перемены, и глаза ее медленно опускались, опускались, пока не уткнулись в землю, потемнелую от дождя, и всхолмие Южных Дюн, единой волной охлестывающих берег; и в прогале она увидела море, море — и на нем корабли; и она будто услышала с моря дальний пушечный гром и сначала решила: «Армада» [1], потом подумала: «Нельсон» [2], а потом вспомнила, что войны эти кончились и суда на волнах — суда деловитых купцов, а паруса над излучистой речкой — паруса увеселительных лодок. А потом она увидела скот, пятнами разбросанный по вечереющим лугам, овец и коров; и горстки огней, озаривших крестьянские окна; и огни, заметавшиеся по лугам,— это обходили с фонарями стада пастухи; а потом все огни погасли и на небо хлынули звезды. Ее клонило в сон, она уже дремала с мокрыми листьями на лице, приникнув ухом к земле, и вдруг услыхала там, в глубине, стук молота по наковальне — или это чье-то сердце стучало? «Тук-тук», «тук-тук» выстукивало — молот ли, сердце? — в глуби земли; она слушала-слушала, и вот ей стало сдаваться, что это не сердце, а стук лошадиных копыт; раз, два, три, четыре — считала она; запинка; ближе, ближе; и уже слышно, как хрустнул сучок, как чавкнуло под копытом болото. Копыта были совсем рядом. Она села. Высоко, на желтой штриховке рассвета, в обрамленье вверх-вниз мечущихся чибисов, вырисовывался всадник. Он вздрогнул. Конь стал.

— Мадам,— крикнул всадник, соскакивая с коня.— Вы ранены!

— Я умерла, сэр! — отвечала она.

Через несколько минут они обручились.

Наутро, за завтраком, он ей назвал свое имя. Мармадьюк Бонтроп Шелмердин, эсквайр.

— Так я и знала,— сказала она, ибо что-то романтическое, и рыцарственное, и печальное, но решительное было в нем, отвечавшее дикому, темноперому имени — имени, в котором сине-стальное сверкание крыл сливалось с хриплым хохотом-карканьем, со спирально-змеиным кружением листьев, опадающих в серебряный пруд, и еще с тысячей разных вещей, которые будут сейчас же описаны.

— А меня зовут Орландо,— сказала она. Он об этом догадывался. Потому что, когда видишь корабль на всех парусах, озаренный солнцем, гордо рассекающий волны Средиземного моря на пути из южных морей, ты сразу скажешь — Орландо. Так он объяснил.

Собственно, хоть они только что познакомились, они уже знали друг о друге все сколько-нибудь существенное, как водится у влюбленных, и теперь оставалось выяснить только разные мелочи, например, как кого зовут; кто где живет; нищие они или люди с достатком. У него замок на Гебридах, но совершенно разрушенный, сказал он. В столовой пируют бакланы. Он солдат, моряк, исследует Восток. Сейчас направляется в Фалмут, там стоит его бриг, вот только ветер улегся, а он сможет выйти в море не иначе как при штормовом юго-западном ветре.

Орландо поскорее глянула на флюгерного золоченого леопарда. Слава Богу, хвост, незыблемый, как утес, указывал прямо на восток.

— О Шел! Не покидай меня! — крикнула она.— Я безумно тебя люблю!

Не успели эти слова слететь с ее уст, как жуткая мысль мелькнула у них обоих одновременно.

— Ты женщина, Шел! — крикнула она.

— Ты мужчина, Орландо! — крикнул он.

Никогда еще от самого своего начала мир не видывал такой сцены

[1] Могучий испанский флот, снаряженный в 1588 г. королем Филиппом II против Англии. В царствование Елизаветы было несколько походов Армады на Англию, побед и поражений.

[2] Горацио Нельсон (1758—1805) — английский адмирал, победитель в битве при Трафальгаре (1805), решившей исход войны с Францией и Испанией и стоившей ему жизни.

уверений и доказательств, как та, что разразилась далее. По ее окончании оба снова уселись за стол, и Орландо спросила, что это за речи такие о штормовом юго-западном ветре? Куда это он намерен держать путь?

— На Горн,— ответил он кратко и покраснел. (Должен же и мужчина краснеть, как и женщина, просто поводы у них совершенно разные.) Только благодаря неотступному натиску и чутью удалось ей установить, что жизнь его посвящена опаснейшей и блистательной задаче, а именно — огибать мыс Горн под штормовым ветром. Гнутся мачты; паруса обращаются в клочья. (Она у него вырвала эти признанья.) Нередко корабль тонет, и в живых остается он один — на плоту, с единственным сухарем.

— Ну, а чем же нынче человеку заняться,— сказал он застенчиво и положил себе еще несколько ложек клубничного варенья. И, представив себе, как этот мальчик (а кто же он, как не мальчик?) под стоны мачт и сумасшедшее кружение звезд отдает отрывистые хриплые приказания — то́ обрезать, это бросить за борт,— она расплакалась, и слезы эти, она заметила, были слаще всех, какие до сих пор доводилось ей лить. «Я женщина,— думала она.— Наконец-то я настоящая женщина». Она от всей души благодарила Бонтропа за восхитительную, за нежданную радость. Не охромей она на левую ногу, она бы вскочила к нему на колени.

— Шел, милый,— приступилась она снова,— расскажи...

И так разговаривали они часа два или больше, может быть, про мыс Горн, а может быть — нет, и разговор их записывать решительно не сто́ит, ведь они так хорошо друг друга знали, что могли говорить что угодно, а это равносильно тому, чтобы вовсе не говорить, или говорить о глупейших и прозаичнейших вещах, например, как готовить омлет или где купить в Лондоне самые лучшие ботинки, что, вынутое из оправы, теряет всякий блеск, тогда как оправленное — сияет неслыханной красотой. И благодаря мудрой рачительности природы современное сознание уже может обходиться почти без языка; и простейшее выраженье сойдет, раз сходит отсутствие выражений; и самый будничный разговор часто оказывается самым поэтичным; а самое поэтичное — это то и есть, что записать невозможно. По каковым причинам мы здесь и оставим большой пробел, в знак того, что это место заполнено до краев.

Еще несколько дней протекали в подобных беседах, и вот:

— Орландо, любимая,— начал было Шел, когда за дверью послышалось шарканье и Баскет, дворецкий, явился с сообщением, что внизу ждут двое фараонов с приказом королевы.

— Сюда их,— кратко сказал Шелмердин, будто стоял у себя на юте, и занял позицию подле камина, невольно заложив руки за спину. Двое полицейских, в бутылочных мундирах, с дубинками у бедра, вошли и стали по стойке смирно. Покончив с формальностями, они передали Орландо в собственные руки, как им было предписано, документ чрезвычайной важности, судя по сургучным кляксам, лентам, присягам и подписям самого внушительного свойства.

Орландо пробежала бумагу глазами и затем, с помощью указательного пальца правой руки, выделила, как самые насущные, следующие факты.

«Судебным разбирательством установлено...— читала она,— кое-что в мою пользу, вот, например... а кое-что нет. Турецкий брак аннулировать (я была послом в Константинополе, Шел,— пояснила она). Детей признать внебрачными (якобы у меня было трое сыновей от Пепиты, испанской танцовщицы). Так что они ничего не наследуют... вот это прекрасно... Пол? Ага! Что насчет пола? Мой пол,— прочитала она не без торжественности,— неоспоримо, без тени сомнения (А? Что я тебе минуту назад говорила, Шел?) объявляется женским. Состояние, сим освобождаемое от наложенного на него ареста, имеет переходить моим наследникам и наследникам вышеозначенных по мужской линии, в случае же невступления в брак...» — но тут слог закона ей надоел, и она сказала:

— Но невступления в брак не ожидается и отсутствия наследников

тоже, так что остальное можно не читать,— после чего подмахнула свою подпись под росчерком лорда Пальмерстона [1] и с той минуты вошла в неограниченное владение своими титулами, домами и состоянием, каковое заметно убавилось, так как на разбирательство ушла уйма денег, и, снова бесконечно знатная, она была теперь ужасно бедна.

Когда стал известен исход процесса (а слухи были куда расторопней, чем сменивший их телеграф), весь город ликовал.

[Лошадей впрягали в кареты с единственной целью вывести их погулять. Ландо и коляски порожняком непрестанно катили туда-сюда по Хай-стрит. В «Быке» читали приветствия. В «Олене» читали ответы. Лондон был иллюминирован. Золотые ларцы выставляли в надежно запертых горках. Монеты добросовестно клали под камень. Основывались больницы. Открывались крысиные и воробьиные клубы. Чучела турчанок вместе с несчетным множеством крестьянских мальчишек со свисающей изо рта ленточкой: «Я не то, за что себя выдаю» дюжинами сжигали на рыночных площадях. Скоро дворцовые каурые пони протрусили к дому Орландо с приказанием от королевы явиться нынче же к ужину и остаться ночевать во дворце. Стол Орландо, как и в предыдущем случае, тонул под сугробами приглашений от графини Р., леди К., леди Пальмерстон, маркизы В., миссис Гладстон [2] и прочих, искавших удовольствия ее видеть и напоминавших о старинных связях своих семейств с ее собственным, и прочее, и прочее] что не случайно заключено в квадратные скобки, должным образом означающие, насколько преходящим и бренным было все это для Орландо. Возвращаясь к тексту, она все это пропустила. На рыночных площадях пылали костры, а она бродила по темным лесам наедине с Шелмердином. Стояла прелестная погода, деревья недвижно простирали над ними ветви, и если все-таки падал какой-нибудь лист, он падал так медленно, что можно было полчаса наблюдать, как он, золотой и багряный, кружит в воздухе, прежде чем упасть к ногам Орландо.

— Расскажи мне, Мар,— говорила она (тут самое время объяснить, что когда она его называла по первому слогу первого имени, она бывала в мечтательном, влюбленном, покладистом духе, таком домашнем, разнеженном, томном, будто пахуче полыхают поленья, и вечер, но одеваться еще не пора, и за окном чуть заметная сырость, и листья блестят, но соловей тем не менее, пожалуй, заливается среди азалий, и на дальних мызах лениво перелаиваются собаки, кричит петух — все это читатель должен вообразить в ее голосе).— Расскажи мне, Мар,— говорила она,— про мыс Горн.

И Шелмердин складывал на земле из сухих листьев и нескольких улиточных раковин небольшую модель мыса Горн.

— Тут север,— говорил он.— Тут юг. Ветер приблизительно отсюда. Ну вот, а бриг направляется прямо на запад; мы только что спустили крюйс-марс; и видишь — тут, где эта трава,— он входит в течение, ты определишь, оно помечено — где моя карта и компас, боцман? Ага! Благодарствуй. Значит, там, где та раковина. Течение гонит его правым галсом, так что нам надо спешно спускать кливер, не то нас кинет на бакборт, видишь, где буковый лист, потому что, знаешь ли, душа моя...— и он продолжал в том же роде, и она ловила каждое слово; и правильно все понимала, и видела — то есть без всяких его объяснений — свечение волн; как льдинки позвякивают под вантами; как он под ревущим ветром карабкается на топ-мачту; там рассуждает о судьбах человечества; спускается; пьет виски с содовой; сходит на берег; попадается в сети к чернокожей красотке; раскаивается; размышляет об этом; читает Паскаля; решает написать что-нибудь философическое; покупает обезьянку; размышляет о том, в чем цель жизни; решает в пользу мыса Горн, и так далее. Все это и еще тысячи разных вещей понимала она из его слов, и когда она отвечала: «Ах, негритянки — они ведь такие соблазнительные» на его сообщение о том,

[1] Генри Джон Темпл, третий виконт Пальмерстон (1784—1865) — многократный премьер-министр Англии.

[2] Миссис Гладстон — жена Уильяма Юарта Гладстона (1809—1898), премьер-министра Англии.

что у него вышел весь запас сухарей, он дивился и восхищался тем, как чудесно она его понимает.

— Ты положительно убеждена, что ты не мужчина? — спрашивал он озабоченно, и она откликалась эхом:

— Неужто ты не женщина? — и приходилось тотчас же это доказывать. Потому что каждый поражался мгновенностью отклика, и для каждого было открытием, что женщина может быть откровенной и снисходительной, как мужчина, а мужчина может быть странным и чутким, как женщина, и необходимо было тотчас подвергнуть это проверке.

И так продолжали они говорить или, скорей, понимать,— и это стало главным в искусстве речи в тот век, когда слова ежедневно скудеют в сравненье с идеями, и слова «сухари все вышли» уже значат ровно то же, что целовать негритянку во тьме, если ты только что в десятый раз перечитал философию епископа Беркли [1]. (А отсюда следует, что лишь изощреннейшие мастера стиля способны говорить правду, и, наткнувшись на простого односложного автора, вы можете без малейших сомнений заключить, что бедняга лжет.)

Так они разговаривали; и потом, когда ноги ее совсем тонули в пятнистых осенних листьях, Орландо вставала и одиноко брела в глубь лесов, предоставя Бонтропу, одному, совершенствовать модель мыса Горн из улиточных раковин.

— Бонтроп,— говорила она.— Я ухожу,— а когда она называет его вторым именем — «Бонтроп», это должно означать для читателя, что ею овладело ощущение сирости, и оба они ей кажутся точечками в пустыне, и хочется только встретить смерть один на один, потому что люди ведь мрут ежедневно, мрут за обеденными столами или так вот, на воле, в осенних лесах; и хоть костры пылали, и леди Пальмерстон и миссис Дерби ежедневно приглашали ее на обед, на нее нападала жажда смерти, и когда она ему говорила «Бонтроп», на самом деле она говорила: «Я умерла», и уходила, как дух бы ушел, сквозь призрачно-бледные буки, и уплывала глубоко в одиночество, словно последний звук, последнее движенье — остыли, и она вольна идти куда глаза глядят — все это должен услышать читатель в ее голосе, когда она говорит «Бонтроп», и должен еще прибавить для полноты картины, что и для него самого оно означало — вот тут уже мистика — отъединенье и замкнутость, и бестелесное хождение по палубе брига в бездонных морях.

Через несколько часов смерти вдруг сойка вскрикивала: «Шелмердин!», и она наклонялась, срывала один из тех осенних крокусов, которые для иных означают просто «крокус» и только, и вместе с сойкиным пером, синевой сверху-вниз просверкнувшим в буках, прятала у себя за пазухой. Потом она звала: «Шелмердин!», и слово, прострелив лес, разило его на месте, там, где он сидел, сооружая модели из травы и улиточных раковин. Он видел ее, слышал, как она идет к нему с крокусом и сойкиным пером за пазухой, и кричал: «Орландо!», и это значило (тут не следует забывать, что, когда яркие краски, синяя с желтой, например, смешиваются у нас в мыслях, часть их счищается к нам на слова) сперва, что гнутся и качаются папоротники, словно сквозь них пробивается что-то; и это оказывается затем кораблем под всеми парусами, вздымающимся, опадающим, заваливающимся сонно, словно перед ним простирается целый год незакатного лета; и корабль близится, зыбко покачиваясь, гордо и праздно, взлетает на гребне волны, падает в лощину другой, и уже он стоит над тобою (а ты сидишь в своей утлой лодчонке и смотришь, и смотришь), и все паруса трепещут, и вдруг — что это? — падают грудой на палубу — вот как Орландо сейчас падала рядом с ним на траву.

Восемь или девять дней прошли таким образом, на десятый день, а именно 26 октября, Орландо лежала в папоротнике, а Шелмердин декламировал Шелли (которого все сочинения знал он наизусть), когда лист, лениво начавший падение с верхушки бука, вдруг стремительно охлестнул

[1] Джордж Беркли (1685—1753) — английский философ, представитель субъективного идеализма. Тонкий стилист.

ноги Орландо. За ним последовал второй лист и третий. Орландо вздрогнула и побледнела. Это был ветер. Шелмердин — но сейчас уместней его назвать Бонтропом — вскочил на ноги.

— Ветер! — крикнул он.

И вместе они бросились через лес (ветер на бегу облеплял их листьями) на большой двор, дальше, малыми дворами, и слуги ошарашенно бросали кто швабру, кто скалку, и кидались им вслед, и вот добежали до часовни, и стали зажигать свечи, и кто-то скамью опрокинул, кто-то свечу, наоборот, по ошибке задул. Звонили в колокола. Созывали людей. Наконец явился мистер Даппер, на ходу надевая епитрахиль и спрашивая, где требник. Ему сунули молитвенник королевы Марии, он поискал-поискал, второпях листая страницы, и сказал: «Мармадьюк Бонтроп Шелмердин и леди Орландо, станьте на колени»; и они стали, и темнели, светлели, светлели, темнели, когда свет и тень врывались по очереди в витражи, и сквозь грохот несчетных дверей, словно одну о другую колотили медные плошки, то слабо, то истошно рыдал орган, и мистер Даппер, уже старенький старичок, пытался перекричать грохот, но его не было слышно, и потом на мгновение все затаилось, и три слова, кажется, «смерть не разлучит» отчеканились в тишине, и все дворовые протиснулись в дверь с кнутами и с граблями, и кое-кто подпевал, кое-кто молился, а потом птица забилась о стекло, и грянул гром, и никто не расслышал, когда было сказано «да убоится», и не разглядел ничего, кроме золотистого сполоха, когда из рук в руки передавалось кольцо. Все смешалось, все ходуном ходило. И они поднялись с колен, и ревел орган, играли молнии, хлестал ливень, и леди Орландо, в легоньком платьице, с кольцом на пальце, выбежала во двор и придержала раскачивающееся стремя (конь был взнуздан, и пена была на боках), помогая супругу вскочить в седло, и он вскочил одним махом, и конь поскакал прочь, и Орландо кричала вслед: «Мармадьюк Бонтроп Шелмердин!», и он отвечал ей: «Орландо!», и слова эти ястребами кружили меж звонниц, выше, выше, дальше, дальше, быстрей и быстрей кружили они, пока не разбились и не хлынули ливнем осколков на землю; и она пошла в комнаты.

Глава 6

Орландо вошла в дом. Все было тихо. Все спокойно. Были чернила, было перо, был черновик ее стихов — дань вечности, прерванная на полуслове. Когда Баскет и Бартоломью прервали ее тогда с этой своей чайной посудой, она как раз собиралась сказать — ничего не меняется. И вот за три с половиной секунды все изменилось: она сломала лодыжку, влюбилась, вышла замуж за Шелмердина.

Обручальное кольцо на пальце служило тому порукой. Конечно, она надела его сама, до того еще, как встретилась с Шелмердином, но что тогда от него было проку? А сейчас она вертела и вертела кольцо, в суеверном благоговении, бережно, боясь, как бы оно вдруг не соскользнуло.

— Обручальные кольца носят на безымянном пальце левой руки,— сказала она тоном затверживающего урок дитяти,— чтобы от него был какой-нибудь прок.

Она произнесла это громко и, пожалуй, торжественней, чем было у нее заведено, будто хотела, чтобы кто-нибудь, чьим мнением она дорожит, мог ее подслушать. Да, вот наконец она и собралась с мыслями, и пора было призадуматься о том, как согласуется ее поведение с духом времени. Как посмотрят на ее обручение с Шелмердином, на ее замужество? Она нуждалась в одобрении века. Конечно, теперь она в своей тарелке. Палец, с той самой ночи на болоте, совсем почти не свербит. И однако — она не могла отрицать,— кой-какие сомнения у нее оставались. Она замужем, кто спорит; но если твой муж вечно носится вокруг мыса Горн, это что — замужество? Если ты его любишь — это замужество? Если ты любишь других — это

замужество? И, наконец, если ты по-прежнему только и мечтаешь писать стихи,— это замужество? Сомнения у нее оставались.

Но существуют же доказательства. Она глянула на кольцо. Глянула на чернильницу. Ну как? Нет, у нее не хватило пороху. Но ведь надо. Нет, невозможно решиться. Что же делать? Упасть в обморок, если удастся. Но никогда еще в жизни она себя не чувствовала так хорошо.

— А, плевать на все! — крикнула она почти со стародавним своим куражем.— Была не была!

И с размаху вонзила перо в чернильницу. К величайшему ее изумлению, взрыва не последовало. Она вытащила перо. Мокрое, но с него не капало. Она стала писать. Слова пошли не сразу, но все же пошли. Ой! Да есть ли тут смысл какой-нибудь? Она ужасно испугалась, как бы перо опять не взялось за свои сумасшедшие коленца. Прочитала:

Медвяной росною тропой
Бреду меж диких бальзаминов;
Что отрешенны и нежны,
Как ласки нильской девы дальней.

И вдруг она почувствовала, как некая сила (напомним, мы имеем дело с таинственнейшими проявлениями человеческой природы), читавшая у нее из-за плеча, схватила ее за руку. Стоп. Медвяная тропа — говорила эта сила, как гувернантка возвращается с линейкой к началу текста — вполне приемлема; нежные дикие бальзамины — куда ни шло; отрешенны — про цветы? — несколько, пожалуй, чересчур, но Вордсворт, кстати, как раз бы, глядишь, и одобрил; но эта дева? дева-то при чем? У вас муж на мысе Горн, вы говорите? А, ну тогда извините, милочка.

И дух времени ушел своей дорогой.

Орландо теперь в душе (все это происходит в душе, в душе) смотрела на дух своего времени с глубоким почтением, какое, например — мы не говорим о масштабах,— путешественник, помнящий о запретных сигарах в недрах своего чемодана, выказывает таможеннику, любезно ставящему мелком закорючку на его крышке. Потому что она была отнюдь не убеждена, что, поройся дух времени потщательней у нее в голове, он бы там не нашарил совершеннейшей контрабанды, за которую ей полагалось платить немалую пошлину. Она просто ловко отделалась. Просто ухитрилась, польстив этому самому духу, надев на палец кольцо, подобрав на болоте мужа, любя природу и не будучи ни сатириком, ни циником, ни психологом,— уж такой бы товар обнаружился сразу! — успешно пройти досмотр. И она испустила глубокий вздох облегчения, и, между прочим, не зря, потому что отношения сочинителя с духом времени — самого деликатного свойства, и для сочинителя зависит от них весь его успех. Орландо, в общем, очень славно устроилась; ей не приходилось ни воевать с духом времени, ни ломать себя ему в угоду; она с ним была заодно и оставалась собой. И, следственно, могла писать, и писала. Писала. Писала. Писала.

Было это в ноябре. После ноября наступает декабрь. Потом январь, февраль, март и — апрель. После апреля начинается май. Далее идут июнь, июль, август. Потом сентябрь. Потом октябрь и — снова у нас ноябрь и, значит, прошел целый год.

Такой метод писания биографии, при бесспорных своих преимуществах, в чем-то, может быть, не вполне убедителен, и если мы будем и дальше его придерживаться, читатель вправе нам попенять, что, мол, и сам бы мог цитировать календарь и сэкономить уж неизвестно какую там сумму сочтет наш издатель уместным назначить за нашу книжку. Но что прикажете делать биографу, когда персонаж его сталкивает с такой незадачей, как вот нас сейчас Орландо? Все, с чьим мнением стоит считаться, согласились на том, что жизнь — единственный предмет, достойный пера биографа или романиста; а жизнь — постановили те же авторитеты — ничего не имеет общего с тем, чтоб сидеть на стуле и думать. Мыслить и жить — два полярно противоположных занятия. А потому — раз Орландо сейчас толь-

ко и делает, что сидит на стуле и думает,— нам ничего другого не остается, как цитировать календарь, перебирать четки, сморкаться, ворошить огонь и смотреть в окно, покамест ей это не надоест. Орландо сидела так тихо, что можно было услышать, как падает на пол булавка. И хоть бы упала! Все бы жизнь! Или впорхнула бы в окно, например, бабочка, обосновалась бы у нее на стуле. Тоже стоит писать. Или, скажем, Орландо вскакивает и прихлопывает осу. Тут уж хватай перо и строчи. Пусть и осиное, а какникак кровопролитие. И хотя убиенье осы — сущая ерунда по сравнению с убиением человека — и то романисту или биографу оно все бы приятней, чем вот это сплошное витание в облаках; эти раздумья; это сидение с утра до вечера с сигаретой, листом бумаги, пером и чернильницей. Ах, если бы герои жизнеописаний, посетуем мы наконец (ибо терпение наше на исходе), уделяли побольше внимания своим биографам! Согласитесь, прескучно же смотреть, как твой предмет, на который ухлопано столько сил и хлопот, совершенно отбившись от рук, наслаждается — чему свидетельством вздохи и ахи, то пунцовые, то бледные щеки, глаза, то сияющие, как фонари, то изнуренно-блеклые, как рассветы,— ну, не унизительнейшее ли, согласитесь, занятие — смотреть, как перед тобой разыгрывается богатейшая пантомима, а ты-то знаешь, что в основе лежит совершеннейший вздор — мысль, воображенье, не более?

Но Орландо была женщина — это, между прочим, подтвердил сам лорд Пальмерстон. А когда мы заняты жизнеописанием женщины, мы можем, это общеизвестно, уже не настаивать на действии, а заменить его любовью. Любовь, как сказал поэт,— это вся жизнь, это главное призвание женщины. А стоит нам только глянуть на Орландо, пишущую за своим столом, мы тотчас убедимся, что ни одна женщина не была лучше приспособлена для этого призвания. И, конечно, раз она женщина, и женщина красивая, женщина во цвете лет, она скоро наскучит этим дурацким писаньем и думаньем и примется думать, положим, о леснике (а когда женщина думает о мужчине, никого уже не возмущает думающая женщина). И она ему напишет записочку (а когда женщина пишет записочку, пишущая женщина тоже никого уже не возмущает). И назначит ему свидание в воскресный предвечерний час; и воскресный предвечерний час настанет; и лесник свистнет у нее под окном — что, вместе взятое, и составляет ведь самое содержание жизни и единственный достойный сюжет для романа. И неужели Орландо не могла чем-нибудь подобным заняться? Увы и ах — ничем таким Орландо не занималась. Должно ли это означать, что Орландо была из тех чудищ, которые не способны любить? Она была добра к собакам, предана друзьям, бесконечно великодушна к десяткам обнищалых поэтов, имела страсть к поэзии. Но любовь, по определению мужчин-романистов,— а кто посмеет спорить, что им и карты в руки? — ничего общего не имеет с добротой, преданностью, великодушием и поэзией. Любить — это значит: скользнуть из юбки и... Да что уж там, кто не знает, что такое любить? Ну, и как же насчет этого у Орландо? Справедливости ради, мы вынуждены признаться — вот то-то и оно, что никак. Но если герой жизнеописания не желает ни любить, ни убивать, а только воображать и думать, мы смело можем счесть его (или ее) бездушным трупом и поставить на ней крест.

Единственное, что нам теперь остается,— выглянуть в окно. Там воробьи; скворцы; уйма голубей и несколько грачей; и каждый занят своим делом. Кто-то находит червячка; кто-то улитку. Кто-то вспархивает на ветку; кто-то прогуливается по травке. Вот по двору проходит слуга в суконном зеленом фартуке. Возможно, у него роман с какой-нибудь горничной, но сейчас, во дворе, вещественных доказательств нам не предложено, и потому мы можем только надеяться на лучшее и оставить этот предмет. Тучки, жиденькие и пухлые, плывут в вышине, вызывая в окраске травы перемены. Своим непостижимым способом отмечают время солнечные часы. Наш ум один за другим перебирает вопросы, праздные, тщетные, насчет этой самой жизни. Жизнь,— выпевает он или, скорее, мурлычет, как закипающий чайник,— Жизнь-жизнь — что ты такое? Свет или тьма? Суконный ли фартук лакея, тень ли скворца на траве?

Давайте же пойдём, исследуем летнее утро, когда всё с ума сходит вот по этой вишне в цвету, вот по этой пчеле. И, мямля и хмыкая, давайте-ка спросим скворца (он птичка общительней жаворонка), что думает он, сидя на краю мусорного ящика и склевывая с прутика судомойкины очески? Что такое жизнь? — спросим мы, облокотясь на калитку. Жизнь! Жизнь! Жизнь! — кричит птичка, будто слышит нас и точно знает, что́ кроется за нашей противной манерой вечно ко всем приставать с вопросами, повсюду совать свой нос и ощипывать маргаритку, как заведено у писателей, когда они не знают, что дальше сказать. Являются тогда ко мне, говорит птичка, и спрашивают, что такое жизнь. Жизнь! Жизнь! Жизнь!

Мы шлепаем дальше заболоченной тропкой, вверх, вверх, на бровку винно-синей, лилово-сизой горы и там бросаемся ничком, и дремлем, и видим кузнечика, он везет соломинку к себе домой, в лощину. И он говорит, кузнечик (если этому пиликанью можно дать священное и нежное имя речи), жизнь, он говорит,— есть труд; или нам это только мерещится в его пропыленном стрекоте? И муравей соглашается с ним, и пчела, но если мы еще полежим до вечера и зададим этот же самый вопрос мотылькам, украдкой скользящим меж бледнеющих колокольчиков, о, они нам такого нашепчут, чего и от телеграфных проводов не услышишь в снежный буран; хиханьки-хаханьки, смехота, смехота, говорят мотыльки.

Расспросив людей, и птиц, и насекомых, потому что рыбы — так утверждают те, кто годами жил одиноко в зеленых гротах, чтобы их послушать,— рыбы никогда не говорят про то, что такое жизнь, хотя, возможно, и знают,— всех расспросив и ничуточки не поумнев, а став только старше и суше (а ведь когда-то молили, кажется, о даре запечатлеть в книге нечто столь драгоценное, вечное, чтобы сразу можно поклясться: вот он, смысл жизни, вот!), мы принуждены воротиться домой и со всей откровенностью объявить читателю, который трепетно дожидается нашего ответа о том, что такое жизнь — увы, мы не знаем.

В эту секунду, и в самый как раз момент, чтоб книга совсем не зачахла, Орландо оттолкнула стул, потянулась, бросила перо, подошла к окну и крикнула: «Ну, хватит!»

Она чуть не упала, такое невероятное зрелище представилось ее взору. Перед ней был сад, были кое-какие птицы. Мир существовал, как всегда. Все то время, что она писала, мир продолжал существовать.

— Умри я, и все бы оставалось по-прежнему! — вскричала Орландо.

Чувства ее были так обострены, что ей даже показалось, что она буквально уже разложилась, а может быть, она и в самом деле потеряла сознание. Мгновение она смотрела на прелестный равнодушный вид расширенными глазами. Наконец несколько необычное обстоятельство ее заставило очнуться. Манускрипт, покоившийся у ее сердца, вдруг начал биться, как живой, и — что еще удивительней, и доказывает, какая близкая существовала меж ними связь,— Орландо, склонив к нему голову, разобрала, что́ он говорит. Он хочет, чтобы его прочитали. Он умрет на ее груди, если его не прочтут. Впервые в жизни она ополчилась против природы. Борзых и розовых кустов было вокруг предостаточно. Но ни борзые, ни розы читать не умеют. Никогда прежде она не задумывалась над этой досадной промашкой Провидения. Этой способностью наделены только люди. Люди ей вдруг понадобились позарез. Она позвонила в колокольчик. Приказала подать карету, чтобы тотчас катить в Лондон.

— Аккурат на одиннадцать сорок пять поспеете, миледи,— сказал Баскет. Орландо, и не подозревавшая об изобретении паровоза, была настолько поглощена страданиями существа, которое, не будучи ею самой, однако полностью от нее зависело, что села в вагон и дала окутать свои колени пледом, не подарив ни единой мыслью «это поразительное изобретение, совершенно преобразившее (утверждают историки) лицо Европы за последние двадцать лет» (что случается куда чаще, чем историки полагают). Она заметила только кошмарную грязь; дикий грохот; и то, что окна

заедает. Поглощенная своими мыслями, она меньше чем за час домчалась до Лондона и стояла на платформе Чаринг-кросс, не зная, куда податься.

Старый дом в Блэкфрайерзе, где провела она столько приятных дней в восемнадцатом веке, был теперь продан, частью Армии спасения, частью фабрике зонтиков. Она купила новый, в Мейфэре — чистый, удобный, в самом центре модного света, но в Мейфэре разве избавишь стихи от томления? Слава Богу, думала она, вспоминая блеск сиятельных женских глаз и симметрию сиятельных же мужских ног,— на чтение они там не слишком налегают. Ведь было бы мучительно жаль. Вот и дом леди Р. Там, без сомнения, ведутся те же беседы. Возможно, подагра переместилась из левой в правую ногу генерала. Мистер Л. две недели гостил уже не у Т., а у М. Войдет, разумеется, мистер Поп. Ах, но мистер Поп же умер. И кто там теперь блистает умом? — думала она, но такое у швейцара не спросишь, и она двинулась дальше. В уши ей хлынул звон несчетных колокольцев на головах у бесчисленных лошадей. Флотилия престранных ящиков на колесах катила вдоль тротуара. Орландо вышла на Стрэнд. Шум сделался еще невообразимей. Средства передвижения всевозможных размеров, запряженные кровными рысаками, запряженные ломовиками, где влекущие одинокую торжественную вдовицу, где до отказа набитые носителями цилиндров и бакенбард, смешались в дикой неразберихе. Глазу, привычному к ровным просторам страниц, казалось, что кареты, тележки и омнибусы в непримиримом раздоре; препротивной какофонией казался ушам, настроенным на скрип пера, уличный грохот. На мостовой негде яблоку было упасть. Потоки людей, толкавшихся и теснящих себе подобных, грохочущие, тряские экипажи с безмерной прытью проносились на восток и на запад. Вдоль тротуаров стояли мужчины с лотками игрушек и орали. На углах сидели с корзинами весенних цветов и орали женщины. Мальчишки выскакивали из-за лошадиных морд, тянули к ним печатные листы и орали: «Катастрофа! Катастрофа!» Орландо решила, что попала в Лондон в переломный для нации час; вот только счастливый или трагический, она сказать не умела. Она тревожно вглядывалась в прохожих. Но еще больше запуталась. Вот идет, например, человек, лицо перекошено, бормочет про себя, будто только что узнал непереносимую новость. А за ним проталкивается лихой толстяк, веселящийся, как на гулянье. Пришлось ей прийти к заключению, что во всем этом нет ни складу ни ладу. Каждый мужчина, каждая женщина заняты только собой. И куда тут пойдешь?

Она шла дальше уже ни о чем не думая, из улицы в улицу, мимо гигантских окон, заваленных зеркалами и сумками, халатиками и цветами, и удочками, и корзинками для пикников, и тут же были раскиданы, увязаны, свалены, скатаны ткани всех возможных тонов и расцветок. Или она брела вдоль ровных заспанных зданий, деловито помеченных — первый, второй, третий, и так до двухсотого или трехсотого нумера, решительно неразличимых, две колонны, шесть степенных ступенек, и подняты шторы, и накрыт для семейственной трапезы стол, и в одно окно устремляет взор попугай, и слуга выглядывает из другого,— пока голова у нее не начинала кружиться от однообразия. Она выходила на широкие площади с черными, блистающими задастыми статуями и гарцующими конями, вздымающимися колоннами, взлетающими фонтанами и вспархивающими голубями. Шла, шла, шла по тротуарам мимо домов и вдруг ужасно проголодалась; и на груди у нее что-то затрепетало с упреком: совсем, мол, меня забыла. Это был манускрипт поэмы «Дуб».

Она устыдилась собственной невнимательности. И застыла на месте. Рядом не было ни единой кареты. Улица, широкая и красивая, была на удивленье пуста. Только какой-то пожилой господин шел навстречу. Что-то смутно знакомое ей почудилось в этой походке. Когда он приблизился, она поняла, что решительно где-то она его уже видела. Но где? Когда? Неужто этот вальяжный щеголь с тросточкой и цветком в петлице, с розовой сдобной физиономией, седыми расчесанными бакенбардами, неужто это — Господи-Боже! Ну да — это же он, ее старый, очень старый друг Ник Грин!

В то же мгновение он на нее посмотрел; вспомнил; узнал.

— Леди Орландо! — крикнул он, чуть пыль не метя цилиндром.

— Сэр Николас! — отвечала она. Ибо по каким-то оттенкам в его повадке тотчас угадала, что подлый бумагомарака, во времена королевы Елизаветы ее и многих других донимавший разносами, теперь преуспел, выбился в люди, стал сэром и Бог знает кем еще в придачу.

Снова раскланявшись, он признался, что умозаключения ее верны: он пожалован в рыцарство; он доктор литературы; автор двух десятков томов; проще сказать, влиятельнейший критик викторианской эпохи.

Странный вихрь чувств охватил ее при виде человека, некогда так досаждавшего ей. Неужто это тот самый противный тип, который прожигал ей ковер сигарами, жарил сыр в итальянском камине и рассказывал такие веселые побасенки про Марло и прочих, что девять ночей из десяти они не ложились спать до рассвета? Сейчас он изящно облачен в серую визитку; пунцовая роза в петлице; серые замшевые перчатки в тон. Но покуда она продолжала дивиться, он отвесил ей новый глубокий поклон и спросил, не окажет ли она ему честь вместе с ним отобедать? С поклонами, пожалуй, он самую малость пересолил, но честное стремление разыгрывать истинного аристократа было похвально. Все еще дивясь, она вошла следом за ним в роскошный ресторан; красный бархат, белые скатерти, серебряные приборы — как не похоже было все это на былые кабаки и кофейни с земляным полом, деревянными скамьями, кружками пунша и шоколада, плакатами и плевательницами. Он аккуратно положил перчатки рядом с собою на стол. Неужто он? Ногти чистые; а были ведь в дюйм длиною. Подбородок выбрит, а был ведь вечно в щетине. Золотые запонки; а вечно ведь полоскал в супе обтрепанные обшлага. И только когда он заказывал вино, с увлеченностью, отдававшей прежним его благоволеньем к мальвазии, она удостоверилась, что перед нею тот же самый человек.

— Ах,— сказал он с легким и довольно, впрочем, уютным вздохом.— Ах, сударыня, минул великий век литературы. Марло, Шекспир, Бен Джонсон — то-то были гиганты. Драйден, Поп, Аддисон — то-то были герои. Все, все перемерли. И на кого же нас оставили? Теннисон, Браунинг, Карлейль! [1]— в тоне было безмерное презрение.— Что греха таить,— сказал он, наливая себе стакан вина,— наши молодые сочинители все на жалованье у книгопродавцев. Готовы состряпать любой вздор, лишь бы оплатить счета своих портных. Это век,— говорил он, налегая на закуски,— жеманных претензий и диких опытов; ничего такого елизаветинцы бы и секунды не потерпели.

— Нет, сударыня,— продолжал он, одобряя turbot au gratin [2], предоставленный официантом на его рассмотрение,— великие дни поэзии миновали. Мы живем во времена упадка. Будем же дорожить прошлым; и честью воздадим тем авторам — немного их уже осталось,— которые берут античность за образец и пишут не ради презренной пользы, но ради...— Тут Орландо чуть не крикнула: «Глор!» Она могла побиться об заклад, что те же точно речи слышала от него триста лет назад. Имена, конечно, были другие — смысл не изменился. Но странно: что-то все-таки изменилось. Не сам Ник Грин. Он ничуть не изменился при всех своих регалиях. Что-то изменилось. И покуда он распространялся о том, как следует принимать за образец Аддисона (прежде, помнится, это был Цицерон) и как, валяясь в постели поутру (приятно думать, что таковую возможность ему дает аккуратно ею выплачиваемый пенсион), повертев на языке лучшие творения лучших авторов, с часок не меньше, прежде чем взяться за перо, дабы предварительно отрешиться от современной пошлости и очистить бедную нашу родную речь (в Америке побывал, не иначе) от плачевного засорения...— пока он продолжал в том же точно духе, как разливался Грин триста лет назад, она себя спрашивала, что же все-таки изменилось? Он

[1] Альфред лорд Теннисон (1809—1892) — крупнейший лирик викторианской эпохи; Роберт Браунинг (1812—1889) — признанный поэт, для своего времени новатор; Томас Карлейль (1795—1881) — историк, философ, переводчик Гёте.

[2] Палтус в сухарях *(франц.)*.

расплылся; но ему же под семьдесят; стал глаже; литература, видно, кормит неплохо; но улетучилась прежняя неуютная живость. Речь его, пусть блестящая, лишилась былой безоглядности и свободы. Разумеется, «мой дорогой друг Поп», «мой прославленный друг Аддисон» поминались на каждом шагу, но была в нем удручающая добропорядочность, и он почему-то предпочитал доводить до ее сведения высказывания ее собственной близкой родни, чем тешить ее, как бывало, дикими сплетнями о жизни поэтов.

Орландо испытала непостижимое разочарование. Все эти годы она думала о литературе (ее уединенность, положение и пол могут ей служить извинением), как о чем-то буйном, как ветер, горячем, как пламя, и мгновенном, как молния; о чем-то мерцающем, безотчетном, внезапном; а оказалось: литература — это пожилой господин в серой визитке, рассуждающий о герцогинях. Она так резко расстроилась, что на груди у нее отскочила какая-то пуговка, не то крючок, платье расстегнулось, и на стол вывалилась поэма «Дуб».

— Манускрипт! — воскликнул сэр Николас, надевая свое золотое пенсне.— Любопытно-любопытно, чрезвычайно любопытно! Разрешите-ка глянуть.— И вот снова, лет через триста, Николас Грин взял поэму Орландо и, положив между кофейными чашками и ликерными рюмками, принялся изучать. Приговор, однако, сейчас был вовсе не тот, что некогда. Это ему напоминает, говорил он, переворачивая страницы, Аддисонова «Катона». Куда там «Временам года» Томсона [1]... Ни следа, должен он благодарно признать, этого новомодного духа. Заметно уважение к истине, к природе, к законам сердца человеческого, столь редкое, увы, в наш век безбожных вычур. Разумеется, это должно немедля представить на рассмотрение публики.

Орландо его просто не понимала. Обычно она носит манускрипт с собою, за пазухой. Идея заметно потешила сэра Николаса.

— Но как насчет вознаграждения? — справился он.

Мысль Орландо метнулась к Букингемскому дворцу и обитающим в нем туманным, раздающим награды властителям.

Сэр Николас совершенно развеселился. Он объяснил, что имел в виду всего лишь то обстоятельство, что господа... (тут были названы известнейшие книгоиздатели) счастливы будут, если он только им черкнет пару строк, включить книгу в свой каталог. Он, возможно, сумеет устроить вознаграждение в десять процентов с экземпляра до двух тысяч включительно и вплоть до пятнадцати при большем тираже. Что до рецензентов, он лично готов черкнуть строчку-другую такому-то, он из самых влиятельных; ну, а кое-какие комплименты, знаете, расхвалить, например, стишки издателевой супруги — это он берет на себя. Он снесется... И так далее. Орландо не понимала ни звука и, наученная горьким опытом, не очень-то развешивала уши, но ей ничего не оставалось, как покориться этому напору и страстной потребности самой поэмы. И вот сэр Николас превратил испятнанный кровью сверток в аккуратный пакет; распластал в нагрудном кармане; и после долгого обмена любезностями они расстались.

Орландо пошла дальше по улице. Поэмы при ней уже не было — она ощущала пустоту на груди,— и делать ей теперь было нечего, только рассуждать — о чем там ей было угодно, скажем, о прихоти счастья. Вот она идет по Сент-Джеймс-стрит; замужняя дама; на пальце кольцо; там, где прежде была кофейня, вот вам, пожалуйста, ресторан; сейчас половина четвертого пополудни; солнце сияет; вон три голубка; а вот и дворняга; две пролетки; ландо. Да, так что же такое Жизнь? Мысль застучала у нее в голове, внезапная, настойчивая, безосновательная (разве что навеянная старым Грином). А она — кстати, это может служить оценкой ее отношений с супругом (находившимся на мысе Горн), положительной или наоборот, это уж как будет угодно читателю,— едва на нее накатывала внезапная

[1] «Катон» — трагедия Аддисона, написанная в 1713 г. и долго не сходившая со сцены. Джеймс Томсон (1700—1748) — друг Попа. «Времена года» — его поэма в белых стихах (1726—1730), очень популярная в XVIII веке. На ее слова написана одноименная оратория Гайдна (1801).

мысль, кидалась на ближайший телеграф и посылала ему телеграмму. Телеграф оказался как раз под рукой. «Господи Шел,— телеграфировала она,— жизнь литература Грин пресмыкается»,— тут она перешла на изобретенный ими для собственных надобностей шифр, способный передать в одном-двух словах сложнейшее душевное состояние, да так, чтоб телеграфист ничего не учуял, и прибавила: «Бара Бек Лимпомпоний», всему подведя исчерпывающий итог. Ибо ее не только глубоко впечатлило утреннее происшествие, но — читатель, возможно, это заметил — Орландо взрослела, что не означает непременно, что она совершенствовалась,— и «Бара Бек Лимпомпоний» как раз отражал то сложнейшее душевное состояние, о котором читатель, если представит к нашим услугам все свои умственные способности, может догадаться и сам.

В ближайшие часы на ее телеграмму не могло быть ответа; в самом деле, решила она, глянув в небо, по которому быстро пропархивали облака, возможно, на мысе Горн сейчас буря, и муж ее скорей всего на топ-мачте, или обрубает обветшалый рангоут, или даже он сейчас, с последним сухарем, один на плоту. И она решила убить время в соседней лавке, каковая оказалась столь обычной для нашей эпохи лавкой, что ее не стоило бы и описывать, если бы она так не поразила Орландо; в лавке торговали книгами. Всю свою жизнь Орландо имела дело с манускриптами; держала в руках грубые бурые листы, исписанные темными закорючками Спенсера; видела рукописи Мильтона и Шекспира. У нее хранилось немало кварто и фолио, часто содержавших сонет в ее честь, а то, бывало, и локон. Но эти несчетные томики, яркие, неразличимые, эфемерные, бесконечно ее удивляли. Все сочиненья Шекспира стоили полкроны и умещались в кармане. Прочесть их не представлялось возможным при столь мелкой печати, но все равно, что за чудо! «Сочинения» — сочинения всех писателей, каких она знала, о каких слышала и еще многих, многих других заполняли от края до края длинные полки. На столах и на стульях громоздились еще «сочинения», и эти, она обнаружила, полистав страницы, часто были сочинения о других сочинениях сэра Николаса и еще многих других, которых она, по неведенью, раз их напечатали и переплели, тоже зачислила в гении. Она наказала изумленному книгопродавцу прислать ей все сколько-нибудь стоящее и вышла из лавки.

Она свернула в Гайд-парк, знакомый ей исстари (вот под тем расщепленным вязом упал, помнится, герцог Гамильтон, насквозь пронзенный лордом Муном), и губы ее, часто этим грешившие, стали складывать в дурацкую песенку слова телеграммы: Жизнь — литература — Грин — пресмыкается — Бара — Бек — Лимпомпоний; так что сторожа на нее поглядывали с опаской и склонялись к положительному мнению о ее здравом уме, только разглядев у нее на шее жемчужное ожерелье. Она захватила в книжной лавке пачку газет и журналов и наконец, устроившись под вязом, обложившись ими, принялась старательно изучать благородное искусство прозы в исполнении этих мастеров. В ней оставалось еще много наивного; что-то священное мнилось ей в самой расплывчатости газетной печати. Лежа, опираясь на локоть, она взялась за статью сэра Николаса о сочинениях человека, которого знавала когда-то: Джона Донна. Но она нечаянно расположилась у самого Серпантина. Лай несчетных собак звенел у нее в ушах. Вокруг непрестанно шуршали колеса. Над головой вздыхала листва. То и дело оборчатая юбка в сопровождении пары литых ярко-красных брючин у самого ее носа пересекала траву. Раз гигантский резиновый мяч угодил на газету. Синее, оранжевое, лиловое, красное врывалось сквозь прорехи в листве и заигрывало с изумрудом у нее на пальце. Она отвлекалась. То посмотрит в газету, то в небо; то вниз посмотрит, то вверх. Жизнь? Литература? Перевоплотить одно в другое? Но это ведь чудовищно трудно! А как бы — опять эти ярко-красные брючины,— а как бы это выразил, например, Аддисон? Пожалуйста — две собаки, и обе на задних лапах,— как бы, скажем, передал это Лэм? [1] Она читала сэра Николаса

[1] Чарльз Лэм (1775—1834) — знаменитый эссеист; разработал жанр романтического, поэтического очерка; мастер стиля.

и его приятелей (когда ее не отвлекали), и у нее создавалось впечатление — она встала и прошлась по травке — впечатление — очень неприятное впечатление,— что никогда-никогда не следует выражать собственных мыслей. (Она стояла на берегу Серпантина. Он отливал свинцом; паучками скользили от берега к берегу лодки.) Они создают впечатление, что каждый обязан вечно, вечно писать, как кто-то другой. (Слезы накипали у нее в глазах.) Нет, правда, думала она, подпихивая ногой игрушечную лодочку, я, конечно, так не сумею (тут статья сэра Николаса, как это со статьями бывает через десять минут по прочтении, встала у нее перед глазами, вся целиком, вместе с комнатой сэра Николаса, его лицом, его кошкой, письменным столом и освещением дня), нет, я, конечно, так не сумею, продолжала она, рассматривая статью уже под этим углом зрения,— сидеть с утра до вечера в кабинете, да это и не кабинет никакой, а обшарпанная гостиная, сидеть в окруженье хорошеньких мальчиков и рассказывать им анекдоты, но строго без передачи, о том, что́ Таппер сказал про Смайлза [1]; и потом (она уже горько рыдала), у них у всех такой мужественный склад; и потом — я терпеть не могу герцогинь; я ненавижу пирожные; и пусть я, положим, бываю стервозной, но никогда мне не научиться быть стервозной в такой уж степени, и как я стану критиком, как буду создавать образцы современной прозы? А, пропади все пропадом! — крикнула она и так пнула со стапелей игрушечный пароходик, что эта бедная посудина чуть не потонула в свинцовых волнах.

Тут надо заметить, что когда вы не в настроении (как выражаются няни) — а слезы все еще стояли в глазах у Орландо,— предмет, на который вы смотрите, не остается собой, но превращается в другой предмет, гораздо больше и важней, хотя он как будто и тот же. Если вы посмотрите не в настроении на Серпантин, его волны станут огромными, как на Атлантике; игрушечные лодочки сделаются неотличимыми от океанских лайнеров. И Орландо спутала игрушечный кораблик с бригом своего супруга, а поднятую собственной ногой волну приняла за водяную глыбу у мыса Горн; и глядя на взбирающуюся по зыби игрушку, она видела, как корабль Бонтропа взбирается по огромной стеклянной стене; он взбирался все выше и выше; над ним нависал смертельный гребень; он скрылся в смертоносной пучине. «Утонул!» — ахнула она в ужасе, но вот он, целый и невредимый, показался среди уточек по ту сторону Атлантического океана.

— Какое счастье! — крикнула она.— Какое счастье! Где тут телеграф? — подумала она.— Надо срочно телеграфировать Шелу, ему рассказать...

И повторяя попеременно «Лодочка на Серпантине» и «Счастье», каковые понятия были нерасчленимы и означали в точности одно и то же, она заторопилась к Парк-лейн.

— Лодочка, лодочка, лодочка,— повторяла она, все более уверяясь, что не статья Ника Грина о Джоне Донне, не восьмичасовой рабочий день, не закон об охране труда на свете самое главное; но что-то тщетное, дикое, буйное, за что отдаешь жизнь; красное, лиловое, синее; взмет; всплеск; как эти гиацинты (она шла мимо клумбы); свободное от грязи, зависимости, людской заразы, заботы о себе подобных; нелепое и смешное, «как мой гиацинт, ой, что я, мой муж Бонтроп: вот оно, вот — игрушечная лодочка на Серпантине, счастье, счастье». Так она говорила вслух, пережидая движение у Стэнхоуп-гейт, потому что, когда живешь с мужем только в безветрие — начинаешь вслух говорить глупости на Парк-лейн — это неизбежно. Живи она с ним круглый год, в любую погоду, как предписывала королева Виктория,— тогда бы дело другое. Ну, а так мысль о нем в нее вдруг ударяет молнией. Хочется непременно, немедленно с ним поговорить. Ей было решительно все равно, какой у нее получится вздор и как это губительно повлияет на повествование. Статья Ника Грина повергла ее в пучину отчаяния, игрушечная лодочка на Серпантине подбросила ее на вершины

[1] Мартин Фаркар Таппер (1810—1889) — автор «Философии в пословицах» (рифмованных банальных изречений, имевших огромный успех у публики); Сэмюэл Смайлз (1812—1904) — популярный автор жизнеописаний и нравоучительных трактатов.

восторга. И она повторяла: «Счастье, счастье»,— стоя и пережидая уличное движение.

Но движение в этот весенний вечер было густое, и она долго стояла на тротуаре, повторяя «счастье, счастье» и «лодочка на Серпантине», покуда власть и богатство Англии, как отлитые в плащах и цилиндрах, сидели по пролеткам, викториям и ландо. Будто золотая река застыла и золотыми брусками перегородила Парк-лейн. Дамы держали в руках коробочки с визитными карточками; господа поигрывали золотыми набалдашниками меж колен. Она стояла восхищенно, благоговейно. Только одна-единственная мысль ей мешала, мысль, знакомая всякому, кто наблюдал огромных слонов или китов невозможных размеров, а именно — как исхитряются эти левиафаны, которым, очевидно, претят всякое волнение, перемена, движение, как исхитряются они производить себе подобных? Вероятно, думала Орландо, глядя на величавые, недвижные лица, время размножения для них миновало; это плоды; свершение; то, что она наблюдала,— триумф эпохи. Сидят — торжественные, роскошные. Но вот полицейский уронил руку; поток тронулся, хлынул. Монолит великолепных предметов раскололся, рассеялся, скрылся на Пиккадилли.

И она пересекла Парк-лейн и вошла в свой дом на улице Керзона, где при цветении таволги можно будет вспомнить про карканье дупелей и очень старого человека с ружьем.

Можно вспомнить, думала она, переступая порог своего дома, что́ говорил лорд Честерфилд, но у нее вдруг отшибло память. Тихая прихожая восемнадцатого века, где лорд Честерфилд — она так и видела — вот сюда клал шляпу, вот сюда вешал плащ, столь изящно, великолепно, что одно наслаждение смотреть,— вся была завалена свертками. Пока она сидела в Гайд-парке, книгопродавец исполнил ее заказ, и дом был буквально забит — пачки сваливались с лестницы — полным собранием викторианской литературы, обернутой в бумагу и аккуратно перевязанной веревками. Она захватила в спальню сколько могла унести, приказала лакею принести остальное и, поспешно разрезав несчетные веревочки, тут же оказалась в окружении несчетных томов.

Привычная к малым литературам шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков, Орландо ужаснулась последствиям своего заказа. Потому что для самих викторианцев великая литература означала вовсе не четыре великих, раздельных, четко выделенных имени, но четыре великих имени, вкрапленных и погруженных в массу Смитов, Диксонов, Блэков, Милманов, Боклей, Тэнов, Пейнов, Тапперов, Джеймсонов [1]— громких, шумных, выдающихся и требовавших к себе не меньше внимания, чем все остальные. Благоговение Орландо перед печатным словом подверглось нелегкому испытанию, но, придвинув кресло к окну, чтобы лучше поймать скудный свет, продирающийся меж высоких домов Мейфэра, она честно старалась прийти к определенному выводу.

Ну, а ясно, что существует только два способа прийти к определенному выводу относительно викторианской литературы; первый способ — исписать шестьдесят томов в осьмушку и второй — уложиться в шесть строк, вот с эту длиной. Из двух способов соображения экономии — ибо время поджимает — диктуют нам выбрать второй; и мы, стало быть, продолжаем. Орландо пришла к выводу (открыв полдюжины томов), что, как ни странно, в них нет ни одного посвящения знатному вельможе; далее (перерыв огромную кипу мемуаров), что у многих авторов родословное древо куда меньше ее собственного; далее, что крайне неуместно обертывать

[1] Александр Смит (1830—1867) — популярный поэт своего времени, часто пародируемый; Ричард Уотсон Диксон (1833—1900) — лирик, историк церкви; Уильям Блэк (1841—1898) — плодовитый романист; Генри Харт Милман (1791—1868) — автор стихотворных драм и истории евреев; Генри Томас Бокль (1821—1862) — автор «Истории цивилизации в Англии»; Ипполит Тэн (1828—1893) — французский философ, историк и критик; Джон Говард Пейн (1791—1852) — американец, автор популярных песен, или Джеймс Пейн (1830—1898) — автор многочисленных романов; Анна Джеймсон (1794—1860) — плодовитая эссеистка, писавшая о женских проблемах, а также литературный критик.

сахарные щипцы стофунтовой бумажкой, когда мисс Кристина Россетти [1] к вам приходит пить чай; далее (было тут множество приглашений на обеды по случаю столетних юбилеев), что литература, съев все эти обеды, не может не стать корпулентной; далее (ее приглашали на множество лекций о влиянии того-то на то-то; о возрождении классики; о восхождении романтизма и о других столь же увлекательных предметах), что, наслушавшись всех этих лекций, литература не может не стать скучной; далее (она приняла участие в приеме, даваемом одной знатной дамой), что, облаченная в такие меха, литература не может не быть респектабельной; далее (она посетила звуконепроницаемый кабинет Карлейля в Челси), что гений, нуждающийся в таких ухищрениях, не может не быть исключительно тонким; и, наконец, она пришла к самому важному выводу, но мы и так уже давно вышли за рамки отпущенных нам шести строк и потому здесь его опустим.

Придя к этому выводу, Орландо еще долго стояла и глядела в окно. Ведь когда приходишь к какому-то важному выводу — это как будто ты закинул за сетку мяч и ждешь, когда тебе его перебросят обратно. Интересно, гадала она, что ей такое теперь пошлет бледное небо над домом лорда Честерфилда? Так она долго стояла, гадая, ломая пальцы. И вдруг она вздрогнула — и тут бы нам очень не помешало, чтобы Чистота, Невинность и Скромность, как в предыдущем случае, распахнули дверь и дали нам хоть дух перевести и хорошенько сообразить, как бы это поделикатней исполнить свой долг биографа и поднести читателю то, что придется ведь поднести. Ан не тут-то было! Бросив тогда на голую Орландо белые покровы и промахнувшись, эти дамы на многие годы оставили о ней всякое попечение и теперь, конечно, были заняты кем-то другим. Но неужто же так ничего и не произойдет линялым мартовским утром, что смягчило бы, умерило, скрыло, занавесило, окутало явственное и, что ни говори, неоспоримое обстоятельство? Итак, Орландо ужасно вздрогнула...— ой, слава Богу, в эту самую секунду за окном раздалось ломкое, тоненькое, нежное и разъемистое, старомодное дребезжанье шарманки, какое и поныне еще производят итальянские музыканты по задворкам. Сочтем же это скромное вмешательство музыкой сфер, и пусть она, стеная и задыхаясь, наполняет звуками эту страницу, пока не настанет миг, который — отрицать невозможно — уже настает; дворецкий заметил; заметила горничная; читатель тоже скоро заметит; сама Орландо больше не может закрывать на это глаза,— пусть шарманка звучит и, как лодочка, качающаяся под музыку на волнах, пусть уносит нас мысль — средство передвижения из всех самое несущественное и зыбкое,— пусть уносит нас через крыши, через задние дворики, где сушится на веревках белье, дальше, дальше — куда? Узнаете? Эту зелень и звонницу, сонных львов, с двух сторон стерегущих ворота? Да-да! Королевский сад! Сюда-то нам и надо! И раз уж мы оказались в Королевском саду, я покажу вам сегодня (второго марта) гиацинты и крокусы под сливовым деревом и на миндальном дереве почки; потому что гулять здесь — значит думать о луковках, волосатых и красных, брошенных в землю осенью и взошедших сейчас; и мечтать о том...— да разве об этом расскажешь,— и, вынув сигарету и даже сигару, расстеливши мантилью (чего не пожалеешь для рифмы?) под ильмом, поджидать зимородка; говорят, как-то вечером видели: он летал от берега к берегу.

Погодите! Зимородок сейчас прилетит; зимородок не прилетает.

А пока поглядим на фабричные трубы; на дым; на конторщиков, проносящихся мимо в шлюпке. Поглядим, как старая дама прогуливает собачку; а горничная надела новую шляпку, кажется, чуть-чуть чересчур набекрень. Видите, видите? Небо милостиво распорядилось, чтоб тайны сердец все были сокрыты; вот нас вечно и тянет подозревать что-то, чего, наверное, вовсе и нет; тем не менее сквозь наш сигаретный дымок мы воочию видим исполненье желаний, собственных желаний — о шлюпке, о шляпке, о мышке в канавке,— и на них откликаемся радостью, вспышкой, как — до чего же нелепо прыгает и качается мысль на волнах под звуки

[1] Кристина Россетти (1830—1894) — знаменитая поэтесса (о которой Вирджиния Вулф написала эссе «Я — Кристина Россетти»).

шарманки,— как та давняя вспышка костра в полях под Константинополем.

Да здравствуют естественные желания! Да здравствует счастье! Божественное, милое счастье! И всякие-всякие радости, цветы и вино, хоть первые вянут и отравляет второе; и проезд за полкроны по воскресеньям из Лондона; и бормотанье псалмов о смерти в темной часовне; все-все, что нарушает, и пресекает, и перечеркивает к чертям стрекот конторских машинок, сортировку депеш, кованье союзов, и уз, и цепей, удерживающих от развала империю. Да здравствуют даже красные дуги губ продавщицы (будто походя, поболтавши пальчик в красных чернилах, мазнул свой грубый знак Купидон). Да здравствует счастье! Зимородок, летающий от берега к берегу, исполненье желаний, всех естественных желаний, и пусть уж их определяет, как хочет, мужчина-романист; молитва; и отреченье; да здравствует все! Да, так в чем оно — счастье? В исполненье мечты? Темны воды этой реки; скучнее, обычней наш жребий; уютно, и гладко, и бодро катят воды под сенью ив; и зеленая тень потопляет лазурь крыла исчезающей птицы, летящей от берега к берегу.

Так да здравствует счастье, и долой пустые мечты, мутящие отчетливую картину, как туманят лицо потускневшие зеркала в захудалой гостинице; мечты, дробящие целое и рвущие сердце на части — ночью, когда надо спать; спать, спать, спать; так крепко, чтобы все образы перемалывались в тончайшую, нежную пыль, погружались в глубокую, непроглядную воду, и там, туго спеленутой мумией, мотыльком, мы лежим на песке, в глубоких глубинах сна.

Но что это? Что? Сегодня мы не отправимся в ту слепую страну. Синий, как вспышка спички в самом центре глазного яблока, он летит, он горит, он взламывает печать сна; зимородок; и опять, как в прилив, накатывают красные, густые воды жизни; вскипают и пенятся, и мы поднимаемся, смотрим в упор, и наш взор (что бы делали мы без рифмы на этом крутом перевале от смерти к жизни?) падает на... (но стоп, звуки шарманки вдруг смолкли).

— Чудесный мальчик, миледи,— сказала миссис Бантинг, повитуха. Иными словами, Орландо благополучно разрешилась мальчиком, в четверг, двадцатого марта, в три часа утра.

И опять Орландо стоит у окна, но мужайся, читатель,— ничего такого не случится сегодня; и сегодня совсем другой, отнюдь не тот же самый день. Нет — сто́ит нам посмотреть в окно, как Орландо сейчас смотрит,— и мы увидим на Парк-лейн удивительные перемены. Можно пять минут простоять, вот как сейчас Орландо, и не увидеть ни единого ландо. «Смотрите!» — крикнула она несколько дней спустя, когда нелепая, усеченная какая-то карета без единой лошадки вдруг рванула с места сама по себе. Карета без лошади, о, Господи! Тут Орландо как раз позвали, но потом она вернулась и опять выглянула в окно. Какая-то чудная стала теперь погода. Даже небо, как ни крути, и то изменилось. Уже не висит сырое, набухшее, призматическое, с тех пор, как король Эдуард — вот он, кстати, выходит из прелестного экипажа, идет через улицу навестить известную даму — сменил на троне королеву Викторию. Тучи сжались до тоненькой дымки; небо как выковано из металла, в жару словно окисляющегося ярью и рыжеющего в тумане, как медь. Как-то неприятно наводит тревогу это сжатие, эта усушка. Сжалось, сократилось буквально все. Вчера, проезжая мимо Букингемского дворца, она ни следа не обнаружила того, что, казалось ей, было сооружено на века; цилиндры, вдовьи вуали, трубы, телескопы, венки — все исчезло, даже мокрого места не осталось. Но сейчас — опять после перерыва она вернулась к своему наблюдательному пункту у окна,— сейчас, вечером, еще больше бросались в глаза перемены. Этот свет, например, в окнах! Только пальцем шевельнуть — и вся комната озаряется; озаряются сотни комнат; и решительно их не отличить одну от другой. Все-все видно в квадратных ящичках; никакой не осталось укромности; ничего не осталось; ни тех медлящих теней; тех скрытных углов; тех женщин в фартуках, осторожно

ставивших на столы зыблющиеся лампы. Пальцем шевельнуть — и сияет комната. И все небо сияет ночь напролет; тротуары сияют; все сияет. В полдень она снова вернулась на свое излюбленное место. Какие стали женщины в последнее время узенькие! Просто тростинки — прямые, сияющие, одинаковые. А мужские лица теперь голые, как ладонь. От сухости атмосферы четче выступили краски, и мышцы щек затвердели, что ли. Трудней стало плакать. Люди повеселели. Вода нагревается в две секунды. Плющ завял, или его соскребли со стен. Хуже стали расти овощи. Меньше сделались семьи. Занавеси и покрывала свернули, оголили стены, так что только сверкающие изображения реальных вещей — улиц, зонтиков, яблок — развешаны в рамках или запечатлены на дереве. Что-то в эпохе появилось определенное, четкое, что ей напоминало восемнадцатый век, если б не эта рассеянность, это томление; и не успела она так подумать, как длинный туннель, по которому она шла сотни лет, вдруг расширился; хлынул свет; ее мысли таинственным образом укрепились, сосредоточились, будто ловкий настройщик всадил в нее ключик и натянул до отказа нервы; у нее обострился слух, она слышала шелест и шорох в дальних углах комнаты, и часы на камине уже не тикали, а как молотом били. Еще несколько секунд свет делался ярче и ярче, она видела все отчетливей; часы тикали громче и громче, и вот — бух! — в ушах ее грянул взрыв. Орландо содрогнулась, будто ее наотмашь огрели по голове. Ее огрели десять раз. И правда — было десять часов. Одиннадцатого октября 1928 года. Теперешний миг.

И стоит ли удивляться, если Орландо вздрогнула, прижала руку к сердцу и побледнела. Что может быть ужасней открытия, что сейчас — теперешний миг? И пережить такое открытие мы можем благодаря тому исключительно, что прошлое нас заслоняет с одной стороны и будущее с другой. Но сейчас нам некогда рассуждать. Орландо и так дико опоздала. Она сбежала вниз, бросилась в машину, нажала на стартер и поехала. Крепкие голубые постройки тянулись вверх; рыжие кудри дымков разбросались по небу; как серебряная шляпка гвоздя, сверкала дорога; белый скульптурный профиль шофера омнибуса нависал над Орландо; взгляд Орландо скользил по птичьим клеткам, и губкам, и ящичкам, обитым зеленым сукном. Но она ни на секунду не допускала все это в себя, по узенькой планке пересекая теперешний миг и боясь свалиться в кипящие волны. «Куда? Неужели нельзя посмотреть, куда идешь? Хоть бы руку подняли»,— вот и все, что она выпаливала, не задумываясь. Улицы были ужасно запружены. Люди переходили на другую сторону, совершенно не глядя. Гудели и жужжали за смотровым стеклом, промахивали мимо красными и желтыми промельками — ну пчелы и пчелы,— подумала Орландо, но мысль эта, насчет пчел, тотчас пресеклась; снова краем глаза поймав перспективу, она увидела, что это человеческие существа. «Неужели нельзя посмотреть, куда идешь?» — огрызнулась она.

Наконец она притормозила у «Маршалла и Снелгрова» и вошла в магазин, осеняемая тенями и запахами. Струей обжигающей влаги спадал с нее теперешний миг. Как под легким дыханьем зефира, колыхались огни. Она вытащила из сумочки список и стала читать странно сдавленным голосом, будто вертя слова — детские ботинки, соли для ванны, сардины — под многоцветной струей. И смотрела, как они меняются от освещенья. Ботинки и соли притупились, облезли; сардины зазубрились, как пила. Так и стояла она в первом этаже магазина господ Маршалла и Снелгрова; смотрела туда-сюда; принюхивалась к одному запаху, к другому, и на это ушло у нее несколько секунд. Потом она вошла в лифт; просто были открыты дверцы — вот и вошла; и была плавно, гладко отправлена вверх. Жизнь теперь — просто чудо какое-то,— думала она, возносясь. Мы в восемнадцатом веке знали, что́ из чего сделано; а тут — пожалуйста — я поднимаюсь по воздуху; я слышу голоса из Америки; вижу, как люди летают — но как это сделано, я даже отдаленно не постигаю. И возвращается моя вера в колдовство. Тут лифт, чуть подпрыгнув, остановился на втором этаже; и в глаза ей метнулось несчетное множество каких-то штучек,

волнующихся в порывах воздуха, издающих странные запахи; и каждый раз, когда при остановке распахивались двери лифта, открывался какой-то новый срез мира и тянул за собою ему одному присущие запахи. Ей вспомнился Уоппинг елизаветинских времен, корабли с сокровищами, купецкие корабли, вставшие там на якорь. Как они странно, как пряно пахли! Как живо помнилась ей шероховатость рубинов, пропускаемых сквозь пальцы в драгоценных мешках! И как они лежали со Сьюки — или как там ее звали? И фонарь лорда Камберленда им ударил в лицо! Теперь у этих Камберлендов дом на Портленд-плейс, на днях она у них обедала и поддразнивала старика по поводу богаделен на Шин-роуд. Он подмигивал. Но лифт дальше не шел, и ей оставалось выйти — о, Господи! — в неизвестно как там у них называемый отдел. Она остановилась — справиться со списком, но, ей-богу, нигде, абсолютно нигде не было ничего похожего на соли для ванны и детские ботинки, списком рекомендованные. И она собралась уже снова спускаться, ничего не купив, но избежала этого отчаянного шага, вдруг автоматически выпалив вслух заключительный пункт списка, каковым оказались «двуспальные простыни».

— Двуспальные простыни,— сказала она человеку за прилавком и, волею Провидения, именно за этим прилавком продавались эти самые простыни. А Гримздитч, нет, Гримздитч умерла; Бартоломью, нет, Бартоломью умерла; ну да, Луиза — Луиза на днях к ней явилась в ужасном смятении, потому что обнаружила дырку на простыне в ногах королевской постели. Многие короли и королевы там леживали. Елизавета; Яков; Карл; Георг; Виктория; Эдуард; не диво, что простыня прохудилась. Но Луиза решительно не сомневалась в том, кто продырявил простыню. Принц-консорт.

— Грязный бош! — сказала она (мы опять воюем; на сей раз с Германией).

— Двуспальные простыни,— повторила в задумчивости Орландо; для двуспальной постели с серебряным покрывалом, в комнате, обставленной во вкусе, теперь казавшемся ей, пожалуй, чуть-чуть вульгарным — все серебряное; но она ее обставляла, когда обожала этот металл. Пока человек ходил за простынями для двуспальной постели, она вытащила зеркальце и пуховку. Женщины сейчас куда непринужденней, думала она, не очень внимательно пудрясь, чем были, когда она только что стала женщиной и лежала на палубе «Влюбленной леди». Она обдуманно придавала нужный оттенок носу. Щек она не пудрила никогда. Нет, честное слово, хоть ей сейчас тридцать шесть, она с виду не сделалась ни на день старше. Все такая же сердитая, красивая, розовая (елочка, увешанная миллионом свечек, говорила Саша), как тогда, в тот день на льду, когда замерзла Темза и они бегали на коньках...

— Лучшее ирландское полотно, мэм,— сказал приказчик, раскладывая простыни на прилавке.

...они еще видели тогда ту старуху, она собирала хворост. И, пока Орландо рассеянно щупала полотно, вращающаяся дверь вытолкнула из другого отдела — кажется, галантерейных товаров? — запах духов, запах воска, отдающий розовой свечкой, и этот запах раковиной охватывал фигуру — мальчика? девушки? — в мехах, в русских шальварах — юной, гибкой, обворожительной девушки — о, Господи! Но коварной изменщицы!

— Изменщица! — крикнула Орландо (приказчик ушел), и весь магазин закачался на желтых волнах, и она различала вдали мачты русского корабля, входящего в открытое море, и тут чудом (дверь, вероятно, опять завертелась) образованная тем розовым запахом раковина превратилась в помост, в подиум, и с него шагнула толстуха в мехах, удивительно сохранившаяся, обворожительная, в диадеме,— любовница Великого Князя; та, что, склоняясь над Волгой, жуя бутерброд, смотрела, как тонут люди; и двинулась через весь магазин на Орландо.

— О Саша! — крикнула Орландо. В общем-то она ужаснулась тому, что с нею сталось; так растолстеть; и какая-то сонная; и Орландо склонилась над полотном, чтоб виденье седой женщины в мехах, виденье девушки

в русских шальварах, вместе со всеми этими запахами розовых свечек, белых роз и русских матросов, прошло незамеченное у нее за спиной.

— Не желаете ли полотенец, салфеточек,— наседал человек за прилавком. И благодаря исключительно достоинствам списка, с которым Орландо еще раз справилась, сумела она с совершенным самообладанием ответить, что нет, ей нужна теперь одна-единственная вещь на свете, а именно соль для ванн, продающаяся в другом отделе.

Но снова спускаясь в лифте — память ужасно капризная штука,— Орландо опять ушла от теперешнего мига далеко-далеко в глубины времени; и когда лифт, содрогнувшись, остановился внизу, она услышала, как брякнулся о берег кувшин. Что же касается нужного ей — уж неизвестно какого там отдела,— она стояла растерянно посреди сумочек, не слыша рекомендаций всех этих вышколенных, напомаженных, черных, стройных приказчиков, конечно, поднявшихся из тех же глубин, но ловко прикрывшихся теперешним мигом и прикинувшихся приказчиками Маршалла и Снелгрова — и только. Орландо стояла растерянно. Сквозь широкие стеклянные двери она видела Оксфорд-стрит. Омнибусы громоздились на омнибусы и шарахались в разные стороны. Так налезали тогда одна на другую ледяные глыбы на Темзе. Одну оседлал старик вельможа в отороченных мехом туфлях. И пошел ко дну, проклиная ирландских мятежников. В точности на том месте утонул, где стоит ее автомобиль.

— Время меня обошло,— думала она, стараясь прийти в себя,— сейчас заря средневековья. Как странно! Все то, да не то! Беру в руки сумочку, а думаю о вмерзшей в лед старой торговке. Кто-то зажигает розовую свечку, а мне мерещится девочка в русских шальварах. Выхожу за дверь — вот как сейчас (она вышла на тротуар Оксфорд-стрит) — и чувствую под ногой траву. Слышу козьи бубенцы. Вижу горы. Турция? Индия? Персия?

Глаза ее наполнились слезами.

Наблюдая, как она садится в машину — а в глазах стоят слезы и виденье персидских гор,— читатель, возможно, сочтет, что она слегка перегнула палку и чересчур далеко ушла от теперешнего мига. В самом деле, нельзя отрицать, что особенно поднаторевшие в искусстве жизни люди (обычно, кстати, никому не известные) ухитряются как-то синхронизировать шестьдесят или семьдесят разных времен, и все это вместе тикает в заурядном человеческом организме, и когда отбивает, скажем, одиннадцать, все прочее бьет в унисон; настоящий миг не огорошивает открытием, но отнюдь и не тонет в глубинах прошлого. Об этих людях мы по всей справедливости заключим, что они прожили ровно шестьдесят восемь или семьдесят два года в точном согласии с показаниями надгробного камня. Ну, а относительно некоторых других, кое про кого мы знаем, что они умерли, хоть они ходят среди нас; кое-кто еще не родился, хоть они меняются, взрослеют, стареют; кое-кому за сто лет, хоть они выглядят на тридцать шесть. Истинная же долгота человеческой жизни, что бы ни утверждал по этому поводу «Словарь национальных биографий» [1], всегда вопрос исключительно спорный. Да, трудная это штука — сообразоваться со временем; ощущение времени нарушается тотчас от соприкосновения с любым искусством; и не иначе как из-за своей страсти к поэзии забыла Орландо про свой список и отправилась домой без детских ботинок, без солей для ванн. И когда она взялась за дверцу автомобиля, настоящее опять ее огрело по голове. Огрело одиннадцать раз.

— Ах, к черту, все к черту! — крикнула она, потому что бой часов — вещь невыносимая для нервной системы, решительно невыносимая, и дальше мы покамест ничего не можем сообщить об Орландо, кроме того, что она хмурилась, прелестно переключала скорости и снова кричала: «Смотреть надо, куда идешь!», «Жизнь, что ли, надоела?», покуда автомобиль скользил, летел, нырял, сворачивал — она была прекрасный водитель — по Риджент-стрит, Хеймаркету, по Нортумберленд авеню, через Вестминстерский мост, налево, прямо, направо и снова прямо...

[1] Этот словарь издавал с 1882 г. отец Вирджинии Вулф, сэр Лесли Стивен.

На старой Кент-роуд в четверг одиннадцатого октября 1928 года было большое движение. Люди запрудили тротуары. Женщины тащили сумки. Бегали дети. В суконных лавках была распродажа. Улицы расширялись, сужались. Сбегались, разбегались пролеты. Вот рынок. Вот похороны. Вот процессия со знаменами, на которых написано аршинными буквами «Про... Соед» — а дальше-то что? Мясо ужасно красное. В дверях мясники. У женщин каблуки совсем сбиты. «Вино люб...» — над витриной. Из окошка выглядывает женщина, очень тихая, очень задумчивая. «Похор... принадл». Ничего не увидишь, не поймешь, не прочтешь до конца. То, что начнется — идут, например, навстречу друг другу через улицу двое,— не кончится никогда. Через двадцать минут такой гонки на автомобиле из Лондона дух и тело делаются как обрывки бумаги, трухой высыпающиеся из мешка, состояние это напоминает предобморочное, предсмертное даже, и вопрос о том, можно ли сказать об Орландо, что она существует в настоящее время, в теперешний миг, в известном смысле остается открытым. Нам пришлось бы, пожалуй, определить ее как окончательно распавшуюся личность, если бы вдруг направо не натянулся зеленый экран, на который бумажные клочья стали сыпаться более медленно; а потом налево натянулся другой, и уже различались отдельные хлопья, кружащие в воздухе; и вот справа и слева, с обеих сторон, ровно, ненарушимо тянулось зеленое поле, и к Орландо вернулась способность видеть и различать реальные вещи, и она увидела домик, и двор, и четырех коров — и все это в натуральную величину.

Едва это произошло, Орландо испустила глубокий вздох облегчения, зажгла сигарету и молча дымила несколько секунд. Потом позвала — неуверенно, как бы сомневаясь, что тот, кто ей нужен, окажется здесь: «Орландо?» Ведь если в нашем мозгу тикает одновременно (по грубым подсчетам) семьдесят шесть разных времен, то сколько людей — даже подумать страшно — умещается и уживается одновременно, или не одновременно, в нашем мозгу? Иные утверждают, что две тысячи пятьдесят два. Так что нет абсолютно ничего удивительного, если человек, оставшись один, говорит: «Орландо?» (если это его имя), притом имея в виду — приди, ради Христа, мне сейчас до смерти надоело это именно мое «я». Хочу другое. Откуда и поразительные перемены, которые мы наблюдаем в наших друзьях. Однако не все, конечно, так-то уж просто, потому что, хотя каждый может позвать, предположим, как сейчас вот Орландо (выехавшая за город и пожелавшая, вероятно, увидеть на своем месте другое какое-то «я»), «Орландо?» — отсюда еще вовсе не следует, что эта Орландо явилась. Ведь у наших «я», нагроможденных одно на другое, как тарелки в руках у буфетчика, есть где-то свои дела, свои склонности, собственные свои конституции и права или как там вы их назовете (а у многих таких вещей вообще никакого названия нет), и одно является только во время дождя, другое только в комнате с зелеными шторами, третье только в отсутствие миссис Джонс, четвертое — если ему посулить стаканчик винца, и так далее, и тому подобное; каждый, основываясь на собственном опыте, может продолжить список условий, которые ставят ему его разные «я», и многие из них так нелепы и смехотворны, что их даже совестно вставить в книжку.

Итак, Орландо на повороте к сараю позвала: «Орландо?» — вопросительным тоном и стала ждать. Орландо не явилась.

— Ну, ладно,— сказала Орландо с бодростью, какую мы на себя напускаем в подобных случаях; и попробовала еще раз. Ведь у нее было великое множество разных «я», гораздо больше, чем нам удалось отразить, ибо биография считается завершенной, когда отражено шесть-семь «я», тогда как их бывает у человека гораздо больше тысячи. И — выбирая лишь те из этих «я», для которых у нас нашлось место,— Орландо, может быть, звала сейчас того мальчика, который срезал голову негра; того мальчика, который ее снова привязывал; мальчика, который лежал на горе; который видел поэта; протягивал чашу розовой воды королеве; или, может быть, она звала того юношу, который влюбился в Сашу; или придворного; посла;

воина, путешественника; или, может быть, она звала сейчас женщину; цыганку; знатную даму; отшельницу; девушку, влюбленную в жизнь; покровительницу литературы; женщину, звавшую Мара (разумея горячие ванны и вечерние свечи), или Шелмердина (разумея крокусы в осенних лесах), или Бонтропа (разумея смерть, которой ежедневно мы умираем), или она звала всех троих сразу, разумея столько разных вещей, что мы для них здесь не располагаем достаточным местом — и все эти «я» были разные, и неизвестно, какое из них она сейчас звала.

Возможно; но, кажется, определенно одно (здесь мы попадаем в область «возможно» и «кажется») — то́ «я», которое ей больше всех было нужно, от нее держалось подальше, потому что она, как ее послушать, меняла свое «я» со скоростью своей же езды — новое на каждом повороте,— как бывает, когда по каким-то неопределимым причинам сознательное «я», в данную минуту одержавшее верх и получившее право желать, хочет быть только собою — и все тут. Многие́ называют его «истинным я», и оно якобы вбирает в себя все «я», из которых мы состоим; «ключевым я», которое подчиняет себе все остальные. Орландо, конечно, искала это «я», как читатель может судить по тому, что́ она говорила, ведя машину (пусть она порола несвязные, скучные, пошлые тривиальности, молола порой невнятицу, но читатель сам виноват: нечего подслушивать, как рассуждает дама сама с собой; наше дело сторона, мы только передаем слова, в скобках прибавляем, какое «я» высказывается в данном случае, причем, естественно, мы можем и ошибаться).

— Ну и что же? Ну и кто же? — говорила она.— Тридцати шести лет. В авто. Женщина. Но ведь еще миллионы разных вещей. Сноб? Орден Подвязки в кабинете? Леопарды? Предки? Кичусь? Да! Азартна, люблю роскошь, стервозна? Да? (Тут явилось новое «я».) Ну и пусть. Честная? По-моему, да. Щедрая? Подумаешь, эка важность. (Тут явилось новое «я».) По утрам валяться в постели на тончайших простынях, слушать голубей; серебряная посуда; вино; горничные; лакеи. Неженка? Очень возможно. (Тут явилось новое «я».) Слишком много лишнего. Мои книги. (Тут были перечислены пятьдесят классических названий, прикрывавших, мы полагаем, ранние романтические труды, которые она порвала.) Покладистая, общительная, романтичная. Но... (Тут явилось новое «я».) тупица. И дура. Более нелепой дурищи представить себе не могу. И... и... (она долго подыскивала нужное слово, и если мы подскажем «любовь», мы, возможно, ляпнем что-то совсем некстати, но — она безусловно покраснела и расхохоталась) и жаба, усеянная изумрудами! Эрцгерцог Гарри! Навозные мухи на потолке! (Тут явилось другое «я».) А как же Нелл? Китти? Саша? (Она пригорюнилась, на глаза навернулись слезы, а ведь она давно отстала от этой привычки — плакать.) Деревья,— сказала она. (Она проезжала мимо кучки деревьев. Высунулось новое «я».) Люблю деревья. И эти деревья, они стоят тут тысячи лет. И амбары (она миновала покосившийся амбар на обочине). И овчарок (овчарка выскочила на дорогу, она ее аккуратно объехала). И ночь. А людей... (Тут явилось новое «я».) Людей? (Уже вопросительно). Не знаю. Вредные, злые, вруны. (Она свернула в главную улицу своего родного города, сильно запруженную по причине базарного дня фермерами, пастухами, старухами с курицами в корзинках.) Люблю крестьян. Кое-что смыслю в сельском хозяйстве. Но... (Тут еще новое «я» пробилось к вершине сознания, как луч маяка.) Слава? (Она засмеялась.) Люблю ли я славу? Семь изданий. Премия. Фотографии в вечерних газетах. (Она имела в виду «Дуб» и мемориальную премию баронессы Бердетт-Кутс, которую ей пожаловали, и тут мы улучим момент и заметим, как обидно биографу, что такая важнейшая вещь, объявление, которому быть бы венцом, заключением книги, делается этак вскользь, походя, да еще с хохотком, но, честно сказать, когда пишешь о женщине, а не о мужчине, все получается вкривь и вкось, все торжественные места; ударения падают совсем не на то.) Слава, слава,— повторила она.— Поэт — он же шарлатан;

[1] Баронесса Анджела Джорджина Бердетт-Кутс (1814—1906) — миллионерша-благотворительница.

они, что ни утро,— сливаются; с регулярностью почты. Обеды, встречи; встречи, обеды; эх, слава! (Тут ей пришлось притормозить, пробираясь сквозь толпу. Ее никто не замечал. Дельфин в рыбной лавке и тот привлекал больше внимания, чем дама, которая получила литературную премию и могла, если бы захотела, нацепить на себя сразу три короны, одна на другую.)

Она ехала очень медленно и, как старинную песенку, напевала: «На мои гинеи куплю я деревья в цвету, деревья в цвету, в цвету и буду под ними гулять и своим сыновьям объяснять, что такое слава». Так она напевала, пока слова не стали провисать (появилось новое «я»), как дикарская снизка тяжелых бусин. «Под деревьями буду гулять,— пела она, теперь уже выделяя каждое слово,— и смотреть, как восходит луна, восходит, восходит, и тележки все едут и едут...» — тут она вдруг умолкла и пристально уставилась на капот собственной машины в глубочайшей задумчивости.

— Он сидел за столом у Туитчетт,— думала она,— в грязном жабо... То ли это старый мистер Бейкер пришел замерять бревна? То ли Ш — сп — р? (Ведь когда мы про себя выговариваем драгоценное имя, мы никогда не произносим его полностью.) Десять минут целых смотрела она прямо перед собой и чуть не остановила машину.

— Одержимая! — крикнула она, вдруг нажимая на акселератор.— Одержимая! С самого раннего детства. Вот летел дикий гусь. Мимо летел. К морю. И я прыгала и тянула к нему руки. Но гуси слишком быстро летают. Я видела... там, там, там. В Англии, Италии, Персии... Всегда они слишком быстро летают. И всегда я закидываю им вслед слова, как невод (она выбросила вперед руки), и он падает, пустой, как падал на палубу невод, пустой, я видела, только с одними водорослями. Часто, правда, что-то блестит — серебро, шесть слов — под водорослями в темноте. Но никогда не попадется в него крупная рыба, живущая в коралловых гротах.

Она уронила голову в глубокой задумчивости.

И как раз в эту секунду, когда она уже перестала звать «Орландо» и задумалась совсем о другом, Орландо, которую она так долго звала, пришла по собственной доброй воле, взяла и явилась; что с очевидностью доказывали перемены, происшедшие с нею, когда она въезжала через ворота в парк.

Все в ней стемнело и стихло: так одна какая-нибудь загогулина завершает орнамент, и плоскость обретает глубины, близкое становится дальним; и все замыкается, как вода в стенках колодца. Так и она стемнела теперь и стихла, сделавшись с прибавлением этой Орландо тем, что — верно ли, нет ли — называют единственным «я», истинным «я». Вот она и замолчала. Вероятно, когда человек сам с собой говорит вслух, все его «я» (а их у каждого больше двух тысяч) чувствуют свою расчлененность и стремятся воссоединиться; но когда воссоединенье достигнуто — тут уж больше не о чем говорить.

Быстро, мастерски она одолела поворот между дубами и вязами по дерну парка, по его медленной тихой пологости, такой тихой, текучей, что будь, скажем, вместо дерна вода, она нежной зеленой волной затопляла бы берег. Торжественными группками, так, как их высадили, стояли дубы и буки. Меж ними ступали олени, один был белый, как снег, другой склонил голову на бок, потому что в рогах у него застряла какая-то проволока. Все это — деревья, оленей, дерн — она разглядывала с таким удовлетворением, будто душа ее стала жидкостью, которая все омывала, над всем смыкалась. Еще минута, и она въехала во двор, куда не одну сотню лет она являлась верхом или в карете цугом, предшествуемая или сопровождаемая свитой, и склонялись плюмажи, качались факелы, и те же, теперь роняющие листву, осыпали свой цвет деревья. Сейчас она была одна. Опадали осенние листья. Привратник отворил тяжелые ворота. «Привет, Джеймс,— сказала она.— Там у меня кое-что в машине. Вы внесете?» — слова, сами по себе лишенные веса, выразительности, увлекательности и, согласимся, особой прелести, но сейчас они так утучнились смыслом, что упали, как переспелые орехи с ветки, тем самым доказывая, что стóит начинить скукоженную

шкурку повседневности побочным значением, и она приобретает способность удивительно действовать на наши чувства. То же сейчас относилось и ко всем движеньям, всем поступкам Орландо, как ни были они обыденны; и смотреть, как она сбросила юбку и облачилась в холщовые брюки и кожаную куртку — все это за три минуты,— было не меньшим наслаждением, чем наблюдать, как мадам Лопухова [1] демонстрирует вершины своего мастерства. Потом широким шагом она направилась в столовую, где старые друзья — Драйден, Поп, Свифт, Аддисон — сперва ее как бы разглядывали с подозрением — вот, мол, явилась лауреатша,— но и, смекнув, что речь идет о двухстах гинеях, одобрительно закивали. Двести гиней, казалось, говорили они; двести гиней — это вам не комар начхал. Она отхватила ломоть хлеба, отрезала ветчины, плюхнула одно на другое и принялась жевать на ходу, разом покончив со своими светскими манерами. Сделав пять-шесть кругов, она опрокинула стаканчик красного испанского вина, налила другой и, зажав его в руке, зашагала по длинному коридору через десяток гостиных, начав, таким образом, свой обход дома в сопровожденье тех борзых и спаниелей, которые пожелали за нею следовать.

Все это входило в ритуал. Как она не могла бы, придя домой, не поцеловать собственную бабушку, так не могла она не поздороваться со своим домом. С ее появлением комнаты веселели; встрепенувшись, открывали глаза, будто в ее отсутствие скучно дремали. И хоть она их видела сотни и тысячи раз, они никогда не повторялись: за долгие годы в них скопилась тьма всяких настроений, вот они и менялись зимою и летом, в вёдро и в дождь, в зависимости от ее неудач и удач, от характеров ее гостей. Чужих они всегда встречали учтиво, разве чуть-чуть устало. С нею им всегда весело. А как же иначе? Знакомы вот уже почти четыреста лет. И нечего друг от друга скрывать. Она все-все про них знает, все радости и печали. Знает возраст каждой комнаты, ее маленькие секреты — дверцу, полочку, шкафчик, недочет какой-нибудь, скажем, что-то меняли, чинили, достраивали. Они ее тоже знают во всех ипостасях. Она от них ничего никогда не скрывала. Являлась к ним мальчиком; мужчиной; в радости и слезах. Здесь, на этом подоконнике, были написаны первые строки; в этой часовне ее венчали. Здесь и похоронят, думала она, забравшись с коленками на подоконник в длинной галерее и потягивая испанское вино. Ужасно трудно себе представить, но ведь такой же точно желтой зыбью прольется на пол с витража геральдический леопард в тот день, когда ее тело положат в склепе меж предков. Она, ни на йоту не верящая ни в какое бессмертие, чувствует все равно, что душа ее будет вечно бродить вот по этим красным панелям, по этим зеленым диванам. А комната — она забрела в опочивальню посла — сияла, как раковина, века пролежавшая на дне морском и в миллионы разных цветов выкрашенная водою; розовая и желтая, зеленая и песочная. Хрупкая, как раковина, она была и — пустая. Никакой посол больше не придет сюда спать. Ах, но она же знает, где все еще бьется сердце дома. Тихо отворив дверь, затаясь на пороге так, чтобы комната ее не заметила, она смотрела, как колышутся и опадают шпалеры от неугомонного, вечного ветерка. Все скачет и скачет охотник; все убегает Дафна. Все бьется это сердце — слабое, замирающее; хрупкое, неукротимое сердце огромного дома.

И, призвав своих верных собак, она пошла по галерее, выстланной цельными, вдоль распиленными дубами. Мерцая поблекшим бархатом, ряды кресел выстроились вдоль стен, простирая ручки к Елизавете, к Якову, быть может, к Шекспиру и Сесилу — к тем, кто уже не придет. От этого зрелища ей взгрустнулось. Она отцепила их ограждавший канат. Села в кресло королевы; полистала манускрипт на столике у леди Бетти; поворошила пальцем древние розовые лепестки; расчесала серебряными щетками короля Якова свои короткие волосы; попрыгала на его постели (никакой никогда уж не будет здесь спать король, несмотря на все Луизины новые

[1] Лидия Васильевна Лопухова (1892—1981) — русская балерина, с 1918 г. выступавшая в Англии. В 1925 г. вышла замуж за Джона Кейна, друга Вирджинии Вулф.

простыни), прильнула щекой к потускневшему серебряному покрывалу. И везде были эти лавандовые мешочки от моли, и таблички «Прошу не трогать», которые, хоть она сама их писала, на нее глядели с укором. Нет, дом уже не весь в ее власти,— вздыхала она. Он принадлежит времени; истории; вышел из подчиненья живых. Никогда уж не будут здесь проливать вино, думала она (она вошла в комнату, где гостил когда-то старый Ник Грин), прожигать дыры в ковре. Никогда уже двести слуг не побегут, грохоча, по галереям, с грелками, с огромными ветками для огромных каминов. Никогда уж не будут варить эль, лить свечи, обивать седла, обтачивать камень в здешних службах. Молчат молоты и кувалды. Пусты кровати и кресла; кубки из золота и серебра заперты в шкафах. Огромными крыльями бьет тишина в опустелом доме.

И Орландо села в жесткое кресло королевы Елизаветы в конце галереи, и собаки легли вокруг. Галерея тянулась далеко, к тому месту, где почти исчезал свет. Как туннель, вырытый в далекое прошлое. Когда ее взгляд пробился сквозь тьму, она различила людей за веселой беседой; великих людей, каких она знавала; Драйдена, Свифта, Попа; и государственных мужей, заседающих в совете; и любовников, обжимающихся по подоконникам; и жующих и пьющих за длинными столами гостей; и клубящийся над их головами дым, от которого они чихали и кашляли. Еще глубже увидела она блистательных танцоров, изготовившихся для кадрили. Звучала зыбкая, хрупкая, но все равно величавая музыка. Рокотал орган. Гроб выносили из часовни. Из часовни выходила свадьба. Воины в шлемах отправлялись воевать. Приносили из походов знамена Флоддена и Пуатье, вешали по стенам. Так заполнялась длинная галерея, и, вглядываясь глубже и глубже, в самом конце Орландо увидела за елизаветинцами и Тюдорами более старый, и дальний, и темный образ, суровую фигуру в сутане — монаха, и он шел, стиснув руки, с книгой, и бормотал...

Как гром, часы на конюшне пробили четыре удара. Никогда еще никакое землетрясение не сотрясало так целый город. Галерея вместе со всем, что на ней, рассыпалась в прах. Лицо самой Орландо, темное и серьезное, пока она смотрела, озарилось теперь как пороховой вспышкой. В том же свете всё рядом с нею выступило с необычайной отчетливостью. Она увидела двух кружащих мух, отметила их синий отлив; увидела глазок на доске возле своей ноги, подрагиванье собачьих ушей. И еще она слышала — как хрустнул сучок в саду, проблеяла в парке овца, пролетел мимо окон стриж. Все тело у нее дрожало, его жгло, будто она голая стояла на морозе. Однако она сохраняла — вот уж чего не было в Лондоне, когда часы пробили десять,— полное самообладание (видно, сейчас она была единая, цельная и под удары времени подставлялась бóльшая поверхность). Она поднялась неспешно, кликнула собак и пошла — твердой и собранной, но упругой и быстрой походкой вниз по лестнице, в сад. Тени растений выступали со странной отчетливостью. Она различала каждый комочек земли на клумбах, будто в глаз ей вставили микроскоп. Она различала хитросплетение веток на каждом дереве. В каждой былинке, в каждом цветке различала она все лепестки и жилки. Стаббс, садовник, шел по тропе, и она видела каждую пуговку на его гамашах; видела Бетти и Принца, своих упряжных лошадок, и никогда прежде не видела она так отчетливо белую звезду у Бетти на лбу и три длинных отдельных волоса, низко свисавших с хвоста у Принца. Дальше, в квадрате двора, старые серые стены сияли, как на новеньком фотографическом снимке; из громкоговорителя на террасе лилась танцевальная музыка, которую сейчас слушали в алеющей бархатом Венской опере. Собранная, подстегиваемая теперешним мигом, она одновременно испытывала странный страх, будто каждый раз, когда разверзалась пропасть времени и в ней тонула секунда, это было чревато опасностью. Такое сильное напряжение невозможно было долго выносить без муки. Быстрей, чем ей бы хотелось, будто ноги сами несли ее и не слушались, она прошла по саду и вышла в парк. Огромным усилием воли она заставила себя остановиться у плотницкой и замерев смотрела, как Джо

Стаббс ладит колесо. Она не отрывала глаз от его рук, когда пробило четверть. Удар пронесся сквозь нее метеором, горячим, какой не удержишь в пальцах. С тошнотворной отчетливостью она увидела, что на большом пальце правой руки у Джо нет ногтя и вместо него разлито кровянистое блюдечко. Зрелище было такое ужасное, что она ощутила мгновенную дурноту, но в этой мгновенной, зыблющейся, зарешеченной тьме тяжесть настоящего вдруг отпустила. Что-то странное есть в тени собственных дрожащих ресниц, что-то (сами можете убедиться, вот сейчас же глянув на небо), чего нет в настоящем — откуда и вся его трудность, неопределимость,— что-то, что мы не решаемся, насадив на булавку имени, назвать красотой, ведь оно бестелесно, тень не имеет собственных качеств, но обладает властью преображать все, с чем соприкасается. И пока ей было дурно и веки ее трепетали, эта тень ускользнула из плотницкой и, присоединяясь к несчетным образам, какие ловила Орландо, делала из них нечто иное, сносное и умопостижимое. Ну вот, думала Орландо, испустив глубокий вздох облегчения и сворачивая от плотницкой, чтобы идти в гору, ну вот, можно еще начать жизнь сначала. Я возле Серпантина, игрушечная лодочка пробирается сквозь белую арку смерти. Я вот-вот пойму...

Такие слова произносила она, и притом довольно отчетливо, однако, что греха таить, она сейчас оставалась вполне безразлична к тому, что разворачивалось перед ее взором, и легко могла принять овцу за корову, а старика по имени Смит за другого, по имени Джонс, и даже ему не родственника. Ибо тень дурноты, вызванной пальцем без ногтя, сейчас залегла в глубине ее мозга (самом отдаленном от зрения месте), стала прудом, где вещи плавают в темноте, такой глубокой, что мы про них почти ничего не знаем. Она смотрела сейчас в этот пруд или, может быть, море, где отражается все — ведь некоторые вообще утверждают, будто все наши самые буйные страсти, и религия, и поэзия — суть отражения, которые мы видим в темной впадине в глубине головы, когда внешний мир отступает. Вот она и смотрела туда долго-долго, задумчиво, и заросшая стежка, по которой она поднималась в гору, уже стала не стежка, но отчасти и Серпантин; кусты боярышника были отчасти дамы и господа с золотыми набалдашниками и визитными карточками; овцы были отчасти высокими домами Мейфэра; все решительно было отчасти чем-то еще и обретало от этого единения трогательную, странную власть, и от диковинной смеси правды и подтасовки мысль Орландо стала как лес, где блуждало что-то; сменялись тени и свет, и одно становилось другим. И если бы любимый пес Канут, погнав зайца, ей не намекнул таким образом, что дело идет к пятичасовому чаю — на поверку оказалось двадцать три минуты шестого,— она бы совсем забыла о времени.

Заросшая стежка, виляя, взбиралась все выше и выше, к стоящему на вершине дубу. Он вырос, раздался и заматерел с тех пор, как она познакомилась с ним, в году, кажется, 1588-м, но был все еще в самой поре. Некрупные четкие листья густой массой качались на ветках. Бросившись ничком, Орландо почувствовала под собою косточки дерева, как ребра, в разные стороны отходившие от хребта. Ей нравилось, что она скачет на крупе мира. Приятно было приникнуть к чему-то твердому. И когда она вот так бросилась ничком, из нагрудного кармана кожаной куртки выпала переплетенная в красное сукно небольшая книжица — поэма «Дуб». Надо бы лопатку захватить, подумала Орландо. Корни почти обнажились, и затея зарыть здесь книжку ей уже представлялась сомнительной. Да и собаки выроют. Символические церемонии вообще редко удаются, подумала она. И чёрта ль в них! У нее на языке вертелось торжественное слово, заготовленное на случай погребения книжки (экземпляр первого издания, надписанный автором и художником). «Я погребаю книгу,— намеревалась она сказать,— воздавая земле за то, что подарила мне земля». Но Боже и Господи сил! Высказываемое вслух, до чего же по-идиотски это звучало! Ей вспомнился старый Грин, взбиравшийся недавно на подиум, с тем чтоб отождествить ее с Мильтоном (за исключением его слепоты) и вручить ей чек на двести гиней. Она тогда подумала про свой дуб на горе и спрашивала

себя, что он имеет со всем этим общего? Что общего слава и почести имеют с поэзией? Что общего имеют семь изданий (семь, как ни верти!) с ее истинной ценностью? Разве поэзия — не тайная связь, не голос, отвечающий голосу? И вся эта сутолока, лесть и хула, и встречи с теми, кто тебя почитает, с теми, кто тебя не почитает,— что общего во всем этом с сутью: голос отвечает на голос? Что может быть более тайного и медлящего, как соитье влюбленных, чем спотыкающийся ответ, который она годами давала шелестящей песне лесов, и мызам, и вороным, грива к гриве ожидающим у ворот, и кузнице, кухне, полям, так прилежно растящим пшеницу, репу, траву, и садам, расцветающим ирисами и бальзаминами?

И она оставила книгу непогребенной и растрепанной лежать на земле и стала смотреть на окрестный простор, переменчивый, как океанское дно, то озаряемый солнцем, то помрачаемый тенью. Вон деревушка, церковная башня меж вязов; серый купол господской усадьбы; луч, играющий с парниковым стеклом; хутор и золотые стога. Поля, разграниченные темными сходками буков, а за полями темные, долгие протянулись леса, а дальше мерцает река и снова за нею холмы. В дальней дали тучу проткнули белые скалы Сноудона. Она видела дальние горы Шотландии, белый кипень волн, разбивающихся о Гебриды. Она слышала с моря пушечный гром. Нет, не то, это ветер. Нет же войны. Нет больше Дрейка; нет Нельсона. А ведь все это, думала она, переведя взгляд с дали, по которой он бродил, снова на землю внизу, все это было мое, этот замок среди дюн был мой; мои были все эти вересковые пустоши, убегающие к самому морю. И тут пейзаж (возможно, по прихоти угасавшего света) сотрясся, собрался шатром, весь груз домов и лесов стряхнув на сторону. Перед Орландо стояли голые горы Турции. Был сверкающий полдень. Глаза ее упирались в раскаленный склон. Козы ощипывали у ее ног выцветшую траву. Над нею парил орел. Хриплый голос цыгана Рустума скрипел у нее в ушах: «Что твой древний род и богатства в сравненье вот с этим? К чему тебе четыреста спален, и серебряные крышки для каждого блюда, и все твои горничные?»

В ту же секунду где-то в долине ударил церковный колокол. Рухнул шатеровидный пейзаж. Снова ей на голову обрушилось настоящее, но сейчас, в вечереющем небе, оно смягчилось, уже не навязывало своих мелочей и подробностей, предлагая только дымные луга и огни в деревенских домах и бескрайнюю сумрачность леса, и веерный луч, разгоняющий тьму на какой-то далекой дороге. Орландо не знала, сколько пробило — девять, десять, одиннадцать? Настала ночь — ночь из всех частей суток ей самая милая, ночь, когда отражения в темном пруду души сияют нежнее, чем днем. Сейчас уже не было нужды терять сознание, чтоб заглянуть глубоко во тьму, где роятся и нарождаются образы, и видеть в темном пруду то Шекспира, то девочку в русских шальварах, то игрушечную лодочку на Серпантине, а то и сам Атлантический океан, огромной волною обрушивающийся на мыс Горн. Мужний бриг взбирается на вершину волны! Выше, выше! Белая арка смерти встает перед ним. Безрассудный, смешной человек, вечно кружащий — зачем? — в бурю вокруг мыса Горн! Но бриг уже одолел арку, вынырнул с другой стороны. Целый и невредимый!

— Какое счастье! — крикнула она.— Какое счастье!

И тут ветер улегся, стихли воды; она увидела мирную зыбь под луной.

— Мармадьюк Бонтроп Шелмердин! — крикнула она, стоя под дубом.

Дивное, блистающее имя упало с неба сине-стальным пером. Она смотрела, как оно кружит и медлящею стрелой рассекает глубокий воздух. Он придет, как всегда он приходит, в настороженной тишине, когда зыблется рябью вода и листья бесшумно стелются под ноги в осенних лесах; когда леопард застывает; и луна стоит над водой, и ничто в целом свете не шелохнется. Вот когда он приходит.

Все было тихо. Близилась полночь. Луна очень медленно поднялась над просторами. Лунный луч воздвиг над землею призрачный замок. Огромный дом глядел всеми окнами, застланными серебром. Дом был бесстенный, бесплотный. Весь он был призрак. Весь тихий. Весь озарен

в ожидании покойной Королевы. Глянув вниз, Орландо увидела во дворе темное колыханье плюмажей, дрожанье факелов, коленопреклонение теней. Снова выходила из кареты Королева.

— Замок ждет вас, ваше величество,— с глубоким реверансом крикнула Орландо.— Тут ничего не меняли. Покойный хозяин, мой отец, введет вас в дом.

И пока она говорила, упал первый удар полуночи. Остужающее дыхание настоящего мазнуло ее по щеке. В тревоге она глянула на небо. Его обложили тучи. Ветер завыл в ушах. А сквозь вой ветра она различила рокот аэроплана — все ближе, ближе.

— Сюда! Шел! Сюда! — кричала она и подставляла грудь луне (уже вовсю рассиявшейся), и, как яйца огромного лунного паука, блестели ее жемчуга. Аэроплан прорвался сквозь тучи, повис над ее головой. Парил над нею. Жемчуга фосфористо светились во тьме.

И когда Шелмердин, теперь настоящий морской капитан, возмужавший, плечистый, обветренный, спрыгнул наземь, над головой у него взметнулась одинокая дикая птица.

— Это же гусь! — крикнула Орландо.— Дикий гусь...

Упал двенадцатый удар полуночи; двенадцатый удар полуночи, в четверг, одиннадцатого октября тысяча девятьсот двадцать восьмого года.

■

ЭРИК ЛАКС

ВУДИ АЛЛЕН

Главы из книги

Перевод с английского А. КАЗАНСКОЙ

От автора

Когда я в первый раз брал у Вуди Аллена интервью для предполагаемой статьи в «Нью-Йорк таймс мэгэзин», его самым коротким ответом было «да», что было бы не так уж и плохо, если бы самым длинным из ответов не было бы «нет». С тех пор он стал гораздо чаще идти навстречу. Моя книга 1975 года «О том, как быть смешным: Вуди Аллен и комедия» была попыткой написать о юморе, показав, как работает комедиограф, и после ее публикации я не думал, что буду писать о нем еще.

Шли годы, а я так и оставался желанным гостем в его съемочных группах и рабочем кабинете, когда он говорил о текущей работе. Хотя определенных целей у меня не было, я делал то, что делают писатели: писал заметки. Иногда я писал статьи о выходящей у него книге или снимающемся фильме, но в основном я отклонял просьбы издателей написать что-нибудь о Вуди, а также и предложения переработать «О том, как быть смешным». Потом, в 1987 году, мне стало казаться, что со времени публикации книги так много всего изменилось, что есть о чем подумать. Вуди разговаривал со мною так часто и с такой прямотой, что я начал понимать, насколько близко наблюдал его превращение из комика на сцене в комедийного режиссера и лидера кинематографа. Он так многого достиг в стольких направлениях, что для меня просто осовременить уже имеющееся (я исходил примерно из двадцати пяти написанных ранее страниц) означало бы сделать, казалось мне, уникальную книгу, в которой я проследил бы эволюцию артиста, глядя из-за его плеча.

Вуди согласился. На протяжении почти четырех лет и пяти фильмов он раскрывал передо мной все подробности своей работы от зарождения идеи к первому наброску сценария, подбору исполнителей и определению места съемки, съемке и монтажу, переработке сценария и пересъемке. Еще он рассказывал подробно о своем детстве и взрослой жизни. Договор у нас был простой: все факты я проверяю у него, но самого текста он не контролирует. Он сотрудничал, но не был соавтором: иначе это была бы его книга, а не моя. Вдобавок он сказал своим друзьям и сотрудникам, которые ему помогали, что они могут говорить со мной о чем угодно, но только если сами этого захотят. Никто из них не отклонил моей просьбы об интервью.

Это, без сомнения, биография, но биография особого рода, хотя бы потому, что ее герой все еще активно работает. Моей главной целью было не просто рассказать о некоей жизни, хотя в рассказе я использую события из жизни Вуди. Я надеюсь, что мне удалось описать и осветить творческий процесс одной личности и то, как жизнь влияла на него. В случае Вуди Аллена они сильно влияли друг на друга. Там, где артист пересекается с искусством,— раскрывается человек.

© 1991 by Eric Lax. Published by arrangement with Alfred A. Knopf, Inc. All rights reserved.

Я думаю раскрыть перед вами некоторые важные особенности своей личной жизни и показать их в перспективе.

Из монолога Вуди Аллена

В холодный и ветреный день ненастного октября 1972 года Вуди Аллен сидел в своих апартаментах во «Дворце цезарей» в Лас-Вегасе и трудился над немецкой экспрессионистской комедией (пример оксюморона) под названием «Смерть». Писал одну из трех одноактных пьес. Когда он случайно выглянул в окно на принадлежащие этой гостинице фонтаны и огромный шатер цирка с именами Гарри Белафонте и его собственным, взору его, просочившемуся через громоздкую решетку, поставленную как напоминание о бирюзово-цементных мечетях, представилось все трепетное великолепие, какого можно ожидать, когда глядишь сквозь кирпичи на неоновые огни. Но удерживала его здесь другая работа помимо сценария: двухнедельная гонка эстрадного комика, подходившая уже, к счастью, к концу,— последний ангажемент в рамках контракта, подписанного в 1965 году, который сначала оплачивался 50 000 долларами за две недели представлений. Шестинедельная поездка по шести городам — первая с 1968 года,— к счастью, была уже на исходе. Заработок — теперь он равнялся 85 000 долларам за две недели — был по стандартам 1972 года невелик, а по сегодняшним — так совсем грошовый, вот почему, хотя для большинства Лас-Вегас — это неоновый оазис алчности и дурного вкуса, для звезд развлекательных программ — это сияющий Пропуск на Свободу из Тюрьмы. Но Вуди все же не жалел, что оставляет дни обильных заработков позади. Этот тур был кодой контракта 1965 года, когда его карьера в основном была посвящена эстрадным выступлениям. Еще одно-два представления во «Дворце цезарей», один уик-энд в Сан-Франциско, другой в Лос-Анджелесе — вот и конец его пребыванию на сцене. Отныне он посвятит себя почти целиком кино.

Заработок, однако, был не лишним. Почти год он ничего не зарабатывал, хотя и сделал за десять месяцев два фильма — «Еще разок, Сэм» и «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить» — и собирался начать весной «Соню». Вуди получал минимальную зарплату, установленную Гильдией писателей, режиссеров и актеров за сочинение, постановку и игру и брал себе взамен процент с огромных сборов. Десять процентов от «Еще разок, Сэм» дали ему больше миллиона, а 20 процентов от «Всего, что вы всегда хотели знать о сексе» дали бы в два раза больше, но все эти деньги не сразу приходили. Кроме платы за выступления, Лас-Вегас еще вознаграждал его возможностью много написать. После представлений он обычно часа два играл в «двадцать одно», делая низкие ставки, иногда проигрывал, при этом, бывало, следил, чтобы посетители выигрывали, глядя в те карты, которыми он собирался пойти. Если карта выигрывала, он прятал ее в колоду, причем администрация не возражала, польщенная тем, что среди посетителей затесалась звезда. Вот и все, еще обед, иногда выступление другого артиста — этим и ограничивались его развлечения. Все остальное время он работал.

«Что бы ты тут ни делал, на твою карьеру это никак не повлияет»,— сказал он перед тем, как спуститься на представление в восемь вечера — первое из двух вечерних представлений в «Циркус максимус», где тысяча двести человек платили по пятнадцать долларов за обед и полуторачасовую развлекательную программу.

Половина постояльцев отеля прибыла на ежегодный национальный съезд продавцов оконных рам и дверных петель, и, как все делегаты, они были всегда готовы заполнить длинные столы, стоящие рядами в «Циркус максимус», и обитые плюшем ложи, которые поднимались ярусами в глубине зала. В гостиницу не вместилась бы аудитория, какая была на выступлениях Вуди в Чикаго неделю назад, две тысячи, или около того, так что на каждом представлении толпа была порядочная, но не огромная. Несмотря на свою сценическую и «киношную» популярность, как комик на эстраде Вуди не обладал такой притягательной силой, как, скажем, Билл Косби.

Всю поездку первым в афишах стояло имя Вуди, только в Лас-Вегасе — Белафонте. Билеты на певца уже раскупили, когда Вуди счел, что не прочь составить ему компанию, не боясь быть вторым. На самом деле ему это даже нравилось, потому что ответственность за сборы всегда лежит на первом имени, а «афиши ничего не значат».

Этот не совсем обычный ход распродажи билетов не сильно отличался от предыдущих распродаж билетов на Вуди в Лас-Вегасе. Ничто, касающееся его ангажементов, никогда не шло по заведенному порядку. Например, он первым из комиков работал в Лас-Вегасе в обычной одежде, а не в смокинге, от которого он отказался после своего первого представления; он считал, что смокинг — это глупо, с одной стороны; а с другой — отказ был проявлением упрямства в глазах авторитетов. (Это еще и привлекало к нему внимание.) Администраторы отеля предполагали,

что он будет следовать традиции, и пришли в ужас, когда он первый раз появился за кулисами в вельветовом костюме. Так как до выхода на сцену оставались считанные мгновения, они могли лишь взирать на него, не веря своим глазам. Но после того как он вышел на сцену и последовали взрывы хохота, им хотелось уже только, чтобы он сорвал побольше аплодисментов, и было уже не до его одежды.

Когда Вуди предложили контракт, где ему отводилась роль гвоздя программы, все уперлось в количество сценического времени. В отеле надеялись на один час. Вуди казалось, что сорока пяти минут непрерывного высококачественного материала достаточно. Первый раз, когда он здесь работал, сначала выходил певец, давал два-три номера, затем он объявлял Вуди, который заставлял публику хохотать до упаду в течение сорока пяти минут. Потом возвращался певец (или певица) и заканчивал свои номера, а Вуди в это время уже садился ужинать. Ему очень нравилась такая организация дела. Скоро это понравилось и администрации отеля. До них дошло, что более короткое представление высокого качества ничуть не хуже для публики, тем более что она после этого быстрее возвращается к игорным столам. В конце концов, для чего устраиваются спектакли? Чтобы привлечь играющих.

В первые годы своих выступлений Вуди волновался перед выходом на сцену весь день, а последние минуты для него были просто мучительны. Был период, когда, пытаясь преодолеть тревогу перед выходом, он представлял себе, что борется за приз; он боксировал со своей тенью за кулисами, ожидая, когда объявят его выход, и внушал сам себе, что нужно набрать темп, что после плохого раунда нужно провести хороший и, главное, необходимо нокаутировать аудиторию и победить. Но на нынешнем этапе своей карьеры он уже преодолел прежние страхи. Пока зрители обедали, он с комфортом сидел прямо над сценой в гардеробной, разукрашенной ярким пурпуром и зеленью и похожей на сумасшедшую картину Анри Руссо. Он проводил время, упражняясь в карточных фокусах и разговаривая о том, как бы ему не пропустить «Шоу Милтона Берла», пока тот еще в городе.

«Берл меня заставляет хохотать истерически. Он один из немногих, кого я готов смотреть из года в год. В телеспектаклях вроде старого «Шоу Милтона Берла» есть какая-то широта, по сравнению, скажем, с гораздо более узкими вещами, вроде Николса и Мэя или Сида Кезара. У Кезара скетч о японском кино — он и выглядит как японское кино. Очень реалистично и поэтому смешно. А Милтон принадлежит к комедийной школе более универсальной, и, конечно, он там первый. Если он изображает японский фильм, то у него торчат резцы, и это очень смешно — но только у Милтона. В большинстве телепередач та же универсальность, но глупая, без его одаренности. Во всяком случае, когда Милтон в женской одежде — это умора. Этот парень так великолепно переодевается в женское платье и изображает японку — обхохочешься». (В «Бродвейской Дэнни Роз» Берл сыграл Золушку в белокуром парике и длинном белом платье.)

В восемь часов свет гас и голос объявлял: «Леди и джентльмены, Вуди Аллен!» Теплые аплодисменты, Вуди в коричневых с белым ковбойских сапогах, бежевых вельветовых штанах, голубой рубашке с расстегнутой верхней пуговицей и темно-коричневом в клетку пиджаке (который тому, у кого есть память на подобные мелочи, вспомнится по фильму «Еще раз, Сэм») быстро выходил на сцену, приветствуя зрителей. Он брал микрофон правой рукой, левой отбрасывал провод — это он делал на сцене постоянно. Он все время передвигался по сцене, отчего выглядел нервно и немного скованно. У него тщедушная, какая-то воробьиная фигура. Длинные вьющиеся рыжие волосы свисают на воротник, очки в черной оправе очерчивают большие глаза и оттеняют лицо, кажущееся смущенным. Выглядел он растерянно.

Но это было не так.

«Я думаю раскрыть перед вами некоторые важные особенности моей личной жизни и показать их в обратной перспективе. Потом мы коротко побеседуем: вопрос — ответ и оценим все это»,— говорит он зрителям. Материал это не новый. Большая часть его написана между 1962 и 1968 годами и собрана из мыслей и строчек, набросанных на обрывках бумажных салфеток, клочках бумаги, спичечных коробках,— то, что приходило в голову и попадало в ящик стола. Работая над номером, он выкладывал весь этот хлам на полу своей квартиры и ходил по нему, как садовник между грядок, срывая то, что созрело. (Когда Норма Ли Кларк, двадцатипятилетняя секретарша, поступила к нему на работу, он принес ей ящик, полный обрывков бумаги, и попросил их перепечатать. Получилось двести страниц.) Готовясь к этим шоу, Вуди слушал снова и снова три альбома, записанных на его выступлениях, чтобы восстановить свои номера. Зрители не возражали против старого материала. Большинство не слышало еще ни одного номера Вуди и не знало его вплоть до середины шестидесятых годов, когда он стал появляться в фильмах.

Все в «Циркус максимус» от души смеялись — за этим они сюда и пришли. Вуди

рассказал им, как он рос в Бруклине, как проводил подрывную работу среди служащих папиного магазина, о забастовке и своем отлучении от бизнеса, о своем кузене, который торгует коллективными акциями и чья жена застрахована на случай отсутствия оргазма («Если муж не может ее удовлетворить, то коллектив племени омаха должен ей это ежемесячно возмещать»), о своем тяжелом детстве («Меня вскармливали пустышками») и о своей сексуальной удали («В первую брачную ночь моя жена остановилась на самом интересном месте и, стоя, устроила мне овацию»).

Такие шутки он называет «словесными мультфильмами». В них есть нереальность, фантастика, но, несмотря на это, в них как-то веришь: все, что рассказывает Вуди, могло и происходить, хотя бы только с ним самим; шутки его так хорошо работают потому, что он преподносит их как свои жизненные проблемы. Как бы фантастично ни было то, что он говорит, в его устах это звучит реально. А раз ему веришь, то смеешься. Бóльшая часть материала номера представляла собой длинное повествование, и по нему были разбросаны маленькие лирические отступления, как, например, о девушке, встреченной им в Европе, которая убежала в Венецию, вышла на панель — и утонула.

Чуть-чуть позже середины представления он останавливался и вынимал карманные часы. «Простите, минуточку, я проверю время,— говорил он.— Они тут страшно щепетильны насчет времени, и я даже слышу, что позади меня уже крадется на сцену эстрадный оркестр.— Он смотрел на часы и поднимал их кверху, как будто все 1200 человек могли их разглядеть.— Не знаю, видно ли вам, но часы очень красивые.— Он опускал их и подносил к глазам.— Мраморная инкрустация,— продолжал он, все еще смотря на часы,— я в них похож на итальянца.— Пауза.— Мой дедушка на смертном одре мне их продал».

Если на минуту зрители поверили, что ему действительно нужно сверить время, теперь они понимали, что к чему. Но они не знали, что эта вставка давала ему возможность действительно посмотреть, придерживается ли он регламента. Ему нужно было заполнить 45 минут, а эта шутка должна идти примерно на 28-й минуте. Если она идет раньше, нужно растянуть последующий материал насколько можно, не в ущерб смеху. Сейчас он идет по расписанию. Он убирает часы и говорит зрителям: «Однажды меня украли. Я стоял около школы, и тут подъезжает черный «седан», вылезают два парня и спрашивают, хочу ли я поехать с ними в страну, где одни только феи и эльфы и у меня будут комиксы, какие захочу, и шоколадные трюфели, и леденцы, знаете ли. Я говорю: хочу. И сажусь с ними в машину, а, черт подери, думаю, все равно мне делать нечего — до диплома еще два месяца.

И они меня увозят и посылают записку насчет выкупа моим родителям. А у моего отца плохая привычка читать в постели. Ну, он лег в постель с этой запиской о выкупе и заснул. А они тем временем везут меня в Нью-Джерси, связанного и с кляпом во рту. До моих родителей в конце концов дошло, что меня украли, и они стали немедленно действовать: сдали мою комнату.

В записке от отца требовали, чтобы он оставил тысячу долларов в дупле дерева в Нью-Джерси. Тысячу долларов собрать ему ничего не стоило, но он себе грыжу заработал, пока это дерево с дуплом туда приволок.

ФБР окружает дом. «Бросайте ребенка,— говорят они,— сдавайте оружие и выходите, руки вверх».

А преступники отвечают: «Ребенка мы бросим, но оружие оставим себе и сядем в машину».

ФБР говорит: «Бросьте ребенка, мы дадим вам сесть в машину, но оружие сдайте».

Преступники говорят: «Ребенка мы бросим, но оружие нам оставьте, а в машину нам не надо».

ФБР говорит: «Оставьте себе ребенка...» Погодите, тут я переборщил.

ФБР решает пульнуть слезоточивым газом. Но у них нет слезоточивого газа. Тогда семь агентов разыгрывают сцену смерти из «Дамы с камелиями». Потрясенные до слез, мои похитители сдаются. Их приговорили к пятнадцати годам, заковали в железо, а они сбежали, причем два человека были прикованы друг к другу кандалами за лодыжки и прошли мимо охраны, изображая большой браслет-амулет.

А вот расскажу, вы не поверите,— продолжает он, когда улеглись аплодисменты.— Однажды я подстрелил лося. Я охотился на севере штата Нью-Йорк и подстрелил лося. И я привязал его на крышу на багажник и поехал по Вестсайдскому шоссе. Но я не сообразил, что пуля не пробила лося. Она только скальп ободрала, и он упал без сознания. И еду я через Голландский тоннель, а лось приходит в себя. То есть еду с сохатым на багажнике, а легавый дает мне сигнал повернуть.

А в штате Нью-Йорк есть закон, что нельзя возить лосей, находящихся в сознании, на крыше. По вторникам, четвергам и субботам. И я в полной панике.

И тут я вспомнил — у моих друзей сегодня костюмированный бал. Я пойду

с лосем. Так я его сбагрю. Избавлюсь от ответственности. Вот я еду и стучу в дверь. Лось рядом стоит. Хозяин открывает дверь. Я говорю: «Привет, ты знаком с Соломонами?» Мы входим. Лось смешивается с толпой. Хорошо сработано. Удалось. Кто-то полтора часа пытался заставить лося застраховаться.

В двенадцать раздают призы за лучший костюм вечера. Первый приз получают Берковичи — супруги, наряженные лосем. Лосю достается второй приз. Лось в бешенстве! Они с Берковичем сцепились рогами прямо в гостиной. И оба отрубились.

И тут чувствую — вот он, мой шанс. Я хватаю лося, привязываю его на багажник и — пулей обратно в лес. А это были Берковичи. И вот я еду с двумя евреями на багажнике. А в штате Нью-Йорк есть закон, что во вторник, четверг и особенно в субботу...

На следующее утро просыпаются Берковичи в лесу в костюме лося. Господина Берковича подстреливают, набивают чучело и ставят в Нью-Йоркском атлетическом клубе. И шутят еще: «А не нарушай!»

Последние три четверти рассказа аудитория в конвульсиях от смеха, и Вуди уже собирается уходить. Но перед этим говорит: «Несколько месяцев назад прихожу я домой ночью, иду в клозет в моей спальне, а моль поела мне спортивную куртку. И валяется на полу — вид отвратительный. Желтая с зеленым спортивная куртка. Рядом охает маленькая толстая моль, а изо рта у нее торчит конец рукава. Я дал ей два простых коричневых носка. И говорю: «Один съешь сейчас, второй — через полчаса».

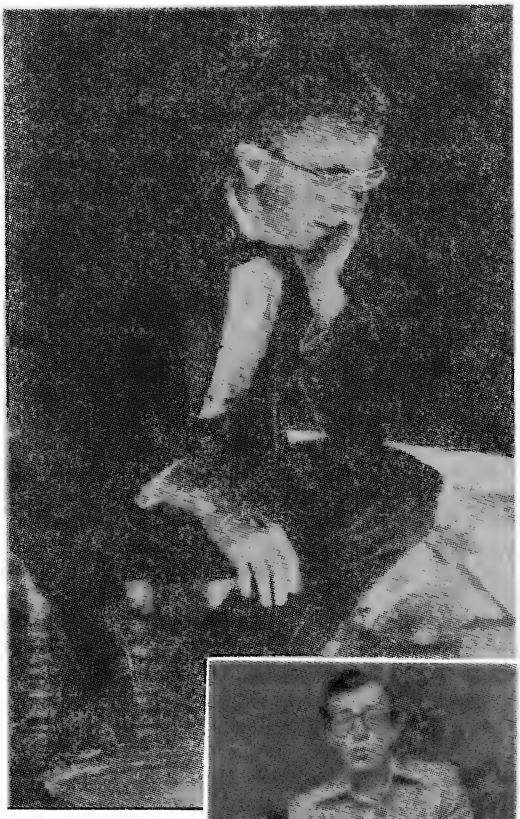
Наконец он говорит, что пошел ужинать. Вытаскивает из кармана ключ от комнаты и секунду на него смотрит. «Вчера я прогуливался где-то около казино и увидел очень красивую девушку. И я ей уронил в кармашек ключик от моей комнаты. Через двадцать минут поднимаюсь в номер — а машинки пишущей нет. Спокойной ночи».

На сцене он появлялся таким, каким его и ожидали увидеть зрители: нервный, немного рассеянный, маленький человек с массой проблем. Однако это было неверно. Он действительно переживал минуту тревоги перед выходом на сцену, но она проходила еще до первого смешка. То, как он ходил по сцене, помахивая шнуром от микрофона, будто кнутом, то, как он иногда забывал якобы, что дальше, то, как он с виду случайно снимал очки и тер глаза, отпуская шутку — все это было частью представления. Он в каждый момент прекрасно знал, где он и что делает. Как и всякий хороший комик. Они репетируют сотни раз, отполировывая все так, что каждое представление блестит, как новое. Такое абсолютное владение материалом имеет и свои недостатки, как сказал Вуди после того, как ушел со сцены.

«Иногда шпаришь наизусть и ловишь себя на том, что разглядываешь какую-нибудь девушку в зале и думаешь, на какое шоу пойти после выступления. Когда я начинал, я выступал перед аудиторией в триста человек, а через три часа выступал снова в зале, где могли оказаться некоторые из них, и мне было стыдно, что у меня тот же самый материал. Написать новую программу можно примерно за год, так что теперь повторы меня не заботят. Я никогда не импровизировал на сцене — только в последние полтора года своих выступлений я стал просить зрителей задавать вопросы, потому что я просто-напросто убедился, что у меня очень высокие требования к материалу и что мне очень трудно растягивать время, поэтому я сгущаю материал. Я рассчитываю по часам и оставляю тридцать пять минут по-настоящему смешных, так что шутки вышибают одна другую. Я понял, что это сокращает время выступления, и стал просить зрителей задавать вопросы. И вышло, что вопросы — лучшая часть представления, потому что становится очевидным, насколько абсурден текст. Так что теперь, мне кажется, я могу выйти и выступать, практически только отвечая на вопросы, на случайном материале, зависящем от ситуации. Меня принимают. Быть принятым для комика важнее, чем для других актеров. Зрители надо мной все время смеются, и мне не надо ничего доказывать. Им кажется смешным даже то, что не так уж и смешно».

Если аудитория приняла комика, она будет смеяться даже над шутками, которых не понимает. Однажды на представлении Боба Хоупа в Англии в начале 50-х годов соль одной из шуток заключалась в слове «мотель», и когда Хоуп сказал «мотель», все, как и полагалось, захохотали. Но Ларри Гелтарт, один из тех, кто писал для Хоупа тексты, спросил женщину, сидевшую рядом с ним за сценой, все ли знают, что такое мотель. «Нет»,— сказала она и объяснила, что зрители засмеялись, потому что они знают, что это конец шутки, а шутит он смешно.

«Один из самых популярных моих номеров — это как меня ограбили и надули в собственной прихожей». («Когда я жил в кирпичном доме в Нью-Йорке, нас все время грабили. Такая была отличительная особенность у соседей. Парни вламывались и воровали. Мою квартиру грабили примерно четыре раза за два года. Мне перестало это нравиться. Я не знал, что делать. Так что в конце концов я приклеил



«Мона Аллен» на почтовой открытке

■

ВУДИ АЛЛЕН И ЕГО РОЛИ

на дверь маленький плакат — синий с белым: «Мы уже давали». Я воображал, что выкрутился. Не тут-то было... Потом мне друзья сказали, что видели объявление на обложке журнала «Эсквайр»: можно выписать себе ручку-самописку, которая стреляет слезоточивым газом. Это настоящая ручка с чернилами, но выделяющая газообразное облако. Великолепная ручка. Семь с половиной долларов. Я заказал. Получаю по почте через две недели в простой коричневой обертке. Разворачиваю. Кладу внутрь баллончики со слезоточивым газом и цепляю на нагрудный карман. Выхожу. Давно это было. У друзей по соседству панихида с танцами. Меня приглашали. Я дошел обратно сам. Два часа ночи, не видно ни зги, я один. В прихожей у меня стоит неандерталец. С надбровными дугами и волосатыми пальцами. Думаю, он только утром освоил прямохождение. Пришел сразу ко мне узнать тайну огня. Слез с дерева — и бац ко мне в прихожую в два часа ночи. Рот-респиратор нацелен на меня. Я вынул часы и помахал перед его носом — блестящие предметы этих типов успокаивают. Он их съел. Согласно ситуации я отступил назад, выхватил свою слезоточивую ручку, нажал спусковую кнопку, и струйка чернил пролилась мне на рубашку. Я мысленно отмечаю, что надо позвонить в «Эсквайр» и их «поздравить». Я стою в прихожей, два часа ночи, с этой жертвой безотцовщины, в руках держу ручку. Я попробовал на нем писать. Он подошел ко мне и давай приплясывать у меня на диафрагме. Без промедления я применил старый прием индейцев навахо — плач и вой».)

«Есть номера, а есть разговор,— говорит Вуди.— Мне больше нравится разговор. Как меня украли — это номер. Из всех номеров самый, наверное, популярный — про лося. Случайная удача. Не длинный, около двух с половиной минут, так что соскучиться трудно. Там есть начало, середина и конец. Идет по восходящей: мне удались повороты — раз — два — и еще раз,— так что действие идет без остановки. И не зависит от шуток. Аудитория захвачена с самого начала — самой идеей — и уже не отстает».

Однако требовалось время для того, чтобы сгустить материал и решить, что сохранить для представления, ведь иногда то, что оказывается потом самым смешным, сначала таким вовсе не кажется. Один из самых успешных номеров у Вуди был про зоомагазин ненормальных животных и про муравья: «Я не мог завести собаку, потому что это было слишком дорого. И тут по соседству во Флэтбуше открылся зоомагазин ненормальных животных. Можно было купить кривенькую кошечку, если хотите, или прямого как стрела верблюда. Мне досталась собака-заика. С кошками ей приходилось туго, и тогда она гага-гага-гавкала».

«Я был у себя дома, ходил по квартире, придумывая шутки для предстоящего вечера в «Виллидж гейт»,— объясняет он.— Одна была о том, что мои родители были очень бедными и купили мне муравья, и я назвал его Кляксик. И я подумал: Боже, как мне смешно. Вечером я это рассказал — ноль внимания. На следующий вечер опять рассказал, и опять ничего, так что я выбросил шутку из представления. А затем месяцев через десять я наткнулся на нее в своих записях и опять подумал: как смешно. Тогда я опять вставил ее, и на этот раз стало вроде бы сносно. Смешнее ничего никогда у меня вообще не выходило. Не знаю, почему так бывает. Могу только предположить, что надо подождать, пока материал утрясется, и подавать его надо с уверенностью».

В противоположность устоявшемуся среди комиков мнению, что новый материал надо пробовать по вторникам и средам на поздних представлениях — в невыгодное время,— Вуди всегда пробовал новое при полных залах. «Даже свой лучший материл трудно подать в дождливый вторник,— говорит он,— поэтому новый материал я всегда стараюсь вводить в таком месте, как Вегас. Самое трудное — подать его с уверенностью, сыграть новое, как старое. Я выхожу со старыми вещами — и убиваю наповал. Я уже знаю, как их надо подавать. Но если вы пробуете новые вещи, вы как бы вымогаете смех. Как будто демонстрируете неудачу. А подавать себя надо победителем».

Много раз, сочиняя или снимая фильм, Вуди приходил в отчаяние оттого, что не удается ни строки написать, ни сцены заснять так, как они видятся. А когда он теряет всякую надежду на воплощение замысла, что-то получается. Опыт, однако, показывает, что, прежде чем победить, надо пережить поражение. Но сколь бы разочарован он ни бывал в те моменты, когда ему кажется, что придется удовлетвориться лишь чем-то приблизительным, все-таки никогда его разочарование не бывало столь сильным, как в первые два года работы комиком на эстраде. Он отказался от зарплаты 1700 долларов в неделю и начал работать сначала бесплатно, а потом за 75 или 100 долларов в неделю, давая по два, а то и по три представления за вечер, шесть вечеров в неделю, в маленьких

залах, часто для ничего не понимающих зрителей. Он приходил домой посреди ночи, после вечера, проведенного в попытках вызвать у людей смех. Даже если это удавалось, его это не успокаивало, потому что аплодисменты зрителей его только смущали; когда они рукоплескали в конце представления, он затыкал уши — явление, которое, кажется, объяснил Оскар Уайльд: «В этом мире бывает лишь две трагедии. Одна — не получить, чего хочешь. Вторая — получить это».

«То же самое, когда у меня просят автограф,— говорит Вуди.— Не знаю по какой причине. Может быть, в детстве я так сильно жаждал аплодисментов и признания, что стеснялся этого, и потому аплодисменты и признание меня смущают».

Это было тяжелое время и для Харлен. Ее вера в Вуди была столь же велика, как и у Роллинса и Джоффа, а ее честолюбивые ожидания, обращенные на него, были, кажется, еще больше, чем у Вуди. Она считала, что у него талант большого писателя, а не только автора комедий. Когда он отказался от успешной карьеры, приносящей ему высочайшие заработки, и вместо этого занялся работой, которая каждый вечер приносила ему лишь обиды от совершенно чужих людей, Харлен была совершенно уверена, что для него стать эстрадным комиком — лишь нелепая амбиция. Из-за всего этого брак их дал трещину. Они были молоды и развивались по-разному.

Однажды вечером Роллинс вез Харлен и Вуди вместе с Джоффом и Джейн домой после выступления Вуди и посещения ресторана «Деликатесы сцены», где они обсуждали свою работу на этом вечере. И когда они уже приехали домой, неожиданно, прервав разговор Вуди с Роллинсом, Харлен взорвалась.

«Что ты делаешь с моим мужем? — вспоминает Роллинс ее крик.— Ты разменываешь его талант. Перед тобой великолепный писатель, а ты хочешь превратить его в дешевого комика».

— У Вуди тоже были сомнения. Часто по вечерам на сцене он чувствовал себя мертвым. По словам Роллинса, «его знания об искусстве выступать и подавать материал зрителям на блюдечке равнялись нулю. Он пользовался успехом только у той части аудитории, у которой хватало мозгов додуматься, что это такое. Он себе сам вредил, потому что ничего не понимал в том, как дозировать материал, не умел останавливаться, чтобы дать зрителям посмеяться». Иногда, когда номера ему не удавались, он просто быстро прогонял их и уходил со сцены, вовсе не заботясь о том, смеются ли зрители. (Он делал так даже в конце своей карьеры, хотя к тому времени он уже хорошо умел работать на аудиторию. Но если зацепить ее все же не удавалось, он просто побыстрее отделывался.)

«Он был высокомерен и тверд,— говорит Джофф.— Если до зрителей не доходило, он не проявлял терпения. Но мучился он в первые годы ужасно».

Десятки раз он заговаривал о том, что, кажется, пора уходить. «Что, ребята, вы все еще за то, чтобы я продолжал?» — спрашивал он Роллинса и Джоффа. «Да, мы были за,— сказал однажды Роллинс,— но ведь не мы выходили на сцену и получали щелчки. По натуре он был самый застенчивый человек из тех, кого я знал. Обычно человек, занимающийся тем, чем пытался заниматься он, начинает в 15—16 лет, имея и склонность к выступлениям. У Вуди ничего такого не было. Со своей пишущей машинкой он жил в «обеззараженной» атмосфере. А теперь он занимается этим по нашей просьбе. Потому что мы думаем, мы *думаем*, что ему есть что сказать смешного».

«Потому что мы думаем, что он фабрика»,— добавляет Джофф со смехом.

«Мы ему говорили,— продолжает Роллинс,— Вуди, нам очень легко сказать тебе, что в тебе есть что-то уникальное и смешное. Легко — потому что не мы выходим на сцену. А тебе трудно, потому что ты так поздно начал. Ты тепличный комик. Мы как бы тебя затолкали в теплицу и выращиваем. Так что нам легко сказать «сиди там». Но решение принимать тебе. И если ты нас спрашиваешь: «Уходить ли мне сейчас?» — мы не готовы сказать тебе «да», потому что времени у тебя было недостаточно».

Каждый раз Вуди заново все обдумывал и каждый раз решал продолжать. И вот однажды вечером после месяца таких колебаний он сидел вместе с Роллинсом и Джоффом в «Стейдж Дели» и сказал им: «Послушайте, давайте серьезно — это сумасшествие. Это меня убивает. Меня с души воротит, меня тошнит, мне не нужно этим заниматься. Я знаю, что как писатель могу сделать хорошую карьеру. Мы попробовали на эстраде, и у меня не получается. Я больше не могу».

Роллинс уже наслушался всевозможных жалоб. «Вуди,— сказал он,— мы не можем заставлять человека быть несчастным, так что если ты больше не хочешь — ладно, все».

Вуди был потрясен. Около трех часов ночи они расстались с Роллинсом и Джоффом, а в 5 утра он уже звонил Джоффу, своему ровеснику и тоже выходцу из Бруклина, который в бизнесе ему брат, в то время как Роллинс — отец.

«Что, Джек говорил серьезно? — вспоминает его вопрос Джофф.— Он это сказал, потому что не верит в меня, или потому, что думает, что у меня нет выдержки?»

«Вуди,— сказал ему Джофф,— дело вот в чем. Мы оба чувствуем, что тебе слишком тяжело и поэтому не стоит нам тебя так мучить. Это и хотел сказать Джек. Если ты спрашиваешь меня, то мне хочется плакать».

«Я не верю,— сказал Вуди.— Мы десять раз это обсуждали, и Джек всегда говорил «продолжать». Он действительно имел в виду, что мне надо уходить, правда? Меня это потрясло. Он ведь действительно готов к тому, что я это брошу».

«Да»,— сказал Джофф.

На следующее утро Вуди пришел в офис и сказал: «Попробуем снова. Если вы, ребята, думаете, что мне не хватило времени, дайте еще срок, имеет смысл потратить еще время. Я беру шесть месяцев».

Друзья Вуди рассказывают о его мужестве не только в начале карьеры, когда ему пришлось преодолевать страх перед выходом на сцену, но и дальше, когда он осмеливался снимать фильмы, какие хотел, а не просто те, что удовлетворяли шаблону. Вуди на это отвечает: «Я хочу выступать. Меня поддерживало то, что билеты покупают, меня поддерживали окружающие, и я чувствовал, что неправильно было бы поддаваться страху. То есть я трусил, но было бы неправильно из-за этого не выступать». Не трусить и быть мужественным — для него это разные вещи. В «Манхэттене» Айк Дэвис говорит: «Талант — это везение. А самая важная вещь в мире — мужество». Так как чувства Айка придумал Вуди, неудивительно, что он под ними может подписаться.

«Талант — это только везение,— заметил он однажды, рассказывая о своей первоначальной сценобоязни.— Безусловно, самая важная вещь в мире — это мужество. Люди боготворят талант, и это смешно. Талант — это то, с чем рождаются, как Карим Абдул-Джаббар родился длинным. Вот почему многие талантливые люди — дерьмо. Но мужество — это все, потому что жизнь тяжела и жестока. Я в этом совершенно убежден. Я хотел бы две вещи: мужества, которого у меня, по-моему, нет, и родиться верующим. Это две замечательные вещи. Если бы я родился верующим, мне бы не нужно было, наверное, так много мужества. Но если бы у меня было и то и другое, я бы очень сильно выиграл».

«Не нужно путать мужество с эстрадным нахальством. Это как быть комедийным гением. Есть разница между комедийным гением и просто гением. Гений эстрады — это, знаете ли, тот, кто одновременно играет на шести площадках, и вся его отвага: «Только два дня порепетировал — и пошел». А рискует он лишь оказаться в неловком положении».

«Мужество артиста — не большое дело, потому что жизнью, смертью, телом никто не рискует. Мужество — это когда работают в подполье во время войны. Выйти на сцену — это не настоящее мужество, а детская храбрость. На все мои страхи один ответ: «Чего ты суетишься, мельтешишь? Иди на сцену, валяй, и хватит ныть, или ступай домой и ищи другую работу».

«Страх, что в ответственный момент у меня не хватит мужества, всегда не дает мне покоя, когда я наедине с самим собой,— продолжил он.— Я не могу вспомнить ни одного своего поступка, в котором проявилось бы мужество. Несколько раз, когда мне казалось, что я серьезно болен, я всегда начинал хныкать и цепенел от страха. И я надеюсь, что мне никогда не придется выказывать мужество. Я надеюсь, мне никогда не придется оказаться в ситуации, когда два громилы с ножами угрожают маленькой старушке, а мне надо выбирать, вмешиваться ли. Меня бы просто-напросто парализовало».

Нужно было для этого мужество или нет, но Роллинс и Джофф считают, что решение выступать еще шесть месяцев было поворотным пунктом в его карьере. «И в этот период стали происходить странные вещи,— говорит Джофф.— Он играл хуже некуда. В мире не было человека, который бы больше, чем он, боялся. Но вопреки этому его остроты были блестящи, и к нему пришел успех».

Много написано о евреях и юморе: что евреи всегда были иностранцами в любой стране, где бы они ни жили; а так как евреи везде чужие, их обособленность и породила еврейскую комедию и еврейских комиков; что юмор — это не только способ отомстить за предрассудки, посмеявшись над собою прежде, чем другие над тобой посмеются, это еще и способ перебросить мост через пропасть между евреями и «остальными». Есть много хороших комиков, которые это подтверждают. Например, Мирон Коэн и Хенни Янгман. Но не Вуди Аллен.

Да, Вуди — аутсайдер, по крайней мере, он им был, когда начинал, как и любой вторгающийся на сцену исполнитель. Теперь он — что ни на есть свой в кино, самый свой после Стивена Спилберга. Разница между ними в том, что Спилберг находится в центре голливудского истеблишмента, тогда как Вуди, не уступая ему в силе, действует из центра единственного контристеблишмента, который он создал сам вне Голливуда.

И он еврей, как люди спешат заметить, будто это значит больше, чем это значит. Фрейд писал: «Я еврей, и мне всегда казалось, что не только стыдно, но и бессмысленно это отрицать», подразумевая, по крайней мере, отчасти — что он еврей потому, что все напоминают ему, что он еврей. Не отрицает этого и Вуди, и все напоминают ему, что он еврей, но то еврейское, что есть в нем как в художнике,— скорее результат внешней идентификации, чем источник его юмора. Он использует еврейскую специфику, но не она порождает его творчество. Бывшие соседи стали вехами на его пути, но, родись он в других обстоятельствах, это могли бы быть и представители низших слоев среднего класса ирландских католиков в Бостоне, которые уверены, что на той стороне реки и женщины красивее, и жизнь интереснее, и решают перебраться туда.

Вуди Аллен — это не Сэм Левенсон, рассказывающий анекдоты из еврейской жизни, в основе которых лежит вечная обособленность евреев — тот тип юмора, который своими идиомами и диалектизмами воспевает ограниченный мирок. Напряжение и юмор в произведениях Вуди происходят от той тревоги, которая у него возникает потому, что он хочет того, чего у него нет, и от того неудобства, которое причиняет ему мир, устроенный так, а не иначе. На эстраде и в своих ранних фильмах Вуди предстает перед нами как бейсбольный болельщик и бабник, воображавший себя Хоупом. Его чаяния и его слабости — не этническая особенность, они универсальны. Они — то же, что и хитрости Чаплина, и убежденность Хоупа, что он — любимец женщин. Все трое — маленькие люди, обычные люди, кажущиеся сами себе большими и необыкновенными, и в этом заключается конфликт и шутка.

Эстрадный материал Вуди на первый взгляд может показаться классическим еврейским юмором — с виду это скромный неудачник под каблуком у жены, которая, если он принимает ванну, «входит когда захочет и топит мои кораблики». Но поверх этого — блестящее мастерство комедиографа, который обращается с Платоном и французской литературой так же запросто, как и с клоунской шуткой, и в номерах которого попадаются характеры с именами вроде Ги де Мопассан Рабинович. Стал ли он интеллектуальным комедиографом, не существенно — важно, что он показал свою интеллектуальную раскованность, не погряз в собственном прошлом; очевидно, что он — писатель и актер, стремящийся перерасти предназначенные ему рамки. Традиционный еврейский юмор мог бы стать сутью выступлений Вуди — он стал всего лишь удобным фундаментом. То, что он построил на этом фундаменте, выше этнических различий. Если «Бери деньги и беги» или «Бананы» — два первых фильма, которые он сочинил и поставил,— дают основания говорить о еврейском «здравом смысле» (например, когда Вуди забирает с собой пирожное как подарок на обеде во дворце диктатора в «Бананах»), то в третьем его фильме 1972 года, «Все, что вы всегда хотели знать о сексе», такие эпизоды, как сочная пародия на итальянское кино, не несут на себе ни следа того, что считается еврейской комедией. И если в «Любви и смерти» и «Энни Холл» выведен основной персонаж еврейского юмора: невезучий парень, которому никак не удается раздобыть себе девушку,— то ведь этот бедный парень принадлежит и другим культурам и прослеживается у многих — от Чарли Чаплина до Бенни Хилла. В период «Воспоминаний о звездной пыли» 1980 года уже не представляется возможным определить происхождение его создателя только на основе фильма (хотя Сэнди Бейтс, герой Вуди, ребенком посещал еврейскую школу). С этих пор его фильмы приобрели ту универсальность, которая опирается на разнообразие юмора почти всех рас и иронизирует над расами, религиями, цветами кожи без оглядки на национальное происхождение.

Смолоду комизм Вуди Аллена был сродни рекламе хлеба, продававшегося в Нью-Йорке в конце 60-х годов. Плакаты изображали китайца, с веселым видом держащего в руках сандвич, и надпись гласила: «Не надо быть евреем, чтобы любить настоящий еврейский ржаной хлеб Леви». Точно так же не надо было быть евреем, чтобы любить Вуди Аллена. Даже более того: и ему самому не надо было быть евреем. То, что он им был,— чистая случайность. Значение имел лишь конфликт между тем, откуда он пришел и куда собирается идти. Когда он описывает своих родителей и соседей, как пришедших из самого сердца Старого Света и сохранивших его ценности — «Бога и ковры», это применимо к любому человеку, которого смущает убогость его родни, всякому, кто обладает культурными и интеллектуальными амбициями и желает переехать из своего воображаемого Бруклина в свой воображаемый Манхэттен. Это воля случая, что Вуди по происхождению еврей и его переезд так легко проследить. Проблемы его — это проблемы любого американца во втором или третьем поколении, для которого национальность в той же мере является пропуском в артистический или интеллектуальный мир, в какой и неуклюжим багажом старой родины, прототипом которой служит Бруклин.

В своей автобиографии под названием «Сделать это» Норман Подгорец пишет, что «одно из самых долгих в мире путешествий — это путешествие из Бруклина в Манхэттен или, по крайней мере, из некоторых кварталов Бруклина в некоторые части Манхэттена». Но ведь Бруклин — место, где оставляешь свою семью,— это черно-белый Канзас Элли, а Манхэттен — это там, где расцветаешь на новой и более плодородной почве,— это Изумрудный город.

Как только Вуди освоился и приблизил зрителя к происходящему на сцене, а значит и к самому себе, настолько, что они смогли полюбить его, зрители повалили к нему валом! Манхэттен был полон молодых людей, совершающих то же путешествие, что и он, как, впрочем, и другие города: Чикаго, и Сан-Франциско, и Сан-Луис, и Вашингтон, и Лос-Анджелес, где выступал Вуди после Нью-Йорка. Но чтобы Вуди нравился, не нужно было ощущать себя совершающим такого рода путешествие. Нужно было только иметь пару слышащих ушей. Одним словом, он был смешной, и смешной он был по той единственной причине, которая имеет значение для комедии: он вызывал у людей смех. Как сказал бы он, это глубже, чем вы думаете.

Одним из самых ранних и самых больших его поклонников был Джек Бенни, и это доказывает к тому же, что комедийное искусство Вуди переходит границы поколений. «Он один из самых замечательных людей, которых я знал,— сказал Бенни в 1973 году.— Трудно использовать слово «гений» — им так часто бросаются. Я назвал так Ноэла Кауарда. Может быть, Джордж Коэн. Одно время — Эд Уинни. Эл Джолсон, конечно, он был величайшим в мире мастером развлечений. Но я никого не знаю, кто бы был столь же умен и смешон и знал бы, что делает, когда пишет и играет, как Вуди. Никто с ним не сравнится. Я говорил подобное об Эде Уинни. Моя жена со мной рядом не могла сидеть, когда я на него смотрел, потому что я превращался в идиота. Теперь я сижу один и захлебываюсь от смеха, глядя на Вуди Аллена».

И хотя Бенни никогда не претендовал на то, чтобы быть теоретиком комедии, он смог в пяти фразах дать определение тому, что делал он и что делает Вуди как комик: «Единственно, как я могу объяснить, чем занимаюсь, и это будет сопоставимо с тем, что делает Вуди Аллен,— игра на ошибках и слабостях людей. Например, я думаю, я герой-любовник, а это не так. Если ты вместе с людьми, то за смехом не надо гнаться. Смех уже здесь».

«Когда я не настроен на эстраду, когда я просто сижу себе на скамейке, например, я не такой противный,— сказал Вуди, слегка посмеиваясь.— Не такой манерный. Каждая шутка манерна, когда я выступаю на эстраде. Это так явно. Раньше было не так очевидно. Сейчас это выглядит отвратительно. Совершенно ни о чем. Я просто циркач — парень, жонглирующий шутками. Только одно, наверное, хорошее и можно об этом сказать — вообще-то я это дело ненавижу: много усердия было положено, чтобы рассказать историю залу и в то же время рассказать ее и какому-нибудь Джонни. И в этом что-то было, во всяком случае, для того времени. Но лучше бы никому этого не видеть, записи дают превратное представление о том, что я делал — а может быть, я делал что-то ужасное».

Единственное выступление, которое он хотя и слабо, но хвалил, было на открытии лондонского «Плейбой-клуба» в 1966 году. Вуди вышел в пиджаке и при галстуке. Он взял микрофон с подставки и взмахнул шнуром. «Вот так я выглядел в клубах»,— говорит он, глядя на запись. А на экране он говорит о пиджаке. «У него внутри есть лишняя пуговица,— сообщает он зрителям.— Я не понял зачем. Мне советуют: если вы потеряли пуговицу, вы берете пуговицу изнутри и пришиваете ее снаружи, и у вас есть пуговица. Я проносил этот пиджак две недели и, по счастью, потерял петлю для пуговицы».

Потом он рассказывает им, как был однажды на Юге и его пригласили в гости. Был День всех святых, и он решил нарядиться привидением.

«И вот я взял с постели простыни и набросил себе на голову. И пошел в гости. Можете себе представить. Иду я по улице городка на Среднем Юге, а на голове у меня простыня. Подъезжает машина, и три парня с простынями говорят: «Залезай». Я сообразил, что ребята едут в гости. Я сажусь в машину и вижу, что мы едем не в гости. О чем и говорю им.

Они говорят: «Да, нам надо захватить Большого Дракона».

И тут меня осенило: Юг, белые простыни, Большой Дракон. Как дважды два. А я-то думал: идет парень в гости, одетый драконом. И впрямь — в машину садится здоровенный парень, а я там сижу среди четырех ку-клукс-клановцев. Четверо, и до зубов вооружены. Дверь заперта. Я оцепенел. Отчаянно пытаюсь вырваться. Говорю: «Эй, вы» и «спокойно». Раз пятьдесят, наверное, сказал

«спокойно». Они меня что-то спрашивают, а я им — «спокойно, спокойно». Тогда главный — у него простыня была с каймой — ясно было, что он главный...

Они меня везут в чисто поле, и там я спекся, потому что они начали скидываться в благотворительных целях, и раскошелились все. Когда дошла очередь до меня, я сказал: «Дам пятьдесят долларов».

Они с меня сняли чехол и набросили мне на шею веревку. И вдруг вся жизнь моя прошла у меня перед глазами. Я вновь увидел себя ребенком. В Канзасе. Хожу в школу. Плаваю в луже. Ловлю рыбку. Жарю рыбку. Хожу в универмаг. Покупаю отрез для Эми Лу.

И чувствую я — не моя это жизнь. Они меня через две минуты повесят, а передо мной проходит не та жизнь. И я заговорил с ними. Я был красноречив. Я сказал: «Ребята, эта страна не выживет, если мы не будем друг друга любить независимо от расы, вероисповедания и цвета кожи». И их так растрогали мои слова, что они меня отвязали и отпустили домой, и этим же вечером я успел продать израильских долговых обязательств на две тысячи долларов».

Пока на пленке зрители смеются и аплодируют, Вуди говорит: «Здесь я чуть-чуть получше, потому что сам себе не кажусь таким уж молодцом. Все-таки не так противно. Какая-то в этом есть энергия. Все эти штучки со шнурами от микрофонов — дешевка. И в каждом моем фильме, как вы можете заметить, я хоть раз что-то такое проделываю,— говорит он, сняв очки и потирая глаза.— Это отвлекает от мысли о грубости материала. Это не совсем похоже на шутку. Что мне нравится у Боба Хоупа, так это то, как он может всю дорогу болтать и тем не менее не фальшивить».

Собственное отношение к своему эстрадному материалу оказалось для Вуди сюрпризом. «Я был совершенно уверен, что пройдут годы, и если ничего больше не удастся, я всегда смогу слушать записи своего выступления в ночном клубе и думать: «Вот, были же хорошие вещи». Но когда я слушаю их, они меня ужасают. Я себе кажусь неприятным, отталкивающим. Это не показная скромность. Я стараюсь быть честным». (Миа Ферроу однажды сказала: «Не думаю, что могла бы увлечься таким парнем хоть куда. Это совсем не тот Вуди, которого я знаю. Я могу представить себе его в Бруклине с семьей, но когда он показал мне записи своих ранних представлений, я сказала: «Неужели это ты?»)

Каким бы ужасным материал ни казался Вуди, он, безусловно, потрясающе смешной. Он судит себя строже, чем кто-либо другой, но на самом деле не это его больше всего огорчает. Если настоять, он согласится, что выступления у него были смешные. Грустно видеть их в ретроспективе; тут он похож на всякого, кто прожил часть жизни и внезапно столкнулся с прошлым, которое уже не впору. Фотография в «Лайфе» 1964 года, где он сидит на краю ванной, а его «жена» топит его детские кораблики, не соответствует тому серьезному кинорежиссеру, каким он является сейчас, точно так же как и рассказ в «Эсквайре» 1964 года, где он советует, как пережить колледж («Я не виноват, не сдал экзамены. Мой сосед по комнате хотел покончить с собой, и я потратил все силы, чтобы убедить его серьезнее относиться к учебе, сэр»). Он отверг все предложения составить видеозапись из его лучших выступлений на эстраде, потому что «я их ненавижу», говорит он.

Добавляя, что сделал бы пленку, если бы ему нравился материал, он немного лукавит, так как прекрасно знает, как сильно отличается он сейчас от того комика, который старался вызвать у зрителей смех. Его профессиональным развитием движет энергия, связанная с убеждением, что нужно все время идти вперед, имея перед собой, как говорит Вуди, движущуюся цель. Поэтому он раз за разом отказывается от смешных комедий, так как ему нравится рисковать, делать то, на что только способен, а порой — и больше того. («Интересная неудача» — так он отозвался об «Интерьерах» вскоре после окончания работы над фильмом, который кажется лучше с каждым следующим просмотром.) Кроме того, он знает, что давать публике год за годом одно и то же — это как сидеть в зыбучих песках, где полно алмазов: очень обогащает, но через некоторое время так затягивает, что не вылезти.

Сразу после выхода на экраны «Другой женщины» Вуди сказал: «Так как я делаю фильмы независимо и так много их сделал — и, надеюсь, буду продолжать делать,— думаю, не будет самонадеянным сказать, что через сто лет все же найдется время в году, когда станут их показывать. Думаю, даже те, что не были популярны, когда вышли, будут интересны благодаря тем, что более популярны, потому что, как минимум, во всех этих фильмах есть что посмотреть».

«Трудно найти определение самому себе и тому, как публика меня воспринимает. Я режиссер художественных фильмов, но не только. Многие годы я делал коммер-

ческие комедии, хотя они не были только коммерческими. Картины вроде «Бери деньги и беги» или «Бананов» были предшественниками такого фильм, как «Аэроплан», хотя в них нет и пятидесятой части того, что есть в «Аэроплане». Сначала меня воспринимали как комика, который делает комедийные фильмы, затем как человека, делающего такие высококачественные коммерческие фильмы, как «Энни Холл» и «Манхэттен». И, пытаясь отколоться и делать особенные фильмы, я вступил в область по-настоящему художественного кино, но это не кажется искусством, потому что я местный, я американец, меня много лет знали как коммерческую единицу. То есть на них не смотрят, как на иностранные фильмы — Франсуа Трюффо, Луиса Бунюэля, хотя в моих фильмах не больше коммерческого».

«Мне нужно было бы делать либо просто смешные коммерческие фильмы, комедии, политическую сатиру, чего многие ждут, что любят, над чем смеются, либо художественные фильмы. А я — посередине. «Пурпурная роза Каира», «Зелиг», «Эпоха радио» — вот примеры фильмов непопулярных, но они недостаточно эзотеричны, чтобы быть вполне художественными фильмами. Они попадают в особую категорию. Если это художественные фильмы, они должны быть сделаны очень задешево и показываться должны в двенадцати городах. А мои показывают в ста, во многих городах».

«Я изменился с годами. Я не следовал той логике, к которой стремился. Теоретически, на этом этапе моей жизни я мог бы делать — и, наверное, многие думают, что я должен был бы делать,— одну американскую комедию в год. Когда я делаю комедию, она смешная, она коммерческая и, наверное, более грамотная, чем большинство снимающихся комедий. Но я намеренно пошел в другом направлении. В общем, вместо того чтобы расти в смысле популярности, я поднялся относительно высоко и потом очень низко упал — правда, не с высокой горы, а всего лишь с пригорка».

Многие критики уверяют, что тайное желание любого клоуна — сыграть в драме; одна из газетных статей заканчивалась так: «Вуди Аллен не хочет играть Гамлета. Он хочет быть Ингмаром Бергманом». Вуди раздражают такие попытки разложить все по полочкам. «Не выношу заголовков вроде «Вуди мечтает о том, чтобы его принимали всерьез»,— продолжает он.— Это абсолютно неверно. Я не хочу, чтобы меня принимали всерьез. Меня и так принимают всерьез. К комедийным фильмам относятся совершенно серьезно, слишком серьезно. Не в этом дело. Мне иногда приходят в голову не комедийные мысли, это и хорошо и плохо. Я вовсе не сижу дома, мечтая, как бы сыграть Гамлета или чтобы меня приняли всерьез. Я просто хочу чувствовать себя свободным и работать, как мне приходит в голову и во всю силу».

Хотя он и утвердился вначале как комик, сейчас он художник в середине своего творческого пути, и работа его постоянно развивается. И если зрители жалуются, что Вуди не все время делает комедии, то это выглядит, как если бы они упрекали Пикассо в том, что он не растянул по сей день свой «голубой период».

Среди гостей, которых созвал Вуди в канун нового, 1977 года, был С. Дж. Перельман. (Из звездного алфавита здесь были все: на букву М значились Артур Миллер, Бетт Мидлер и Норман Мейлер.) Знакомый Вуди рассказал Перельману, как сильно восхищался им Вуди, когда начинал писать, и как усердно старался писать так же, как Перельман:

«Вы не можете себе представить, как усердно я старался писать, как я»,— ответил Перельман с невеселой ухмылкой.

Вуди, когда ему это рассказали, принял близко к сердцу двусмысленное положение, в котором оказался Перельман, а также то, как вел себя Джеймс Тэрбер несколько лет назад на дне рождения Лэрри Адлера, чародея губной гармошки. В течение вечера некоторые гости выступали: Джордж Лондон, оперный певец, пел, Адлер, который еще и замечательный пианист, играл. Когда Адлер закончил, Тэрбер встал и подошел к роялю, держа в руках бокал, полный шотландского виски.

«Джеми, сядь»,— позвала его жена.

«Нет, я хочу кое-что сказать»,— сказал Тэрбер. В комнате установилась тишина, все смотрели на него: «Я люблю музыку,— продолжал он, повысив голос.— Я всегда любил музыку. Я всегда хотел стать музыкантом. И кем я стал? — закричал он, ударив по клавишам.— Никем — только Богом — хлоп! — проклятым — хлоп! — юмористом!»

Как бы сильно ни критиковал теперь Вуди свои эстрадные выступления, он с готовностью признает, что «в коммерческом смысле это было прекрасное начало карьеры». И он прав. В точности как и предвидели Роллинс и Джофф, эстрадная карьера Вуди прямиком вела к карьере в кино. Он только все время опасается, как бы не сойти с катушек, подобно уважаемому пожилому джентльмену, который барабанил по роялю, пожалев, что не попробовал в жизни всего, что хотел.

Восемь киносценариев, которые написал Вуди — начиная с «Энни Холл» и кончая «Пурпурной розой Каира»,— изданы в виде книги и явно подходят для хрестоматий по сценарному искусству. Не иссякает постоянный поток комплиментов по поводу того, как насыщенно написаны сценарии, но все эти похвалы только забавны для Вуди, потому что он хорошо знает, что тексты оформились скорее в процессе переработок и пересъемок, а не благодаря искусному замыслу мастера. В некоторых фильмах случались памятные и совершенно неожиданные находки. Почти три дюжины очень существенных образов Нью-Йорка, которые открывают «Манхэттен», беглые кадры: горизонт, Бруклинский мост, Бродвей, гуляющие в парке, толпа на тротуарах, Парк авеню, рынок «Фултон фиш» и так далее — и под конец фейерверки в Центральном парке, куда взгляд ни кинь. Все предыдущие кадры были специально обдуманы и тщательно отсняты. Когда фильм был уже почти сделан, Вуди вдруг услышал о зависающем салюте, он нашел с Виллис и другими членами съемочной группы квартиру в западной части Центрального парка, и оттуда оператор, свесившись из окна ванной комнаты, заснял это зрелище. Обычно видоизменения и добавления бывают в большей степени намеренными, но как бы они ни возникали, все фильмы Вуди значительно меняются за время от написания сценария до выпуска в свет. Некоторые, например «Энни Холл», вообще мало похожи на то, с чего они начинались. В «Манхэттене» возникла серьезная проблема с окончанием, так как многие взаимоотношения приходили к некоторой развязке, а между двумя лучшими друзьями, которые оказались влюбленными в одну женщину, никак ничего не прояснялось. Маршалл Брикман, работавший вместе с Вуди над сценарием, настоял на том, чтобы Вуди написал сцену, где эти герои встречаются лицом к лицу. Первоначально было задумано, что объяснение между ними происходит по телефону, но на экране сцена не производила желаемого эффекта. Когда пишешь сценарий, всегда приходится балансировать: несколько обгонять зрителей, чтобы им было интересно, и немного отставать от них, чтобы они уже прочувствовали то, что они видят. Просмотрев первый раз фильм, Вуди и Брикман понимали, что нужно добавить что-то новое, но главная сложность той сцены, которую хотел ввести Брикман, состояла в том, что Вуди пришлось бы совершать на экране поступки, не свойственные ему в жизни: вопить, рыдать, падать духом в присутствии друга.

Брикман настоял на своем. Набросок сцены обещал быть душераздирающим. Сцена, которую написал Вуди, следует за эпизодом, где Мэри (Дайан Китон) говорит Айку (Вуди), что все еще любит Йейла (Майкл Мэрфи). Айк только что порвал отношения с Трэси (Мэри Хемингуэй) из-за возрождения своих чувств к Мэри, с которой он стал встречаться после того, как Йейл сказал ему, что у него с ней все кончено. Мэри неуклюже и жалостливо пытается просить прощения, но Айк не хочет ничего слышать. «Пойду подышу»,— говорит он и выходит на улицу.

Камера на мгновение останавливается на Мэри; она все еще сидит на кофейном столике, положив одну руку на колено, а в другой держа бокал вина.

В следующей сцене слышен марш, Айк быстро идет по нью-йоркским тротуарам, что-то бормочет про себя, жестикулирует, не обращая внимания на прохожих. Он входит в университет, проходит мимо двух девушек, смотрящих расписание. Все еще бормоча, он подходит к двери аудитории. Он стучит в маленькое смотровое окошко на двери. Йейл, ведущий занятие, поворачивается и видит своего друга. Айк жестом показывает Йейлу: выходи. И снова стучит. Йейл извиняется перед студентами и выходит из аудитории. Музыка прекращается.

Айк *(шепчет)*. Я хочу с тобой поговорить.

Йейл *(стоит у двери, держась за ручку)*. Что ты здесь делаешь?

Айк. То есть как что я тут делаю? Я говорил с Мэри! Ты хочешь что-нибудь сказать?

Йейл *(мягко)*. Ох, черт. Я хотел тебе кое-что сказать, но не... Тс-с. Там студенты.

Айк. Хм, так где мы можем поговорить?

Йейл *(двигаясь)*. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда.

Йейл тащит Айка по коридору к двери другой аудитории; они продолжают тихо говорить.

Айк. Где можно, куда можно пойти поговорить?

Йейл. Как ты прошел через вахтера?

Айк. Что ты хочешь сказать? Прошел мимо, и все.

Айк и Йейл проходят в дверь пустой аудитории. Она выглядела бы как простой школьный класс с деревянными партами и доской, если бы не два скелета, висящие у двери; кажется, что они наблюдают за разговором двух друзей.

Ты говоришь, что хочешь бросить Эмили — это правда? — и убежать вместе с победительницей... с выигравшей Приз эмоциональной зрелости имени Зельды Фицджеральд?

Йейл. Слушай, я ее люблю. Я всегда ее любил.

Айк *(вздыхая)*. Ты прямо с ума сойти какой друг, а?

Йейл. Я хороший друг! Я вас с ней познакомил, помнишь?

Айк. Зачем? С какой целью? *(Со смешком.)* Я не понимаю.

Йейл. Ну, тебе она нравилась.

Айк. Да, она мне нравится! Теперь она нам обоим нравится!

Йейл *(глядя в сторону)*. Да, мм, ну, мне первому она понравилась.

Айк *(скептически)*. «Мне первому понравилась». Тебе что, тебе что, шесть лет? Боже мой!

Йейл. Слушай... Я думал, что все кончено. То есть я хочу сказать, разве я стал бы тебе говорить: займись ею, если бы она мне все еще нравилась?

Айк подходит ближе к Йейлу; теперь он стоит рядом с одним из скелетов. Говоря, он находится на экране вместе с черепом скелета, который как бы все время ухмыляется, скаля зубы. Айк, погруженный в разговор с Йейлом, не обращает внимания на своего давно умершего соперника по экранному пространству.

Айк. Что ж, тебе она нравилась. Теперь она тебе не нравится. А тогда она тебе нравилась. Знаешь ли, еще не поздно. Ты можешь до обеда еще раз передумать!

Йейл. Хватит сарказма. Ты думаешь, мне нравится?

Айк. И долго же ты собирался с ней встречаться, мне ничего не говоря?

Йейл. Не превращай это, как всегда, в большую моральную проблему.

Айк *(все еще стоя рядом со скелетом)*. Ты бы мог сказать... тебе нужно было только позвонить мне и поговорить. Ты же знаешь, я способен понять. Я бы сказал «нет», но ты бы чувствовал себя честным.

Йейл. Я хотел тебе сказать. Я знал, что это тебя расстроит. Я — мм... у нас было несколько невинных встреч.

Айк. Несколько? Она сказала — одна! Знаете что, ребята, надо уметь сочинять. Вы бы хоть порепетировали.

Йейл. Мы два раза пили кофе.

Айк. Эй, хватит. Она не пьет кофе. Зачем же вы встречались? Скажи! Слишком уж романтично. Немного отдает старческим маразмом.

Йейл. Ну ладно, я не святой.

Айк *(жестикулируя в сторону скелета)*. Но ты... слишком уж все у тебя просто, согласен? Знаешь ли... в этом твоя проблема, в этом все твои проблемы. Ты все можешь объяснить. Ты обманываешь сам себя. Ты говоришь... что хочешь написать книгу, а в конце концов решаешь, что лучше купить «порше», знаешь ли, или ты наговариваешь на Эмили, мне чуть-чуть привираешь — а следом за этим знаешь что ты сделаешь? Окажешься в сенатской комиссии и будешь там называть имена! Доносить на друзей!

Йейл. Ты так уверен в своей правоте. Я хочу сказать, мы все люди, всего лишь люди. А ты думаешь, что ты Господь Бог!

Айк. Я... мне нужно с кого-то брать пример!

Йейл. Так нельзя жить, как ты живешь. Прямо совершенство.

Айк. Господи, что скажут о нас будущие поколения? Боже мой! *(Он показывает на скелет, наконец заметив его.)* Слушай, когда-нибудь мы будем — мы будем как он! То есть слушай — он, может быть, прекрасный человек. Он, может быть, танцевал, играл в теннис и все такое. И... и... *(опять показывает на скелет)* — и вот что с нами будет! Знаешь, очень важно быть цельной, что ли, личностью. Знаешь, я когда-нибудь буду висеть в классе. И — я хочу быть уверен, что когда... я иссохну, обо мне будут думать хорошо!

Камера показывает скелет, он виден теперь целиком. Айк уходит, затем Йейл.

Вуди считает, что провалил сцену. «Мне чего-то не хватало, и я перестарался. Я играл слишком нравоучительно!» Даже если это и верно, больше всего здесь поражает текст. Он трогательный и смешной и раскрывает перед нами два характера. Но именно поэтому он с тем же успехом мог бы быть частью романа, как и частью фильма; зрителя увлекает его литературная сила, а не кинематографическая — чего пытался добиться Вуди. Он стал режиссером прежде всего для того, чтобы отстоять себя как писателя. Безусловно, он был на это способен, и ему это удалось, как он говорит, потому что «режиссировал минимально, только передавая

высокий стиль, мешающий пониманию материала зрителями». Поясняя это, он говорит, что даже и сейчас не стал бы делать фильм в стиле барокко, как «Гражданин Кейн» Орсона Уэллеса. Однако сейчас он больше склонен брать на вооружение приемы кино и использовать эмоциональные эффекты камеры, ведя повествование так, как это возможно лишь на пленке.

«То впечатление, которое производит на вас «Персона» или «Амаркорд», нельзя никоим образом передать в книге,— сказал он как-то.— Вы получаете его из сочетания и музыки, и игры, и съемки, и постановки. Это звучит претенциозно, но тут вам приходится почувствовать на себе воздействие кино; именно впечатление от самого фильма дает вам эмоциональное переживание, когда вы смотрите его».

Ближе всего он подошел к этому в «Эпохе радио», где есть много моментов, которые можно было сделать только с помощью камеры. Фильм этот не столько сюжет, история или роль, сколько ряд переплетающихся происшествий. Каждое из них имеет начало, середину и конец, и все же у зрителя ни разу не возникает ощущения, что с каждым новым эпизодом все начинается сначала. В «Воспоминаниях о звездной пыли» используется особая съемка, усиливающая эффект передачи возвышенных, субъективных видений сошедшего с ума героя. В «Алисе» тоже есть сны и образы зрелищные, кинематографичные. Но «Пурпурная роза Каира», и «Ханна и ее сестры», и, конечно, «Преступления и проступки» могли бы быть романами, написанными на бумаге, как и «Энни Холл». Такое ощущение не возникает от фильма Акиры Куросавы «Семь самураев» или от бергмановских «Криков и шепотов», которые представляют собой драму почти без слов. Несмотря на то что Вуди сделал двадцать фильмов, он не воспользовался еще всеми режиссерскими приемами. Во-первых, он взял за основу комедию, которая была его сильной стороной. Затем он положился на текст, что было еще одной сильной стороной Вуди. Поэтому его не тянуло оторваться от сценариев, которые сами по себе полны смысла, и, обратившись к режиссуре, делать фильмы, воздействующие лишь благодаря кинопленке и камере. «Я думаю, что для меня важно это сделать,— говорит он.— Это трудно для американского режиссера, особенно режиссера с репутацией, каким я являюсь, потому что люди придут, и, скорее всего, им станет скучно — если я не сделаю это блестяще, а этого, скорее всего, не произойдет».

«Нам нужно всего несколько приемов,— говорит Вуди. И слегка улыбается.— Несколько приемчиков на миллион долларов».

Вдобавок к мучительному поиску концовок Вуди почти так же трудно находить для фильмов названия. Некоторые, например «Ханна и ее сестры» и «Бродвейская Дэнни Роз», пришли легко. «Энни Холл» возникла только в последний момент, а с «Зелигом» была огромная проблема. «Человек-хамелеон» и «Кошачья пижама» — лишь два варианта из десятков, лежавших в шляпе, которую Вуди пустил по рукам своих друзей. Но ни с одним из названий не возникало столько трудностей, как с «Преступлениями и проступками». Первый выбор Вуди — «Братья» — представлял собой ясное определение сложных взаимоотношений героев, и, узнав, что не может воспользоваться им, он растерялся.

Прошли месяцы в поисках другого названия, которое бы ему нравилось, и вот он сидел как-то за столом в операторской. Время было на исходе, и вскоре надо было делать выбор. Сэнди Морз сидела на стуле в нескольких шагах от него, и они говорили все, что приходило в голову. Поступило предложение: «Дело совести». Вуди покачал головой: «Мне не нравится «Дело»...— Он опустил взгляд на секунду, а затем поднял голову. — Нет ли какого-нибудь слова, которое бы обозначало состояние человека, вроде «фанданго», а?»

Он продолжал свободно ассоциировать. «Доктор Шенаниганс».— Он засмеялся.— «Решения. Решающие моменты. Соверши убийство. Две жизни. Что-нибудь еще». (Два последние уже предлагались.) «Преступления и суета». «Преступления и проступки» — и вариант — «Тяжелые преступления и проступки» — уже раньше предлагались, но первое не учитывало того, что хотел Вуди, а второе отдавало Гилбертом и Салливаном. Зазвонил телефон. Это был Бобби Гринхат. Они поговорили немного, потом Вуди спросил его: «Я думаю, тебе не понравится название «Господня молитва». Слишком отягощает фильм, как ты думаешь?»

Повесив трубку, Вуди взял блокнот и расчертил страницу на части. Он хотел найти взаимосвязи между глазами, Богом и успехом, а днем раньше один знакомый процитировал ему Эсхила, у которого это как раз обыгрывалось: «В глазах людей успех — это Бог». Ему тогда понравилась идея, но сейчас он, смеясь, сказал: «Не могу теперь это слышать.— Голос его зазвучал помпезно: — Название взято из Эсхила». Он записал предполагаемые названия в соответствующих разделах.

ДОБРО И ЗЛО

Добрые и злые дела
Моменты добра и зла
Сцены добра и зла

НАДЕЖДА

Проблеск надежды
Надежда и тьма
Слабая надежда

ГРУППА ВЗГЛЯДА

Глаза Бога
Окна души
Глазами души
Темный взгляд
Взгляд Бога

ВЫБОР

Дело выбора
Выбор во тьме
Решающие моменты

Пока они разговаривали, он заполнял остаток страницы каракулями.

«Пустой выбор»,— сказал кто-то. Вуди не понравилось.

«Будут насмехаться. Это как «Сомнительные решения». Такие названия звучат вполне в духе таких картин — слишком по-коммерчески. Но сказал же Джеф Каценберг (заведующий студией Уолта Диснея) однажды за обедом, что не найти трех слов хуже, чем «Общество умерших поэтов».— Он заглянул в свой список.— «Глаза Бога. Взгляд Бога».— Он покачал головой.— Не много ли мы хотим от гуляющей публики, которая вышла за покупками».

Еще одну проблему нужно было быстро решить. В конце фильма Бен, слепой раввин, которого играл Сэм Уотерстон, танцует со своей дочерью на ее свадьбе все время, пока играет музыка — до самых последних титров. Вуди планировал использовать песенку «Всегда», но когда услышал, что Стивен Спилберг делает фильм под этим названием, он справился у него, не собирается ли тот использовать эту песенку. Спилберг собирался (хотя потом Ирвинг Берлин не дал на это согласия), тогда Вуди сказал, что подыщет что-нибудь другое,— акт вежливости, о котором он теперь сожалеет, потому что ничего подходящего не нашлось. Еще одна проблема возникла со слепотой Бена, так как название со словом «глаза», например, «Только мои глаза видят тебя» или «Ох, погляди!» оказывалось неловкой и неуместной шуткой. (В конце концов он все же использовал «Увидимся», так как ничего лучшего не нашел.) Он и Сэнди называли друг другу песни, то и дело снимая пластинки с полок большого стенного шкафа или раскрывая каталог «ASCAP». Он хорошо знает все стоящие песни от 1900 до 1950 года и сотни использовал в своих фильмах. Кроме того, он смотрел снова и снова тысячи фильмов, а помнит их особенности почти так же ясно, как шахматный гроссмейстер помнит тысячи ходов. «Заставь верить» мы уже использовали в «Сентябре»,— сказал Вуди.— «Встретимся снова»... но Кубрик использовал ее в фильме «Доктор Стрэйнджлав». А хорошо звучит: мягко, как нам нужно. «Пока проходит время» — нельзя, «Я слишком много мечтаю» — мы уже использовали. Не хочу брать Гершвина из-за «Манхэттена». Коул Портер не подходит для концовки. «Как прекрасно влюбиться» — но песенки Ирвинга Берлина нельзя использовать вне фильма (и в титрах). А что если «Каюсь...»?

«Уже — в «Сентябре»,— говорит ему Сэнди.

«О'кей.— Он замолчал.— Я хочу чего-нибудь, чтобы чувствовалась «тема Лары», а это — вальс.— Он опять замолчал.— «Я увижу тебя» — это в «Крахе Эдипа». «Ты слишком красива» — было у нас. «Заколдован» — у нас было «Романтично, не правда ли?»...

«Уж не думаешь ли ты, что это подходит?» (Использовано в «Ханне и ее сестрах».)

«Нет ли чего у Вернона Дьюка? У Дюка Эллингтона, конечно, ничего. Чересчур джазово. У Портера все слишком сексуально, скорее что-то романтическое. Не подойдет. Что-нибудь из Леонарда Бернстайна? «В городке». «Моя сестра Эйлин». Слишком уж большой выбор».

Так много всего, из чего можно выбирать: песни, названия, титры. К тому времени, когда у Вуди сложился вариант фильма, который ему нравился, пятнадцать больших картонных коробок, заполненных роликами не вошедшей в фильм пленки, выстроились вдоль стены съемочной комнаты: начало отношений Вуди и Миа, кадры, запечатлевшие жителей дома для престарелых, где она работала в теперешнем своем перевоплощении, герои и сцены, что пришлось выбросить в угоду безжалостному темпу, неизбежному в фильме, где сюжет должен двигаться вперед.

Знакомая Вуди, пересмотревшая несколько вариантов фильма, после съемки последнего эпизода взглянула на сваленные в груду коробки. «Я так хорошо узнала этих людей,— сказала она.— А теперь как будто жизни их стерли».

«Мне тоже жалко их терять,— сказал ей Вуди,— особенно второе отступление с моей сестрой (где у нее свидание с человеком, который кажется подходящим

женихом, но выясняется, что он сумасшедший), но требования кино перевешивают. Я не могу сделать еще одно отступление, как в романах. Это плохо. Я хотел провести больше сюжетных линий. И я старался не делать конец слишком счастливым. Именно это мне не нравилось в «Ханне». Я отказался от первоначальной концовки, потому что она не нравилась *никому*».

Затем он добавил: «Мне кажется, если бы еще денек поснимать... и с теми людьми, кого я хочу...» Его мысли вслух были прерваны смехом находящихся в комнате. Вуди посмотрел на них широко раскрытыми глазами. «Я серьезно»,— сказал он. Он всегда говорит серьезно. Какой бы фильм ни готовился к выпуску, Вуди всегда задает один и тот же риторический вопрос: «Что, есть у нас еще время?»

■

С. ФАЙБИСОВИЧ

СЛОВО О «БОЛЬШИХ» И «МАЛЫХ» ХУДОЖНИКАХ, или Некоторые размышления об историко-культурологических аспектах бытования изобразительного искусства

Организация встречи произведения искусства и его потребителя — одна из основных задач культуры. У изобразительного искусства эта задача носит специфический характер, поскольку здесь, в отличие от тиражируемых литературы, музыки, кино, возможности непосредственного контакта произведения и зрителя весьма ограниченны. Поэтому увеличиваются роль и ответственность посредника, а также соблазны, подстерегающие его. В современной культуре мы, например, наблюдаем ситуацию, когда люди, выступающие на этом поприще, вместо того чтобы сводить произведение со зрителем, стараются развести их как можно дальше и занять собой освободившееся пространство. Одни заливают его своей специфической духовностью, другие устраивают на нем ярко освещенную сцену и там ерничают, замыкая на себе внимание и зрителя, и художника.

Есть художественные журналы, но они не просто «органы», они себя ровно таковыми мыслят и потому обслуживают исключительно «тело» искусства, не обращая никакого внимания на тех, кто желает хоть одним глазком взглянуть на это тело со стороны. Предлагаемый разговор на страницах такого рода изданий невозможен хотя бы потому, что не найдет там своего адресата.

Логика и интуиция подсказывают, что таковой адресат, то есть зритель, скорее всего, читатель толстых литературных журналов, поскольку культура визуального восприятия — одна из составляющих общей культуры, наиболее ярким, традиционным местным воплощением которой является интерес и любовь к литературе. Этот интерес толстые журналы старательно удовлетворяют, знакомя подписчика с произведениями, а также со всевозможной критикой и комментариями. В качестве зрителя, однако, сей подписчик полностью предоставлен сам себе как в смысле артикуляции своих непосредственных впечатлений, так и в возможностях соотнесения их с соответствующим опытом других подписчиков. Попробуем посильно и хотя бы отчасти восполнить этот пробел.

В иерархии культурных ценностей западного общества изобразительное искусство играет гораздо большую, чем у нас, роль. Мощные институты коллекционирования и дилерства, галереи и аукционы, торгующие современным и старым искусством, вездесущая критика, бесчисленные разделы изобразительного искусства в популярных журналах — далеко не полный перечень атрибутов его сегодняшнего существования, перманентного бума, длящегося (разумеется, со своими апогеями и перигеями) вот уже несколько десятилетий.

В связи с изложенными резонами надеюсь, что читателю, интересующемуся иностранной литературой, разговор, построенный, в основном, на впечатлениях от зарубежных коллекций изобразительного искусства старых мастеров, также будет интересен.

Речь пойдет о ряде впечатлений, которые упорно уже много лет не совпадают с ожидаемыми, то есть не вполне согласуются с принятым взглядом, сформированным курсами истории искусств, альбомами и монографиями, телепутешествиями по залам всевозможных музеев и т. п., взглядом, казавшимся некогда самоочевидным, единственно верным и непререкаемым. В общих чертах суть его в том, что в истории изобразительного искусства все логично, стройно и справедливо: были гении, создававшие шедевры — они и висят во всех музеях на самых видных местах; были выдающиеся мастера — они также заслужили внимание потомков; ну, и дошли до нашего времени некоторые работы малоизвестных и неизвестных авторов, забавные вещицы, нечто этнографическое, фоновое, призванное, будучи распихано по углам, создавать атмосферу времени, обрамлять шедевры гениев. Иногда, правда,

гениев обнаруживают задним числом, через несколько сот лет после смерти, когда человечество дорастает до послания, отправленного ему мастером, опередившим время. Так было с Эль Греко, с Вермером Делфтским, долго числившимся одним из «малых голландцев». Но эти исключения лишь подтверждают общее правило.

* * *

С тех пор как советская власть начала баловать нас привозными выставками из знаменитых коллекций и музеев мира, стало возникать некоторое смущение. Его источником являлось постоянно воспроизводимое обстоятельство — великие имена далеко не всегда оказывались представлены великими работами. Более того, лучшими часто оказывались работы малоизвестных художников или вообще, как значилось на этикетках, неизвестных авторов. Этот феномен оказался столь устойчивым, что начал стимулировать возникновение версий, объясняющих его. Ну например (в случаях государственных собраний), нам везут не лучшие работы, потому что «эти» всегда не на том экономят и не хотят платить крупные суммы страховки шедевров. Или (в случаях частных коллекций) — конечно, все шедевры гениев в государственных музеях, куда частнику с ними тягаться, ему лишь бы «имя» заполучить, а уж что там на холсте вышло — дело десятое, вот он и пробавляется относительными неудачами великих. Ну а если имена поменьше, или совсем маленькие, или вовсе отсутствуют, тогда цены пониже, музеи нос воротят, в общем, можно собрать удачные работы не очень в целом удачливых авторов. Мой знакомый поэт говорил, что у всякого плохого поэта есть два-три хороших стихотворения, потому что если всю жизнь писать стихи, то два-три нечаянно получатся. И у художников, наверное, так. думалось мне: на «имя» не потянули, но пару отличных вещей сделать сподобились. Даже облек эти соображения в подобие формулы: «лучшие вещи худших лучше худших вещей лучших». На том и успокоился.

* * *

Пришли новые времена, и удалось то, что раньше казалось совершенно невозможным, вернее, «не про нас» — коегде побывать и кое-что посмотреть своими глазами, а именно лучшие государственные и частные коллекции Венеции и Лондона, Нью-Йорка и Флоренции, Рима, Вашингтона, Кёльна и т. д. Увидеть то, что к нам возили по кусочкам, показывали в слайдах на лекциях, то, что репродуцировалось в альбомах, и то, что до этого никогда и нигде не попадалось на глаза. Общая картина стала постепенно проясняться: странные перекосы привозимых экспозиций оказались константой, общим местом лучших мировых собраний, и доморощенные логические версии рассыпались как карточный домик.

Выяснилось, что частные собрания по качеству, как правило, выше национальных. Ба, так у нас ведь Третьяковка тоже лучше Русского музея! Ну действительно, стал бы Павел Михайлович тратить жизнь и, почитай, все средства на собирательство, не будь он страстным любителем и ценителем художественной продукции. А Русский музей — императорское собрание. Императоры и императрицы что, в изобразительном искусстве сильно разбирались? Видеть — это дар, его к титулу не пришпилишь. А если иногда и разбирались, сами, что ли, по мастерским бегали? А чем другие европейские династии лучше? Вот доверенные лица на казенный счет и собирали национальное достояние.

Из этого правила, разумеется, были исключения, и, разумеется, реальный процесс собирательства сложнее и многообразнее предложенной схемы, с массой специфических особенностей, рассеянных в пространстве и во времени. Я лишь отмечаю очевидную, сквозную, ощутимую закономерность. Примеров много, один из самых наглядных — Freak Collection, относительно небольшое, в замечательном особняке частное нью-йоркское собрание, на голову превосходящее набитую «именами» коллекцию государственного Metropoliten Museum, расположенного неподалеку.

Далее, постоянно воспроизводимой оказалась ситуация, когда на почетных местах висят слабые работы, принадлежащие кистям художников с самыми крупными мировыми именами. Если попытаться опять оперировать здешними аналогиями, окажется, что и в этой ситуации ничего особенного нет. Скажем, на определенном этапе наше искусствоведение и музейная, выставочная работа ориентировались на вкусы Сталина и его подручных. Эти вкусы во многом совпадали со вкусами широких народных масс, что опять же неудивительно: и с той и с другой стороны имел место дефицит культуры визуального восприятия как частный случай общего дефицита культуры (который, в свою очередь, являлся частным случаем всеобщего дефицита). Или если бы, скажем, Брежневу и его команде (не забудем про жен) вздумалось собирать современное искусство, залы музеев наполнились бы под завязку глазуновыми и шиловыми, и опять трогательное совпадение с чувствами, вкуса-

ми и предпочтениями массового зрителя было бы гарантировано (можно, пожалуй, считать везением, что Леонид Ильич всей душой предавался коллекционированию автомобилей).

Элементы такого рода популизма отчетливо прослеживаются и в принципе формирования многих крупнейших коллекций. Наверное, филиппы и луи-филиппы, пии, елизаветы и марии антуанетты были, в целом, покультурней иосифов, никит и леонидов (во всяком случае, те из них, кто коллекционировал искусство), но интенция подбора работ под вкусы и культурный уровень властителей, похоже, существовала всегда. А желающих творчески и интеллектуально обслуживать именно этот уровень во все времена было более чем достаточно, ведь искусство принадлежать народу есть одновременно искусство принадлежать его властителям, и наоборот. Так что Шилов и Глазунов — лишь частный, наиболее близкий нам во времени и пространстве случай достаточно устойчивого, перманентно воспроизводившегося синдрома. Чего стоит хотя бы по-глазуновски посредственная, не отягощенная решением профессиональных задач живопись Веронезе и Тинторетто — любимых художников венецианских дожей. В отличие от Глазунова, хорошие работы этих авторов все же встречаются, но редко.

Ни в одном из собраний не встретил ни одной работы Рафаэля, сколько-нибудь соответствующей по своим художественным качествам его беспримерной славе, а сродство некоторых вещей, например, портрета папы Юлия II из Национальной галереи в Лондоне с шиловскими портретами просто поразительное. Сикстинскую Мадонну не видел, но уже питаю мало иллюзий относительно возможной встречи. Дело в том, что появившейся возможностью прямого, непосредственного взгляда на произведение была снята аберрация зрения, происходившая от знакомства с шедеврами в основном по репродукциям. Репродуцирование вообще по своей природе занятие не слишком корректное: даже в качественном исполнении оно усредняет оригиналы, что-то отнимает у хорошей живописи и что-то прибавляет вещам сомнительного достоинства, а уж воспроизведение шедевров в том виде, в котором нам зачастую только и удавалось с ними соприкоснуться, оставляло огромный простор для фантазии и, во всяком случае, не позволяло занять определенную позицию, отличную от предлагаемой версии.

В общем, по мере устранения зрительной аберрации становилось ясно, что предлагавшаяся нам шкала ценностей является выраженно аберративной по отношению к непосредственным впечатлениям от живого визуального контакта с произведениями.

Меньше всего в этой связи хотелось бы спорить о вкусах. Дело не в том, что кому-то нравится сладкое, а кому-то соленое, а в том, можем ли мы доверять собственному зрению или обязаны смотреть на старых мастеров через некую систему призм, обеспечивающих «исторический взгляд». Вкусовая — лишь одна из предлагаемых призм. Разумеется, вкусы бывают разные, и у людей, живших давно в разных местах и условиях, они отличались от наших, и, безусловно, следует их уважать, но значит ли это, что мы, таким образом, лишаемся права уважать свой вкус, то есть смотреть на то, чем они восхищались, также будучи способны восхититься, но не обязательно ровно тем же самым?

Однако более существенным в этой связи представляется другой разговор. Навязывание культурно нагруженного, опосредованного, облагороженного веками почитания взгляда является, мне кажется, актом неуважения и недоверия и к зрителю, и к художнику. По отношению к художнику предполагается снисхождение типа: «Ну, понимаете, это было столько веков назад, для того времени это было просто потрясающе...», как будто речь идет о шахматной игре или воздухоплавании. «Окультуренный» таким образом зритель готов восхищаться чем угодно, даже не подозревая, что сквозь толщу веков иные мастера обращаются прямо к нему на языке, качество и сила которого нисколько не пострадали от времени, что бывает как раз только в искусстве, особенно пластическом, язык которого самый древний и один из самых универсальных. А для иных художников, да, «исторический взгляд» — удобное прикрытие.

По отношению же к зрителю подобная установка является профанацией, превращает акт смотрения картин в род идолопоклонства, а потому не побуждает к напряжению сил, неизбежно связанному со всякой духовной работой, в том числе и с восприятием произведений искусства.

Показательный пример двойной страховки такого типа — концепция «намыленной иконы», то есть санкционированное многовековым поклонением табуирование критики признанных шедевров. Это уже не навязывание опосредованного, «намыленного» взгляда вместо непосредственного, это уже его диктатура — завязывание глаз и затыкание рта.

Наружное наблюдение далеко не всегда подтверждает самоочевидное с точки

зрения иерархического подхода предположение, что гении пишут шедевры, то есть аксиому, согласно которой то, что написано гением, и есть шедевр. Конечно, право на ошибку, неудачу нельзя отнимать даже у самых великих, но где количество неудач переходит в качество оценки? Может, иерархия изделий, конкретных результатов корректнее иерархии имен? Печать несомненного гения Рубенса хранят его редкие пейзажи и многочисленные эскизы, но никак не разностильные огромные полотна, которыми завешаны, почитай, все музеи. У Тициана в Национальной галерее в Лондоне один портрет восхитителен, а синий атласный рукав на первом плане просто потрясает, встречи со многими другими творениями маэстро вызывали лишь недоумение. Также трудно уразуметь, как гениальный график Гойя мог наделать столько беспомощных по рисунку и часто сомнительных по живописным качествам полотен, а тем более снискать себе через них мировую славу. Может, и тут дело в том, что Гойя был модным придворным художником, любимцем королевской семьи? Ну и потом, его «Махи»: одна одетая, другая раздетая, все только об этом и говорили.

Конечно, «придворный художник» — не приговор. И дворы бывали разные, и художники при них — тоже. Веласкес, Микеланджело, Леонардо и не только они в таковых ситуациях создавали шедевры. Я не против придворных или каких-либо других казенных творцов, я против подмены непредвзятых, по возможности, оценок мифотворчеством.

Слово «прерафаэлиты» знают, вероятно, многие. А многие ли видели работы этих художников или представляют себе, в каком они роде? В середине прошлого века в Англии члены этого недолго просуществовавшего братства в своих работах обозначили возможности и импрессионизма (вместе с Тёрнером), и сюрреализма, и даже фотореализма, а еще критического реализма, попозже возникшего в России в форме передвижничества, самое интересное — они были ПРОТИВ Рафаэля, а не ЗА, как нас уверяли на лекциях наши маститые искусствоведы, и в чем, по крайней мере, некоторые из них до сих пор уверены. Прерафаэлиты считали, что на Рафаэле живопись закончилась, что он засушил ее, омертвил, увел от возможностей, связанных с живым, непосредственным восприятием, и призывали — на словах и на деле — вернуться к этим возможностям и использовать их.

Отношение прерафаэлитов к Рафаэлю ясно не только по их работам, не только из названия группы — «пре», а не «про» и не «при»,— оно зафиксировано аннотацией на стене зала с их работами в галерее Тейт в Лондоне, и, казалось бы, хоть одному советскому или постсоветскому «веду» достаточно было бы хоть раз зайти в этот зал.

Вот мы подошли к вопросу: а судьи кто? Как формируется иерархия или система иерархий, которой нас потчуют?

Во всем, что касается современного искусства, судьи — критики, а в том, что касается искусства прошлого — искусствоведы. Эти институты существовали не всегда, но в течение уже многих поколений человечество потребляет изобразительное искусство в основном через призму критических и искусствоведческих версий.

Да, во всех сферах искусства судить о нем, как правило, берутся люди, более приспособленные именно к этому, чем к функционированию на его производительном поле. Но у критики и искусствоведения есть ряд специфических особенностей, одна из которых отмечена в самом начале статьи. Другая, резко отличающая их от, скажем, литературной критики или литературоведения, в том, что они переводят разговор с пластического языка на русский, английский, немецкий и т. д., то есть функционируют в пространстве качественно принципиально ином, чем то, в котором функционируют объекты их внимания и законы их восприятия [1]. В силу этой разницы критика и искусствоведение зачастую рекрутируют людей, любящих изобразительное искусство, неглупых и амбициозных, но недостаточно, в том числе и визуально, одаренных для выступления на художественном поприще. Бывает, они начинают с такого выступления, но терпят фиаско. Множество конкретных биографий — тому подтверждение. Искусствоведение и критика, учитывая отмеченные здесь и ранее особенности, подчас становятся для таких людей полем компенсации, а то и реванша. Тут свои законы, свои правила игры и соблазны, своя слава и плюс к тому, уже в отличие от художественного функционирования, своя власть. Что же касается популяризаторских функций... Слово, например, хорошо приспособлено для передачи жизненных

[1] Это не совсем так в случае постмодернизма, который проделал существенную работу по сближению языков критики и собственно художественной деятельности, в том числе посредством выталкивания искусства из зоны эмоционально-чувственного обмена, а также отказом от критериев качества и мастерства. Сближение в рамках такой конвенции позволило критике в форме кураторства взяться за руководство художником и художественным процессом напрямую, выступить главным персонажем художественной ситуации.

коллизий или умственных построений, а кого могут увлечь, скажем, рассуждения о валерах, лессировках, импримату-рах, теплых и холодных, отступающих и выступающих тонах и т. п.?

Нет ничего плохого в том, что существует еще одна форма самовыражения, позволяющая желающим получать творческое удовлетворение в доступной форме. Грустно, что усилия непосредственного общения с произведением все настойчивей объявляются этими людьми докукой, областью произвола и вкусовщины, хотя, мне кажется, дело обстоит ровно наоборот. Как и для чего реализует свои возможности современная критика, мы уже отметили, ну а искусствоведы видят свою задачу в том, чтобы создать, а затем обслуживать стройную теорию, проще говоря, расставить художников по тому или иному ранжиру и довести этот ранжир до сведения человечества.

Спору нет, систематизация — вещь хорошая и нужная, а многое в истории искусств действительно требует контекстуальных пояснений. Беда в том, что в силу своих возможностей и интенций искусствоведы часто вынуждены или предпочитают опираться на косвенные свидетельства силы художника и его значение и посему подчас оказываются в невольном или добровольном плену популистских вкусовых и других преходящих обстоятельств его жизни и творчества, то есть неизбежно связанные с таким подходом элементы произвола, пристрастности, поверхностности и случайности вплавляются в ткань истории без надлежащей корректировки глазным, например, зрением. И закравшееся когда-то недоразумение, как в случае с прерафаэлитами, воспроизводится затем раз за разом, из поколения в поколение, становится общим местом (в данном случае региональной) культуры [1].

Сами искусствоведы, однако, не ощущают особого беспокойства по поводу косвенности собираемых ими улик. Ведь эта косвенность есть привязанность к культурной ситуации, а они как раз «люди культуры», и потому для них культурологический аспект деятельности фигуры, именуемой «художник», то есть контекст, как правило, важнее текста. Если художник активно вписывался в культурную ситуацию своего времени, как следует «засветился», да еще и почитался гением современниками, эта оценка с какими-то корректировками переносится в исторический контекст и экстраполируется на все времена. Так создаются «имена». Редкие исключения лишь подтверждают правило — без «легенды» в историю искусств не попасть: если художник тихо и спокойно писал хорошие или даже потрясающие картины, это мало кого потрясало и среди современников, и потом. Так возникали малоизвестные художники или неизвестные, если на картине не стояла подпись.

Помню разговор на кухне у моего друга, поэта Михаила Айзенберга, где мы просидели года с семьдесят второго до самой перестройки. Наш общий приятель, имевший в компании, кажется, самый высокий социальный статус редактора журнала «Декоративное искусство», долго и самозабвенно описывал сюжеты противостояния Глазунова и МОСХа [2] и излагал идеи, которые у него в связи с этим возникли. Он был удивлен, когда мы попытались перевести разговор на художественное качество изделий столь жарко и яростно противоборствующих сторон и обратить его культурологическое внимание на художественный андерграунд, где, по нашему мнению, происходили гораздо более интересные, в том числе в профессиональном отношении, вещи. «Что толку писать об андерграунде,— сказал наш приятель,— мне не важно, какой художник Глазунов, он умеет заставить о себе говорить, его противостояние с МОСХом является актуальной культурной ситуацией, а андерграунд вне культуры и потому никому не интересен».

Через несколько лет ситуация существенным образом изменилась (не в том смысле, что все встало на свои места, а в том, что всплыла на культурную поверхность еще одна легенда — об андерграунде — со своими героями, иерархиями и т. п.). Но ведь могла и не измениться. Так и продолжали бы культурологи, критики и искусствоведы как ни в чем не бывало говорить и писать о Глазунове и МОСХе, левом МОСХе и правом МОСХе и т. д. А потом все это

[1] Реальное отношение прерафаэлитов к тому, кому они обязаны названием своей группы, зафиксировано не только на стене галереи Тейт, но также и в некоторых изданиях на русском языке, скажем, в трудах известного английского историка искусств Рёскина, а, например, в Советском энциклопедическом словаре этот вопрос аккуратненько обойден.

Возможно, при формировании своеобразной, противоречащей фактам здешней искусствоведческой версии данного сюжета сыграло роль и характерное для тоталитарной советской культуры стремление к однозначной оценке любых явлений, фактов и персон, паранойя простых ответов, деление всего на «наше», то есть превосходное во всех отношениях, и «не наше» — и тогда недостойное ни одного доброго слова. Поскольку Рафаэль наряду с Пушкиным, Джордано Бруно и т. д. был признан «нашим» гением, какие у кого могут быть к нему претензии?

[2] МОСХ — Московское отделение Союза художников.

примерно в том же виде попало бы в историю мирового искусства: «Да, вот такое было искусство в Москве в 70-е (80-е, 90-е) годы двадцатого века, другого не было». Именно в этом и уверял тогда всех на Западе уважаемый господин Людвиг [1], позволивший здешним официальным экспертам ввести себя в заблуждение.

Следует упомянуть элитарный аспект бытования искусства, также важный для понимания специфической природы искусствоведческих и критических амбиций. Станковое произведение [2], а, в сущности, разговор о нем, изделие штучное, нетиражируемое и никакими другими способами адекватно не воспроизводимое (авторская копия — вещь не столь уж частая и не меняющая сути дела). Оно существует только в виде оригинала и в этом смысле не имеет аналогов в других искусствах (за исключением архитектуры, но это совсем другой разговор), а потому, помимо прочего, является престижным объектом коллекционирования и соответственно имеет высокую индивидуальную цену. Станковые произведения первоначально даже и не предназначались для случайного или массового зрителя, а только для заказчика, покупателя. Соответственно, возникновение коллекций предшествовало возникновению экспозиций, то есть изначально в изобразительное искусство вкладывались серьезные деньги и амбиции собирателей, и потому естественно, что институты искусствоведения и критики в качестве одной из мотиваций своего возникновения имели как раз задачу арбитража, определения и фиксирования иерархии ценностей (цен) как универсального эквивалента амбиций существующих и будущих обладателей и, таким образом, обзавелись собственными апломбом и амбициями. Со временем они росли и приобрели несколько гипертрофированные черты, что не может не сказываться на «выражении лица» этих институтов.

Конечно, у критиков и искусствоведов другой взгляд на роль, значение и специфику своих занятий, и они имеют не меньше прав на самооценку, а также, в силу рода занятий, на оценку художника, чем художник на оценку их усилий со своей стороны. Но есть нюанс. Для них заниматься критической оценкой художника, в том числе и уничижительной, дело нормальное, привычное и абсолютно безнаказанное. Художнику же критические, тем более публичные непиететные высказывания в их адрес никогда даром не проходят и потому случаются исключительно редко. Любой художник прекрасно понимает, что критики и искусствоведы выдают пропуска: первые — к прижизненным, вторые — к посмертным признанию, успеху, славе. Испортишь отношения с канцелярией, и все — пропуска тебе не видать, и даже нет возможности длить иллюзию надежды.

* * *

Мы уже коснулись некоторых причин, объясняющих малоизвестность или анонимность авторов множества прекрасных работ, висящих в залах музеев, но сказанное не объясняет, как эти работы все-таки туда попали. Будь комплектование этих коллекций и экспозиций целиком в руках искусствоведов, недоразумений такого рода было бы меньше.

Именно талант зрителя, дар непосредственного видения, доверие своему чутью не меньшее, чем текущей моде, иерархии цен и преобладающим вкусам, во все времена толкали и толкают людей, обладающих к тому же достаточными средствами, собирать произведения искусства «глазами, а не ушами», как выразилась известная американская галерейщица Филлис Кайнд. (Среди искусствоведов и критиков люди с талантом зрителя, к тому же искренне и бескорыстно служащие искусству, тоже есть — отдадим им должное и снимем шляпу. В пространстве своих профессий они занимают примерно то же место, что «малые» художники — в своем цехе.)

Рано или поздно собранные «глазами» коллекции становились и становятся национальным достоянием цивилизованных народов, составными частями государственных коллекций или самостоятельными музеями. Так работы «малых» художников попадают на глаза «рядового» зрителя. Имена их редко и мельком упоминаются в бесчисленных трудах по истории изобразительного искусства, произведения их редко репродуцируются в изданиях, посвященных знаменитым собраниям, но если вы попадете в любой такой музей, не тратьте силы на разглядывание венецианских грязнуль, не рвитесь к окруженному толпами экскурсантов смердяще-слащавому Рафаэлю, не пытайтесь обнаружить касания гениальной кисти Рубенса на огромных кашеобразных картинах, выполненных работниками его художественной фабрики, не гоняйтесь за призраком

[1] Петер Людвиг (р. 1925) — крупнейший немецкий промышленник и меценат, коллекционер современного искусства.

[2] Станковым называется произведение светской живописи или графики ручного изготовления, не имеющее никаких прикладных функций и целей, как-то: иллюстрация, роспись и т. п., то есть предназначенное исключительно для экспонирования.

гения Тициана и Гойи: вам может повезти, а может — нет. Смотрите Рембрандта, Хальса, Вермера, Веласкеса, Беллини, Кранаха, Ватто, Брейгеля, Констебля и других подлинных мастеров, висящих на почетных местах. Но потрудитесь также подойти к часто небольшим работам, висящим, как правило, по углам или в верхнем ряду. Имена авторов, если они и указаны, вряд ли что-нибудь скажут вам, и вы их вряд ли запомните. Но ощущение праздника от встречи с их произведениями останется с вами надолго, возможно — на всю жизнь. Это ощущение Присутствия. Ощущение того, что есть вещи поважнее славы и успеха, что перед вашими глазами обращенное лично к вам послание, фрагмент того вечного разговора, который и есть — искусство. И может быть, стоя перед работами «малых» художников, вы подумаете, что верное, честное и талантливое служение своему призванию, в сущности, достаточная награда художнику, да и любому человеку: радостная, благодарная и даже немного почетная земная доля.

■

КАРЕН ХЬЮИТТ

«ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛИ» В МОСКОВСКОМ МЕТРО

На моем рабочем столе лежит увесистый том — роман «Любовник леди Чаттерли» из нового кембриджского собрания сочинений Д. Г. Лоуренса. Мне предстоит писать отзыв на этот том для серьезного академического журнала — обстоятельство, которое скорее удивило бы самого Лоуренса, поскольку он презирал академический мир (и не без оснований). Еще большее удивление вызвал бы у него громкий успех его последнего романа. Сюжет произведения знаком даже тем, кто роман не читал. Леди Чаттерли и ее любовник, егерь Меллорс, обрели прочное место в пантеоне литературных персонажей, шагнувших за пределы создавшей их литературы. Читатели «ИЛ» [1] не так давно получили возможность прочесть роман по-русски — кстати, из всех произведений Лоуренса это активнее всего переводится в разных странах мира. Однако, трудясь над своим романом, автор сознавал, что он отнюдь не будет популярен, более того, его даже вряд ли окажется возможным опубликовать. Лоуренс создал три версии романа, причем каждая последующая становилась более вызывающей и отчаянной, чем предыдущая, попыткой «научить людей жить». «Любовник леди Чаттерли» ставит вопросы даже перед своими почитателями — отчасти из-за проповедуемой в нем доктрины, отчасти из-за неразберихи с тем местом, которое роман занимает в истории английской культуры. Путешествуя по России на протяжении последних двух лет, я частенько вспоминаю события, происходившие с Лоуренсом в 1928 году и со всей Англией в ноябре 1960 года, и провожу параллели между этими событиями и теми, что сотрясают нынче Россию.

Лоуренсу удалось напечатать роман в 1928 году в Италии, где он воспользовался услугами небольшой семейной фирмы. Распространять книгу в Британии не было возможности — там ее сочли непристойной. (Естественно, экземпляры романа путешествовали по стране тайком, и «просвещенному» книгочею 30-х годов уже полагалось иметь роман у себя на полке. Однако официально ничего не менялось на протяжении 30 лет.) В 1960 году издательство «Пенгвин букс», печатающее серьезную литературу в бумажных переплетах, решилось издать 200 тысяч экземпляров (невероятное количество для Британии!) несокращенного текста и предстать за это перед судом. Судебный процесс длился 13 дней. В защиту романа выступали университетские профессора, критики, журналисты, беллетристы, утверждавшие, что это произведение — вполне достойная, честная, даже радостная вещь. Были и другие критики и журналисты, выступавшие с позиций обвинения: они восставали против непристойных словечек и описаний полового акта и настаивали, что книга принесет читателям вред. Присяжные, то есть обыкновенные граждане, наделенные здравым смыслом, не поверили, что чтение романа может оказаться настолько вредным занятием, хотя многие из них сочли его скучным и непонятным. Издательство было признано невиновным, и роман Лоуренса наконец-то пришел к англичанам, для которых и предназначался.

Что последовало за этим? Книга разошлась в миллионах экземпляров. Юные мотоциклисты сбавляли скорость, зачитываясь классиком; пожилые леди на цыпочках подкрадывались к библиотекарям и шепотом просили «Леди Ч.». «Пенгвин» спасся от банкротства и даже разбогател. Студенты выстраивались за книгой в очереди, убеждая при этом друг дружку, что она «скучна и наивна», но преисполненные решимости найти главные страницы и узнать, как же Лоуренс изображает самый загадочный, интимный, захватывающий из всех способов человеческого общения. Одни были глубоко растроганы, другие шокированы. Многие сочли кое-какие сцены комичными до абсурда — ту, к примеру, в которой Конни и Меллорс украшают цветочками интимные участки тела друг друга. Некоторые пытались подражать любовникам. Одинокие пригорюнились... В научных журналах разгорелся спор об анальном сношении — кульминационном откровении Меллорса. Однако очень скоро до людей дошло, что роман — не учебник секса. Тем, кто надеялся прозреть, он говорил очень немного, а вычитанное оказывалось малодостоверным. Дело в том, что Лоуренс писал несколько об ином — о чувствах и жизненных ценностях.

Последствия судебного процесса для культуры сказались не сразу, и свидетели защиты не могли их предвидеть. Тот факт, что «Любовника леди Чаттерли» смогли напечатать, означал, что Британия вовсе не так туго спеленута законом о непристойностях, как нам до того казалось. Романисты, журналисты и драматурги получили свободу без оглядки писать про секс, режиссеры, фотографы и телевизионщики — показывать сцены, которые до процесса были бы неминуемо

[1] См. «ИЛ», 1990, № 9—11.

запрещены, политики и комментаторы — излагать свое отношение к сексуальному поведению человека в мельчайших подробностях, была бы аудитория. (На самом деле законы становились либеральнее постепенно, и каждая стадия послабления означала расширение свободы.) Неудивительно, что так называемые «популярные» сочинители принялись тысячами изготовлять так называемые «эротические» сочинения: мрачные, грубые, мелодраматические описания секса, часто сопряженного с насилием. Серьезные писатели тоже повели себя более раскрепощенно — то ли оттого, что прониклись убеждением, будто без подобных описаний их искусство неполноценно, то ли уступая настойчивости издателей, требующих «сексуальных» сцен, положительно влияющих на сбыт книг. Примерно то же произошло с кино и телевидением; последнее вдобавок спровоцировало мощные дебаты в обществе. Появились объединения, ставившие целью оградить зрителя от «порнографии» и «грязного языка»; объединились и их противники, взявшиеся защитить зрителя от самозваных цензоров.

Язык быстро менялся. Непристойные и грубые слова регулярно появлялись в книгах и звучали в эфире в интересах «реализма» и «честности». Писатели экспериментировали с лексиконами и метафорами, добиваясь достоверности при описании сексуального поведения. С лингвистической точки зрения мы выиграли по части простонародной живости речи и проиграли по части тонкости иносказания. В области визуальных искусств художественный кинематограф остался уделом меньшинства, зато в магазинах воцарилось изобилие фотографий и полупорнографической и чисто порнографической журнальной продукции. Лучше стало, пожалуй, с информацией — для молодых, зрелых и старых, для застенчивых и изощренных.

Нам разумеется, не дано знать, насколько изменилось интимное поведение людей. Несмотря на сотни социологических зондажей, люди умеют защитить себя от попадания в ту или иную категорию. Однако откровенные картинки «интима», не спрашивая мнения тех, для кого они предназначены, вторглись в их частную жизнь, где прежде властвовало «почтительное умолчание», оно же «лицемерие».

За перемены в культурно-ценностных ориентирах, происшедшие в 60—70 годах, несет ответственность не один «суд над леди Чаттерли». Здесь сказались также прогресс в медицине, технике, гуманное и цивилизованное правление, сила коммерции, возжелавшей нажиться на возможностях визуального ряда, далекие от политики фантазии молодежи, особенно молодых писателей и художников, а главное, музыка «Битлз» и их последователей — все это способствовало созданию как радостной, красочной атмосферы экспериментирования со свободой, так и отъявленной вульгаризации и коммерциализации секса. (Одно из последствий, которого не могли предвидеть защитники Лоуренса, состояло в том, что опыты многих писателей были вызваны желанием выразить не столько радость секса, сколько неудовольствие от него. С другой стороны, превратилось в норму оказывать друг другу знаки интимного внимания прямо на улице.) Знаменитое стихотворение Филипа Ларкина «Annus Mirabilis», не вполне точное в отношении фактов, но очень английское по комичности, меланхолии и насмешливому отношению автора к самому себе, является прекрасным комментарием к сказанному:

> Половые сношения
> Начались с тысяча девятьсот
> шестьдесят третьего года.
> Чересчур поздно для меня.
> Когда на Чаттерли прошло гонение
> И пение «Битлз» прогремело.

Как бы отнесся сам Лоуренс к последствиям судебного процесса? Он не обнаружил бы нежности, за которую ратовал, но одобрил бы красочность (вспоминается энтузиазм Меллорса по поводу красных штанов и спонтанности влечения). У него вызвали бы отвращение пестрящие повсюду картинки и фотографии, а похотливость книжных и журнальных откровений нагнала бы на него тоску. Однако вряд ли все это сильно бы его удивило. В эссе, написанном два года спустя после романа и названном «По поводу «Любовника леди Чаттерли»», писатель признавал, что его вера в сексуальные отношения как источник духовной и эмоциональной правды подверглась нападкам с трех сторон: на него ополчились люди, страшащиеся секса и шарахающиеся от любого упоминания о нем; люди, для которых секс — одна лишь порнография, непристойные шуточки и унижение женщины; умная «современная» молодежь, «потребляющая секс, как коктейли, и глумящаяся над любовью». По мнению Лоуренса, наибольшую опасность представляет последняя категория, подверженная глубокой нравственной деградации. Все три позиции он считал производными от недоверия и в свойственной ему безапелляционной манере восклицал: «Однако сегодня существуют только притворные чувства, особенно в любви. Всех нас научили эмоционально не доверять другим людям, вплоть до собственных родителей. Никому не доверяй своих подлинных чувств, если таковыми располагаешь,— таков лозунг сегодняшнего дня... По-моему, никогда еще между людьми не царило такого недоверия, как сегодня,— вот подоплека поверхностного, хоть и реального, общественного доверия. Очень мало кто из моих знакомых залезет ко мне в карман или усадит на стул с гвоздем. Но практически все как один с готовностью высмеют мои подлинные чувства. Это происходит помимо их воли: таков сегодняшний дух. Вот участь любви, вот участь дружбы: ведь и то, и другое невозможно без твердой симпатии, идущей из глубины души». Эти горькие строки вышли из-под пера Лоуренса на закате его жизненного пути. Истинный вопрос заключается, возможно, в следу-

ющем: увеличила ли свобода писать о сексуальных переживаниях нашу способность к взаимному доверию? Возобладала ли честность над притворством? Или Лоуренс покусился на непосильную задачу, вознамерившись изменить человеческую натуру?

Одной приверженности идеям и взглядам еще недостаточно, чтобы именоваться подлинным художником. Лоуренс потому и был большим писателем, что прочувствовал и нашел слова, чтобы изобразить самые, пожалуй, личные, неустойчивые движения человеческого сердца. Он отвергал стандартные формулировки из области психологии, языковые стереотипы и готовые эмоциональные болванки. Вместо всего этого он нащупывал свежие слова, чтобы рассказать нам же о переживаемом нами, сделать это нашим личным достоянием. Интимные переживания обретают у него разное обличье: к примеру, в «Сыновьях и любовниках» это озлобленность жены против пьянчуги-мужа, которую она вынуждена подавлять ради детей; невысказанная любовь отца к сыну — смешанная со стыдом, поскольку он не в силах преодолеть брезгливость, которую чувствует к нему мальчик; молчаливый экстатический восторг молодой пары, любующейся в сумерках розовым кустом,— восторг, в который они силятся обратить взаимное сексуальное разочарование, от которого ни он, ни она не могут отрешиться; виноватый смех хором в долгие часы напряженного ожидания кончины старой женщины... Именно в таких мимолетных и одновременно основополагающих ситуациях Лоуренс наводит между своими персонажами мосты.

В отличие от остальных прозаиков, сосредоточенных на определенных героях или общественных конфликтах, Лоуренс помещает в центр своих романов человеческие взаимоотношения. Для него любые реальные отношения находятся в развитии, вследствие чего самостоятельная ценность человека, проявляющаяся при его контакте с другими людьми, делается непригодной для анализа и навешивания ярлыков. Писатель ставит самого себя в трудное положение: как быть понятым читателем, если ничего не известно наверняка, если негде остановиться и перевести дух? В «Любовнике леди Чаттерли» эта трудность еще больше усугубляется, так как здесь неопределенность вынужденно соседствует с отчетливым нравоучительством. Здесь присутствуют глубоко личные моменты: Клиффорд в мнущем колокольчики кресле-каталке, толкаемом Меллорсом, который тоже нездоров, причем оба скрывают друг от друга уязвленную гордость; Конни, умиротворяющая страдающее от одиночества сердце прогулками по лесу, где утешением ей служит «сдержанное безмолвие старых деревьев»; наконец, самая пронзительная сцена, когда Меллорс наблюдает за бездетной женщиной, беззвучно рыдающей над фазанятами, и из сострадания впервые дотрагивается до нее... Никто еще в английской словесности не создавал подобных сцен, даже пришедшие после Лоуренса писатели, многому у него научившиеся.

Что беспокоит многих читателей — так это то, что отношения Конни и Меллорса зиждутся как будто исключительно на половом влечении. Поскольку Конни — богатая женщина, привязанная браком к другому дому, любовники не имеют возможности совместно трудиться, выполнять домашнюю рутину, всячески взаимодействовать; они не проникают в глубины интеллекта друг друга, не опутаны паутиной общественных связей, друзей, и в их отношениях нет поэтому места для юмора, иронии. Все, чем они располагают,— это хрупкая, хотя и волнующая сексуальная взаимозависимость. Хрупкость эта вынужденно сосуществует с настойчивыми утверждениями Лоуренса, будто его любовники относятся к тем немногим счастливчикам, кто нашел путь к спасению. Неудивительно поэтому, что даже самые пылкие почитатели Лоуренса полагают, что подобное спасение — дорога в странноватый рай, где им припасена пустота и скука.

Лоуренс не был, разумеется, простаком и видел проблему столь же трезво, как любой другой. «Любовник леди Чаттерли» — не просто история двух одиноких людей. Одновременно это — полемический выпад, адресованный англичанину 1928 года. В этом романе вся ярость и отчаяние Лоуренса из-за духовного самоуничтожения страны нашли выход в попытке отыскать решение. Первая же фраза романа звучит так: «В столь горькое время выпало нам жить, что мы тщимся горечь эту не замечать». Трагедия, по Лоуренсу, заключается в помешательстве на деньгах, уродстве, духовном бесплодии — всем том, что разрушает подлинные человеческие чувства. Сейчас нелегко определить, был ли его анализ объективно справедлив. В любом обществе соседствуют идеалисты и сребролюбцы, красота и уродство, интеллектуальный полет и пришибленность. Таким видит мир Лоуренс-художник, и из-под его пера выходят могучие образы, олицетворяющие эту трагедию.

Вот как, например, описывает он автомобильную поездку Конни Чаттерли по Тивершоллу, шахтерскому поселку вблизи имения ее мужа. Лоуренс родился и вырос как раз в таком поселке, однако в прежних своих вещах он не сосредоточивался на уродстве родных мест. Теперь, в сорок с небольшим, он, повидав мир, иными глазами взирает на условия, в которых влачат существование миллионы англичан, и не может сдержать гнева.

«Автомобиль взбирался вверх по холму, по грязным, беспорядочным улочкам Тивершолла с раскисшими, припорошенными угольной пылью обочинами, мокрыми черными тротуарами, мимо закопченных кирпичных домов под черной, тускло блестевшей гранями черепицей. Все смотрит исподлобья, угрюмо. Отрицание природы, отрицание радостей жизни, отсутствие инстинкта прекрасного, свойственного любой живой твари, интуитивного чувства гармонии — все это повергало в ужас».

Лоуренс имеет в виду не столько бедность — угледобытчики Ноттингемпшира жили как раз достаточно зажиточно,— сколько непригодность подобной среды для выживания человеческой духовности. Для Клиффорда Чаттерли шахтеры — всего лишь механизмы, добывающие для него уголь, и у Лоуренса выходит, что сами шахтеры мирятся с такой приниженной ролью. Не ведая «радостей жизни», они все глубже погружаются в уродство и всю свою жизнь измеряют деньгами. Разумеется, на прожитье необходимо зарабатывать, но раз деньги возведены в ранг единственной ценности, то у людей не остается времени, чтобы заниматься чем-то из бескорыстных побуждений. Сперва родители, а потом и их дети утрачивают «инстинкт прекрасного». Они забыли, как строить с любовью, что значит небезразлично относиться к предметам, используемым в повседневной жизни. (В одном эссе о жизни шахтеров поколения своего отца Лоуренс подчеркивает именно их открытость миру природы, удовольствие, с каким они что-то мастерят, непосредственность, с какой они поют, танцуют... Теперь он замечает, что прежний мир сменился миром денег.)

Аналогичные процессы он наблюдает в обществе состоятельных людей. Привилегированный класс не живет в окружении уродства, однако, несмотря на образованность, наслаждение комфортом и знание мира, он так же ущербен духом. Это люди, утерявшие жизненную интуицию. Они застенчивы, они страшатся подлинного человеческого общения со всеми его сложными, глубокими, болезненными страстями, поэтому и создают для себя мир заумных словесных игр. Так они обороняются от истинных мыслей и чувств.

(Некоторые полагают, что в этом заключается слабость англичан, даже по сию пору. Нас обвиняют в страхе перед нашими же собственными чувствами, в постоянной готовности к «необязательному щебету» — лишь бы нас не вовлекали в эмоциональные проблемы других людей. Не знаю, к кому это больше относится — к собственно англичанам или к другим обитателям Британских островов. Во всяком случае, о Лоуренсе этого никак нельзя было сказать, ибо он упрекал своих соотечественников именно в этом грехе.)

Если и рабочие, и работодатели, их деревни и города, дома любых размеров и все прочее претерпевают некую духовную порчу и подвержены уродству, то где искать правду, искренность, красоту? Возможен лишь один ответ: в природе и в любовной страсти. Спокойно гуляя по лесу и лежа в хижине в объятиях Меллорса, Конни вынуждена не кривить душой. «Человек долго может обманывать себя, искажая собственные чувства. Но не вечно. Само тело восстает и наносит безжалостный удар»,— говорит Лоуренс. Поэтому он пытается показать, как между Конни и Меллорсом время от времени проскакивает заряд искренности и нежности, образуется духовный поток, помогающий превозмочь банальность, уродство, алчность старушки Англии.

Однако человеческие отношения не выдерживают подобной идеологической нагрузки. Даже в символическом смысле это звучит неубедительно, ибо влюбленные прячутся в глухом углу, на задворках Англии. Меллорс рассуждает о том, что «заниматься любовью надо с горячим сердцем» («fucking with a warm heart»),— фраза, звучащая по-английски нелепо и гротескно, пусть мы и способны расслышать в ней попытку романиста научить нас уму-разуму. Слишком многое отвергнуто — в том числе миллионы бедных, ограниченных людей, которые, по его мнению, не умеют делать этого при должной температуре сердца, поскольку живут в уродливой обстановке. Что за чушь! И высокомерная в придачу. Конни с Меллорсом могут у себя в хижине упиваться любовью, но они не живут в нормальном мире, не могут его спасти и к тому же преподносят ему неважный пример.

И все же, все же... В мечте Лоуренса есть что-то доброе, теплое, настоящее. Возможно (тут я возвращаюсь к «процессу Чаттерли»), в его атаке на уродство имелась доля истины. Подобно остальным людям моего поколения, выросшим до отмены «запрета на Чаттерли», в мире, где порнографию можно было отыскать исключительно под прилавком, я в отчаянии наблюдала, как свежеобретенная в соответствии с законом свобода ведет не к честности с открытостью, а к мозолящим глаза сексуальным журнальчикам, непристойной рекламе на стенах домов и вездесущей речевой вульгарности, покушающейся на интимные чувства. Помнится, будучи молодой матерью, я ненавидела то, что мои дети день за днем учились принимать как должное. Предполагалось, что эти перемены будут вершиться во имя свободы, но мы и тогда знали, что все это делается ради денег. Что за причудливая ирония: Лоуренс своим романом выдернул затычку из нового источника уродства, напрямую связанного с деньгами!

Мало-помалу до нас доходила необходимость принятия законов, с помощью коих можно было бы совладать с ситуацией. Свобода — непростое явление: она всегда предполагает и «несвободу». Торговцы журналами и плакатами наслаждались свободой; однако и нам оказалась нужна позарез свобода НЕ смотреть вопреки желанию на картины из интимной сферы, из которых вытекало, что секс — епархия денег, а никак не любви. Кроме того, нам предстояло прийти к пониманию того, насколько запутанна вся ситуация. Поборники цензуры и защитники вседозволенности долго спорили, до хрипоты. Сегодня достигнут компромисс: порнография, разумеется, до сих пор доступна, однако действуют законы, ограничивающие ее разгул. Законы эти постепенно изменили культурную жизнь. При желании мы можем забавляться или распаляться при зрелище обнаженного тела на сцене или на некоторых пляжах, можем читать в газетах и журналах все что нам

заблагорассудится (в конце концов мы взрослые люди) о том, чем люди занимаются, как, где и с кем. Однако у нас есть выбор, смотреть на это или не смотреть. В последнее время кое-кто из лучших наших прозаиков стал писать о любви трогательно, независимо от степени откровенности языковых средств. В данной сфере достигнут более-менее разумный компромисс. Однако ни я, ни кто-либо другой не знаем, нанесло ли прочитанное или увиденное кому-либо тот или иной ущерб...

Картины в московском метро напоминают мне период, когда в Англии еще не существовало закона, определяющего, что можно показывать публике, а что нельзя (впрочем, должна признать, что непристойность в вашем метро еще больше, чем когда-то у нас, и еще сильнее навязывается любому, хочет он на это любоваться или нет). Конечно, огульно сравнивать Англию и Россию немыслимо. Ослабление цензуры в СССР, нараставшее с 1985 года, по значению неизмеримо превосходит отмену английских законов о непристойности в 1960 году. Когда к людям начинают относиться как к взрослым гражданам, способным самостоятельно решать, что им читать, а писателям перестают угрожать за попытки писать о том, что лично им кажется истиной, то этому можно только радоваться. Однако не бывает свободы без последствий, поэтому сейчас, когда у вас можно публиковать откровенно сексуальные материалы, вы наверняка задаетесь теми же вопросами, которыми задавались в свое время мы, хотя у вас скачок от умалчивания к безбрежной откровенности был гораздо резче. Вспоминая мольбу Лоуренса о красоте и искренности полового контакта, я начинаю интересоваться, какие мысли бродят в головах у русских, шагающих по залам и переходам одной из наиболее известных столичных достопримечательностей. Неужели изображения роскошных девиц в чем мать родила греют их холодным зимним утром? Или они усматривают в них уродливое отрицание истинных переживаний? Улучшили ли обретенные наконец-то свободы художественный уровень русской литературы, стала ли она благодаря им мудрее? Стали ли люди счастливее благодаря большей информированности? Утратили ли они «инстинкт прекрасного», или, напротив, он у них понемногу восстанавливается? Что вам больше по душе — порнофильмы или прежнее официальное ханжество? Способны ли мы с легкостью отрешиться от того, что нахально лезет нам в глаза, и погрузиться во внутренний мир, покатываясь от невидимого снаружи внутреннего смеха? Приносило ли нам вред то опостылевшее, что кануло в прошлое?..

Лоуренс очень старался, чтобы «Леди Чаттерли» вышла красивой книгой, и местами добился своего. Одновременно это — сердитый дидактический роман, в котором автор упорно поучает, что́ в человеческой жизни неверно и как следует жить. В центре — нестерпимое противоречие. С одной стороны, Лоуренс преисполнен отвращения к человеческой жизни. Что говорить, уродство разрушительно, но ведь обитатели уродливых поселений все равно остаются людьми, не утратившими стремления к прекрасному. Лес, по которому прогуливается Конни, красивее шахтерских поселков и прочих образчиков индустриальной цивилизации, однако дух денег проникает и туда. Как и дух любви... Ум — не враг чувствам, и увлечение Лоуренса — человека безусловно большого ума — примитивизмом нельзя расценить иначе как измену. Для того чтобы сберечь разгоревшийся между ними огонь, Конни и Меллорс поворачиваются спиной к уродству, деньгам, изыскам ума, а вместе с этим — к способности веселиться, гневаться, к изобретательности, алчности, взаимовыручке, грязи, спорам, шуткам — короче, ко всему тому, из чего сплетен тугой клубок человеческой жизни. Не чрезмерна ли такая утрата?

С другой стороны, Лоуренса сделал крупным художником не его гнев (при всей силе этого гнева), а его образный язык, его слух к сердечным движениям. Он был в избытке наделен той самой «человеческой интуицией», которой ни за что не найти в Тивершолле. Вот откуда берется жизненная мощь его романа. Конни, наклоняющаяся к крохотным пушистым фазанятам, Меллорс, берущий фазаненка у нее из рук или чуть позже вытирающий ее досуха простыней, страшный момент, когда он, закончив возню со шнурками и подняв на нее глаза, видит на ее лице ужас,— все это моменты огромного напряжения, без которого, как считает Лоуренс, человеческий дух не выживет в этом горластом, тесном мире. В конечном итоге он не открещивается от жизни, а возвращается к ее истокам — инстинкту и интимным таинствам.

Поэтому мне кажется, что, попав в безумную свистопляску, завертевшуюся после «процесса Чаттерли», он бы не на шутку прогневался, однако как творец обнаружил бы где-нибудь в уголке города пример своего «инстинкта прекрасного» — двоих, соединившихся на одно чудесное мгновение и одухотворяющих все окружающее. Несомненно, даже в московском метро, при всей вульгарности картин, открывающихся там взору, он бы набрел на цветы — те, которые люди выращивают для самих себя. Другое дело — как бы он отозвался об академическом издании «Любовника леди Чаттерли» с прилежно воспроизведенной безалаберной авторской пунктуацией и глубокомысленными комментариями насчет распространенных приемов в технике секса... Тут мое воображение бессильно. Надеюсь, это вызвало бы у него просто смех.

Перевод с английского А. КАБАЛКИНА

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

1994: ЮБИЛЕЙ НЕСЛУЧИВШЕГОСЯ ГОДА

(К десятилетию «года Оруэлла»)

Из множества критиков, писавших десять лет назад о «1984» Оруэлла, почти все сочли своим долгом указать на уникальность ситуации: отмечалась не годовщина написания книги, не юбилей исторического события — отмечался год, в котором происходят вымышленные события, время действия романа. Разумеется, критиками (и в еще большей степени журналистами) скрупулезно собиралось и подсчитывалось все, что сбылось: в 1984 году каждый случай нарушения прав человека, слежки или пыток служил к вящей славе умершего тридцать с лишним лет назад английского прозаика [1]. При этом само чествование Оруэлла-провидца должно служить подтверждением того, что его предсказания не сбылись. Или — если сбылись — то не там и не так [2].

Отмечалось непроизошедшее событие, фиктивный юбилей. И сама его фиктивность приятно щекотала нервы, словно отмечался несостоявшийся конец света. А поскольку эсхатология почти всегда устремлена в будущее, а не в прошлое, то десятилетний юбилей неслучившегося года выглядит еще более странным.

Однако за прошедшие десять лет слишком много случилось в *Евразии*: так, проблема тоталитаризма, находившаяся под запретом, была из-под него извлечена, обсосана и отброшена, как потерявшая интерес для всех, кроме специалистов. И вместе с ней был отставлен в сторону роман Оруэлла, остающийся для подавляющего большинства (пост)- советских читателей книгой исключительно о тоталитаризме.

Мне кажется, что мало кто в России так хорошо понимал ошибочность этой точки зрения, как умершая три года назад Виктория Чаликова, много лет занимавшаяся творчеством Оруэлла [3]. Ее работа, изданная десять лет назад в третьем выпуске «ДСПешного» ИНИОНовского сборника «Социокультурные утопии XX века», и сегодня остается лучшей из всего, что было написано об Оруэлле на русском языке. Эта статья посвящается ее светлой памяти.

Не будем останавливаться на политическом смысле «1984» (во всяком случае, в его узко «антисоветском» варианте) и посмотрим на роман в более широком контексте, тем более что книга Оруэлла более чем какая-либо другая позволяет это сделать.

При ближайшем рассмотрении «1984» читается как несколько разных романов. Сегодня, когда наличие многократного кодирования (автор создает как бы несколько произведений: одно — для рядового потребителя, другое — для специалистов-филологов или искусствоведов, третье — для психоаналитиков и т. д.) считается отличительной чертой постмодернистского искусства, можно видеть, что Оруэлл, с опаской относившийся к интеллектуалам, почти ничем не уступает здесь авторам «Лолиты» и «Имени розы».

Лингвисту «1984» предлагает прежде всего *лингвистическую утопию*. Различные языковые новшества можно найти и у предшественников Оруэлла (например, замена имен цифрами у Замятина), однако никто не подходил к этому так продуманно и последовательно, как он. Его проект не только гиперболизированно отражает языковую практику тоталитарных режимов, проанализированную в знаменитом эссе «Политика и английский язык», но также служит хрестоматийным примером реализации одного из основных положений лингвистики XX века, известного под названием гипотезы Сепира-Уорфа, согласно которой грамматические категории и лексика языка определяют мышление индивида, этим языком пользующегося. Другим хрестоматийным примером является написанный за несколько лет до того (но вряд ли знакомый Оруэллу) и, кстати, также содержащий отсылки к роману «О дивный новый мир» Хаксли, рассказ Борхеса «Тлен, Укбар, Orbitis Tercius». Можно также говорить о связи идей Оруэлла с Оксфордской лингвистической школой или идеями раннего Витгенштейна (достаточно симптоматично уже то, что главное философское утверждение романа: «дважды два — четыре» представляет собой, в полном соответствии с «Логико-философским трактатом» последнего, простую тавтологию).

---

[1] Можно назвать даже несколько книг, специально посвященных этой проблематике: *T. Winnifrith, W. V. Whitehcer.* «1984» and All's Well?

L., 1984; Reflection on America, «1984». An Orwellian Symposium. Ed. by R. Mulvihill.

В 1994 г. только газета «Сегодня» откликнулась саркастической мистификацией «Милей Большого Брата она ему была» (7 июня 1994 г.).

[2] Эта двойственность тоже была предсказана Оруэллом. В самом начале романа он размышляет о тех, кому адресован дневник его героя: «Либо завтра будет похоже на сегодня (то есть на мир «1984».— *К. С.*) и тогда не станет его (Уинстона) слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона ничего ему не скажут».

[3] Не случайно ее посмертно опубликованный диалог с В. Недошивиным назывался «Неизвестный Оруэлл» («ИЛ», 1992, № 2).

Доказательством того, насколько удачной получилась лингвистическая утопия Оруэлла, служит та страсть, с которой она опровергается. Критика идеологии «новояза как языка тоталитаризма» ведется в двух основных направлениях. Элизабет Трогофф [1] отмечает, что идея новояза нереализуема в силу того, что нельзя создать «окончательный вариант» языка: за счет своей способности к развитию любой язык неизбежно выходит из-под контроля своих создателей. С другой стороны, указывают на то, что некоторые конструктивные признаки новояза (такие, как абстрактность или вложенность в язык определенной идеологии) неизбежно присутствуют в любом языке, в том числе — в языке самого Оруэлла. В связи с этим Пол Делани [2] обращает внимание на те абстрактные термины, в которых описаны переживания Уинстона во время его первого свидания с Джулией (мы еще вернемся к этому эпизоду). В этом осознании «порочности» любого языка — корень главного отличия героя Оруэлла от персонажа современной культуры, осознающего свою детерминируемость навязанным ему языком и типом мышления: поле битвы переносится в черепную коробку, и единственная победа, на которую он может рассчитывать,— это определить те границы, за которые не может выйти его сознание.

Иначе говоря, тоталитаризм обычно обходится без тех мощных преобразований, которых требует создание нового языка. Впрочем, и сам роман Оруэлла не противоречит этому тезису: В. Чаликова подметила, что, хотя персонажи все время говорят о новоязе, кроме нескольких слов, новояз никак не представлен в романе: палач и его жертвы изъясняются безукоризненно-кристальным оруэлловским английским.

Возможно, для современного культуролога наиболее примечательным в «1984» является нарисованная Оруэллом картина всевластия масс-медиа. Речь идет не только о том, что при владении средствами массовой информации становится реальным полное изменение прошлого, как это практиковалось в СССР, но и о том, что информационная среда вытесняет в сознании жителей Океании действительность. В согласии с проповедуемым О'Брайеном солипсистским подходом, реальности не существует, и в мире «1984» это действительно так: для жителей Океании существует только *гиперреальность*, фабрикуемая бесконечными телекранами: «вполне вероятно, что обуви вообще не произвели. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и, главное, не желает знать». Используя известное выражение Ж. Бодрийара, можно сказать, что в подобном мире любая метафора реализуется с ужасающей неизбежностью. Речь идет даже не о том, что сам Старший Брат является только метафорой мощи и власти партии, не о лозунгах, трансформирующих и подменяющих собой реальность. Во время беседы с Уинстоном О'Брайен выражает готовность продемонстрировать ему, что любое — самое бессмысленное — высказывание может быть одето партией в плоть и кровь: «Земля — центр Вселенной. Солнце и звезды обращаются вокруг нас. Конечно, для определенных задач это не годится. Когда мы плывем по океану или предсказываем затмение, нам удобнее предположить, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды удалены на миллионы и миллионы километров. Но что из этого? Думаете, нам не по силам разработать двойную астрономию?»

Умножая модные трактовки «1984», нетрудно отметить, что для жителей «Взлетной полосы 1» *история кончилась*: Океания *всегда* воевала с Остазией, Старший брат *всегда* был лидером партии, партия тоже существовала *всегда*. Рассказы о дореволюционной Англии становятся все глуше и глуше и — по всей видимости — вскоре исчезнут совсем. О'Брайен мог бы и не обещать Уинстону, что партия исключит его из истории,— все жители Океании уже существуют вне истории. (Впрочем, справедливости ради надо отметить, что идеи «1984» ближе не к модному Фукуяме, а к современнику Оруэлла Родерику Сейденбергу, книга которого, озаглавленная «Постисторический человек», вышла через год после «1984».)

Для многих читателей «1984» остается прежде всего трагической *историей любви*. Присмотревшись внимательнее, нетрудно заметить, что это скорее «история любви и ненависти», центр которой образует треугольник О'Брайен — Уинстон — Джулия.

Говоря об О'Брайене и Уинстоне, легко соблазниться очевидной латентно-гомосексуальной подоплекой их отношений — большинство критиков соблазна этого не избежали. Действительно, Уинстон признается, что пишет свой дневник для О'Брайена, постоянно думает о нем, еще до первого шага О'Брайена к их сближению, испытывает к нему сильнейший приступ любви во время пыток в мини-любе. О'Брайен, в свою очередь, чувствует нескрываемую симпатию к Уинстону («Мне нравится с вами разговаривать,— объясняет он ему в перерыве между пытками.— Меня привлекает ваш склад ума.») и похожую на ревность неприязнь к Джулии (он почти не говорит с ней во время их тайного свидания, с пренебрежением описывает ее поведение Уинстону и т. д.). Вдобавок ко всему крысы попали в роман Оруэлла из книги Мирабо «Китайский сад пыток», в которой их, однако, запускали не на лицо пытаемому, а в его анус, в чем при желании также легко увидеть гомосексуальный подтекст. Помимо этого существует еще некий случай крысофобии, описанный Фрейдом, еще более запутывающий дело (соответствующая работа, однако, была переведена только после смерти Оруэлла, достаточно прохладно относившегося к психоанализу, чтобы читать его основателя по-немецки) [3].

Более убедительной выглядит трактовка, согласно которой пара О'Брайен — Уинстон рассматривается в контексте отношения к жен-

[1] *E. C. Traugoff.* Newspeak: Could It Really Work? — in «On «1984» ed. by P. Stansky. N. Y., 1983.

[2] *P. Delany.* Words, Deeds and Things: Orwell's Quarrel with language — in «George Orwell: A Reassessment» ed. by P. Buitenhus and I. Nadel. L., 1988.

[3] *M. Harris.* From History to Psyhological Grotesque. The Politics of Sado-Masahism in «1984» — in «George Orwell: A Reassessment»; *P. Robinson.* For the Love of Big Brother. The Sexual Politics of «1984» — in «On «1984».

щинам в романе. Суммируя результаты нескольких работ, можно сказать, что партия, не случайно символизируемая Старшим Братом, выступает в «1984» как мужчина, женщины же представлены Джулией и погибшей матерью Уинстона. Именно с ними связано возрождение Уинстона, именно женщины в «1984» несут в себе природный «здравый смысл» и подлинную любовь. Не случайно Джулия постоянно ассоциируется с матерью Уинстона: она так же заботится о нем и на первое же свидание приносит ему «настоящий шоколад», словно мать незадолго до своего исчезновения [1]. Таким образом, описанные выше особенности отношения О'Брайена к Джулии объясняются вовсе не гомосексуальной ревностью, а ревностью партии к женщине, которая — еще со времен замятинского «Мы» — выступает как сила, конкурирующая с государством за обладание душой героя [2]. Обсуждая этот круг вопросов, современные феминистские авторы справедливо — и с горечью — указывают, что взгляды Оруэлла на женщин были несколько ограниченны.

Согласно третьей — и далеко не последней — теории, «любовь к Старшему Брату» рассматривается как истинная, «божественная любовь», а любовь к Джулии — как ложная, земная любовь. Тогда «1984» предстает перед нами «чудовищной пародией на религиозную притчу» [3], а «Ангсоц» — последовательной богословской теорией, утверждающей примат сакрального мира, вымышленного партией, над профанным, якобы существующим «на самом деле». Именно отвергнув земную любовь, Уинстон может возвыситься до божественной, пройдя традиционный и страшный обряд посвящения, подобно Ионе, проглоченному Министерством Божественной Любви. Только так О'Брайен «спасает» Уинстона, «делает его совершенным».

Само многообразие перечисленных теорий, каждая из которых оперирует своим набором цитат, указывает на то, что вопросы любви *во всех ее формах* (божественной, гетеро- и гомосексуальной, материнской, садомазохистской и проч.) действительно находились в центре внимания Оруэлла. Не случайно одна из первых записей в дневнике Уинстона посвящена плотской любви [4], вершиной его освобождения становится осознание им самодостаточности и высшей ценности любви его матери, приходящее к нему в объятиях Джулии, а финалом — признание в любви к Старшему Брату.

Тем не менее подход Оруэлла к этой проблеме был намного сложнее подхода Замятина или Хаксли. Описывая Уинстона, глядящего на спящую Джулию, он пишет: «А нынче не может быть ни чистой любви, ни чистого вожделения. Нет чистых чувств, все смешаны со страхом и ненавистью. Их любовные объятия были боем, а завершение — победой. Это был удар по партии. Это был политический акт» [5].

Отсутствие «несмешанных» чувств — один из главных тезисов «1984». Дело не только в том, что сексуальное вожделение Уинстона окрашивается то в тона ненависти и страха, то в тона привязанности и любви, но и в том, что все его чувства (любовь, ненависть, страх, ожидание смерти) существуют сами по себе, постоянно меняя объект: так, во время двухминутки ненависти он понимает, что может переключать свою ненависть, «повернуть ее в любую сторону, как пламя паяльной лампы»: с Голдстейна на Старшего Брата, со Старшего Брата на Джулию и так до бесконечности.

Впрочем, действительно ли «1984» — история *любви*: любит ли Уинстон Джулию? Оруэлл будто задается вопросом, можно ли назвать любовью смесь страха, ненависти, вожделения и чувства вины перед матерью. Будучи верен своему неприятию абстрактных принципов, он лишает героев своего романа какой-либо внешней опоры, какого-либо принципа, который мог бы подтвердить истинность их чувства. Единственное, что могло бы служить доказательством подлинности,— убежденность героев в том, что они не предадут друг друга. Даже когда чувство любви уже исчезает, уверенность в этом не покидает Уинстона: «О Джулии он почти не думал. Не мог на ней сосредоточиться. Он любил ее, и он ее не предаст; но это был просто факт, известный, как известно правило арифметики».

Там же, в своей первой камере, Уинстон думает: «Если бы я мог спасти Джулию, удвоив собственные мучения, согласился бы я на это? Да, согласился бы». «Но решение это,— пишет дальше Оруэлл,— было чисто умственное и принято потому, что он считал нужным его принять. Он его *не чувствовал*». (Курсив автора.) Еще через несколько минут войдет О'Брайен с охранником и, катаясь по полу, Уинстон поймет, что ни за что на свете нельзя захотеть, чтобы боль усилилась. «Перед лицом боли нет героев».

На смену любви к Джулии приходит любовь к О'Брайену, когда во время пытки Уинстон *чувствует*, что никогда еще он не любил его так сильно. «Вы внушили себе, что ненависть изнурительнее любви. Да почему же?» — спрашивает его О'Брайен. Действительно, ненависть ничуть не изнурительнее любви. Ненависть и есть любовь.

И наконец, уже интеллектуально сломленный после изнурительных пыток, Уинстон последний раз испытывает любовь к Джулии, просыпаясь с криком: «Джулия, моя любимая!»

И мудрый О'Брайен, войдя, спрашивает его:

«— Как вы на самом деле относитесь к Старшему Брату?

— Я его ненавижу,— отвечает Уинстон».

После этой последней демонстрации единства ненависти и любви Уинстона отправляют в комнату сто один, где он в конце концов предает Джулию и начинает любить Старшего брата.

---

[1] *E. Gottlib.* Room 101 Revisited: The Reconciliation of Political and Psychological Dimensions in Orwell's «1984» — in «George Orwell: A Reassessment».

[2] *G. Beauchamp.* Of Man's Last Disobedience: Zamiatin's «We» and Orwell's «1984» — in «Critical Essays of George Orwell» — ed. by B. Oldsey and J. Brown. Boston, 1986.

[3] *C. Small.* The Road to Miniluv. George Orwell, The State and God. Pittsburgh, 1975.

[4] *M. Connley.* The Diminished Self. Orwell and the Lost of Freedom. Pittsburgh, 1987.

[5] А еще раньше сказано: «Удачный половой акт — уже восстание».

«1984» не просто роман о трагической любви. В отличие от классических образцов жанра — «Тристана и Изольды» или «Ромео и Джульетты» — героям не удается «самой смертью» доказать силу своей любви. Деревьям, которые могли бы вырасти на их могилах и сплестись ветвями, нечего символизировать. Так же, как негде вырасти.

Написав любовный роман, Оруэлл рассказал не историю о том, как любовь побеждает смерть, и даже не историю о том, как любовь умирает или меняет свой объект: «1984» — уникальный роман, в котором врагам влюбленных удается не просто уничтожить или разлучить их, а удается разрушить саму любовь, их связывающую. Даже точнее — не просто уничтожить их любовь, а уничтожить идею любви вообще.

Действительно, уничтожение этой идеи проведено Оруэллом с ужасающей последовательностью: если влюбленные неизбежно предают друг друга (или хотя бы могут предать), если «чистых» чувств не существует, то как можно любить другого человека, зная, что ты никогда не захочешь принять на себя его боль и его страдание?

«Худшая вещь на свете», поджидающая в комнате сто один,— это всегда самая страшная правда о самом себе. Узнав ее, Джулия и Уинстон уже не могут любить друг друга, уже не могут любить вообще. Вера в то, что беспомощный жест, объятие и слеза самоценны, была уничтожена в подвалах минилюба. «То, что случилось в них, случилось в них навсегда».

Так диалектические лозунги ангсоца — «СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО», «ВОЙНА — ЭТО МИР», «НЕЗНАНИЕ — СИЛА» — не только «размывают» наиболее устойчивые и важные в европейской культурной традиции оппозиции, но и прокладывают дорогу главному методу — распылению, которое может касаться не только физического существования людей, но и их убеждений или чувств.

Еще раз подчеркну: добытая Уинстоном «последняя истина о мире и себе» (Чаликова) никак не связана с тоталитаризмом, ангсоцем или двоемыслием. Невозможность принять на себя чужую боль и потенциальная возможность предательства не зависят от политического строя: для большинства людей полиция мыслей может и не потребоваться. Достаточно будет меньшего. Какой-нибудь «вполне ничтожной вещи» [1].

В «1984» многократно утверждалось, что реальности не существует. Но гиперреальность телекранов и газет — только один из видов «виртуальной реальности» [2]. Другой — сны, по которым буквально можно воссоздать основные сюжетные узлы романа.

На первых же страницах романа пересказан старый сон, в котором Уинстону снился голос О'Брайена, пообещавший встречу там, где «нет темноты». Место, где «нет темноты»,— подвалы министерства любви. Кроме того, Уинстон намекает на этот сон при посещении О'Брайена, чему тот совсем не удивляется. Это пророческий сон о моменте взаимопонимания и любви, переживаемых Уинстоном посреди пыток [3].

Немного позже следует двойной сон: видение матери, погружающейся в глубину, чтобы он, Уинстон, остался наверху, переходит в сон о Золотой стране, в котором Джулия — еще безымянная и чужая — сбрасывает с себя одежду жестом, отменяющим полицию мыслей и ангсоц. Это тоже пророческий сон об их первом свидании. После него Уинстон просыпается со словом «Шекспир» на устах.

Следующий сон — сон о матери, который снится Уинстону в снятой им с Джулией комнатке, когда он, просыпаясь, понимает высшую ценность «бесполезной» любви. Эта комнатка и «темная спальня, где провела свои последние дни мать», совместятся в кратковременном видении, посетившем его во время визита к О'Брайену.

Когда Уинстон попадает в министерство любви, грань между реальностью и сном стирается почти полностью, он переживает многочисленные наркотические видения, вспоминает свой первый сон об О'Брайене и вновь слышит его голос: «Не волнуйтесь, Уинстон, вы на моем попечении. Семь лет я наблюдал за вами. Настал переломный час. Я спасу вас, я сделаю вас совершенным».

После того как Уинстон сдался интеллектуально и пытки прекратились, Оруэлл пишет, что «он давно привык спать под ярким светом, бьющим в лицо. Разницы никакой, разве что сны были более связные. Сны все это время снились часто — и всегда счастливые сны. Он был в Золотой стране или сидел среди громадных, великолепных, залитых солнцем руин с матерью, с Джулией, с О'Брайеном — ничего не делал, просто сидел на солнце и разговаривал о чем-то мирном. А наяву если у него и бывали какие мысли, то большей частью о снах». Во время одного из таких видений он увидел собственный расстрел, происходящий в Золотой стране, и проснулся с криком «Джулия, моя любимая!», подобно тому как в начале романа он просыпался со словом «Шекспир». Это — роковой сон, после него Уинстона отправляют в комнату сто один.

И наконец, роман завершается видением расстрела: «долгожданная пуля входила в его мозг».

Помимо перечисленных снов в романе есть еще один — сон Уинстона о крысах, который рассказывает ему О'Брайен в комнате сто один. Мы уже говорили о том, что складывается впечатление, что О'Брайен знает о первом сне Уинстона, нетрудно также заметить, что он заранее знает все вопросы, которые тот может ему задать. И то, и другое при желании поддается логическому объяснению: например, сон про «там, где нет темноты», О'Брайен мог прочесть в дневнике Уинстона, арестованные почти всегда задают одни и те же вопросы и т. д. Тем не менее знакомство О'Брайена с самым страшным сном его жертвы остается необъяснимым: Уинстон сам «не знает» — то есть не может

[1] Слова О'Брайена, обращенные к Уинстону в комнате сто один.

[2] Термин, объединяющий разные «несуществующие реальности» — от созданных с помощью высоких технологий до наркотических галлюцинаций.

[3] В подкрепление «теологической» версии напомню, что согласно поверию, когда во сне слышишь голос и не видишь говорящего, то голос принадлежит Богу.

признаться даже себе,— что за стеной в его сне таятся крысы. Напрашивающийся вывод: О'Брайен умеет читать мысли и сны Уинстона, он может «влезть» ему в голову.

Разумеется, столь высокая концентрация снов во многом объясняется использованием привычного для первой половины века символистского кода, особенностями биографии Оруэлла или интересом к подсознанию героя. В рамках последнего подхода странная способность О'Брайена объясняется через его отождествление с фрейдовским «сверх-я» (Харрис) или юнгианской «тенью» [1].

Хочется, однако, предложить такое объяснение. Стоит задуматься о том, что только в одном мире не существует грани между сном и явью: мире, где яви уже нет, мире сна, мире, заключенном в чьей-то черепной коробке. В этом случае восприятие романа как «кошмара» окажется не простой метафорой, а точным определением его жанра: все, что происходит в «1984», только снится.

Тогда находит объяснение и странный сбой, насколько мне известно, не привлекавший пока внимания исследователей. При первом посещении комнатки мистера Чаррингтона, тайного агента полиции мыслей, тот показывает Уинстону висящую на стене гравюру с видом Лондона и говорит: «Рамка привинчена к стене, но если хотите, я сниму». Уинстон отказывается, но как мы узнаем позже, за рамкой находится телекран, голос из которого, повторяя фразы Уинстона и Джулии (вспомним «тень»!), будет руководить их арестом.

Возникает вопрос: зачем Чаррингтон предлагает снять гравюру: вдруг бы Уинстон согласился, лишив его тайного соглядатая? Поведение агента мыслепола кажется нелогичным, но оно вполне естественно для сна, в котором место, таящее в себе угрозу, сразу же выделяется, происходит сбой сознания именно в месте потенциальной опасности.

Но кому снится этот сон? Читателю, автору, тексту, Уинстону или О'Брайену? (На последнее в романе даже дан смутный намек: Оруэлл пишет, что Уинстон понял, что «ум О'Брайена *содержал* в себе его ум». (Курсив автора.) Вряд ли можно ответить на этот вопрос, анализируя этот «миф о вечном будущем, нехронологическом и негеографическом, о будущем *предчувствий, кошмаров и дурных снов*, ожидании погибели души и телесных мук, о будущем как детище совести и страха» (Чаликова).

Мир «1984» оказывается столь же несуществующим, как мир набоковского «Приглашения на казнь», оказывается сном, мороком.

От этого, однако, не легче. По всей видимости, разумное государственное устройство может с большой вероятностью гарантировать своим гражданам некий минимум свобод, но никто не может предотвратить поджидающее нас каждую ночь погружение во тьму.

Есть что-то глубоко симптоматичное в том, что целое поколение русских читателей получало «1984» «на одну ночь». В это время суток роман Оруэлла заменял сон и временами становился неотличим от него. Но — странное дело! — истины о любви, вере и человеке, добытые этой ночью в подвалах минилюба, не исчезали после пробуждения.

■

---

[1] *J. Weatherby*. The Death of Big Sister. Orwell's Tragic Massage — in «Critical Essays of George Orwell».

«НЕ ЧУВСТВО — А СИСТЕМА»

Не цвет — а форма
Не настроение — а образ
Не чувство — а система
Не фантазия — а реальность
Не развлечение — а напряжение

Так сформулировал художник Альбрехт Ральф Пенк концепцию своего творчества, отыскивая индивидуальный стиль в рамках традиционной фигуративной живописи, хотя в мировом изобразительном искусстве доминировали на ту пору абстрактная живопись и объективное искусство, а в ГДР официально признавался только соцреализм.

А. Р. Пенк (р. 1939) родился и вырос в Дрездене. Он безуспешно пытался поступить в дрезденскую и восточноберлинскую художественные академии. Пенк перебивался случайными заработками, был истопником, дворником, ночным сторожем и почтальоном. Он даже помышлял о военной службе, чтобы прекратить свои мытарства, но карьера офицера оказалась закрытой для Пенка, объявленного «антиобщественным элементом» из-за его нежелания подстраиваться под официозное искусство. Некоторые из друзей Пенка, не выдержавшие подобных условий, ушли на Запад и приобрели всемирную известность, как, например, Базелиц. Пенк остался в ГДР. Сначала потому, что не мог решиться. Затем еще и потому, что возникла Берлинская стена.

Настоящее имя Пенка — Ральф Винклер. Псевдоним, под которым он известен с 1968 года, выбран не случайно. Это была фамилия геолога девятнадцатого века Альбрехта Пенка, занимавшегося морфологией земли и изучением пещер. Для художника А. Р. Пенка пиктограммы первобытных людей стали основой живописного языка знаков. Наскальные рисунки древних пещер вдохновили Пенка на создание «системных картин». Пенк пытался свести человека, его поступки, его многообразные связи с внешним миром к схематичному изображению, подобию пиктограммы, к графическим человечкам, обитающим внутри мировой структуры.

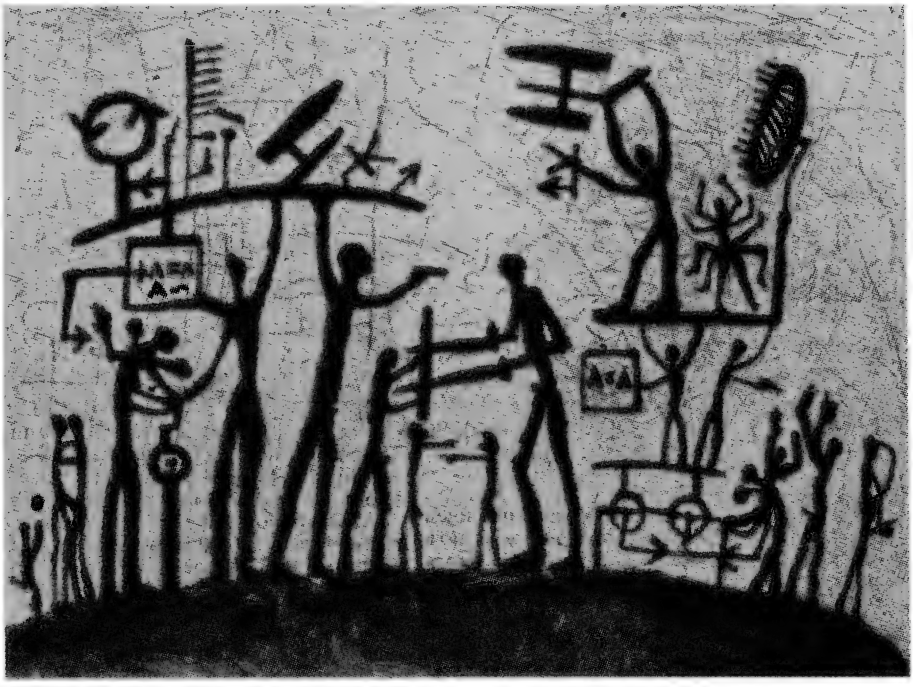
Художник стремился создать универсальный художественный язык, в котором бы сочетались информативность и знаковость математических уравнений с непосредственной доступностью и наглядностью доисторических изображений и притягательностью магических символов, иероглифов. Его творческая концепция предусматривала предельную лаконичность красок. Но эта лаконичность имеет и более прозаичную причину: не будучи

членом Союза художников ГДР, Пенк почти не имел возможности покупать краски.

За «системными картинами» последовали картины «стандарта». Пенк ставил пред собой задачу создания словаря образов, по своей объективности близкого естественнонаучным системам знаков. Пенк изобретает стандартные знаки.

В 1973 году Пенк заявляет, что концепция «стандарта» потерпела поражение, ибо оказалась слишком умозрительной. Дальнейшая творческая эволюция приводит художника к синтезу интуитивной непосредственности «системных картин» и аналитичного «стандарта».

Еще в 1965 году Пенку удается установить связь с владельцем галерей в Кёльне и Западном Берлине Михаэлем Вернером, которому принадлежит огромная заслуга в популяризации немецких художников-шестидесятников. С не меньшим энтузиазмом пропагандирует Вернер и творчество Пенка. Благодаря экспозиции работ Пенка на выставке «Documenta 5» (1972), художник получил европейскую известность. А когда в конце 70-х годов немецкое искусство вызвало к себе поистине ажиотажный всемирный интерес благодаря многочисленным выставкам — от ретроспектив классиков немецкого экспрессионизма до экспозиций молодых художников, названных «новыми дикими»,



Пенк отнюдь не оказался на этом фоне провинциальным диссидентом, а по праву занял место одного из лидеров современных художественных течений. В 1980 году он переезжает в ФРГ, где активно работает и по сей день, радуя почитателей его таланта многообразием отпущенных ему дарований: он не только художник, график и скульптор, но и талантливый писатель и музыкант.

О. ХЛЕБНИКОВА

❖ У КНИЖНОЙ ВИТРИНЫ

БЕРНАРДО АТКСАГА

Одинокий человек

Bernardo Atxaga. El hombre solo. «Ediciones B»

Жарким июньским днем 1982 года в номере отеля под Барселоной некий Карлос смотрит передачу о птеродактилях. Но мысли его далеки от проблем палеонтологии. Карлос вспоминает свое прошлое: когда-то он был членом террористической организации, сидел в тюрьме, был амнистирован и вот уже пять лет живет в гостинице, арендованной тремя бывшими соратниками. Они тоже давно отошли от дел и не имеют никакого отношения к очередному теракту — взрыву бомбы на улице. Его совершили два террориста, находящиеся в розыске. Они ищут прибежища у Карлоса, и тот после мучительных раздумий укрывает их тайком от старых друзей, подвергая, таким образом, опасности не только себя, но и обитателей гостиницы: кольцо полицейских сжимается. Начинается перестрелка, однако Карлос и не думает спасаться, обреченно ожидая конца. Его ум и воля заперты во льдах памяти.

Таков сюжет романа Бернардо Атксаги (настоящее имя — Хосеба Иразу Гармендиа). Его сборник рассказов «Обабакоак» был отмечен в Испании Национальной премией 1989 года. За новую книгу в нынешнем году баскский писатель удостоен Премии критиков за прозу на баскском языке.

АНИТА БРУКНЕР

Долли

Anita Brookner. Dolly. «Random House»

В центре романа известной английской писательницы, как и многих ее предыдущих произведений,— не слишком удавшаяся женская судьба. Главная героиня — молодая женщина по имени Джейн, повествование ведется от ее лица. Годы идут, и Джейн постепенно погружается в одиночество: близкие люди либо уходят, либо умирают. Единственной спутницей ее жизни остается жена дяди, тетя Долли. Холодная, властная женщина подчиняет себе племянницу. На фоне деятельной, жизнелюбивой Долли малоопытная, рефлексирующая Джейн кажется бледным персонажем. Сюжет романа строится на событиях жизни Долли. Когда тетя, несмотря на уже солидный возраст, находит себе ухажера, Джейн, помимо недоумения и неприязни, испытывает и своего рода восхищение перед таким стремлением нравиться и наслаждаться жизнью на ее закате.

МАНУЭЛЬ ВАСКЕС МОНТАЛЬБАН

Братишка

Manuel Vásquez Montalbán. El hermano pequeño. «Planeta»

Похоже, детективная серия о сыщике Пепе Карвальо еще далеко не исчерпана (о предыдущей книге см. «ИЛ», 1994, № 5). В новой повести герою поручено расследовать дело о самоубийстве банкира Леокадио Мингеса. Этого махинатора обвиняли в спекулятивных сделках, в которых также оказались замешаны крупные политики. Когда-то Мингес заявлял, что слово «спекуляция» должно стать банковским термином без каких-либо негативных оттенков: ведь банкиры могут сколотить свой капитал не иначе как извлекая прибыль из чужих денег. Но эта утешительная философия не срабатывает, когда разразившийся скандал заставляет жертву коррупции покончить с собой.

Помимо повести в книгу включено семь тематически родственных рассказов последнего десятилетия. «Коллекционер» — продолжение романа «Я убил Кеннеди», здесь Пепе рассказывает о последних днях жизни Мэрилин Монро. «Случай с пристреленной бабулей» и «Ларец с тремя драгоценностями» — изящные иронично-эротические стилизации, посвященные Агате Кристи. В последней — по времени написания — истории («Одиночество, скрашенное жареной индейкой») Монтальбан заглядывает в грустное будущее главного героя всех этих произведений, где неизменно присутствуют и другие — неодушевленные — образы: это любовно описанная Барселона и национальная кухня Испании.

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС

Кошмары: истории абсурда

Joyce Carol Oates. Haunted: Tales of the Grotesque. «Dutton»

В авторском предисловии к сборнику из шестнадцати рассказов популярная американская писательница определяет «абсурдное» как «полную противоположность приятному». На страницах книги чередой проходят не слишком симпатичные персонажи, достойные пера Эдгара По или кисти Иеронима Босха. Они представлены в странных ситуациях — то в сверхъестественных, то в относительно реальных, но не менее пугающих.

В жутковатом полуразрушенном магазине отец и дочь покупают к празднику гнилые овощи и отравленную индейку («День благодарения»). Художник-любитель приглашает

свою юную модель «покататься на машине», и девочка берет с собой нож... («Натурщица»). В рассказе «Кукла» героиню преследуют ночные кошмары, отчего она превращается в полузомби. В духе черного юмора выдержано «Предупреждение»: расправившись с домашним тираном (главой семейства), мать и дочери упаковывают несколько больших рождественских коробок с «подарками»...

В рассказе, давшем название сборнику, старуха вспоминает, как еще ребенком встретила в заброшенном сельском доме призрак женщины-убийцы. От лица двух призраков ведется повествование в рассказе «Проклятые обитатели дома Блаев» — готической фантазии на тему произведения Генри Джеймса «Поворот винта». О чудовищном союзе девочки и крысы говорится в заключительном рассказе «Мученичество».

КАМИЛО ХОСЕ СЕЛА

Убийство неудачника

Camilo Jose Cela. El asesinato del perdedor. «Seix Barral»

После шестилетнего молчания Нобелевский лауреат из Испании сказал наконец еще одно слово и в романистике (о книге его мемуаров см. «ИЛ», 1994, № 6). В основу романа легло драматическое происшествие в одной из испанских провинций.

Страстно влюбленный в свою невесту двадцатилетний юноша целует ее принародно, в баре. Местный судья находит поведение молодого человека скандальным и сажает его в тюрьму, где через несколько дней тот кончает жизнь самоубийством. Безусловно потрясенный чудовищным приговором судьи и нелепой гибелью подсудимого, автор тем не менее не дает никаких оценок (разве что одну, выраженную в заглавии романа), а поведанная им история не получает в романе какого-либо развития. Она является его стержнем, своеобразной осью, вокруг которой на манер карусели — появляясь, исчезая и порой возвращаясь — проходит череда самых разнообразных сюжетов. Их действующие лица не стеснены ни географическими, ни временными рамками, среди них есть и исторические фигуры, и вымышленные персонажи.

СОЛ БЕЛЛОУ

Одно к одному

Saul Bellow. It All Adds Up. «Penguin»

«От смутного прошлого — к неопределенному будущему» — такой подзаголовок имеет сборник нехудожественной прозы Нобелевского лауреата из США. В нем представлены самые разные по стилю и темам очерки, интервью, статьи — «пустячки», по определению автора. Они были написаны в период с 1948 года по наши дни; например, очерк о несостоявшейся встрече с Л. Троцким в Мексике (двадцатипятилетний Сол Беллоу пришел в дом Троцкого в то самое утро, когда хозяина убили) лег на бумагу лишь в прошлом году — почти пятьдесят лет спустя.

В сборнике почти нет упоминаний о литературных современниках. Зато автор немало поведал о самом себе: как восьми лет около года провел в монреальской больнице; как во времена Великой депрессии подростком путешествовал с бродягами по Америке; как, подобно многим молодым американским литераторам, жил в добровольном изгнании в Париже.

АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕС

Воспоминания. Детство, юность и как становятся писателями

Adolfo Bioy Casares. Memorias. Infancia, adolescencia y como se hace un escritor. «Tusquets»

В 1985 году, когда готовился к публикации том избранных произведений известного аргентинского писателя, он, по просьбе составителя, записал на магнитофон цикл своих воспоминаний. Однако в сборник вошла лишь малая их часть, так как Адольфо Бьой Касарес счел свои мемуары несовершенными. Теперь они послужили основой для целой книги: на сей раз автор, по-видимому, остался доволен своей работой в этом жанре. Следуя замыслу, он не стал углубляться в крупные исторические события века и уделять повышенное внимание известным личностям и деятелям, а обратился в основном к литературной жизни. Он рассказывает о Хулио Кортасаре и Виктории Окампо, делится размышлениями о Борхесе — не столько писателе, сколько о человеке. В восьми небольших главах Адольфо Бьой Касарес воскрешает истории создания некоторых своих книг; еще в двух — повествует об истории своего рода и дает портретные зарисовки родных и близких.

ФРАНСУАЗА ВЕРНИ

Бог смерти не сотворил

Françoise Verny. Dieu n'a pas fait la mort. «Grasset»

В своей предыдущей книге — «Бог есть, я всегда его предавала» (1992) — известная французская писательница с редкостной искренностью поведала о собственном непростом пути к духовному обновлению, о своих страхах, ошибках, терзаниях, о борьбе со злом в себе самой. Книга — к немалому удивлению автора — вызвала поток читательских писем: родственные души делились с Ф. Верни сомнениями и переживаниями, просили совета, спорили, на личном опыте доказывали ту или иную точку зрения.

Так у книги появилось продолжение — нечто вроде дневника, в название которого вынесены слова древнего мудреца Соломона. Франсуазе Верни, этой «плохой христианке», как она сама себя определяет, вдруг открылась любовь Бога к ней и к окружающим. Каждая встреча со знаменитостями и обыкновенными людьми убеждает автора в том, что любовь присутствует всюду — надо только уметь разглядеть ее в простых словах и поступках, не пропустить этих волшебных мгновений.

■ Куба

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?

Национальную премию за лучший роман этого года получил весьма заметный на Кубе тридцативосьмилетний писатель Леонардо Падура. Персонажи книги-лауреата «Атмосфера великого поста» — продажные люди, воры, проститутки, изменяющие друг другу супруги — жители сегодняшней Гаваны. Несколько лет назад подобный роман едва ли прошел бы незамеченным, но в совсем ином смысле: например, когда другой известный прозаик, Эдуардо Эрас Леон своим романом сильно разгневал критиков из печатного органа вооруженных сил, то автора на шесть лет отправили «перевоспитываться» на завод.

Однако ситуация, похоже, медленно меняется. Писатели, поэты, представители прочих видов искусства взяли курс на деполитизацию творчества, не желая выступать ни за режим Кастро, ни против него. Показательна в этом плане опубликованная недавно антология «Первые шаги в новом направлении». Этот сборник произведений молодых — им нет еще и тридцати — авторов отличает погруженность героев в личный, внутренний мир, а также отсутствие каких-либо официально одобряемых тем.

Впрочем, ведущую роль в кубинской беллетристике ныне играют литераторы поколением старше. К этой довольно многочисленной группе писателей, каждому из которых около сорока, принадлежат Луис Мануэль Гарсиа (его роман «По-гавански» удостоен Премии критиков за этот год), Артуро Аранго, Рейнальдо Монтеро, Антонио Оливер, Франсиско Лопес Сача, Гильермо Видаль. Большинство из них сотрудничает в периодике — как, например, поэт Норберто Кодина, который возглавляет издание Союза писателей и художников Кубы «Гасета». Еще один яркий и модный сейчас литератор, лауреат премии имени Хуана Рульфо, сорокатрехлетний Сенель Пас успешно трудится на кинематографическом поприще (о фильме «Земляника и шоколад», снятом по его сценарию, см. «ИЛ», 1994, № 8).

Причина заключается не только в поисках средств самовыражения, но и просто средств к существованию. Глубочайший общий кризис кубинской социалистической экономики отражается и на книгопечатании. Если некогда на Кубе ежегодно выходило около 1500 книг, то в 1993 году их число сократилось до 400 (из которых 84 изданы с помощью зарубежных партнеров), а в нынешнем году ожидается не более ста публикаций. Писателей отчасти спасает возможность иногда публиковаться в Мексике, Венесуэле, Колумбии или — еще реже — в Европе.

■ США

РУССКАЯ ДУША ПО ЗИГМУНДУ ФРЕЙДУ

«Мое воображение все еще обитает в российской истории»,— писал Зигмунд Фрейд в 1885 году. Чем же она так взволновала зарубежного ученого? Оказывается, очень многим. Во-первых, как житель Австрии он ощущал военную опасность, исходящую от сильного восточного соседа. Во-вторых, как историк-любитель он знал о революционных настроениях общества, недовольного гнетом монарха. В-третьих, будучи иудеем, он тревожился за участь единоверцев, страдавших от преследований и погромов. К тому же своими корнями род Фрейдов уходил в Россию: его мать выросла в Одессе, а в царской Литве остались родственники. Наконец, там, в России, жили его коллеги и самый известный пациент — православный одесский миллионер Сергей Панкеев, или «человек-волк». Словом, Россия была для Фрейда «потерянным фатерландом»; его пытливый ум стремился постичь тайны русского национального характера.

О том, насколько капитан психоаналитического корабля преуспел в освоении этих творческих далей, рассуждает в своей книге «Россия Фрейда» (издательство «Трансэкшн», Нью-Брунсвик) американский исследователь Джеймс Райс. Автор подмечает любопытное обстоятельство: очерк Фрейда «Достоевский и отцеубийство» (1928) вышел примерно через год после угроз «человека-волка» расправиться с психоаналитиком. Видимо, Панкеев и Достоевский слились тогда для Фрейда в некое олицетворение русской души с преувеличенными им садомазохистскими наклонностями.

С другой стороны, Дж. Райс находит большое сходство и глубинную связь между самим венским врачом и русским писателем. В самом деле, оба — знатоки потаенных уголков души (за эту проницательность Фрейд особо ценил Достоевского; «самый потрясающий роман за всю историю литературы» — так отозвался он о «Братьях Карамазовых»). Оба — пророки, узревшие, что европейская цивилизация стоит на краю пропасти. Оба — одержимые саморазрушительными страстями, из которых, однако, черпали творческие силы (Фрейд обожал сигары, Достоевский — карточную игру). Фрейд полагал, что Бог придуман, дабы удержать полудикое человечество от «убийств без колебаний». Разве не вторит ему Дмитрий Карамазов, говоря, что коли Бога нет, тогда, выходит, все дозволено?

Но стоит ли удивляться, что потомок переселенцев из России унаследовал славянские черты и способен понять славянскую душу? Поражает, скорее, другое: он утратил психологические потребности унижать ближнего и каяться самому, которые отметил в русском характере. И еще: при всем своем отвращении к царизму и скрытой симпатии к революционным веяниям Зигмунд Фрейд никогда не верил в большевистскую утопию и в то, что светлый луч пробьется с Востока.

Франция

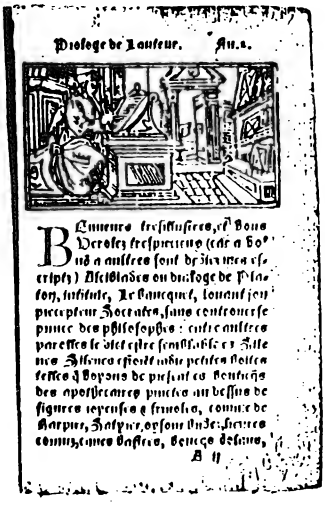
СОВРЕМЕНЕН И ПЯТЬСОТ ЛЕТ СПУСТЯ

Так считают специалисты и поклонники Франсуа Рабле, 500-летний юбилей которого — несмотря на оспариваемую до сих пор дату рождения — отмечает в этом году вся Франция. При жизни сын адвоката из Шинона славился более как врачеватель и анатом. Именно в таком облике, в головном уборе эскулапа, представлен Рабле на портретах, написанных после его смерти.

В культурной программе года Рабле — музыка, кинематограф; но ее магистральное направление, конечно же, литературное. Среди переизданий любопытен пятитомник из знаменитых романов (издательство «Шампьон»), напечатанный по так называемой факдиссимильной технологии. Сочетая в себе факсимильный и современный стандартный шрифты, она позволяет без труда читать текст с воспроизведенными особенностями старинного письма. Для предпочитающих карманный формат «Гаргантюа», «Пантагрюэль», «Третья книга» и «Четвертая книга» предстанут таковыми благодаря издательству «Фламмарион». Помимо художественной литературы в юбилейном каталоге есть и литературоведческая. В ней по-прежнему почетное место занимает труд русского исследователя Михаила Бахтина.

Появились у Рабле и новые биографы — например, Мишель Рагон. «Роман о Рабле» (издательство «Альбен Мишель») — по сути, его первая книга о собрате по перу: предыдущие посвящались художникам или архитекторам. Впрочем, своего прославленного предшественника писатель воспринимает как старого друга, особо выделяя его бунтарский дух по отношению ко всевозможным запретам и религиозной нетерпимости. Жан-Мари Лаклаветин, автор другой книги — «Ла-Девиньер, или Дальняя пристань» (издательство «Кристиан Пиро»), заинтересовался малой родиной Рабле. Ранее исследователь писал на темы музыки, живописи, танца и даже кулинарии, но охотно откликнулся на предложение издателя обратиться к серии «Пенаты писателей», сразу остановив свой выбор на доме Рабле. Туда же, кстати, ведут и экскурсионные маршруты: ежегодно около 16 тысяч человек посещают «Раблеленд». В Ла-Девиньер есть что посмотреть — например, зарисовки цветов и диких растений, упомянутых в его произведениях. Акварели выполнены с натуры в парках города Тур.

«Кюре из Медона» не забыт и этим городом. В медонском музее развернута экспозиция работ-победителей международного конкурса экслибрисов на раблезианскую тему. На другой, лионской выставке демонстрируются предметы, по которым можно судить о яствах и напитках на трапезах персонажей-обжор. Но это воскрешение колорита, скорее, рассчитано на любопытных гурманов. Для ученых, желающих всерьез обсудить проблемы питания и прочие вопросы той эпохи (например, юридические), в Париже и других городах организованы «круглые столы». У самых маленьких французов знакомство с классикой великого шутника, возможно, начнется с телевидения: третий канал показывает сериал «Гаргантюа» из 26 получасовых мультиков. Кроме всем известных героев на экране действуют и новые: режиссер Бенедикт Пуппинк и художник Бернар Дейрье придумали невесту для Панурга и повара для Гаргантюа.



Prologe de Lauteur. Au.2.

Bouveurs tresillustres, et vous Verolez trespreciens (car a vous non a aultres sont dediez mes escriptz) Alcibiades ou dialoge de Platon, intitule, Le bancquet, louant son precepteur Socrates, sans controverse prince des philosophes : entre aultres parolles le dict estre semblable es Silenes. Silenes estoient jadis petites boites telles que voyons de present es bouticques des apothecaires pinctes au dessus de figures joyeuses & frivoles, comme de Harpies, Satyres, oysons bridez, lievres cornuz, canes bastees, boucqs volans,

2 Prologe de Lauteur. Fu.2.

Bouveurs tresillustres, et vous Verolez tresprecieux (car a vous non a aultres sont dediez mes escriptz) Alcibiades ou dialoge de Platon, intitule, Le bancquet, louant son precepteur Socrates, sans controverse prince des philosophes : entre aultres parolles le dict estre semblable es Silenes. Silenes estolent jadis petites boites telles que voyons de present es bouticques des apothecaires pinctes au dessus de figures joyeuses & frivoles, comme de Harpies, Satyres, oysons bridez, lievres cornuz, canes bastees, boucqs volans,

Слева — страница из книги «Гаргантюа», изданной в 1542 году; справа — тот же текст, напечатанный по факдиссимильной технологии.

(Журнал «Магазин литтерер»)

Рабле. Портрет работы Джеймса Ричарда, 1953. *(Журнал «Магазин литтерер»)*

По материалам газеты «Паис» (Испания), еженедельника «Таймс литерари сапплмент» (Великобритания), журнала «Магазин литтерер» (Франция).

❖ АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ (WISŁAWA SZYMBORSKA; род. в 1923 г.) — польская поэтесса. Автор девяти книг стихов, в том числе «Призыв к Йети» («Wołanie do Yeti», 1957), «Потеха» («Sto pociech», 1967), «Большие числа» («Wielka liczba», 1976) и др. Стихи В. Шимборской изданы в ряде европейских стран. По-русски печатались в сборнике переводов А. Ахматовой «Голоса поэтов» (1965), в антологии «Польские поэты» (М., 1978), в «ИЛ» (1967, № 2; 1974, № 7; 1978, № 8). Публикуемые стихи взяты из книг «Люди на мосту» («Ludzie na moście». Warszawa, «Czytelnik», 1986) и «Конец и начало» («Koniec i początek». Poznań, Wydawnictwo a 5, 1993).

ПАВЕЛ ХЮЛЛЕ (PAVEL HUELLE; род. в 1957 г.) — польский писатель. Окончил филологический факультет Гданьского университета. В восьмидесятые годы принимал активное участие в движении «Солидарность». Дебютировал в литературе как критик и поэт. В 1987 году вышел его роман «Вайзер Давидек» («Weiser Dawidek»), который был отмечен премиями Косчельских и журнала «Литература». Роман переведен в Англии, Германии и др. странах. На русском языке П. Хюлле печатается впервые.

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Рассказы на время переезда» («Opowiadania na czas przerowadzki». London, Puls, 1991).

ИТАЛО КАЛЬВИНО (ITALO CALVINO; 1923—1985) — итальянский писатель, лауреат многих литературных премий. Автор повестей «Тропинка к паучьим гнездам» («Il sentiero dei nidi di ragno», 1947), «Разрубленный виконт» («Il visconte dimezzato», 1952), «Барон на дереве» («Il barone rampante», 1957; премия Виареджо), «Несуществующий рыцарь» («Il cavaliere inesistente», 1959), «Строительная афера» («La speculazione edilizia», 1957), «Облако смога» («La nuvola di smog», 1958), сборника «Рассказы» («I racconti», 1958; премия Багутта), книг «Невидимые города» («Le citta invicibili», 1972), «Замок скрестившихся судеб» («Il castello dei destini incrociati», 1973) и др. произведений.

В «ИЛ» напечатан роман И. Кальвино «Если однажды зимней ночью путник» (1994, № 4); в разные годы печатались рассказы; лекция «Легкость» из цикла лекций «Шесть рекомендаций на следующее тысячелетие» (1991, № 6). Повесть «Паломар» вышла в Италии в 1983 году («Palomar». Torino, Giulio Einaudi Editore, 1983).

ЭДВАРД ЭСТЛИН КАММИНГС (EDWARD ESTLIN CUMMINGS; 1894—1962) — американский поэт и художник. Дебютировал в литературе в 1922 году романом «Огромная камера» («The Enormous Room»). Первый сборник стихов «Тюльпаны и каминные трубы» («Tulips and Chimneys») вышел в 1923 г. Известность Каммингсу принесли книги стихов «Равняется пяти» («Is 5», 1926), «Без благодарностей» («No Thanks», 1935). Его перу принадлежат также книги «50 стихотворений» («50 Poems», 1940), «1x1» («One Times One», 1944), «95 стихотворений» («95 Poems», 1958) и др. «ИЛ» познакомила читателей с творчеством Каммингса, напечатав подборку его стихов и аналитическую статью А. Зверева (см. № 7, 1978).

«Баллада об интеллектуале» («Ballad of on Intellectual») взята из сборника журнальных публикаций разных жанров «Разное» («Miscellany Revised». New York, October House Inc., 1965).

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ (VIRGINIA WOOLF; 1882—1941) — английская писательница — романист, новеллист, эссеист. Автор романов «Путешествие» («The Voyage Out», 1915), «Ночь и день» («Night and Day», 1919), «На маяк» («To the Lighthouse», 1927; рус. пер. 1976), «Волны» («The Waves», 1931), «Годы» («The Years», 1937), «Между актами» («Between the Acts», 1941), сборников рассказов и эссе. Популяризировала в Англии русскую литературу: произведения Толстого, Достоевского, Чехова. «ИЛ» познакомила читателей с романами Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй» (1984, № 4) и «Комната Джейкоба» (1991, № 9); в «Библиотеке «ИЛ» печатались также рассказы, повесть «Флаш» (1986).

Перевод выполнен по американскому изданию («Orlando. A Biography». New York, Harcourt Brace and Company, 1929).

КАРЕН ХЬЮИТТ (KAREN HEWITT) — преподаватель английской литературы в Оксфордском университете. Автор книги «Понять Британию. Реальности западной культуры для озадаченного гостя из России». («Understanding Britain. Realities of Western Culture for a Puzzled Russian Guest»; рус. пер. 1992).

Статья К. Хьюитт «Любовник леди Чаттерли» в московском метро» получена редакцией от автора в рукописи.

ЭРИК ЛАКС (ERIC LAX; род. в 1944 г.) — американский журналист. После окончания Хобарт-колледжа пять лет служил в Корпусе Мира. Автор двух книг: «О том, как быть смешным: Вуди Аллен и комедия» («On Being Funny: Woody Allen and Comedy») и «Жизнь и смерть на Десятой Западной улице» («Life and Death on 10 West»). Его статьи печата-

лись на страницах американских изданий «Атлантик», «Нью-Йорк таймс», «Лайф», «Эсквайр» и др.

Книга «Вуди Аллен, биография» вышла в США в 1991 году («Woody Allen. A Biography». New York, Alfred Knopf, 1991).

Переводчики

АСТАФЬЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА — поэт и переводчик польской поэзии. Автор семи книг стихов. В «ИЛ» публиковались переводы А. Астафьевой из произведений К. Иллакович, М. Павликовской, Я. Ивашкевича, А. Свиршиньской, Я. Б. Ожуга, Ю. Хартвиг, Т. Новака, Е. Харасымовича, Э. Липской, Ю. Корнхаузера и др. Лауреат польских переводческих премий ЗАиКС (1979) и ПЕН-клуба (1993), премий «ИЛ» (1986, 1989).

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА — переводчик с польского. В ее переводах издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Домбровской, М. Хоромыньского. В «ИЛ» напечатаны переводы романов Т. Новака «Черти» (1975, № 3—4), В. Мысливского «Камень на камень» (1986, № 7—9), повесть Е. Анджеевского «Врата рая» (1990, № 1), повесть «Красивые, двадцатилетние» М. Хласко (1993, № 12). Лауреат премии «ИЛ» (1986).

СТАВРОВСКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик с итальянского. В ее переводах публиковались повести Л. Шаши «Исчезновение Майораны», «Ведьма и капитан», «Рыцарь и смерть», Г. Д'Аннунцио «Леда без лебедя» («ИЛ», 1994, № 4), рассказы Г. Паризе, новеллы А. Табукки («ИЛ», 1991, № 5), миниатюры и фрагменты из книг Дж. Манганелли («ИЛ», 1992, № 4), сценарий фильма Ф. Феллини «Голос Луны» и др.

СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1933 г.) — переводчик прозы и поэзии с английского. В его переводах издавались книги избранных стихотворений Р. Фроста, Т. С. Элиота, Э. А. Робинсона. Переводил Э. Спенсера, Дж. Донна, У. Вордсворта, У. Уитмена и др. В «ИЛ» печатались его переводы стихов К. Сэндберга, Р. Лоуэлла, А. Гинзберга, романы Айи Квеи Армы «Целители», В. Шойинки «Интерпретаторы» и «Аке, годы детства», пьеса Д. Уолкотта «День поминовения» и др.

Е. СУРИЦ (Богатырева Елена Александровна) — переводчик с английского, немецкого, французского и скандинавских языков. В ее переводе издавались романы «Повелитель мух» У. Голдинга, «Консервный ряд» Дж. Стейнбека, «Городок» Ш. Бронте, «Я в замке король» С. Хилл («ИЛ», 1978, № 1—2), «Миссис Дэллоуэй» В. Вулф («ИЛ», 1984, № 4), со скандинавских языков — роман «Пан» К. Гамсуна, драмы А. Стриндберга, сценарии И. Бергмана и др. произведения классиков и современных писателей.

Редакция журнала «Иностранная литература»
с прискорбием извещает о безвременной кончине
бывшего ответственного секретаря журнала
Золотавкина Владимира Дмитриевича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Британская Энциклопедия

"БРИТАННИКА" - самая знаменитая и самая авторитетная энциклопедия в мире.
"БРИТАННИКА" - это мудрость веков и американская полиграфия 1994 года.

Что общего между Генри Фордом, Зигмундом Фрейдом, Бернардом Шоу и Львом Троцким?
Все они были авторами "БРИТАННИКИ".
Что общего между Елизаветой II, Милошем Форманом, Полом Маккартни и Маргарет Тэтчер?
Все они - владельцы комплекта "БРИТАННИКИ".
Что общего между историей Франции, правильным питанием, игрой на бирже и Ф. Дзержинским?
Обо всем этом Вы прочтете в "БРИТАННИКЕ".

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

это 33 роскошных тома с золотым обрезом и черным переплетом из натуральной кожи. 82 300 статей, 23 000 фотографий, двухтомный **"ИНДЕКС"** с 500 000 ссылками, бесплатный **"ЕЖЕГОДНИК"** с последней статистикой о 146 странах и обзором мировых событий за прошлый год, а также специализированные медицинские и научно-технические **"ЕЖЕГОДНИКИ"**.

Каждый покупатель получает официальное свидетельство и становится членом элитарного
"Клуба Владельцев Британники".
Для членов клуба комплект "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" обновляется ежегодно.

Другая продукция компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA":

Полное издание словаря английского языка **WEBSTER'S** в 3 томах.
468 000 слов, 200 000 примеров словоупотребления, 3000 иллюстраций. В последенем томе - удобный англо-французско-немецко-итальянско-испанско-шведско-идиш словарь наиболее употребительных слов.
Крупноформатный Атлас мира **"BRITANNICA"**. Одно из самых знаменитых изданий в мире. 558 стр. Формат 286×381. Подробный индекс географических названий. Справочные таблицы. Специальная информация для путешественников. Красочное подарочное издание.
"GREAT BOOKS" - "Великие книги Западной цивилизации" в 60 томах. Единственное в мире издание подобного рода, включающее полные тексты 517 произведений 130 авторов, наиболее повлиявшие на развитие западной цивилизации. От Гомера до Орвелла, от Плутарха до Кейнса, от Архимеда до Макса Планка. Уникальный двухтомный индекс 3020 тем, обсуждаемых на каждой из 37 000 стр. этого издания, делает его естественным дополнением к "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA". Незаменимый справочник для всех, кто пишет по-русски и читает по-английски.
CD-ROM, содержащий двухтомный индекс "БРИТАННИКИ" и словарь WEBSTER'S.

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" для детей:

"ОТКРЫТИЕ МИРА" - **"Britannica Discovery Library"** в 12 томах.
Красочная энциклопедия для малышей, начинающих учиться читать одновременно по-русски и по-английски.
"БРИТАННИКА" для детей младшего возраста. **"Young Children Britannica"** в 16 томах.
"ДЕТСКАЯ БРИТАННИКА" в 20 томах. Простой английский язык, доступный школьнику. 6 770 страниц, 6000 иллюстраций. Дальние страны, великие люди, диковинные звери, персональные компьютеры... И еще 30 000 тем! В составе энциклопедии - аннотированный Атлас мира.

Весь этот мир знаний впервые делает доступным фирма
"Мир Знаний",
эксклюзивный дистрибьютор компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"
Телефон в Москве: (095) 161-07-75, 924-90-02
Факс: (095) 923-78-91
E.-mail: mir@znanija.msk.su

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130—6545 «Иностранная литература», 1994, № 11, 1—256